This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

Slav 4120.714.2

HARVARD
COLLEGE
LIBRARY

4/6284/66

В. В. Розановъ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОЧЕРКИ

СБОРНИКЪ СТАТЕЙ

Изданіе 2-е.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія М. Меркушева, Невскій просп., 8.
1902.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОЧЕРКИ

В. В. Розановъ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОЧЕРКИ

СБОРНИКЪ СТАТЕЙ

Изданіе 2-е.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія М. Меркушева, Невскій пр., № 8.
1902.

Slav 4120.714.2

HARVARD
UNIVERSITY
LIBRARY
JAN 19 1968

67*2 (SLL)

Оглавленіе

стр.

Старое и новое:

1. Почему мы отказываемся отъ наслѣдства 60-70-хъ годовъ? 1
2. Въ чемъ главный недостатокъ «наслѣдства 60-70-хъ годовъ»? 12
3. Европейская культура и наше къ ней отношеніе . . . 24
4. Два исхода 32
5. Можетъ-ли быть мозаична историческая культура? . . 44
6. Еще о мозаичности и эклектизмѣ въ исторіи 51

Литературная личность Н. Н. Страхова. 61
Три момента въ развитіи русской критики. 92
Позднія фазы славянофильства:

1. Н. Я. Данилевскій. 107
2. К. Н. Леонтьевъ 115

Катковъ, «какъ государственный человѣкъ» 125
Литературно-общественный кризисъ 132
О Достоевскомъ. 143
«Вѣчно-печальная дуэль» (М. Ю. Лермонтовъ) 155
50 лѣтъ вліянія (юбилей В. Г. Бѣлинскаго) 170
Съ юга:

1. Около болящихъ. 179
2. Въ Кисловодскомъ паркѣ 185
3. «Горе отъ ума» 192
4. Военно-грузинская дорога. 201

О писателяхъ и писательствѣ (замѣтки и наброски). . . . 211
Памяти усопшихъ:

1. О. И. Каблицъ (Юзовъ) 227
2. Ю. Н. Говоруха-Отрокъ 231
3. Н. Н. Страховъ. 238
4. Ѳ. Э. Шперкъ 268
5. Я. П. Полонскій 275

Tempora mutantur et nos mutamur in illis. Я не могу сказать, чтобы *всѣ* мысли, содержащіяся въ этомъ сборникѣ, остались *родными* мнѣ въ той степени, какъ были въ моментъ ихъ написанія; и особенно, чтобы *между собою* онѣ сохраняли ту самую перспективу зависимостей и отношеній, яркаго и блѣднаго—въ какой стояли тогда. Духовный ихъ организмъ (связность) молекулярно перестраивался и, можетъ быть, даже анатомически уже не тотъ. Но каждая кость все еще кость, и мускулъ — мускулъ: сборникъ сохраняетъ еще цѣну «образцовъ» мысли, «примѣровъ» того, какъ мысль наша можетъ относиться или пытается относиться къ великимъ темамъ, изъ сплетенія которыхъ образуется духовная жизнь общества. Чѣмъ далѣе, однако, къ концу — тѣмъ эти «кости» и «мускулы» живѣе во мнѣ: и какъ коралловый рифъ живетъ лишь въ вершинахъ, однако—на основѣ «умершихъ предковъ», такъ при чтеніи этихъ статей читатель будетъ переходить отъ умершаго къ полу-умершему и къ совершенно живому.

Все здѣсь напечатанное, было помѣщено между 1890—1898 гг. въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ», «Вопросахъ Философіи и Психологіи», «Новомъ Времени», «Биржевыхъ Вѣдомостяхъ», «Русскомъ Обозрѣніи», литературномъ приложеніи къ «Торгово-Промышленной Газетѣ» и въ другихъ изданіяхъ.

В. Р.

Старое и новое.

1. Почему мы отказываемся отъ „наслѣдства 60—70 годовъ“?

I.

Фактъ, что дѣти, взрощенныя „людьми шестидесятыхъ годовъ“, отказываются отъ наслѣдства своихъ отцовъ, отъ солидарности съ ними, и идутъ искать какихъ-то новыхъ путей жизни, другой „правды“, нежели та, къ которой ихъ пріучали такъ долго и такъ, повидимому, успѣшно,—есть фактъ одинаково для всѣхъ поразительный, вносящій много боли въ нашу внутреннюю жизнь и, безъ сомнѣнія, одною силою своею, своимъ значеніемъ имѣющій опредѣлить характеръ по крайней мѣрѣ ближайшаго будущаго. Между вопросами занимающими теперь общество, многіе болѣе неотложны, болѣе нетерпѣливо ждутъ и нуждаются въ разрѣшеніи; но нѣтъ между ними ни одного столь общаго и столь нуждающагося въ цѣльномъ освѣщеніи его причинъ и смысла.

Прежде всего о внутренней боли, которая чувствуется въ этомъ вторичномъ разладѣ между отцами и дѣтьми. Нужно вспомнить то одушевленіе, ту полную вѣру людей шестидесятыхъ и семидесятыхъ годовъ въ себя, въ свои принципы, въ свое близкое и вѣковѣчное торжество, чтобы понять всю горечь ихъ разочарованія при видѣ того, какъ, не говоря уже о дальнихъ поколѣніяхъ, ихъ же собственныя дѣти, взрощенныя въ наилучшемъ ознакомленіи съ этими принципами, совершенно отвращаются отъ нихъ—и съ ними отъ самихъ людей, сѣдины и трудъ которыхъ они были бы готовы почтить, еслибы только не эти принципы. И далѣе, чтобы понять жгучесть этой боли и чувство ужаснаго стыда въ ней содержащагося, нужно вспомнить, какъ проводили люди шестидесятыхъ годовъ своихъ от-

цовъ—эту свѣтлую плеяду людей сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ, первыхъ славянофиловъ и столь же благородныхъ и идеальныхъ первыхъ западниковъ. О, это было время, которое дважды не переживается обществомъ, и хотя оно теперь только прахъ исторіи, но и до сихъ поръ бьется сердце, какъ за живыхъ людей, за этихъ отшедшихъ въ вѣчность стариковъ, при чтеніи журналовъ того времени. По истинѣ „дѣти", провожавшія тогда въ землю отцовъ своихъ, какъ будто себя самихъ уже считали безсмертными. Среди многихъ искусственныхъ идей того времени, искусственныхъ понятій о человѣкѣ и объ обществѣ, какъ будто заглохла и эта вѣчная мысль о смертномъ часѣ, который настаетъ для всего живаго.

И грозный часъ пришелъ...

Въ то время какъ люди еще боролись безсильной ироніей своихъ словъ, исторія уже готовила для нихъ злую иронію фактовъ. Не успѣли смѣющіяся уста сомкнуться, какъ лица смѣющихся исказились ужасомъ одинокой смерти. *Все это можно было предвидѣть, всего этого можно было избѣжать еще тридцать лѣтъ назадъ. Не слѣдовало забывать исторію, не слѣдовало забывать текучесть своего момента времени.*

II.

Эта боль положенія не можетъ не вызывать сѣтованій. Но какая разница между тѣмъ, какъ сходили съ исторической сцены люди сороковыхъ-пятидесятыхъ годовъ, и тѣмъ, какъ сходятъ теперь съ этой же сцены ихъ дѣти! Нѣсколько слабохарактерные, всегда изящные и задумчивые; нѣсколько неправые, какъ и всякое поколѣніе, предъ вѣчными обязанностями человѣка на землѣ, люди сороковыхъ-пятидесятыхъ годовъ прежде всего устремили свое вниманіе именно на эти послѣднія. Уже по внѣшнимъ условіямъ они не могли стать людьми дѣла, но, кажется, и по внутреннимъ склонностямъ они были мало къ нему способны и расположены. Это были прежде всего люди рефлексіи, люди углубленнаго, развитаго чувства. Повинуясь только своему влеченію, не сознавая своего историческаго положенія, они создали цѣлый міръ глубоко человѣчныхъ понятій и чувствъ. Какъ и всегда въ теченіе вотъ уже двухъ вѣковъ, они обращались безпрестанно къ Европѣ, которая стала для нихъ вторымъ отечествомъ, часто болѣе дорогимъ и духовно близкимъ, чѣмъ своя родина; но по благороднымъ задаткамъ своей души они избирали въ Европѣ одно лучшее. И это лучшее они принесли къ себѣ, въ свою сѣрую родину, холодную и угрюмую. Сѣмя, посѣянное ими здѣсь, взросло богатою нивою, которую мы и до сихъ поръ жнемъ, почти не чувствуя еще ея истощенія. Кругъ *примѣненія* идей, правда, очень расширился, какъ и количество факти-

ческаго содержанія, которое отъ начала онѣ могли бы вмѣстить въ себѣ; самыя же идеи почти не увеличились. Въ этомъ состояла ихъ историческая задача: въ общество, въ верхнихъ слояхъ своихъ еще грубое, въ среднихъ и образованныхъ—наивное, они внесли серьезное размышленіе и углубленность чувства. Но практическаго примѣненія этихъ идей ими не было сдѣлано—это была вторая и болѣе легкая задача, предстоявшая ихъ дѣтямъ.

Послѣднія съ упрека отцамъ своимъ въ этомъ недостаткѣ и открыли свою дѣятельность. Привычка на всемъ тотчасъ сосредоточиваться, забывая остальное, и на этотъ разъ не оставила готовое сойти въ могилу поколѣніе. Они забыли то, что сдѣлали, и помнили только о томъ, чего не сдѣлали. Сама исторія, неопреодолимымъ движеніемъ фактовъ, привела ихъ передъ концомъ къ этой мысли, самой необходимой для всякаго, кто готовится оставить жизнь. Грустные и растерянные, со встревоженною совѣстью, одинъ за другимъ сходили эти люди съ историческаго поприща, оставляя трепещущему жизнью поколѣнію дѣтей своихъ завѣтъ труда, котораго сами они не выполнили. И дѣти ихъ приступили къ труду; о, конечно, и изъ нихъ многія остались вѣрны памяти отцовъ, и задача, на которую молча указывала исторія—*съ развитою душой приступить къ обновленію жизни*—была ими выполнена. Лучшее, что было сдѣлано въ царствованіе Александра II-го (не по прочности, но по мотиву), было сдѣлано людьми этого душевнаго настроенія. Они учились, они размышляли и чувствовали, какъ и люди сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ; изъ нихъ многіе и теперь живы, и какъ свѣточь блистаютъ для насъ въ сферахъ науки, литературы и, можетъ быть, политической дѣятельности (о послѣдней не знаю). Ихъ было очень немного, хотя они сдѣлали главное, остающееся въ исторіи. Совсѣмъ инымъ путемъ пошла главная масса. На дѣла ихъ; на писанія въ теченіе двадцати лѣтъ можно здѣсь набросить покровъ: мы всѣ ихъ знаемъ; не знаю, желательно ли составленіе очень *подробной* исторіи этихъ писаній и дѣлъ, и часто думается,—разъ это время ужъ минуло,—что лучше было бы никогда не поднимать надъ ними покрова. Пусть мы, все видѣвшіе, все читавшіе и знавшіе, живемъ еше съ тревожными, съ мучительными и раздраженными воспоминаніями, но не къ чему передавать эти воспоминанія и дальнимъ поколѣніямъ. Желчи и горечи достаточно дастъ каждому изъ нихъ и свое время. Одного не слѣдуетъ забывать при этомъ, чтобы хорошо понимать источникъ разницы между двумя рядомъ стоящими поколѣніями нашего общества. Говоря о людяхъ сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ, мы замѣтили, что главное въ ихъ дѣятельности было обусловлено *избирательными инстинктами*, которые они принесли съ собою въ Европу. Въ этихъ же инстинктахъ и теперь состояло все дѣло. Европа шестидесятыхъ и семидесятыхъ годовъ, какъ и всегда, представляла изъ себя необозри-

мую сокровищницу, увитую сѣдымъ мохомъ и зеленѣющими побѣгами, гдѣ всякій могъ находить для себя все, что было ему нужно. Геніальное и пошлое, цѣлебное и заразительное—все было въ этомъ организмѣ, самомъ могучемъ и полномъ, какой создавался когда-либо въ исторіи. Европа уже все передумала, все пережила, *все передѣлала на всѣ манеры*,—и у ней одинаково можно научиться и тому, какъ просвѣтлять жизнь высшимъ свѣтомъ, и тому, какъ отравлять свою душу неизгладимою отравой. Все дѣло, продолжаемъ, было въ инстинктахъ избиранія. Руководясь ими, люди шестидесятыхъ и семидесятыхъ годовъ принесли изъ безцѣнной сокровищницы Запада новыя сѣмена на свою родину—и ниву, уже засѣянную ихъ отцами, занимая ихъ слѣдъ, засѣяли новымъ принесеннымъ сѣменемъ. Нива снова возросла, жатва созрѣла и была срѣзана, но... когда долженъ былъ начаться вечерній пиръ, пищи не оказалось. Люди, приведенные на этотъ пиръ съ *молодыми, свѣжими инстинктами*, непреодолимо отвращаются отъ приготовленныхъ яствъ. И старики, которые такъ много трудились на нивѣ въ знойные и въ холодные дни, руки которыхъ устали и болѣе неспособны къ труду, видятъ, что свою жатву, надежду столькихъ лѣтъ, имъ остается только унести съ собой въ могилу. Все это страшно горько, страшно трудно, надо всѣмъ этимъ нельзя смѣяться, и дурно дѣлаетъ тотъ, кто это дѣлаетъ. *Но измѣнить факта нельзя—и не слѣдуетъ.*

III.

„Групповой возрастъ этого поколѣнія, отказывающагося отъ наслѣдства отцовъ своихъ и отъ солидарности съ ними, долженъ быть отъ 20—30 лѣтъ или нѣсколько болѣе. Молодежь, принадлежащая къ нему, должна была родиться между 1858—1868 гг., кончить гимназію между 1878—1886 гг., а университетъ между 1880 и послѣдующими годами. Время, въ которое эта молодежь слагалась умственно, и вырабатывала себѣ жизненную программу, совпало какъ разъ съ наиболѣе печальнымъ временемъ нашей общественной жизни. Тутъ были и 1 марта 1881 года и всѣ его дальнѣйшія острыя послѣдствія. Общество заметалось, спуталось; оно и прежде было слабо сознаніемъ, а тутъ мысль его и совсѣмъ очутилась подъ спудомъ. Аксаковъ думалъ, что умственный промежутокъ, который открылся теперь передъ обществомъ, и есть именно наиболѣе благопріятный моментъ для того, чтобы общественное сознаніе встало въ томъ направленіи, которое онъ считалъ единственно способнымъ обновить все наше общественно-государственное существованіе. Рядомъ съ этимъ, такъ называемые западники считали необходимымъ продолженіе реформъ въ болѣе широкомъ видѣ и съ болѣе расширенною дѣятельностью интеллигенціи. Но явилось и еще движеніе, направленное именно противъ интеллигенціи. Это было одно

изъ самыхъ злополучныхъ и несчастныхъ самоотреченій, продолжающееся и до сихъ поръ. Интеллигенція была сдѣлана козломъ отпущенія за все—и кѣмъ же? Такою же самою интеллигенціей, какъ она. Та самая масса молодыхъ силъ, которая было устремилась за знаніемъ, которую выдвинула Россія, какъ необходимую для нея умственную силу—эта самая интеллигенція повернулась противъ той, которая такъ долго вела ее, почти во всѣмъ уже успѣла и стояла, повидимому, передъ минутой окончательнаго торжества своего» [1]).

Такъ пишетъ одинъ изъ самыхъ дѣятельныхъ писателей 60-хъ годовъ, лишь недавно сошедшій въ могилу, почти наканунѣ ея. Да, все это было такъ, и годы указаны съ изумительною точностью. Видно, что человѣкъ, писавшій это, зорко слѣдилъ за окружающею жизнью; но ходъ ея, но смыслъ и источникъ новаго поворота, для него, какъ человѣка, видѣвшаго все лишь подъ однимъ угломъ, былъ неясенъ, непонятенъ, просто неизвѣстенъ. Онъ умеръ, проклиная новое движеніе, недоумѣвая о томъ, что дѣлается. Такъ всегда бываетъ въ исторіи, что люди, несущіеся на одной волнѣ ея, видятъ только эту волну, и, когда она падаетъ—думаютъ, что все погибло и что исторія останавливается. Но это не такъ. Дѣйствительно, 70-ые годы гимназіи и 80-ые университета—всѣ впечатлѣнія этихъ лѣтъ и впечатлѣніе отъ 1 марта... Припомнимъ же, каковы были эти впечатлѣнія; что насъ въ то время поразило, когда мы, стоя на порогѣ между гимназіей и университетомъ, переживали эту страшную катастрофу. Насъ поразила эта сухость сердца, этотъ взглядъ на человѣка и отношеніе къ нему. О, забудемъ, что то былъ Государь, и Богъ съ ней, съ этой все политикой и политикой... Но развѣ это не былъ человѣкъ, какъ и мы, съ такимъ же ощущеніемъ простой физической боли, съ такимъ же страхомъ смерти, съ такими же свѣтлыми надеждами, когда былъ молодъ, и разочарованіями, когда сталъ старъ? Этотъ злобный смѣхъ на такія страданія, *при которыхъ намъ всѣмъ было бы трудно*, это равнодушіе и вся политика перетрусившей печати, это холодное безучастіе «интеллигентнаго» общества, когда одному человѣку такъ больно, весь этотъ цинизмъ какой-то, не то развращенной, не то отъ рожденія не пробуждавшейся души—намъ былъ невыносимъ и отвратителенъ. Это было главное и самое сильное впечатлѣніе, необыкновенно яркое, и, *которое не мѣшало задумываться, потому что оно было одиноко*. Все та же и та же боль умирающаго человѣка, и равнодушное молчаніе вокругъ. Мы тогда учились, *и все читали, все видѣли*, тѣмъ болѣе, что никто насъ въ отдѣльности не замѣчалъ, и ничего отъ насъ не скрывали. «Но это было фактомъ политики и никакой личной ненависти при этомъ

[1]) Вѣстникъ Европы 1891 года, май, стр. 246—247.

не было», говорили намъ. Но тогда «цѣль оправдываетъ средства»? Тогда зачѣмъ же это негодованіе на костры инквизиціи, также жегшей людей не для удовольствія, но для водворенія на землѣ единства вѣры, то-есть для ихъ устроенія, для ихъ спасенія за гробомъ, то-есть «для наибольшаго счастія наибольшаго числа людей» [1]), разумѣя счастіе по условіямъ своего времени, своего воспитанія, своихъ умственныхъ способностей,—какъ иначе и не могутъ разумѣть счастье люди, и никогда не будутъ его разумѣть. Этотъ недостатокъ универсальности въ приложеніи принциповъ—было второе, что насъ поразило тогда. «Мѣра одна для насъ, которую мы требуемъ, а для другихъ будетъ та мѣра, которую мы приложимъ къ нимъ,»—это всегдашнее требованіе эгоизма и несправедливости продолжало дѣйствовать и въ тотъ моментъ, о которомъ насъ хотѣли увѣрить, что онъ открываетъ собою эру изгнанія изъ исторіи всякаго насилія, эгоизма и несправедливости. Ясно, что не было никакой «эры»; было обыкновенное политическое волненіе, съ взволнованными страстями, съ придуманными теоріями—моментъ въ излучистомъ теченіи исторіи, но вовсе не ея увѣнчаніе. Понять частный фактъ исторіи какъ всеобщій, принять будни за Свѣтлый Праздникъ—этого мы не могли и не хотѣли, по простой невозможности не видѣть, когда зрѣніе дано, или не слышать, когда есть ухо. Но, повторяю, это впечатлѣніе было лишь послѣднее и самое яркое, необыкновенно важное въ своемъ долгомъ одиночествѣ, не мѣшавшемъ думать. Детальныя же, подготовительныя впечатлѣнія—онѣ шли издали, начались уже давно.

Въ 70-хъ и въ началѣ 80-хъ годовъ мы всѣ учились нѣсколько иначе, чѣмъ учатся теперь. Мы всѣ были теоретиками и мечтателями съ ранней школьной скамьи. Средняя школа для насъ проносилась, какъ въ туманѣ, и мы всѣ смотрѣли, изъ разныхъ захолустныхъ уголковъ Россіи, въ ту неопредѣленную даль, гдѣ для насъ и было только одно—сіяніе милаго, обвѣяннаго мечтами, насъ ожидавшаго университета. Собственно, только эта поэзія ожиданія и согрѣвала насъ въ тѣ ранніе года, и ничѣмъ учитель не могъ такъ привязать къ себѣ и заинтересовать въ классѣ, какъ разсказавъ что-нибудь о годахъ своего университетскаго ученія—какіе бываютъ профессора, что они читаютъ, *какой они имѣютъ видъ*, наконецъ. Мы уже во многомъ были серьезны, но если въ чемъ были дѣтьми, со всей поэзіей дѣтства, со всею нескрываемою и насъ несмущавшею наивностью, такъ именно въ этомъ ожиданіи, въ этихъ усиліяхъ представить людей занятыхъ только наукой, т. е. изысканіемъ истины, и совершенно непохожихъ на всѣхъ

---

[1]) Формула цѣли человѣческой жизни въ утилитарной теоріи, которая въ 60—70 годахъ была общераспространенною.

окружавшихъ насъ, которые намъ наскучили, которыхъ мы часто не любили и не уважали. Помню эти долгія, уединенныя прогулки по нагорному берегу Волги, съ опредѣленіемъ по положенію солнца того направленія, гдѣ былъ университетскій городъ, и куда вотъ уже скоро умчитъ поѣздъ и... тогда начнется совсѣмъ, совсѣмъ другое. И ничего другого не было... Все было обманомъ старыхъ литературныхъ воспоминаній и немногихъ, избранныхъ впечатлѣній нашихъ школьныхъ учителей. Университетъ—universitas omnium litterarum, вся эта «филологія» наша была неправильна. Никакъ нельзя было представить, изъ какихъ требованій ума вытекло это распредѣленіе наукъ, и въ особенности какъ можно было преподавать науку, совершенно сбиваясь въ ея опредѣленіяхъ. Было чтеніе разныхъ вещей о разныхъ предметахъ, христоматія или сборникъ практически-полезныхъ свѣдѣній, но не было науки въ смыслѣ теоріи, своими широкими рамами покрывающей естественныя потребности естественно же развивающагося ума. Даже и идеи о возможности и необходимости такого теоретизма нигдѣ не было. Самые предметы наукъ какъ-то странно никого не интересовали; интересовали книжки, написанныя объ этихъ предметахъ, репутація широкой въ нихъ начитанности. Въ идеѣ—огромное множество острововъ, ни къ чему не примыкающихъ; въ дѣйствительности—просто разсказы объ островахъ, которые давно скрылись подъ поверхностью воды. А мы ждали материка. О, какъ удовлетворилъ бы насъ Ѳома Аквинскій, хотя между нами многіе пришли сюда атеистами; или Бодэнъ, Гоббесъ, Жозефъ де-Местръ, хотя мы вовсе не были «легитимисты». Но мы ждали *складности*; и кто бы намъ ее ни далъ—мы бы за нимъ пошли.

IV.

Только немногіе старые профессора и спасли въ насъ идеализмъ къ наукѣ. Это были послѣдніе эпигоны людей 40-хъ годовъ, какихъ мы видѣли, которыхъ мы никогда не забудемъ. «По моему, гдѣ профессоръ—тамъ и университетъ», сказалъ одинъ изъ нихъ, вышедшій тогда почему-то въ отставку (Буслаевъ).—Да, конечно, а не большое кирпичное зданіе, выстроивъ которое въ Томскѣ и повѣсивъ на него вывѣску, еще безъ профессоровъ, безъ студентовъ, всѣ почему-то называли: «Сибирскій университетъ». Странныя понятія объ университетѣ—о святилищѣ наукъ, гдѣ онѣ преподаются, и которое изготовляется печниками на кирпичныхъ заводахъ. Все извратилось и померкло въ наше тусклое, искаженное время. *Въ «университетѣ» университету еще нужно зародиться*; завестись чудакамъ-профессорамъ и всей студенческой братіи слюбиться, сжиться, порости мхомъ, кого-нибудь похоронить и справить тризну—и тогда это будетъ университетъ. Удостоиться стать

имъ черезъ почетный трудъ, черезъ доблестную жизнь, *черезъ исторію*—можно; выстроиться университету нельзя.

Тогда въ журналахъ все писали о «кружкѣ молодыхъ профессоровъ» въ нашемъ университетѣ; о старикахъ никто не писалъ и не говорилъ—только они сами издавали одинъ ученый трудъ за другимъ, и до этого никому не было, повидимому, дѣла. Работали въ пустынѣ. Молодые же профессора, за исключеніемъ двухъ-трехъ, все были какіе-то розовые или упитанные, и чрезвычайно уморительные въ своихъ усиліяхъ показаться «страшными». Наивны они были очень; объ одномъ разсказывали въ университетѣ, что онъ все укладывалъ въ чемоданъ бѣлье, говоря, что его скоро «вышлютъ»,—конечно, выслать его было рѣшительно не за что и онъ до сихъ поръ строчитъ свою безталанную макулатуру во многихъ нашихъ «передовыхъ» изданіяхъ. Этотъ профессоръ, охотнѣе возившійся съ чемоданомъ, чѣмъ съ книгами, понимая, что это не можетъ не отражаться на лекціяхъ, достаточно темно и достаточно ясно намекалъ на нѣкоторую бѣдность развитія при всей эрудиціи у его старшаго коллеги по факультету, который издавалъ тогда свои капитальныя работы по финансовому праву. Эпиграфы къ сочиненіямъ обыкновенно брались тоже изъ какого-нибудь «страшнаго» философа. «Не плакать, не смѣяться—но понимать. Spinosa»—помню, стояло на брошюрѣ изъ веленевой бумаги у одного профессора, хотя изъ трехъ указанныхъ проявленій человѣческой натуры извѣстно было всѣмъ, что онъ любилъ только второе. Все это было наивно, все было порой невыносимо; большее русло студентовъ, какъ и всякой большей массы, становилось все болѣе и болѣе тѣмъ, чего отъ нихъ ожидали.—«Я не хочу пить за студентовъ», сказалъ одинъ старый, нынѣ покойный профессоръ, когда 12 января ему предложили поднять бокалъ «за молодежь». Объ этомъ разсказывали потомъ, и я не забуду съ какимъ уваженіемъ начали смотрѣть на него послѣ этого случая очень многіе изъ студентовъ. Расколъ уже тогда и тамъ начинался. Какъ теперь помню этого безукоризненнаго ученаго въ одномъ диспутѣ по палеонтологіи: красавецъ-доцентъ, очень рѣчистый, на возраженіе невзрачнаго маленькаго старичка, ему оффиціально оппонировавшаго, сказалъ скромно и торжественно: «но, позвольте, значитъ вы незнакомы съ послѣдними замѣчаніями знаменитаго вѣнскаго ученаго N. N.» Старикъ смутился и, кажется, ничего не могъ возразить. Что же, на седьмомъ десяткѣ лѣтъ, быть можетъ больной, онъ и вправду не успѣлъ еще, можетъ статься, разрѣзать послѣднихъ книжекъ ученыхъ изданій, и, кажется, жалѣлъ объ этомъ, считалъ это стыднымъ для себя. «Да позвольте», вдругъ поднялся рядомъ со старикомъ сидѣвшій профессоръ, и сразу все покрылъ своею гигантской фигурою и голосомъ: «мой достоуважаемый учитель» (и онъ обратился къ смутившемуся старику, о которомъ я тутъ только узналъ, что это былъ знаменитый уче-

ный, самъ объѣхавшій всю Россію, еще когда доцентикъ не появлялся на свѣтъ), «мой достоуважаемый учитель говоритъ вовсе не то, и вы только путаете дѣло своими ссылками»... смялъ растерявшагося магистранта съ его вѣнскими профессорами и въ крупныхъ, рѣзкихъ штрихахъ показалъ, въ чемъ суть дѣла и что этой сути даже не замѣтилъ опрятно одѣтый диспутантъ, все только разрѣзавшій новыя книжки и въ глаза не видавшій ни одного геологическаго разрѣза и никакихъ окаменѣлостей. Старшіе профессора, обросшіе сѣдою щетиною, были невзрачны, неуклюжи, сгорблены подъ тяжестью трудовъ и лѣтъ; но въ своихъ потрепанныхъ вицъ-мундирчикахъ они были удивительно какъ внутренно изящны, всегда просты, — это чувствовалось, — возвышены умомъ и сердцемъ. Совсѣмъ не то было въ кружкѣ «молодыхъ профессоровъ».

V.

Но печать этого не чувствовала, это старались отъ насъ скрыть, какъ будто не мы записывали въ аудиторіяхъ лекціи и сидѣли на диспутахъ. Замѣчательно, что въ послѣдніе годы старики, если не обязывала служба, перестали посѣщать диспуты — *не любопытно было*. Не очень любопытно стало даже и для насъ. Я помню одинъ диспутъ, *вдругъ ярко вскрывшій передъ нами смыслъ текущаго момента университетской науки*: предметомъ диссертаціи служили отрывки рѣчи какого-то греческаго оратора, не политическаго, а судебнаго. Впрочемъ, содержанія отрывковъ магистрантъ не касался. Въ разныхъ Venezianum B, Parisiensis A были разночтенія и среди нихъ попадались очевидныя ошибки. Онѣ могли быть просто ошибками переписчика. Начинающій ученый задался вопросомъ, не были ли онѣ ошибками не зрительными, а слуховыми: общій оригиналъ могъ читаться однимъ писцомъ, а остальные записывали за нимъ и, не разслышавъ слова, могли ошибаться въ его начертаніи. Никогда не забуду, какъ передъ диспутомъ магистрантъ въ пространной рѣчи объяснялъ объ употребленномъ имъ при изслѣдованіи «индуктивномъ методѣ». Начался диспутъ; оказалось, что, хорошо выдержавъ методъ, магистрантъ не выдержалъ хорошо корректуры, и гдѣ нужно было сослаться на Venezianum B, онъ сослался на Venezianum A и т. д. Произошла путаница, и единственная возможная цѣль диссертаціи не была достигнута. Нѣсколько почетныхъ гостей дремало на диспутѣ; студентовъ было мало за спеціальностью предмета. Зажгли уже огни, когда кончился диспутъ. Мы всѣ вышли изъ аудиторіи съ чувствомъ стыда. «Кое-что о ничемъ—такъ можно было бы озаглавить ученый трудъ по его внутреннему значенію, и, однако, имя ученаго, положеніе профессора было пріобрѣтено. Мнѣ почему-то вспомнился при этомъ случай, какъ однажды молодой человѣкъ, готовившійся показывать передъ публикой, какъ

изъ одной курицы вдругъ дѣлается десять и яблоки невидимо перелетаютъ изъ его рукава въ карманы зрителей, предварительно, ходя по возвышенію, объяснялъ намъ, смѣясь: «конечно, господа, теперь наукою доказано, что въ природѣ не существуетъ чудесъ и все, что вы увидите, основано просто на законахъ физики и оптики». И я вспоминалъ объ «индуктивномъ методѣ», и уваженіи къ нему начинающаго филолога, и весь тотъ диспутъ въ большой словесной аудиторіи. Не то же, конечно, но въ этомъ родѣ. . Все стало какъ-то очень обыкновенно, слишкомъ просто; все стало ассимилироваться, терять очертанія и внѣшнія разграниченія.

Помню, какъ однажды, по окончаніи лекціи, сойдя на крыльцо, служившее курильней двухъ смежныхъ факультетовъ, я увидѣлъ знакомаго мнѣ студента въ чрезвычайномъ волненіи. Это былъ одинъ изъ серьезнѣйшихъ молодыхъ людей, какихъ мнѣ удавалось знавать въ то время, и чрезвычайно нравственный. Будучи очень бѣденъ, онъ содержалъ (еще съ гимназическихъ годовъ) при себѣ старуху-мать, которую перевезъ съ собою и въ университетскій городъ. Несмотря на трудность положенія, онъ никогда не обращался за стипендіей и перебивался уроками. Поздоровавшись, я спросилъ его, что съ нимъ? Онъ разсказалъ мнѣ, какъ, толкуя на лекціи какой-то старинный памятникъ, молодой профессоръ съ особенною любовью сталъ останавливаться на неприличныхъ выраженіяхъ въ немъ (въ старину, по простотѣ, не пропускаемыхъ) и все повторялъ одно названіе, посмѣиваясь и посматривая весело на аудиторію. Объ этомъ профессорѣ я уже ранѣе и отъ многихъ слышалъ, какъ объ ужасающей бездарности, и онъ, очевидно, рѣшился утилизировать неприличныя слова, чтобы нѣсколько оживить свои чтенія. «Это нахальство», разсказывалъ мнѣ товарищъ, «и, главное, видимая увѣренность въ нашемъ сочувствіи ему до того меня возмутили, что, когда онъ вышелъ изъ аудиторіи, я, затворивъ дверь, предложилъ тотчасъ пойти всѣмъ курсомъ къ ректору и попросить, чтобы отъ насъ убрали этого профессора (чтобъ онъ больше не читалъ лекцій), соглашаясь взять на себя выраженіе ходатайства» (что, конечно, было очень рисковано). Но студенты заколебались и, по идейной инерціи, рѣшили бросить все это, тѣмъ болѣе, что еще неизвѣстно, кого дадутъ взамѣнъ его, а не дадутъ, то и т. д.

Въ другой разъ, на томъ же факультетѣ, очень многолюдномъ и очень шумномъ, съ лѣстницы спускался молоденькій профессоръ и за нимъ толпы шумно разговаривающихъ студентовъ. Совсѣмъ въ углу, на поворотѣ лѣстницы, я увидѣлъ товарища своего по гимназіи, Б., съ лицомъ, залитымъ краской, и какъ-то ужасно смущеннымъ. Думая, что что-нибудь произошло на лекціи, я обратился къ нѣсколькимъ студентамъ съ вопросомъ, но они, махнувъ рукой и продолжая разговаривать, прошли мимо. Увидавъ Б., я обратился къ нему, и онъ, все запинаясь, не сразу началъ: «Чортъ знаетъ

что такое! этотъ NN—онъ указалъ на пухленькую фигурку совсѣмъ юнаго лектора—все пыжится изобразить изъ себя какого-то краснаго. Сегодня—лекція была о республикѣ Платона—когда уже давно дали звонокъ, онъ вдругъ вскакиваетъ, и, поднявъ руку, своимъ тоненькимъ пискливымъ голоскомъ кричитъ: «господа! государство, въ которомъ ultima ratio есть штыкъ и нагайка, такое государство, господа, гибнетъ», и бѣгомъ почти выбѣжалъ изъ аудиторіи. Мнѣ стало до того стыдно—и не знаю чего: вѣдь не я сказалъ, и, кажется, чортъ бы съ нимъ, но лучше бы провалиться, чѣмъ видѣть его въ эту минуту». Все дѣло въ томъ, что къ кому идетъ. Всѣ эти Бруты и Гармодіи съ обликомъ молодой купчихи были намъ эстетически противны. Впрочемъ, на нашемъ факультетѣ, по его крайне мирному характеру, подобныхъ выходокъ не было, и онъ, вмѣстѣ съ физико-математическимъ, былъ самымъ серьезнымъ въ университетѣ.

VI.

Итакъ, что касается до идеализма въ наукѣ, то мы видѣли только закатъ его—послѣдніе прощальные лучи, которые бросала нашему времени уходившая въ могилу старость. Эти лучи одинъ за другимъ тухли и наступала сырая холодная темь, сквозь которую можно было разсмотрѣть только какія-то скверно-вызывающія улыбки и куда-то зовущія объятія. Мы ихъ оттолкнули: этого цинизма къ наукѣ въ ея святилищѣ мы не могли вынести. И потомъ за предѣлами университета былъ все тотъ-же цинизмъ умственный. Строгой, печальной въ своихъ выводахъ науки мы не находили и въ текущихъ книгахъ. Нужно было обращаться къ кожанымъ переплетамъ, къ очень старымъ журналамъ, чтобы наконецъ хоть гдѣ-нибудь найти серьезную заинтересованность предметами, которые и насъ интересовали, и серьезную рѣчь о нихъ. Приходилось слѣдить и за текущими научными спорами [1]). Истинѣ засыпались глаза пескомъ, ея проницательнаго взгляда больше не выносили. Присмотрѣвшись въ университетѣ, мы были уже нѣсколько опытны въ различеніи всего этого и, хотя обычно молчали, но впечатлѣнія въ насъ оставались. Такъ далѣе и далѣе расходились мы со временемъ, которое насъ вскормило и воспитывало.

Одинъ изъ видныхъ публицистовъ стараго лагеря горько сѣтуетъ на насъ. Онъ говоритъ о «пренебрежительномъ, высокомѣрномъ, вообще отрицательномъ отношеніи *дѣтей* къ лучшимъ завѣтамъ отцовъ». Нашъ отказъ отъ «наслѣдія 60-хъ годовъ» онъ называетъ «ничѣмъ не оправдываемымъ» (статья г. Н. Михайловскаго: «Литература и жизнь»; Русская Мысль, 1891 г., іюль, стр. 144).

---

[1]) Напр. споръ о дарвинизмѣ, долго тянувшійся въ послѣдніе годы.

Положа руку на сердце, можетъ ли онъ сказать, что мы могли быть другими, вынеся съ раннихъ годовъ всѣ эти впечатлѣнія? И самъ онъ, ясно, какъ мы, сознавая униженіе науки ея служителями, не попытался ли бы вырвать у нихъ по землѣ волокущееся знамя и понести его хоть какъ-нибудь самому? Не всталъ ли бы онъ, *оставаясь такимъ же и только родясь въ наше время* (то-есть не будучи самъ иниціаторомъ многихъ идей, естественно не могущимъ отнестись къ нимъ «со стороны»), въ ряды самыхъ горячихъ борцовъ съ поколѣніемъ отживающимъ, въ которомъ стоитъ теперь? Всѣ мы, поколѣніе за поколѣніемъ, въ самихъ себѣ не имѣемъ значенія: наше значеніе обусловливается лишь тѣмъ, какъ относимся мы къ вѣчнымъ идеаламъ, подлѣ насъ стоящимъ, которые съ отдѣльными поколѣніями не исчезаютъ. Сохраняетъ поколѣніе вѣрность имъ — и значеніе его не пропадаетъ; измѣняетъ оно этимъ идеаламъ—и его значеніе тотчасъ меркнетъ. Въ сферѣ умственной любить одну истину—это не есть ли идеалъ? Въ сферѣ нравственной—относиться ко всѣмъ равно, ни въ какомъ человѣкѣ не переставать видѣть человѣка—не есть ли для насъ долгъ? И если мы видѣли, какъ опять и опять человѣкъ разсматривается только какъ средство, если мы съ отвращеніемъ замѣтили, какъ такимъ же средствомъ становится и сама истина, могли ли мы не отвратиться отъ поколѣнія, которое все это сдѣлало?

2. Въ чемъ главный недостатокъ «наслѣдства 60 — 70-хъ годовъ»?

I.

Въ одномъ разсказѣ мнѣ пришлось, почти еще въ дѣтствѣ, прочесть, какъ въ одинъ незнакомый городъ вошли два путешественника. Побродивъ по улицамъ, они замѣтили, какъ толпы народа направляются всѣ въ одну сторону. Такъ какъ путешественники не имѣли никакой опредѣленной цѣли, то, увлекаемые любопытствомъ, и они пошли вслѣдъ за народомъ. Пройдя нѣсколько улицъ, искривленныхъ и тѣсныхъ, они увидѣли, наконецъ, площадь и на ней очень высокое и обширное зданіе, куда входилъ народъ. Съ волнами его и путешественники вошли подъ своды этого зданія. Изъ нихъ одинъ, очень дѣловитый, тотчасъ началъ осматривать зданіе и незамѣтно подвигаясь, чтобы не нарушить непонятной ему тишины, приближался ко всему, что поражало его сохранившеюся позолотою или казалось ему цѣннымъ камнемъ. Зданіе было удивительно велико, но вмѣстѣ и очень старо, съ потемнѣвшею по стѣнамъ живописью и кое-гдѣ обвалившимися уже камнями. Онъ мысленно измѣрилъ высоту его стѣнъ и сообразилъ, сколько приблизительно строительнаго матеріала пошло на эти стѣны. Подивился и общему искусству

въ его постройкѣ, потому что у себя на родинѣ онъ не видѣлъ такихъ большихъ зданій, но все недоумѣвалъ, зачѣмъ столько труда и денежныхъ средствъ было употреблено на него, потому что очевидно зданіе было неудобно, какъ-то неуютно, и трудно было представить себѣ человѣка съ такими потребностями и вкусомъ, которому оно понравилось бы. Все запомнивъ, все сосчитавъ и рѣшительно не находя, что ему еще дѣлать, онъ вышелъ изъ зданія, только мелькомъ взглянувъ на своего товарища, стоявшаго въ задумчивости и, очевидно, еще не расположеннаго выходить. Между тѣмъ другой путешественникъ, чѣмъ долѣе стоялъ, тѣмъ въ большее впадалъ очарованіе. Ничего подобнаго не видалъ онъ у себя на родинѣ, и созерцаніе общаго, прежде чѣмъ разсмотрѣть что-нибудь подробно, охватывало его все сильнѣе и сильнѣе, такъ что онъ все боялся потерять точку, на которой онъ стоялъ, и не рѣшался пошевельнуться, чтобы къ чему-нибудь подойти. Онъ не понималъ, почему его влекли эти причудливые изгибы линій въ сводахъ, но ощущалъ, что какія-то всегда жившія въ немъ чувства, прежде не пробуждавшіяся, неудержимо поднимаются теперь, и онъ, всегда бывшій, какъ и всѣ люди, точно становится другимъ человѣкомъ. Онъ былъ неизмѣримо серьезнѣе и несравненно чище теперь, нежели когда-нибудь. Вокругъ него стояли толпы народа, все такъ же тихо, и только по временамъ совершая какое-то движеніе. Вдругъ слухъ его поразила тихая музыка, и очарованіе еще возросло. Музыка доходила до самой глубины его сердца, и онъ, грубый и легкомысленный, впервые понялъ, къ какимъ нѣжнымъ ощущеніямъ былъ способенъ. По мѣрѣ того, какъ храмъ передъ нимъ раскрывался, онъ перерождался (по лицамъ окружающихъ онъ догадался теперь, что это въ самомъ дѣлѣ было нѣчто въ родѣ тѣхъ убогихъ молелень, куда по временамъ собирались бѣдняки его города). Прислушиваясь къ музыкѣ и все болѣе очаровываясь, онъ замѣтилъ, что къ нему доносятся какіе-то голоса, и даже, что музыка сопровождаетъ какое-то пѣніе. Заинтересованный, онъ рѣшился, наконецъ, оставить свое мѣсто и продвинуться дальше сквозь тѣсно стоящія толпы народа. Голоса стали внятнѣе, и онъ уже могъ разобрать ихъ смыслъ. Все, что онъ пережилъ раньше въ своей душѣ, чего онъ не могъ преодолѣть въ себѣ, поддаваясь вихрю темныхъ и мучительныхъ ощущеній,—онъ чувствовалъ, что все это въ какой-то великой душѣ было преодолѣно, прояснено, и этотъ свѣтъ все побѣдившей души выражался въ смыслѣ слышанныхъ имъ словъ. На все въ душѣ своей онъ нашелъ въ нихъ отвѣтъ, какого не предполагалъ и который успокаивалъ. Вся его жизнь освѣтилась новымъ свѣтомъ, и онъ понялъ, какъ много мрака было въ этой жизни. Все болѣе и болѣе удивляясь, онъ понялъ, что, однако, не всѣ слова относились къ человѣческому сердцу только. Много было совершенно неясныхъ словъ, говорившихъ о предметахъ вовсе ему

неизвѣстныхъ, и по тону пѣнія можно было замѣтить, что эти слова были главныя. Сколько онъ ни напрягалъ ума, чтобы понять ихъ, это было выше его силъ, и это тѣмъ болѣе волновало и мучило его, что было ясно, какъ за разгадкой этихъ словъ объяснится для него и все остальное. Между тѣмъ времени прошло уже много, необъятныя массы народа вдругъ зашевелились и, незамѣтно для него самого, вынесли его вонъ изъ-подъ темныхъ сводовъ ставшаго для него навсегда дорогимъ, непонятнаго зданія. На одной изъ улицъ онъ встрѣтилъ своего скучающаго товарища, который съ изумленіемъ спросилъ его, неужели онъ до сихъ поръ пробылъ въ этой старѣющей развалинѣ. и что-то заговорилъ про матеріалъ, изъ котораго она построена. Но другой путешественникъ ничего не слышалъ изъ его словъ: онъ все думалъ о главныхъ, непонятныхъ ему словахъ и рѣшился посвятить свою жизнь ихъ разгадкѣ.

Этотъ разсказъ, помню, чрезвычайно поразилъ меня (въ какомъ-то переводномъ французско-русскомъ сборникѣ 20-хъ годовъ), и съ тѣхъ поръ всякій разъ, какъ мнѣ приходится мысленно оцѣнивать различныя историческія эпохи или присматриваться къ своему времени, я всегда и все оцѣниваю въ свѣтѣ этого разсказа. Мы всѣ приносимъ съ собою, рождаясь, различное; міръ открывается намъ въ мѣру того, что̀ мы съ собой приносимъ въ этотъ міръ. Поэтому, когда въ данное время всѣ идеи съуживаются, горизонтъ становится тѣсенъ, и люди какъ будто погружаются въ какой-то глубокій колодезь, я думаю, что это только на время и со слѣдующимъ поколѣніемъ все станетъ видно иначе, чѣмъ теперь. Во всемъ дурномъ или ограниченномъ виновны всегда люди, а не природа, которая и безгранична, и всегда остается хороша.

II.

Никакъ нельзя сказать, чтобы путешественникъ, первымъ вышедшій изъ храма, видѣлъ въ немъ что-нибудь не такъ; или не то, что тамъ было. Его глазъ не дѣлалъ никакой ошибки, и такъ же всѣ его соображенія, которыя слѣдовали за осмотромъ той или другой части, были правильны, неторопливы, соотвѣтствовали дѣйствительности. Но только *не всей они дѣйствительности соотвѣтствовали*: была неполнота въ его наблюденіяхъ, и только отчасти зависѣло отъ него, что онъ поторопился выйти. Главная причина заключалась въ томъ, что онъ какъ-то вовсе не обратилъ вниманія на общую скомпановку частей, и, разсмотрѣвъ порознь каждую изъ этихъ частей, былъ увѣренъ, что видѣлъ уже и цѣлое, конечно изъ нихъ состоявшее. Отъ него ускользнуло самое главное: эта общая бѣгучесть всѣхъ линій зданія, пересѣкавшихся такъ, что у всякаго, смотрящаго на нихъ, невольно пробуждались какія-то особенныя чувства, не имѣвшія ничего общаго

съ линіями, какъ геометрическими протяженіями. И въ храмѣ, имъ такъ подробно, детально изученномъ, онъ ничего не понялъ. Онъ не понялъ того замысла, который былъ нѣкогда въ него вложенъ, всѣми ощущался непреодолимо и заставлялъ эти необозримыя толпы народа, оставляя самыя нужныя дѣла свои, приходить подъ его своды и, на минуту ощутивъ въ себѣ могучую мысль, возвращаться съ новыми и освѣженными силами къ своему труду, заботамъ и страданіямъ.

Въ поколѣніи, которое сѣтуетъ теперь, что оно оставляется, была эта же главная ошибка. Оно было хлопотливо, зорко, ежеминутно дѣятельно. Но въ томъ, къ чему оно прилагало свою дѣятельность, они ничего не поняло. И вмѣсто того, чтобы своимъ неустаннымъ трудомъ залѣчить, наконецъ, всѣ раны, покрыть тысячелѣтнія страданія—оно разбередило эти раны, увеличило эти страданія. Послышался, наконецъ, крикъ, почувствовалась ненависть—и люди, которые думали, что они станутъ для человѣчества какъ боги, стали только грудой черепковъ, съ презрѣніемъ отталкиваемыхъ. Въ жизни, въ природѣ человѣка, въ окружающемъ его мірозданіи, это поколѣніе поняло только однѣ подробности и вовсе упустило то главное, что ихъ связуетъ, формируетъ въ разбѣгающіяся группы и оживляетъ собой. Неполнота знанія, при его вѣрности; отсутствіе въ этомъ знаніи самыхъ глубокихъ и значительныхъ частей—это было самое важное, чего сходящее съ исторической сцены поколѣніе не замѣтило въ себѣ. И уже изъ этого, какъ вторичное, вытекла грубость всѣхъ чувствъ и отношеній, въ которой такъ часто и справедливо его упрекаютъ. Все искажающая, все живое мучащая дѣятельность его была естественнымъ завершеніемъ этого поверхностнаго вниманія ко всему живому.

III.

Въ человѣкѣ, со стороны должнаго, они поняли только его потребности; въ жизни увидѣли только игру слѣпыхъ отношеній, которыя не могутъ не улучшиться, если къ ихъ направленію будетъ приложено сознаніе; въ цѣломъ мірѣ замѣтили только протяженія, которыя можно измѣрить, исчислить и, сообразивъ подробности,—понять остальное въ немъ, какъ ихъ простую сумму. Во всемъ, къ чему они обращались, они надѣялись и хотѣли найти только соотвѣтствія другимъ сторонамъ своей природы. Тѣ сухія, блѣдныя формы человѣческаго существованія, которыя впервые были замѣчены и описаны Аристотелемъ, потомъ дополнены Бэкономъ—эти формы, въ самомъ существѣ человѣческомъ задѣвающія лишь часть,—они думали, охватываютъ и части, и цѣлое всего мірозданія. Общихъ, разбѣгающихся и пересѣкающихся линій, которыя бы открыли имъ главный смыслъ этого мірозданія, они не замѣтили,

все только *анализируя* его; напротивъ, себя самихъ и то, изъ чего слагается ихъ жизнь, они не поняли и не узнали до конца, все только *синтетически* слагая и перелагая жизнь человѣческую по грубымъ потребностямъ человѣка. Эта неумѣлость отнестись мыслью къ предмету и была главнымъ источникомъ неполноты ихъ знанія. И въ самомъ дѣлѣ, категорія мышленія, правильно развивающихся понятій, есть едва ли единственная, по которой создана природа. Въ какія логическія формы можетъ быть уловлено чувство радости, которое мы порою испытываемъ?

И, однако, эти акты нашей душевной жизни суть такая же дѣйствительность, какъ и то, что мы видимъ или осязаемъ: они суть части природы, которую мы хотѣли бы постигнуть только своимъ умомъ. И въ самой природѣ этой, которую мы надѣемся охватить только научными формулами (то-есть подвести всю подъ категорію мысли),—развѣ мы можемъ утверждать, что въ ней нѣтъ ничего подобнаго этимъ актамъ, если именно ея продолжительное созерцаніе и смущаетъ, и тревожитъ, и неизъяснимо волнуетъ насъ? Эти чувства, пробуждающіяся въ насъ въ отвѣтъ на впечатлѣнія природы, чему въ ней отвѣчаютъ, когда мыслимое въ ней только мыслится, опасное—угрожаетъ, или, наконецъ, благотворное—приноситъ пользу? Не ясно ли, что если всякому ощущенію есть соотвѣтственное ощущаемое, какъ слѣдствію есть сообразная причина, то и тѣ особенныя, не укладывающіяся ни въ какую форму мысли и волненія, которыя всегда и всюду испытывали люди при созерцаніи мірозданія и которыя они выразили въ своей поэзіи, въ своихъ религіяхъ, *имѣютъ также въ самой природѣ нѣчто отвѣчающее себѣ*, хотя бы это отвѣчающее было также мало уловимо для опредѣленія, или даже просто выразимо въ ясномъ словѣ, какъ напримѣръ то, что выражено въ мелодіи мало можетъ быть передано въ разсказѣ или изложено въ разсужденіи. Мы здѣсь коснулись одного соотвѣтствія, а между тѣмъ природа вся состоитъ изъ нихъ, и ничто другое, какъ эти соотвѣтствія, не проливаетъ такого свѣта на ея цѣльность. Опуская ихъ изъ виду, занимаясь лишь изученіемъ причинъ и ихъ дѣйствій, цѣлая школа мыслителей, и за ними наше старшее теперь поколѣніе, лишили себя одного изъ самыхъ могущественныхъ средствъ проникновенія въ природу и даже простого знанія множества ея подробностей. И въ самомъ дѣлѣ, изъ этихъ послѣднихъ каждая есть только *часть* иного, и, какъ таковая, она полна бываетъ отраженій въ себѣ и этого иного, и другихъ частей его. Нерѣдко ни части эти, ни цѣлое, въ которое онѣ входятъ, не бываютъ доступны прямому наблюденію, и между тѣмъ знаніе ихъ важно и необходимо. Всматриваясь же, съ чѣмъ могла бы быть въ соотвѣтствіи наблюдаемая нами часть, мы приблизительно, а иногда и точно, можемъ открыть и узнать и недостающее цѣлое, и его остальныя части.

Все сказанное яснѣе и убѣдительнѣе станетъ, если мы возьмемъ какой-нибудь примѣръ. Такъ пусть передъ нами находится какой-нибудь обрывокъ кривой линіи. Всматриваясь въ него, мы можемъ замѣтить, что кривизна его или правильно измѣняется, или остается всюду одинаковой. Въ послѣднемъ случаѣ мы умозаключаемъ, что онъ составляетъ дугу круга съ опредѣленнымъ радіусомъ и опредѣленнымъ же центромъ. По обрывку, уцѣлѣвшему предъ нами, всматриваясь въ его кривизну, мы безъ труда находимъ и этотъ центръ, и этотъ радіусъ и, наконецъ, отыскиваемъ полный кругъ, хотя все это болѣе не наблюдается нами. Но это все *отражается* въ искривленіи той маленькой линіи, которая одна теперь передъ нами и которую мы поняли какъ *часть*. Такимъ образомъ связность природы и ея цѣльность ни черезъ что не можетъ быть видима такъ удобно, какъ черезъ это изученіе въ ней соотвѣтствій; только послѣднія образуютъ собой *истинныя*, хотя и не ощущаемыя *границы всякой вещи и явленія*, далеко преступающія ихъ осязаемыя, грубыя границы, однѣ доступныя грубому прямому наблюденію. Черезъ эти именно, одной *мысли* открывающіяся, границы и происходитъ взаимодѣйствіе вещей, которыя иначе въ своихъ грубыхъ формахъ лежали бы всегда неподвижно другъ возлѣ друга, толкаясь или давя одна другую и болѣе неспособныя ничего произвести. Два факта— химическаго сродства вещей и всемірнаго притяженія — именно здѣсь и находятъ себѣ хотя какое-нибудь объясненіе. «Причина дѣйствуетъ только тамъ, гдѣ она есть», повторяли схоластическую и, повидимому, очень точную формулу при открытіи Ньютономъ его закона, и не могли понять, какимъ образомъ одно тѣло, здѣсь находящееся, можетъ дѣйствовать на другое тѣло, отъ него удаленное; причемъ границами предмета или явленія, составляющаго причину, считали его физическія, внѣшнія очертанія. Но гдѣ границы обрывка линіи, предъ нами лежащей? Ясно, что, сверхъ тѣхъ точекъ, которыя въ ней еще не стерты, еще не успѣли исчезнуть, отъ нея идутъ другіе, неощутимые ряды точекъ, которыя, взявъ карандашъ и присматриваясь къ сохранившемуся обрывку, мы безо всякаго затрудненія возстановляемъ около него—и линія въ дѣйствительности оканчивается только тамъ, гдѣ оканчивается кругъ, къ которому она принадлежитъ. Подобнымъ образомъ и во всемірномъ тяготѣніи проявляется связанность всей вселенной, и взаимное дѣйствіе въ ней отдаленныхъ другъ отъ друга тѣлъ происходитъ потому, что они, какъ части въ великомъ цѣломъ, всѣ ощущаютъ другъ друга черезъ тѣ невидимыя, неощутимыя границы свои, которыя далеко преступаютъ ихъ геометрическія очертанія и могутъ быть открыты только уму. Такъ въ обрывкѣ дуги, предъ нами лежащей, если бы мы стали медленно разгибать ее—медленно же удалялся бы отъ нея центръ круга, къ которому она принад-

лежитъ, и при ея окончательномъ выпрямленіи отошелъ бы на безконечность. А между тѣмъ, физически мы не коснулись бы этого центра, и заставляя отходить его—вовсе бы его не видѣли.

Когда были открыты физическіе элементы, то, изучая ихъ сродство, ученые думали въ началѣ, что они влекутся другъ къ другу, потому что они одинаковы и ихъ семейства схожи. Однако, при детальномъ изученіи каждаго элемента порознь, они съ удивленіемъ замѣтили, что свойства влекущихся взаимно элементовъ скорѣе характеризуются отношеніемъ противоположности. Между тѣмъ въ этомъ именно и лежитъ источникъ самаго сродства. Нельзя представить себѣ, что природа составилась изъ элементовъ, какъ самостоятельныхъ, въ себѣ самихъ замкнутыхъ тѣлъ, которыя отъ начала лежали другъ возлѣ друга, потомъ стали взаимодѣйствовать и черезъ это образовали всѣ тѣла. Элементы суть продукты насильственнаго расторженія тѣлъ, и эти послѣднія вовсе не позднѣе ихъ: они — ихъ *первѣе* въ томъ смыслѣ, что, ранѣе чѣмъ элементы появились изолированно, были уже тѣла, въ которыя они входили. И оттого съ такою силою, иногда взрывомъ, элементы соединяются. Взрывъ есть показатель того чрезвычайнаго усилія, которое теперь повторяется и было употреблено раньше, чтобы раздѣлить влекущіеся вновь другъ къ другу элементы. Изъ нихъ есть многіе, которые, не смотря на всѣ усилія анализа, долгія десятилѣтія оставались скрытыми для человѣка, то-есть они не отщеплялись отъ тѣлъ и, только благодаря чрезвычайному напряженію, при помощи особыхъ и въ высшей степени искусственныхъ средствъ, наконецъ были удалены изъ своего всегдашняго гнѣздилища и предстали предъ человѣкомъ изолированно. Такимъ образомъ, химическое сродство есть то же, что частное сродство и вытекаетъ изъ всегдашняго взаимодѣйствія въ цѣломъ (тѣлѣ) его частей (элементовъ). Отсюда разнородность всего влекущагося. Уже въ простѣйшемъ примѣрѣ, который мы взяли для объясненія этого явленія — въ обрывкѣ геометрической линіи, эта линія связуется, возстановляетъ около себя части не себѣ подобныя, но отъ себя отличныя: радіусъ, то-есть совершенно прямую линію, и центръ, то-есть точку, находящуюся внѣ дуги окружности.

И, наконецъ, еслибы кто-нибудь, продолжая сомнѣваться въ сказанномъ, все-таки утверждалъ, что цѣлое непремѣнно составляется изъ своихъ частей, а не потомъ на нихъ разлагается, тотъ могъ бы быть поколебленъ въ своемъ мнѣніи сосредоточеніемъ своего вниманія на своемъ собственномъ тѣлѣ: въ той первоначальной, одиночной клѣточкѣ, изъ которой развился весь его организмъ, какая часть его тѣла была заложена? не ясно ли, что эта клѣточка не была ни костью, ни мускульнымъ волокномъ, ни частію нервной ткани, ни вообще какимъ-нибудь элементомъ его тѣла, а именно имъ цѣлымъ, которое потомъ разложилось на элементы?

Хотя, повторяемъ, клѣтка была только одна и на всемъ протяженіи однородна, она ни изъ чего не составилась, но прямо отдѣлилась отъ родительскаго организма. Итакъ, въ этомъ примѣрѣ мы съ очевидностью наблюдаемъ, что цѣлое можетъ быть первѣе своихъ элементовъ, хотя несомнѣнно состоитъ изъ нихъ; подобнымъ же образомъ, можно думать, отъ начала мірозданія, при всякихъ высокихъ температурахъ, были только болѣе и болѣе разрѣженные пары воды, но вовсе не было отдѣльно другъ возлѣ друга лежавшихъ элементовъ, которые, соединившись, образовали изъ себя воду.

Въ фигурѣ геометрической, какъ чистомъ протяженіи, мы наблюдаемъ между частями только геометрическую связность; въ тѣлахъ физическихъ эта связность есть и должна быть физическою; послѣдняя и выражается въ *дѣйствіи*. Дуга круга лишь указываетъ въ своей кривизнѣ на положеніе центра и длину радіуса; но возстановить ихъ, по строгимъ указаніямъ дуги, можемъ лишь мы. Это потому, что протяженность есть лишь сфера физической возможности, есть условіе, при которомъ всѣ предметы и явленія только *могутъ* существовать; но дѣйствительность начинается лишь тамъ, гдѣ протяженность наполняется протяжимымъ, т. е. веществомъ. Тамъ, гдѣ оно уже появляется, не нужна рука посторонняго существа, чтобы указываемое осуществить, намѣченныя точки наполнить какимъ-нибудь оттѣняющимъ ихъ веществомъ. Здѣсь указаніе замѣняется осуществленіемъ, намѣчиваніе — дѣйствительнымъ возстановленіемъ около себя цѣлаго. Когда химическій элементъ съ силою притягиваетъ къ себѣ недостающіе ему (до цѣлаго тѣла) другіе элементы, располагаетъ ихъ около себя и получается цѣльное тѣло — предъ глазами наблюдателя происходитъ то же явленіе, какъ еслибъ изъ средины дуги, предъ нимъ лежащей, вытянулась линія и, остановившись на извѣстномъ разстояніи отъ этой дуги, изъ точки своей остановки, повторилась по всѣмъ направленіямъ безчисленное число разъ, съ каждымъ разомъ прибавляя своею оконечностью новую точку къ прежней дугѣ, пока она не сомкнулась бы въ полный кругъ. Природа въ наблюдаемыхъ формахъ своихъ подобна множеству такихъ обрывковъ геометрическихъ линій, которые, повидимому, изолированы, но въ дѣйствительности всѣ сцѣплены между собой и взаимодѣйствуютъ чрезъ не наблюдаемыя, только мыслимыя добавленія себя до цѣлаго. Здѣсь и лежитъ источникъ физическихъ силъ. Ихъ разнородность, ихъ численность зависитъ отъ того, что разнородны и многочисленны самыя соотвѣтствія, въ которыхъ находятся между собой части вселенной. Но что всѣ онѣ вытекаютъ изъ одного какого-то источника, имѣютъ въ своемъ основаніи какую-то одну особенность въ сложеніи всей природы,—это видно изъ того, какъ все-таки много одинаковаго въ проявленіяхъ самыхъ разнородныхъ силъ.

IV.

Человѣкъ, какъ часть природы, не составляетъ въ этомъ отношеніи исключенія; но, вмѣсто бѣдныхъ и однообразныхъ соотвѣтствій, которыя связываютъ каждый физическій предметъ съ окружающею средой, соотвѣтствія человѣческой природы со всѣмъ міромъ и многочисленны, и разнородны. Какъ организмъ, какъ рядъ сгруппированныхъ веществъ, онъ соотносится со всѣми физическими стихіями природы. Но, сверхъ этого грубаго соотношенія, мы находимъ въ немъ другое, неизмѣримо болѣе глубокое: въ его душу какъ бы вложены завитки всего мірозданія и, повинуясь ихъ естественному расположенію, онъ влечется такъ своимъ умомъ и своимъ чувствомъ ко всему же мірозданію—возсоздаетъ его въ поэзіи, понимаетъ чрезъ науки и философію, стремится разгадать его сокровенную сущность въ своихъ религіяхъ. Нѣтъ ничего въ природѣ, не исключая самыхъ тонкихъ и неуловимыхъ ея изгибовъ, что, такъ или иначе, не находило бы доступа въ человѣка: и это значитъ, что въ немъ самомъ уже есть предчувствіе, предугадываніе всего, что лежитъ въ природѣ. По справедливости, отношеніе его къ ней не только сходно, но и во всей строгости повторяетъ собою отношеніе къ многолѣтному ветхому дереву плода, который наконецъ вызрѣлъ на немъ и упалъ на землю: въ скрытой возможности, въ законахъ и силахъ своего роста, этотъ плодъ заключаетъ все, что есть и въ деревѣ — всѣ элементы его, и всѣ законы и силы, и подобную же жизнь. Міръ духовнаго творчества, выростающій изъ человѣка, есть только послѣдствіе этого отношенія его къ природѣ.

Понять это особенное существо, и притомъ будучи имъ самимъ, такъ плоско и бѣдно, какъ понятъ былъ человѣкъ людьми нашего старшаго поколѣнія—это есть одно изъ самыхъ удивительныхъ явленій исторіи. Какъ будто люди эти никогда не задумывались ни надъ мыслью своею, ни надъ движеніями своего сердца, ни наконецъ надъ своимъ рожденіемъ и ожидавшею ихъ смертью. Это были дѣти, которыя найдя въ полѣ яблоко, поняли только то, что его можно съѣсть; какіе-то трудолюбивые муравьи, которые, со всѣхъ сторонъ таща къ себѣ былинки и все, что облетало съ природы и было еще прекрасно, знали только одно, что изъ всего этого можно построить ихъ муравейникъ. Страшная бѣдность мысли, отсутствіе какой бы то ни было вдумчивости—вотъ что сильнѣе всего поражаетъ насъ въ этомъ поколѣніи, одномъ изъ самыхъ жалкихъ и скудно одаренныхъ въ исторіи. Не безпричинна была и какая-то странная недолговѣчность его, и это отсутствіе хотя бы одного геніальнаго дарованія на всемъ его протяженіи, и какое-то органическое отвращеніе, которое выказывало къ нему богато-одаренное поколѣніе 40—50-хъ

годовъ [1]). Съ непоколебимостью дѣтей, съѣдающихъ яблоко, съ твердостью муравья, который, не развлекаясь никакою мыслью, дырявитъ живое зерно, чтобы положить его въ свою кучу, и эти люди перерывали всѣ естественныя отношенія въ сложившейся по глубокимъ законамъ жизни, чтобы воздвигнуть среди этой жизни свою кучу-жилище. Такъ какъ въ богатой, многообразной и могучей дѣйствительности, выросшей изъ исторіи, не было и тѣни подобія ихъ бѣдной и искусственной постройки, то естественно имъ казалось, что они «строятся въ пустынѣ» [2]). Какъ къ песку пустыни, который лѣпится съ глиной въ кирпичи, и кладется то въ основаніе, то въ вершину зданія — они относились къ живымъ людямъ. И себя не жалѣли они при этой постройкѣ, лѣпились, надрывались и падали какъ муравьи; не жалѣли также и другихъ людей, вовсе не знавшихъ, что у нихъ дѣлается. Отсюда — вся боль, которую вызвала эта дѣятельность. Повторяемъ, не грубость чувства, но ошибка узкаго ума есть главное, что причинило всѣ пережитыя нами недавно несчастія. Напрасно окружающіе люди говорили, что они вовсе не тѣмъ живутъ, что приписываютъ имъ «строители», напрасно о томъ же говорила имъ вся исторія—они слышали все это, но ничего въ этомъ не поняли. Имъ все казалось, что они лучше всѣхъ другихъ узнали человѣческую природу, хотя въ дѣйствительности они только бѣднѣе всѣхъ ее поняли. Они взяли minimum человѣческихъ потребностей, и по этому minimum'у, съ нимъ сообразуясь, стали возводить зданіе, которое для нихъ самихъ было бы тѣсно и узко (еслибъ имъ пришлось въ немъ пожить подольше), и куда они хотѣли бы на вѣки заключить все человѣчество. Эта мечта лишенной воображенія мысли стала ихъ инстинктомъ, нормой ихъ дѣятельности и мышленія. Все, что выходило за ея узкіе предѣлы, или что ей противорѣчило, они считали какъ бы за призракъ Майи, который нужно разорвать, уничтожить, дабы прозрѣть чрезъ него въ дѣйствительность. Народы, тысячелѣтія, ихъ борьба и страданія—все это было для нихъ менѣе ощутимо и убѣдительно, нежели то чувство страшной боли, которое поднималось въ ихъ бѣдномъ умѣ всякій разъ, какъ только пытались пошевелить въ немъ какъ-нибудь не такъ овладѣвшую имъ идею. Здѣсь, въ этой душевной скудости, и заключалось главное зло, которое могло перестать искажать исторію лишь тогда, когда ея вѣчно растущій стволъ покроется новымъ налетомъ листьевъ.

---

[1]) Тургеневъ, который, даже и въ послѣдніе годы, не всегда могъ скрыть это чувство (см. его переписку); Достоевскій—во всѣхъ своихъ произведеніяхъ; Л. Толстой въ отношеніи къ сожалѣемой имъ, но лишь въ ея уродствѣ, фигурѣ Николая Левина; наконецъ Гончаровъ въ лицѣ Марка Волохова. Только само это поколѣніе какъ прежде, такъ и теперь всегда восхищалось собой.

[2]) Выраженіе г. Н. Михайловскаго, поддерживаемое и «Вѣстникомъ Европы» (см. 1891 г., май, статья «Писатель 60-хъ годовъ»).

V.

И эта смѣна зеленаго убора снова совершается. Напрасны жалобы и сѣтованія опадающихъ листьевъ: имъ не повернуть солнца на зиму. На себѣ самихъ, на своей судьбѣ, хотя бы въ послѣднія минуты своего трепетанія, они могли бы понять сколько-нибудь ту природу, въ которой выросли и на которую никогда не хотѣли раскрыть глазъ.

Мы снова обратимся къ сравненію, которымъ начали эту статью. Въ храмѣ, въ который вошли два путешественника-друга, было для нихъ обоихъ открыто одно и тоже; но увидѣли въ немъ они различное, и на этомъ увидѣнномъ и понятомъ они разошлись на вѣки. Кто изъ нихъ былъ болѣе правъ? Тотъ, кто посмотрѣлъ полнѣе. Вѣдь и второй путешественникъ, такъ долго простоявшій въ задумчивости среди храма, видѣлъ въ немъ все, что видѣлъ и первый — и высоту стѣнъ, и матеріалъ, изъ котораго онѣ выстроены, и его приблизительную стоимость; но это было не все, что онъ увидѣлъ здѣсь. По причинамъ, за которыя ему нужно было благодарить природу-мать, его глазу дана была воспріимчивость къ гармоніи красокъ и линій, а его слуху—воспріимчивость къ сочетаніямъ звуковъ. Не только шумъ и не простые переливы зеленаго и синяго цвѣтовъ различилъ онъ, стоя здѣсь, но понялъ выразительную музыку, и исполненную смысла живопись и архитектонику частей. Что было дѣлать ему, если его бѣдному другу не дано было различить всего этого: онъ не могъ выйти вслѣдъ за нимъ. И между тѣмъ, когда они снова встрѣтились на улицѣ, ему было чрезвычайно трудно что-нибудь объяснить этому другу. Здѣсь сказалось простое несоотвѣтствіе задатковъ, которые отъ начала были вложены въ ихъ души. Еслибъ онъ указалъ ему на сводчатыя линіи колоннъ, замыкавшихся въ куполъ, его другъ отвѣтилъ бы, что эти колонны дѣйствительно сводчаты и что на верху куполъ; но что было дальше объяснять ему, и какъ объяснять? Чувство, выраженное линіями зданія или красками картины, прошедшее когда-то черезъ душу мастера и вновь пробуждающееся потомъ во всякомъ, кто *умѣетъ* смотрѣть на его созданіе,—вотъ чего невозможно передать другому.

Кстати, въ этомъ явленіи, столь непонятномъ одному и понятномъ другому, удивительнымъ образомъ отражается общій смыслъ двухъ міровоззрѣній, изъ которыхъ одно теперь становится на мѣсто другаго. Мы уже сказали, что грубость мысли, способной лишь къ поверхностнымъ наблюденіямъ и заключеніямъ, была главнымъ недостаткомъ людей 60—70-хъ годовъ, и что послѣдствіемъ этого недостатка была невѣрность ихъ воззрѣній, какъ на окружающую природу, такъ и на самого человѣка. Въ частности, что касается послѣдняго, онъ считался этимъ поколѣніемъ простымъ продолже-

ніемъ физической природы, наиболѣе сложною комбинаціей ея элементовъ и силъ. Его духъ, его идеи и вѣрованія, его стремленія въ исторіи—все это считалось только производнымъ отъ его физическихъ данныхъ *на основаніи того, что съ измѣненіемъ этихъ данныхъ всегда наступало измѣненіе психической дѣятельности.* Но вотъ предъ нами нарисованный образъ и всякій разъ, когда мы на него смотримъ, въ насъ пробуждается чувство неопредѣленной грусти. Это чувство, намъ передающееся отъ картины и уже въ ней заключенное, есть по отношенію къ краскамъ, которыми она нарисована, то-же, что душа въ человѣкѣ по отношенію къ тѣлу, въ организаціи котораго она выражена. Это—слабая, мерцающая тѣнь, которая въ своемъ отраженіи вѣрно показываетъ взаимныя границы двухъ связанныхъ существъ, на которыя взглянуть прямо намъ никогда не суждено. И въ самомъ дѣлѣ, не измѣняется ли чувство, выраженное въ нарисованномъ образѣ, всякій разъ какъ только измѣняется въ немъ какое-нибудь расположеніе красокъ? Вотъ кто-нибудь беретъ кисть и подходитъ къ нему: по мѣрѣ того, какъ кисть снимаетъ что-нибудь въ краскѣ, или сдвигаетъ прежде раздѣленныя линіи—непонятнымъ образомъ чувство прежде проникавшее картину начинаетъ померкать и померкать, оно становится менѣе отчетливо, труднѣе воспринимается смотрящимъ и, когда перемѣшеніе красокъ дѣлается значительнымъ — пропадаетъ окончательно. Мы имѣемъ передъ собой краски—тѣ же, какія и были,—но иначе размѣщенныя, изъ которыхъ совершенно исчезло то, что прежде свѣтилось сквозь нихъ, и такъ привлекало и волновало каждаго. Теперь онѣ могутъ быть размѣщены какъ угодно, никакой принудительной необходимости въ ихъ расположеніи нѣтъ: это — только безжизненное вещество, свободно движущееся туда и сюда. Но прежде онѣ были связаны въ своемъ расположеніи. Что ихъ связывало? Чувство, прошедшее нѣкогда по душѣ неизвѣстнаго мастера, которое онъ захотѣлъ выразить, и для этого собралъ и расположилъ краски ему извѣстнымъ, опредѣленнымъ способомъ. Именно это чувство—*актъ живой человѣческой души*—необъяснимо завязалось въ вещества, которыя, повидимому, только извѣстнымъ образомъ поглощаютъ и отражаютъ лучи спектра. Есть ли этотъ психическій актъ только послѣдствіе, вытекающее изъ размѣщенія красокъ? Нѣтъ, онъ по времени предшествовалъ этому размѣщенію, и никогда бы не произошло послѣдняго, еслибы не было нужды закрѣпить этотъ актъ. Куда же исчезаетъ онъ, когда картина погибла? Въ гибели ея, въ стираніи красокъ мы видимъ обратное геометрическое передвиженіе веществъ, нѣкогда сдвинутыхъ для воспріятія психическаго акта, который предшествовалъ этому движенію. *Тамъ*, мы знаемъ, этимъ сдвиганіемъ не былъ созданъ психическій актъ,—и онъ не могъ исчезнуть *здѣсь* — въ обратномъ перемѣщеніи красокъ, онъ просто сталъ неощутимъ, не выраженъ болѣе. Но въ

душѣ, одно движеніе которой онъ составилъ когда-то, онъ запомненъ и продолжаетъ быть. Здѣсь въ этомъ явленіи, каждая черта, котораго намъ извѣстна и понятна, мы съ очевидностью наблюдаемъ, какъ самая тѣсная обусловленность двухъ существъ совершенно соединима съ ихъ полною разнородностью, и также видимъ, какъ появленіе и исчезновеніе предъ нами одного существа въ зависимости отъ измѣненія другаго есть только обнаруженіе и скрытіе того, что въ дѣйствительности было прежде этого обнаруженія и всегда послѣ него останется. Простая ошибка въ умозаключеніи была причиной, что міръ поэзіи, религіи и нравственности остался непонятымъ и навсегда закрытымъ для поколѣнія, которое должно бы сѣтовать на себя только, а между тѣмъ сѣтуетъ на другихъ.

3. Европейская культура и наше къ ней отношеніе.

I.

Въ іюньской и іюльской книжкахъ *Вѣстника Европы* за 1891 г. рубрика «Изъ общественной хроники», всегда наиболѣе живо отражающая текущіе интересы журнала, посвящена обсужденію и осужденію разныхъ замѣчаній, высказанныхъ въ послѣднее время нашими публицистами относительно западно-европейской цивилизаціи.

«Западъ гніетъ, западъ разлагается» — такова была, говоритъ почтенный журналъ, пятьдесятъ лѣтъ назадъ одна изъ любимыхъ формулъ только-что зарождавшагося славянофильства. *Теперь славянофильство, какъ организованное цѣлое, болѣе не существуетъ. Его основатели давно сошли со сцены; исчезли и непосредственные ихъ преемники*, поддерживавшіе такъ или иначе первоначальныя традиціи школы; *остались только кое-какіе обрывки нѣкогда стройнаго ученія*, повторяемые другими людьми, въ другомъ тонѣ и съ другою цѣлью. Уцѣлѣла въ этомъ смыслѣ и формула, приведенная нами выше. Попрежнему чувствуется въ ней *высокомѣрное отношеніе къ «чужимъ» и «чужому»*, попрежнему слышится *благодарность судьбѣ, сдѣлавшей насъ иными — лучшими*, болѣе сильными и свѣжими, чѣмъ наши «ближніе» (іюнь, 1891 годъ, стр. 882).

Въ этомъ отрывкѣ, какъ въ крошечномъ лоскуткѣ огромнаго покрывала, которымъ вотъ уже нѣсколько десятилѣтій писатели враждебнаго лагеря силятся задернуть отъ общественнаго вниманія славянофильскую теорію, ясно можно видѣть истинную причину постоянной безуспѣшности подобныхъ усилій: въ сферѣ мысли можно бороться только мыслью, но ничего нельзя сдѣлать словами, какъ бы много ихъ не было набрано. И въ самомъ дѣлѣ, въ

приведенной тирадѣ всѣ слова стоятъ какъ-то врозь, едва цѣпляясь другъ за друга грамматически и совершенно не удерживаясь въ какой-бы то ни было логической связи: какое отношеніе между смертью основателей славянофильства и ихъ непосредственныхъ преемниковъ и самою теоріей ими завѣщанной? Кто и когда «организовалъ» славянофильство и что вообще могутъ означать слова «организованное славянофильство»? Но написавшему всѣ эти непонятныя выраженія кажется, что въ нихъ есть какая-то убѣдительность, и въ непріятномъ ученіи онъ уже видитъ «обрывки».

Въ томъ и заключается сила славянофильства, что, будучи идеей немногихъ избранныхъ умовъ и имѣя противъ себя всю огромную массу образованнаго общества, оно всегда критически относилось къ своему содержанію, постоянно пополняло его и очищало. Отсюда такая органичность въ развитіи этого ученія, постоянный преемственный ростъ, какого и тѣни мы не находимъ въ ученіи «западниковъ», и до сихъ поръ все повторяющихъ общія мѣста, встрѣчавшіяся уже у Бѣлинскаго и его современниковъ [1]). На какой трудъ, подобный, напримѣръ, *Россіи и Европѣ* покойнаго Н. Я. Данилевскаго, *по сложности, по системѣ развиваемой мысли*, могутъ указать западники въ своемъ лагерѣ? Гдѣ у нихъ эта страстность и чистота убѣжденности, какія есть у Константина Аксакова? Эта прелесть и сила рѣчи, которою, независимо отъ всякаго содержанія, мы любуемся невольно въ *Національной политикѣ* и другихъ многочисленныхъ статьяхъ К. Леонтьева? По истинѣ, силою и разнообразіемъ дарованій, богатствомъ и сложностью мысли, высокимъ уваженіемъ къ Европѣ и страстною любовью къ своей родинѣ славянофилы такъ ярко выдѣляются на тускломъ фонѣ нашего общества, что, какъ бы ни было многочисленно послѣднее, раньше или позже ему придется только преклониться передъ этими избранными натурами, которыя оно изъ себя выдѣлило. Въ этомъ ряду мыслителей, художниковъ и поэтовъ, соединенныхъ между собою единствомъ воззрѣній и симпатій, мы находимъ такую твердость убѣжденія и силу преданности, о которую всегда разобьется всякій праздный смѣхъ, къ какому уже съ самаго ранняго времени стали прибѣгать ихъ противники. Высказанное впервые И. Кирѣевскимъ, развитое и углубленное Хомяковымъ, возведенное въ систему Н. Я. Данилевскимъ, ученіе это продолжаетъ развиваться и до сихъ поръ. Въ замѣчательныхъ трудахъ К. Леонтьева мы видимъ послѣднюю трансформацію этого ученія, и еслибы западническая критика не ограничивалась повтореніемъ общихъ мѣстъ, *еслибъ она дѣйствительно*

[1]) Вообще въ развитіи «западническаго» ученія нѣтъ ни преемственности, ни роста, и это выражается въ простомъ фактѣ, что *исторія* его не написана и не можетъ быть написана. Напротивъ, исторія славянофильской теоріи существуетъ.

имѣла силы бороться—она давно подвергла бы систематическому обсужденію идеи, высказанныя послѣднимъ въ книгѣ *Востокъ, Россія и Славянство*, или въ брошюрѣ *Національная политика, какъ орудіе всемірной революціи*. Мысль, кажется, заслуживаетъ того, чтобы къ ней отнеслись съ мыслью. «Я праздновалъ бы великій праздникъ радости, еслибы кто-нибудь несомнѣнными доводами убѣдилъ меня, что я заблуждаюсь», сказалъ этотъ писатель въ одномъ изъ своихъ трудовъ; и неужели это сознаніе своего безсилія отказаться отъ того, что, быть можетъ, составляетъ мученіе жизни и, однако, истинно,—не въ состояніи пробудить въ окружающихъ людяхъ интереса къ этимъ особеннымъ и печальнымъ мыслямъ очевидно сильнаго ума и честнаго сердца?

Но если таково отношеніе къ живой мысли въ нѣдрахъ самой литературы, то не утрачиваетъ ли эта литература всякое право на какое-нибудь особенное уваженіе общества, руководить которымъ, однако, берется? «Споръ выясняетъ истину», повторяется въ печати постоянно, и этимъ она высказываетъ требованіе для себя свободы и вліянія. Но вотъ истина высказана; она ярка и значительна; но только потому, что она вмѣстѣ и непріятна, она заволакивается отъ общества молчаніемъ и погибаетъ подъ тяжестью голосовъ сегодня интересующихся однимъ, завтра другимъ — безъ которыхъ, быть можетъ, эта важная истина была бы услышана обществомъ и обдумана. Въ частности *Вѣстникъ Европы*, которой вотъ уже четверть вѣка держитъ среди нашего общества знамя западно-европейской культуры, еслибы онъ хоть сколько-нибудь понималъ обязанности, вытекающія изъ положенія занятаго имъ въ литературѣ,—давно и первый заговорилъ бы онъ объ этихъ идеяхъ, столь глубоко и тревожно осуждающихъ судьбы проповѣдуемой имъ культуры. Не можетъ же органъ печати, если только онъ дѣйствительно серьезенъ, упустить поводъ обстоятельно высказать свои взгляды, когда сильный соперникъ вызываетъ его на сильный отпоръ? Но вотъ, по предмету, гдѣ онъ долженъ бы высказываться, онъ ограничивается остроуміемъ и, вмѣсто этого, на десяткахъ страницъ излагаетъ книги, которыя могли бы быть изложены во всякомъ другомъ журналѣ, теперь, или послѣ, или даже никогда—все равно. Покойный Шелгуновъ или г. Скабичевскій, можетъ быть, добрые люди и очень усердные писатели; но къ идейному содержанію нашего общества, насколько оно уже высказано, и гораздо лучше, другими людьми, они не прибавили ничего. Итакъ, ихъ можно оставлять, какъ высказывающихъ, быть можетъ, вѣрныя мысли, въ покоѣ; но что же въ ихъ мнѣніяхъ излагать?

II.

Мы замѣтили выше объ органичности, которой отличается развитіе славянофильской теоріи. И дѣйствительно, всѣ ея отдѣльные

элементы являлись сначала въ формѣ догадокъ, предчувствій, необоснованныхъ воззрѣній и требованій, и только потомъ, путемъ новаго движенія мысли, все это слагалось въ твердые члены связной системы. Можно сказать, что славянофильство не изобрѣтено, не придумано, но философски открыто: до такой степени оно соотвѣтствуетъ текущей дѣйствительности и исторіи — такъ оно оригинально, настолько преобладаютъ въ немъ начала научнаго объясненія надъ догматическимъ требованіемъ. Частный случай, о которомъ мы заговорили, какъ нельзя лучше подтверждаетъ общую истину. Недовѣріе къ западному прогрессу, слова о «гніеніи» Запада, дѣйствительно уже много десятилѣтій не сходятъ съ устъ славянофиловъ. Но одно указаніе на недостатокъ въ Европѣ нѣкоторыхъ свѣжихъ и здоровыхъ чувствъ, какія сохранились у нашего народа, или даже указаніе на рѣзкую ложность и несправедливость многихъ распространенныхъ тамъ понятій и учрежденій, конечно, не было бы еще подтвержденіемъ столь общей мысли, что западная культура, въ ея *цѣломъ*, падаетъ, или что прогрессъ *вообще* есть зло. Истинный взглядъ на всѣ подобныя указанія долженъ быть тотъ, что они выражали безсильное желаніе чѣмъ-нибудь подтвердить смутное и, однако, очень сильное предвидѣніе, чувство. Это были вопли Кассандры, совершенно лишенной какихъ-нибудь средствъ убѣдить тѣхъ, кто надъ нею смѣялся. Но вотъ прошли десятилѣтія, и вопли оправдываются, а изъ смѣявшихся еще смѣется только тотъ, кто уже совершенно ничего не понимаетъ и ничего не способенъ видѣть.

Въ лагерѣ прежнихъ славянофиловъ, еслибъ услышанъ былъ человѣкъ, говорящій, что двѣ-три проигранныя битвы, которыя заставили бы насъ навсегда отречься отъ западныхъ Славянъ, были бы очень дешевой цѣной, какою мы могли бы купить это драгоцѣнное для насъ отреченіе,—въ лагерѣ раннихъ славянофиловъ этотъ человѣкъ, вѣроятно, былъ бы сочтенъ величайшимъ врагомъ Славянства и противникомъ всей славянофильской партіи; и, однако, такъ велико богатство внутреннихъ задатковъ этой теоріи, что именно К. Леонтьевъ является однимъ изъ самыхъ глубокихъ исполнителей славянофильской идеи. Политическая сторона этой идеи, надъ которою такъ много работалъ И. С. Аксаковъ, о которой шумѣли въ свое время д-ръ Ригеръ и множество другихъ,—все это осѣло, какъ пыль, предъ истинно великою задачей: *продлить культурное существованіе человѣчества чрезъ отсѣченіе славянскаго міра отъ очевидно разлагающейся культуры западной Европы.* Если у человѣчества въ его цѣломъ, у культуры, у цивилизаціи, у исторіи просвѣщенія былъ когда-нибудь другъ, боровшійся за все это, не жалѣя своего имени, своихъ силъ, произнося въ минуты отчаянія самыя безумныя о нихъ слова, способныя покрыть произнесшаго только позоромъ, то это—мало извѣстный, пройденный

у насъ молчаніемъ писатель, труды котораго мы только-что упомянули. Онъ нашелъ объективные признаки *всякаго* разложенія и *всякаго* развитія и, приложивъ ихъ къ западно-европейскому соціальному строю,—по нимъ опредѣлилъ его несомнѣнное паденіе. Отринувъ показаніе субъективнаго чувства, которое у каждаго человѣка измѣняется сообразно темпераменту, воспитанію и окружающей средѣ, онъ чрезъ это одно поднялся надъ всѣми партіями и сталъ на высотѣ наблюдателя-мыслителя. Съ этой высоты онъ открылъ, что какъ въ природѣ, такъ и въ исторіи человѣчества *процессы развитія имѣютъ одно теченіе:* восхожденіе отъ первоначальной простоты, слитности—къ многообразію формъ, въ одно и то же время раздѣльныхъ и связанныхъ прочно единствомъ общаго типа; далѣе, непродолжительное стояніе на высшей точкѣ этого многообразія формъ и, наконецъ, паденіе внизъ, вторичное и болѣе быстрое нисхожденіе къ прежней слитности, однообразію всѣхъ частей. Племя, въ которомъ возникаетъ государственная организація, появляются сословія, расцвѣтаетъ религіозный культъ, военные подвиги, наконецъ поэзія и философія,—вотъ примѣръ восходящаго развитія; минеральная масса, слагающаяся въ опредѣленныя грани, не переступаемыя ни для одной частицы вещества, замкнутая въ строгой геометрической формѣ—вотъ еще восходящее развитіе; наконецъ, сюда же относится послѣдовательное образованіе изъ туманнаго звѣзднаго пятна центральнаго свѣтила и системы планетъ, распаденіе каждой изъ нихъ на атмосферу, воду и сушу, и выдѣленіе послѣдней надъ водой въ формѣ материковъ. Всюду, куда бы ни обратили мы взглядъ, будутъ ли то космическія массы, наша земля и населяющіе ее организмы, наконецъ человѣческій духъ и его исторія,—вездѣ восхожденіе жизни, повышеніе развитія сопровождается *распаденіемъ прежде слитной массы на своеобразныя и обособленныя части.* И, напротивъ, все въ природѣ разлагаясь, проходитъ чрезъ процессъ вторичнаго смѣшенія частей и упрощенія всего своего сложенія: въ гніющемъ трупѣ границы органовъ смѣшиваются, жидкости разливаются по всему тѣлу, все становится однородною массой, которая, разложившись на свои элементы, сливается, наконецъ, съ окружающею физическою природой; также утрачиваетъ свои грани и твердые углы расплывающійся кристаллъ, который готовъ исчезнуть въ растворяющей его жидкости; и въ солнечной системѣ, еслибы какимъ-нибудь образомъ ослабли законы, принудительно удерживающіе каждую планету въ своей орбитѣ, вскорѣ бы наступили хаосъ и смѣшеніе, и простая груда однообразныхъ развалинъ замѣнила бы сложный, цвѣтущій разнообразіемъ міръ. Наконецъ, государство, умеревъ, оставляетъ на своемъ мѣстѣ неустроенную этнографическую массу, столь-же простую, лишенную внутренней морфологіи, какъ и та, которая предшествовала его возникновенію. Итакъ, сложность внутренняго содержанія есть по-

казатель внѣшней крѣпости и общаго жизненнаго напряженія во всемъ, что существуетъ; напротивъ, возвращеніе къ простотѣ, начинающееся смѣшеніе элементовъ есть симптомъ умиранія.

Возможно ли сомнѣваться, что все это дѣйствительно такъ? И неужели раздраженіе страстей въ борющихся теперь партіяхъ такъ велико, что въ самомъ дѣлѣ наступило время, предвидѣнное однимъ политикомъ, когда аксіомы геометріи будутъ оспариваться, разъ это потребуется для собственной побѣды и для того, чтобы не сдаться правому, но ненавидимому противнику?

III.

Съ конца прошлаго вѣка событія исторіи развиваются такъ быстро, что въ самомъ дѣлѣ трудно не растеряться, слѣдя за ними. Европа конца XIX вѣка не имѣетъ ничего общаго съ тою, въ которой готова была разыграться французская революція. К. Леонтьевъ первый указалъ истинную и самую *общую* точку зрѣнія на эту революцію съ той безстрастной высоты, гдѣ уже нельзя различить отдѣльныхъ голосовъ и партійныхъ интересовъ, гдѣ теченіе исторіи представляется лишь какъ рядъ восходящихъ и нисходящихъ біологическихъ процессовъ; онъ усмотрѣлъ впервые тотъ окончательный результатъ, къ которому, со времени этой революціи, направляются всѣ дѣла Европы: уравненіе классовъ и сліяніе этихъ государствъ въ компактную массу европейскаго человѣчества—съ ослабленіемъ, и потомъ уничтоженіемъ какой-либо организаціи внутри. Личность и человѣчество, какъ нѣкогда атомъ и вселенная, остаются единственными цѣлями историческаго процесса, который уже открылся. Съ достиженіемъ ихъ человѣчество будетъ такъ же дезорганизовано, такъ же стихійно и первобытно, какъ и тогда, когда исторія только еще готовилась зародиться,—съ тою разницею, однако, что тогда оно носило въ себѣ задатки для таковаго зарожденія, теперь же будетъ пусто отъ нихъ. И въ самомъ дѣлѣ, какъ горизонтальное (по сословіямъ), такъ и вертикальное (по провинціямъ) разслоеніе націй уже повсюду исчезло въ Европѣ, и личность движется въ ней свободно, соотносясь только съ государствомъ, къ которому она принадлежитъ. Права гражданина, равныя для всякаго и вездѣ, суть единственныя еще остающіяся связи въ государствѣ, гдѣ все индивидуальное, особенное, своеобразное, блекнетъ и исчезаетъ, не терпимое болѣе никѣмъ. Эта нетерпимость, это всеобщее отвращеніе къ *особенному* въ правахъ, въ обязанностяхъ, даже просто въ характерѣ, есть только показатель неудержимаго уклона исторіи, по которому текутъ желанія всѣхъ людей, повидимому личнаго происхожденія. Одно государство, повторяющееся въ типѣ всѣхъ остальныхъ, и одна личность, воспроизведенная въ милліонахъ подобныхъ,—это есть историческая задача времени, успѣшно осу-

ществляемая партіями, повсюду наиболѣе могущественными. У К. Леонтьева опущено одно наблюденіе, которымъ онъ также могъ бы подтвердить свою мысль: границы государствъ уже не имѣютъ теперь той твердости — онѣ не такъ рѣзко раздѣляютъ политическія тѣла, какъ прежде. Той абсолютной автономности каждаго государства отъ системы всѣхъ остальныхъ, той особенной неприкосновенности границъ, въ силу которой онѣ нѣкогда были непереступаемы для чужой воли,—всего этого уже нѣтъ болѣе. Политическія границы, какъ и административныя (между провинціями) — вовсе уже не грани расчлененной народной жизни, а скорѣе простое ландкартное дѣленіе. Ихъ обозначаетъ пунктиръ на бумагѣ, но не народное чувство и даже не народные интересы. Громадное множество международныхъ обществъ, международныя же конвенціи, всемірные рабочіе союзы, наконецъ, рельсовые пути и согласованные тарифы—все это похоже на стальную паутину, которая крѣпнетъ съ каждымъ днемъ и все болѣе и болѣе соединяетъ прежде разнородныя націи въ одну слитную массу, части которой скоро будутъ неразличимы. Въ самомъ характерѣ главной власти, которою рѣзче всего обозначается автономность государствъ и народовъ, произошла сильная, и, къ удивленію, не замѣчаемая перемѣна: король—это не полководецъ больше, не герой и не святыня своего народа, олицетворяющій въ своей волѣ, въ своихъ дарахъ и даже въ капризахъ *полную* личность своего народа съ его умомъ и страстями. Это—только главный администраторъ въ странѣ, который платится какъ и всѣ другіе, когда дѣйствуетъ неумѣло. Объ его личности, объ его порокахъ или добродѣтеляхъ не слагаются болѣе легенды, и все это даже мало интересно: интересно содержаніе дѣловыхъ бумагъ, которыя текутъ отъ него въ большемъ обиліи нежели отъ кого-нибудь другого въ государствѣ. Такимъ образомъ, и здѣсь даже сказывается общій процессъ исторіи: все обезличивается, все принижается и смѣшивается — «все умираетъ», говоритъ К. Леонтьевъ. И что-же можемъ мы возразить противъ всего этого? Но если такъ, то все наше отношеніе къ *прогрессу* мѣняется, и отношеніе къ западной культурѣ дѣлается невольно исполненнымъ опасеній. Пусть она величественна, пусть она исполнена мудрости: это не имѣетъ ничего общаго съ разложеніемъ, которому подлежитъ и всякое величіе и все мудрое. Колоссальный организмъ, загнивая, даетъ только болѣе удушливые міазмы, и все живое должно, избѣгая смерти черезъ зараженіе, сторониться отъ него. Повторяемъ: только прочитавъ многочисленныя статьи К. Леонтьева, освѣщающія съ разныхъ сторонъ, на разныхъ частныхъ предметахъ, все одну и ту же истину—*одну и главную въ наше время* — впервые начинаешь понимать грозный смыслъ всѣхъ мелкихъ, не тревожащихъ никого, микроскопическихъ явленій дѣйствительности: тамъ вскроется пузырекъ, тамъ ослабѣетъ ткань, и, кажется, колоссъ

всемірной культуры еще неподвиженъ, а между тѣмъ съ нимъ совершается самое важное, что когда-либо совершалось. Когда онъ дрожалъ, въ прежніе вѣка, подъ напоромъ турокъ или арабовъ— это было склоненіе молодого организма подъ напоромъ вѣтра, дувшаго со стороны; теперь вихри ему не страшны, да и какъ-то странно они совсѣмъ замолкли. Только удушливый зной стоитъ кругомъ; и будемъ ли мы бросать камни въ того, кто первый, потянувъ въ себя воздухъ, сказалъ намъ, почему въ самомъ дѣлѣ атмосфера такъ удушлива?

IV.

Вѣстникъ Европы ничего этого не понимаетъ: ему все мерещатся дворянскіе захваты, и, на стражѣ европейской цивилизаціи, онъ считаетъ долгомъ для себя ихъ оспаривать; онъ борется, онъ напрягаетъ силы, онъ не даромъ «журналъ политики». Онъ не знаетъ, что со своею бѣдною «политикою» онъ только маленькій гноящійся пузырекъ, вскочившій на точкѣ соприкосновенія здороваго организма съ больнымъ. Но, кто это пойметъ, конечно, не будетъ его оспаривать: наивность, какъ и все другое, должна же въ чемъ-нибудь выражаться. Нигдѣ, ни въ историческихъ, ни въ политическихъ созерцаніяхъ своихъ маститый журналъ не возвысился надъ плохими учебниками, гдѣ объясняется, что «за временами преуспѣяній» слѣдуютъ «времена упадка» и энергическое движеніе впередъ вызываетъ потомъ „реакцію". Приложить эти заученные параграфы къ живой и текучей жизни—вотъ все, что онъ можетъ.

Но истинною русскою мыслью въ ея новыхъ явленіяхъ руководитъ впервые столь яркое и столь несомнѣнное сознаніе *положенія своего народа въ исторіи*. Нѣтъ при этомъ никакой враждебности къ Европѣ: есть простое сознаніе того особеннаго фазиса, черезъ который проходитъ ея жизнь. Это сознаніе есть результатъ того, что оставлено прежнее скользящее къ ней отношеніе, это жалкое восхищеніе ея техническими выдумками, ея «усовершенствованіями» и всѣмъ внѣшнимъ блескомъ, богатствомъ и могуществомъ. Не этимъ живетъ человѣкъ, и не этимъ движутся, крѣпнутъ и сохраняются въ исторіи народы. Не этимъ жила и Европа, когда она возростала. Ея текущему фазису, какому-нибудь полустолѣтію, противополагаются пятнадцать вѣковъ ея же исторіи. Странныя минуты, въ самомъ дѣлѣ, переживаетъ она: столькое создать, столькое накопить, такъ долго и страстно любить это накопленное и, на исходѣ пятнадцатаго вѣка своего существованія—вдругъ забыть цѣну всего и начать разбивать столь бережно сохраненное. Что же: будетъ ли проявленіемъ любви и уваженія, если и мы, вслѣдъ за ослѣпнувшимъ безумцемъ, будемъ раздирать на части его сокро-

вища, поджигать его ветхій домъ и плясать скверный танецъ на развалинахъ прошлаго счастья и величія? Такъ могъ бы поступить рабъ, но не другъ. И истинное уваженіе наше къ Европѣ выразится именно въ томъ, что—унося ея неоцѣненныя сокровища къ себѣ, на нихъ воспитываясь и развиваясь, чтобы стать со временемъ хоть сколько-нибудь достойнымъ преемникомъ ея въ исторіи,—мы совершенно и окончательно отвернемся отъ того, что она сдѣлала за послѣднее время и еще готовится сдѣлать, и, сколько будетъ въ нашихъ силахъ, смягчимъ тѣ удары, которые она порывается, повидимому, наносить самой себѣ. Въ прекрасныхъ воспоминаніяхъ покойнаго Буслаева, разсказывается одинъ интересный случай: гр. Строгановъ, съ семьей котораго онъ путешествовалъ, недовольный его совершеннымъ невѣдѣніемъ текущихъ политическихъ событій, далъ ему однажды, для ознакомленія съ ними, прочесть нумеръ *Аугсбургской Газеты*. Но, не смотря на всѣ усилія, юный энтузіастъ Европы ничего не могъ понять въ немъ—всѣ событія и лица, о которыхъ говорилось въ газетѣ, были ему вовсе неизвѣстны и, главное, совершенно неинтересны. И, между тѣмъ, онъ изучалъ въ это же время Тасса и Данта на островѣ Искіи, и даже одного итальянца познакомилъ съ *Декемерономъ*. Что же: пріѣхавъ на родину, онъ менѣе въ ней послужилъ Европѣ и менѣе любилъ ее, нежели, напримѣръ, г. Евг. Утинъ или г. Арсеньевъ, которые ужъ вѣрно умѣютъ читать газеты? Этимъ примѣромъ и этимъ сравненіемъ мы все сказали.

4. Два исхода.

I.

Для поколѣнія 80-хъ и 90 хъ годовъ, такъ непреодолимо разошедшагося со своими „отцами“, открываются два пути: или, понявъ, какъ недостаточно просвѣщеніе предыдущаго поколѣнія, стремиться замѣнить его просвѣщеніемъ болѣе глубокимъ и развитымъ; или, напротивъ, принявъ его за рядъ непоколебимыхъ выводовъ разсудка и, все таки чувствуя, какъ выводы эти противорѣчатъ всѣмъ остальнымъ сторонамъ человѣческой природы, неяснымъ и, однакоже, вѣчнымъ и глубокимъ,—довѣриться этимъ послѣднимъ и насильственно ограничить свой разумъ. Этотъ второй исходъ, не формулированный и все-таки ясный, невольно чувствуется въ томъ движеніи, которое примыкаетъ къ послѣднимъ произведеніямъ нашего знаменитаго художника, а теперь проповѣдника новыхъ началъ жизни, гр. Л. Н. Толстого [1]).

---

[1]) Первымъ и очень яркимъ выраженіемъ этого движенія нужно считать появленіе критическаго этюда покойнаго Громеки: *Послѣднія произведенія*

Есть что-то похожее на секту въ томъ кружкѣ людей, который разсѣянъ теперь повсюду въ Россіи и главнымъ интересомъ для котораго служитъ проведеніе въ личную свою жизнь идей великаго романиста. Много было высказано въ послѣдніе годы по поводу этихъ идей; но высказанное было, по преимуществу, или критикой ихъ и опроверженіемъ или, напротивъ, горячею ихъ защитой. Но среди споровъ, въ разгарѣ борьбы, ни разу не было указано на историческое положеніе всей этой вѣтви нашего общественнаго развитія, и также забыта была его исходная точка. Уже почти двадцать лѣтъ тому назадъ впервые разнеслись въ обществѣ неясные слухи о какой-то «исповѣди» знаменитаго романиста, гдѣ онъ разсказываетъ исторію своихъ внутреннихъ тревогъ и исканій и излагаетъ воззрѣнія на человѣческую жизнь, которыми заключились эти исканія. Вскорѣ появился, хотя и не напечатанный текстъ самой исповѣди, который съ жаднымъ любопытствомъ читался всѣми. Однако, помимо любопытства, во многихъ возбудилось тогда и радостное чувство: человѣкъ признанной духовной силы вращался въ сферѣ интересовъ и вопросовъ, въ которыхъ вращались по разнымъ угламъ уже очень многіе въ то время, никогда не рѣшаясь, однако, поднять свою голову и высказать вслухъ то, что ихъ давно и мучительно занимало. То былъ знаменитый вопросъ о цѣли человѣческой жизни. Даже въ печати, *въ то время бывшей въ совершенномъ невѣдѣніи о томъ, что именно происходитъ въ подростающемъ поколѣніи*, чувствовалась инстинктивно грядущая важность этого вопроса, и я помню хоть неумѣлые, но оживленные толки въ ней, поднимавшіеся всякій разъ, когда появлялась какая-нибудь книга, посвященная, напримѣръ, теоріи или исторіи утилитаризма.

Собственно у поколѣнія 60—70-хъ годовъ было рѣшеніе этого вопроса, воспринятое извнѣ и по своему смыслу узкое, которое въ литературѣ того времени по обыкновенію горячо пропагандировалось, но вовсе не развивалось и вообще не измѣнялось. Это былъ отвѣтъ, утверждавшій, что другой цѣли, кромѣ устроенія своего счастія, человѣкъ на землѣ не имѣетъ. Изъ тѣсныхъ кружковъ ученыхъ, изъ библіотекъ и съ университетскихъ диспутовъ ученіе это давно спустилось въ широкія массы общества, гдѣ, при

графа Л. Н. Толстого. Основная идея этого этюда состоитъ именно въ доказательствѣ *недостаточности разсудочнаго міровоззрѣнія,* но не въ смыслѣ его логической слабости, *а по противорѣчію другимъ основнымъ сторонамъ человѣческой природы.* Какъ это ни странно покажется, но до появленія этого разбора смыслъ *Анны Карениной* для огромныхъ массъ читающаго общества былъ не очень ясенъ, даже просто—*незначителенъ;* въ послѣднемъ силилась и успѣла убѣдить многихъ тогдашняя критика — не яркая, но обильная. Этюдъ г. Громеки имѣлъ огромный успѣхъ, имъ зачитывались въ свое время, особенно въ подростающемъ поколѣніи, и послѣ него именно открылись повсюду толки о смыслѣ, правильности и примѣнимости идей графа Л. Н. Толстого.

слабости всѣхъ другихъ понятій жизни, оно безъ труда распространялось. Его ясность и простота, его наконецъ аксіоматичность для всякаго, кто лишенъ какихъ-нибудь мистическихъ воззрѣній на природу человѣка и его судьбу,—все это дѣлало ученіе утилитаризма легко усвоимымъ и очень твердо держащимся. Въ немъ былъ только одинъ недостатокъ: оно было слишкомъ трезво, слишкомъ ясно, и въ немъ не находилось никакого отвѣта и удовлетворенія многимъ темнымъ и глубокимъ сторонамъ человѣческой природы, многимъ тревогамъ ея совѣсти. Пока въ жизни все было ясно и просто, пока она катилась легко—для всѣхъ было очевидно, что это ученье прекрасно объясняетъ собою дѣйствительность и совершенно достаточно для человѣка. Но какъ только въ его совѣсти происходило что-нибудь, какъ только чувствовалось затрудненіе въ историческихъ путяхъ—столь же очевиднымъ становилось для всякаго, что ученіе это и не покрываетъ дѣйствительности, и вовсе недостаточно для человѣка. Въ радостной и самонадѣянной атмосферѣ 60—70-хъ годовъ эта идея нашла себѣ легкое распространеніе; но въ подрастающемъ поколѣніи, по очень темнымъ причинамъ, уже въ то время начало бродить нравственное смущеніе и встревоженность. Оно усвоило отъ «отцовъ» своихъ эту идею, но дало ей впервые внутреннее развитіе и подвергло ее анализу. Дѣло въ томъ, что и въ западно-европейскихъ теоріяхъ идея эта какъ-то все аргументировалась только или опровергалась, но не изучалась во всѣхъ подробностяхъ своего состава. Безъ сомнѣнія, это происходило отъ того, что она скорѣе была общимъ воззрѣніемъ на жизнь, была болѣе нравственно-политическимъ ученіемъ, нежели формулой жизни, и ее не считали нужнымъ и возможнымъ опредѣлять съ тою особенною точностью, которая одна допускаетъ раскрытіе внутренняго содержанія какой-нибудь идеи и ея анализъ. Какъ только дано было этой идеѣ подобное опредѣленіе, такъ тотчасъ обнаружились всѣ ея истинныя свойства. Прежде всего, такъ какъ подъ «счастіемъ» нельзя было разумѣть ничего иного, кромѣ «удовлетворенности», то было ясно, что идея эта вовсе не содержитъ въ себѣ указанія на какіе-либо опредѣленные предметы достиганія, на реальныя цѣли дѣятельности, но только освящаетъ равно всякія, какія возникнутъ въ исторіи. Простая желаемость этихъ цѣлей, то-есть уже сознанная способность ихъ удовлетворить человѣка (или какой-нибудь рядъ его влеченій), есть достаточная для нихъ санкція въ кругѣ понятій утилитарно[illegible] Далѣе, такъ какъ подобною цѣлью очевидно могло б[illegible] *наибольшее*, то-есть сильнѣе всего желае[illegible] жительности даваемаго удовлетворенія, [illegible] въ данное время человѣкъ менѣе жела[illegible] нія лучшаго, пренебречь или все это з[illegible] водѣ, возрождалось знаменитое [illegible]

оправданіи средствъ цѣлью: «средства — это, очевидно, меньшее благо, которымъ человѣкъ въ правѣ пожертвовать для признаннаго имъ за бо́льшее благо. Замѣтимъ, что, не прибѣгая къ понятіямъ, выходящимъ изъ круга утилитарной формулы, нельзя найти *для желаемости* того или иного вида счастья другихъ признаковъ, кромѣ количественныхъ, то-есть продолжительности и напряженности даваемаго удовлетворенія. Въ средніе вѣка обыкновенно именно продолжительность была предпочитаема (ради загробной жизни жертвовалась земная; ради продолжительнаго покоя въ будущемъ, предпринимались истребительныя войны противъ сектантовъ); въ новое и болѣе нетерпѣливое время, ради минутнаго наслажденія, часто приносится въ жертву счастіе цѣлой жизни. И то, и другое, впрочемъ, завися отъ свободнаго выбора человѣка, безразлично съ утилитарной точки зрѣнія. Наконецъ, такъ какъ человѣкъ живетъ не изолированно, но обществомъ, и именно въ массовой средѣ онъ принимаетъ всѣ свои рѣшенія — то не личное свое, но счастье *наибольшаго числа людей* долженъ онъ полагать цѣлью своей личной дѣятельности. Сюда же примыкаетъ вся правовая, политическая сторона формулы, придающая впервые ей нѣкоторую конкретность: именно, на вопросъ, «кѣмъ же *опредѣляется* это счастіе?» — невозможно, оставаясь въ кругу утилитарныхъ понятій, отвѣтить иначе, какъ — «большинствомъ удовлетворяемыхъ», наибольшимъ количествомъ тѣхъ, которые ожидаютъ и нуждаются въ счастьи. Идея suffrage universel, впервые установленная Руссо и теперь овладѣвающая сознаніемъ всей Европы, уже implicite содержится въ этой вѣтви утилитарной доктрины. Съ тѣмъ вмѣстѣ, этою вѣтвью отрицается и подавляется весь міръ индивидуальныхъ порывовъ, идей и чувствъ. Геній гасится, какъ только онъ не вдвигается въ узкую трубу, по которой текутъ всеобщія желанія.

Таковъ былъ очевидный составъ этого ученія. Еслибъ оно принято было когда-нибудь человѣчествомъ какъ высшій критеріумъ добра и зла, добру глубоко и навсегда пришлось бы преклониться предъ зломъ, потому что, очевидно, сознаніе высшаго добра никогда не было удѣломъ массъ, а личность должна была бы подавить въ себѣ это сознаніе по требованію или простому желанію «темнаго» большинства. Утилитаризмъ есть могила индивидуальнаго развитія, и съ нимъ всякаго цвѣта исторіи — всего, чѣмъ изъ вѣка въ вѣкъ она свѣтитъ нарождающимся поколѣніямъ [1]). Нравственный смыслъ

[1]) ...рьезъ сохр... ...ности полезно для массъ, то, по самому ...она и д... ...хранена въ исторіи. Да, но подъ усло... ...ке пол... ...дѣть признано именно массами, и, ...удерж... ...емя. Пока отношенія между мас... ...ого противорѣчія, разногласія, ...что личность будетъ поща... ...своеобр... ...ядъ выраженнаго, желанія

слабости всѣхъ другихъ понятій жизни, оно безъ труда распространялось. Его ясность и простота, его наконецъ аксіоматичность для всякаго, кто лишенъ какихъ-нибудь мистическихъ воззрѣній на природу человѣка и его судьбу,— все это дѣлало ученіе утилитаризма легко усвоимымъ и очень твердо держащимся. Въ немъ былъ только одинъ недостатокъ: оно было слишкомъ трезво, слишкомъ ясно, и въ немъ не находилось никакого отвѣта и удовлетворенія многимъ темнымъ и глубокимъ сторонамъ человѣческой природы, многимъ тревогамъ ея совѣсти. Пока въ жизни все было ясно и просто, пока она катилась легко—для всѣхъ было очевидно, что это ученье прекрасно объясняетъ собою дѣйствительность и совершенно достаточно для человѣка. Но какъ только въ его совѣсти происходило что-нибудь, какъ только чувствовалось затрудненіе въ историческихъ путяхъ—столь же очевиднымъ становилось для всякаго, что ученіе это и не покрываетъ дѣйствительности, и вовсе недостаточно для человѣка. Въ радостной и самонадѣянной атмосферѣ 60—70-хъ годовъ эта идея нашла себѣ легкое распространеніе; но въ подрастающемъ поколѣніи, по очень темнымъ причинамъ, уже въ то время начало бродить нравственное смущеніе и встревоженность. Оно усвоило отъ «отцовъ» своихъ эту идею, но дало ей впервые внутреннее развитіе и подвергло ее анализу. Дѣло въ томъ, что и въ западно-европейскихъ теоріяхъ идея эта какъ-то все аргументировалась только или опровергалась, но не изучалась во всѣхъ подробностяхъ своего состава. Безъ сомнѣнія, это происходило отъ того, что она скорѣе была общимъ воззрѣніемъ на жизнь, была болѣе нравственно-политическимъ ученіемъ, нежели формулой жизни, и ее не считали нужнымъ и возможнымъ опредѣлять съ тою особенною точностью, которая одна допускаетъ раскрытіе внутренняго содержанія какой-нибудь идеи и ея анализъ. Какъ только дано было этой идеѣ подобное опредѣленіе, такъ тотчасъ обнаружились всѣ ея истинныя свойства. Прежде всего, такъ какъ подъ «счастіемъ» нельзя было разумѣть ничего иного, кромѣ «удовлетворенности», то было ясно, что идея эта вовсе не содержитъ въ себѣ указанія на какіе-либо опредѣленные предметы достиганія, на реальныя цѣли дѣятельности, но только освящаетъ равно всякія, какія возникнутъ въ исторіи. Простая желаемость этихъ цѣлей, то-есть уже сознанная способность ихъ удовлетворить человѣка (или какой-нибудь рядъ его влеченій), есть достаточная для нихъ санкція въ кругѣ понятій утилитарной теоріи. Далѣе, такъ какъ подобною цѣлью очевидно могло быть только счастіе *наибольшее*, то-есть сильнѣе всего желаемое, напримѣръ по продолжительности даваемаго удовлетворенія, то очевидно, что всѣмъ, чего въ данное время человѣкъ менѣе желалъ, онъ могъ, ради достиженія лучшаго, пренебречь или все это забыть. Здѣсь, въ этомъ выводѣ, возрождалось знаменитое и всѣми оставленное ученіе объ

оправданіи средствъ цѣлью: «средства — это, очевидно, меньшее благо, которымъ человѣкъ въ правѣ пожертвовать для признаннаго имъ за бо́льшее благо. Замѣтимъ, что, не прибѣгая къ понятіямъ, выходящимъ изъ круга утилитарной формулы, нельзя найти *для желаемости* того или иного вида счастья другихъ признаковъ, кромѣ количественныхъ, то-есть продолжительности и напряженности даваемаго удовлетворенія. Въ средніе вѣка обыкновенно именно продолжительность была предпочитаема (ради загробной жизни жертвовалась земная; ради продолжительнаго покоя въ будущемъ, предпринимались истребительныя войны противъ сектантовъ); въ новое и болѣе нетерпѣливое время, ради минутнаго наслажденія, часто приносится въ жертву счастіе цѣлой жизни. И то, и другое, впрочемъ, завися отъ свободнаго выбора человѣка, безразлично съ утилитарной точки зрѣнія. Наконецъ, такъ какъ человѣкъ живетъ не изолированно, но обществомъ, и именно въ массовой средѣ онъ принимаетъ всѣ свои рѣшенія — то не личное свое, но счастье *наибольшаго числа людей* долженъ онъ полагать цѣлью своей личной дѣятельности. Сюда же примыкаетъ вся правовая, политическая сторона формулы, придающая впервые ей нѣкоторую конкретность: именно, на вопросъ, «кѣмъ же *опредѣляется* это счастіе?» — невозможно, оставаясь въ кругу утилитарныхъ понятій, отвѣтить иначе, какъ — «большинствомъ удовлетворяемыхъ», наибольшимъ количествомъ тѣхъ, которые ожидаютъ и нуждаются въ счастьи. Идея suffrage universel, впервые установленная Руссо и теперь овладѣвающая сознаніемъ всей Европы, уже implicite содержится въ этой вѣтви утилитарной доктрины. Съ тѣмъ вмѣстѣ, этою вѣтвью отрицается и подавляется весь міръ индивидуальныхъ порывовъ, идей и чувствъ. Геній гасится, какъ только онъ не вдвигается въ узкую трубу, по которой текутъ всеобщія желанія.

Таковъ былъ очевидный составъ этого ученія. Еслибъ оно принято было когда-нибудь человѣчествомъ какъ высшій критеріумъ добра и зла, добру глубоко и навсегда пришлось бы преклониться предъ зломъ, потому что, очевидно, сознаніе высшаго добра никогда не было удѣломъ массъ, а личность должна была бы подавить въ себѣ это сознаніе по требованію или простому желанію «темнаго» большинства. Утилитаризмъ есть могила индивидуальнаго развитія, и съ нимъ всякаго цвѣта исторіи—всего, чѣмъ изъ вѣка въ вѣкъ она свѣтитъ нарождающимся поколѣніямъ [1]). Нравственный смыслъ

[1]) Скажутъ: разъ сохраненіе личности полезно для массъ, то, по самому принципу пользы, она и должна быть сохранена въ исторіи. Да, но подъ условіемъ, по принципу же пользы, что это будетъ признано именно массами, и, что свое признаніе *онъ удержатъ во всякое время.* Пока отношенія между массой и личностью находятся въ предѣлахъ простого противорѣчія, разногласія, еще не раздраженнаго спора, естественно ожидать, что личность будетъ пощажена и масса не нарушитъ своего, въ общемъ видѣ выраженнаго, желанія

борьбы и гибели единичной личности среди непонимающихъ ее грубыхъ массъ навсегда угасъ бы, потому что эти массы безъ борьбы, безъ сомнѣній давили бы личность. Такимъ образомъ для счастья самого человѣчества ему было бы лучше навсегда забыть о томъ, что оно можетъ, а тѣмъ болѣе должно жить только для своего счастья. Здѣсь въ этомъ окончательномъ выводѣ, сказывается какъ бы внутренняя преломляемость этой идеи: своею вершиной, своимъ послѣднимъ утвержденіемъ она подсѣкаетъ свое же основаніе. Все это хоть и не было нигдѣ высказано, но было очень твердо сознано многими въ то время, когда гр. Л. Н. Толстой впервые взволновалъ общество тѣмъ же вопросомъ. Разница была только въ томъ, что онъ или вовсе не упоминалъ, или упоминалъ небрежно объ утилитарной доктринѣ, которая, между тѣмъ, владѣла еще общимъ тогда сознаніемъ. Какъ бы то ни было, но и онъ, очевидно, понялъ, что безъ разрѣшенія этого основного вопроса жизни (объ ея цѣли) происходитъ какъ бы *задержка* разрѣшенія всѣхъ другихъ ея, очевидно, зависимыхъ и обусловленныхъ вопросовъ. *Незнаніе*—было его отвѣтомъ на этотъ вопросъ; отсюда—весь характеръ ирраціональности, который приняло его дальнѣйшее развитіе: это отрицаніе государства, это невѣдѣніе религіозныхъ началъ жизни, эта враждебность противъ искусства и противъ науки. Все это содержалось уже, какъ вторичное, въ томъ жизненномъ узлѣ, подойдя къ которому онъ—молча отошелъ.

II.

А между тѣмъ, тайна состояла только въ томъ, чтобы, подойдя къ лежащему яблоку, не съѣдать его, но зарыть въ землю и посмотрѣть, что изъ этого выйдетъ. Никѣмъ не была въ то время понята искусственность самого вопроса о цѣли человѣческой жизни. Въ ту пору излишняго теоретизма мысли какъ-то привыкли смотрѣть на человѣка со стороны и, смотря такъ, невольно *придумы-*

сохранять личность. Но кто-же не знаетъ, что въ самые жгучіе, рѣшительные моменты исторіи—именно въ тѣ, за которыми слѣдуетъ благодѣтельный поворотъ ея, масса относится къ личности съ неистощимою ненавистью, съ готовностью всѣмъ пожертвовать и видѣть только кровь человѣка, такъ высоко поднявшаго надъ нею, надъ ея эгоистическими желаніями и узкими мыслями свою голову? И въ такія минуты, въ страшныя минуты для личности, что удержитъ массы отъ того, чтобы «на одинъ этотъ случай», только для этого ненавистнаго человѣка, взять обратно свою рѣшимость? Когда это рѣшеніе взято, на что обопрется личность, что подниметъ она надъ собой для защиты? какое *свое* право? «Хорошо, послѣ твоей смерти я послѣдую твоимъ *лучшимъ* идеямъ, но пока я тебя съѣмъ», скажетъ этотъ новый и чудовищный, тысячеголовый Левіафанъ. У личности же предъ этою чудовищною пастью, предъ этими камнями на нее поднятыми, *внутри собственнаго сердца* останется лишь одна правда—правда своей обязанности умереть.

вали для него цѣль. Эта придуманность сказывается во всѣхъ нравственно-философскихъ теоріяхъ, и оттого-то онѣ никогда не могли стать могучимъ стимуломъ историческаго развитія, но всегда оставались только занятіемъ слишкомъ уединившихся въ своемъ мышленіи немногихъ людей. Цѣль можетъ быть избрана, можетъ быть придумана, но лишь для того, что̀ само придумано и существуетъ искусственно. Напротивъ, что̀ ранѣе нашего идейнаго къ нему отношенія уже лежало въ природѣ, то мы можемъ только познавать и, что касается до цѣлей—открыть его *назначеніе*. Таковъ и человѣкъ. Такимъ образомъ неразличеніе понятій „цѣль" и „назначеніе" и смѣшеніе областей, гдѣ примѣнимо открытіе и гдѣ изобрѣтеніе,—было причиной множества и теоретическихъ, и практическихъ заблужденій, какъ того времени, такъ и слѣдующаго. Достаточно было понять это, чтобъ однажды и навсегда перестать пытаться измѣнить человѣка и его жизнь сообразно съ понятіями „наилучшаго", какія мы могли бы для него придумать; и, напротивъ, тотчасъ, какъ уяснилось истинное значеніе человѣка, единственно правильнымъ къ нему отношеніемъ становилось—любопытное всматриваніе въ его природу.

Въ этой природѣ ясно различимы были двѣ стороны: одна недѣятельная, не измѣняющаяся во времени—это сторона физическая. Очевидно, въ ней не могло скрываться его назначеніе, потому что послѣднее есть то, что *осуществляется, настаетъ со временемъ*. И въ организаціи человѣка, гдѣ все уже дано и ничего не ожидается, очевидно нѣтъ никакого отношенія къ его назначенію на землѣ. Напротивъ, другая сторона его природы была постоянно дѣятельна, и въ этой дѣятельности она измѣнялась, возрастала. Ясно, что, если человѣкъ могъ имѣть какое-нибудь назначеніе, то оно скрывалось именно въ этой части его существа. Это была—сфера его духа. И въ самомъ дѣлѣ, въ противоположность физической сторонѣ, гдѣ все—уже реальность, и притомъ находящаяся внѣ вліянія человѣка,—въ области духовной жизни все есть только *возможность*, которая черезъ усилія человѣка *становится дѣйствительностью*. Какъ организмъ, человѣкъ рождается уже со всею полнотой частей своихъ и отправленій, къ которымъ въ теченіе жизни своей онъ ничего не прибавляетъ; и ничего не прибавлено къ нимъ въ теченіе жизни исторической. Напротивъ, какъ духовное существо, человѣкъ рождается только съ задатками всего, что осуществитъ со временемъ. Въ немъ нѣтъ еще идей, но только способность ихъ образовать; нѣтъ глубокихъ чувствъ, но только способность ихъ пережить; нѣтъ какихъ-либо желаній, но только способность осуществить всякія желанія. Итакъ, съ этой стороны—онъ весь въ возможности и, очевидно, *жизнь его не имѣетъ другого назначенія, какъ чтобы возможное въ немъ стало дѣйствительнымъ*. Зло или добро составляетъ глубочайшее

основаніе человѣческой природы. Въ какомъ отношеніи онъ находится къ окружающему мірозданію и его источнику, наконецъ какъ онъ долженъ смотрѣть на свою исторію—все это есть уже вторичное, что мы можемъ знать о человѣкѣ. Главное и первое наше знаніе о немъ есть знаніе какъ о нѣкоторой системѣ скрытыхъ возможностей, раскрытіе, обнаруженіе которыхъ можетъ дать отвѣтъ и на всѣ остальные вопросы.

III.

Отсюда ясенъ становится и смыслъ индивидуальной жизни, и значеніе исторіи. Еслибы человѣкъ, какъ въ физической, такъ и въ духовной сторонѣ своей являлся полною реальностью, онъ, конечно, могъ бы по произволу избирать для себя всякія цѣли, чѣмъ угодно наполнять свою жизнь. Но этой свободы выбора у него нѣтъ, и нѣтъ также свободы оставаться бездѣятельнымъ, или досуга заниматься чѣмъ-нибудь постороннимъ и несущественнымъ. Жизнь его ограничена во времени, и этого времени едва достаточно для того, чтобы выполнить все, что принудительно указано ему въ сложеніи его духовной природы. Понять эту природу, ея ограниченность или особые дары, и все принесенное съ собой въ міръ отдать этому міру—этого слишкомъ достаточно, чтобы наполнить личное существованіе серьезною заботою, исключающей какіе-либо помыслы о развлеченіи. Наконецъ, раскрыть въ тысячелѣтіяхъ всю глубину и все богатство человѣческой души, какъ она дана не въ индивидуальномъ выраженіи, но во всеобщемъ—это есть долгъ и право всего человѣчества; долгъ, котораго мы можемъ не понимать, не разумѣть еще его смысла, но котораго не знать мы не можемъ, потому что онъ дѣйствителенъ. И не можемъ, поэтому, его не исполнить. Такимъ образомъ намъ не извѣстно только *конкретное выраженіе*, которое будетъ имѣть то окончательное, чѣмъ завершится человѣчество и что освѣтитъ смыслъ его существованія на землѣ; непредставима форма его и также очень многія, но лишь второстепенныя подробности. Общій же видъ этого окончательнаго вполнѣ опредѣлимъ [1]) чрезъ изученіе тѣхъ направленій, неудержимыхъ и естественныхъ, которыя ужъ есть, даны въ

---

[1]) По отношенію къ одной системѣ человѣческой природы—именно умственной, опредѣленіе окончательной формы, которою завершится ея дѣятельность, сдѣлано мною въ книгѣ *О пониманіи; опытъ изслѣдованія природы, границъ и внутренняго строенія науки, какъ цѣльнаго знанія.* М. 1886. При всѣхъ ошибкахъ, какія могли быть допущены въ отдѣльныхъ частяхъ этого опредѣленія, остается незатронутымъ, однако, самый принципъ—общая *опредѣлимость* окончательныхъ формъ человѣческаго творчества, какъ изъ неправильности въ возведеніи зданія, могущаго служить для человѣка, не слѣдуетъ его общая невозводимость.

каждомъ изъ задатковъ, образующихъ своей системой духовную природу человѣка.

Уже выше было сказано, что все слишкомъ ясное и трезвое не покрываетъ человѣческой природы, какъ она дана, и не удовлетворяетъ ея иначе, какъ только на время. Дѣйствительно, чѣмъ внимательнѣе будемъ мы всматриваться въ ея сложеніе и, особенно, какъ уже выразилось это сложеніе въ исторіи (то-есть наиболѣе полно), тѣмъ болѣе будемъ мы удивлены какою-то странною ея неисчерпаемостью и безпросвѣтною глубиною. Разумъ со своими выкладками составляетъ лишь часть человѣческаго существа, и внѣ его вліянія и объясненія остается еще неизмѣримая область иныхъ сферъ духовнаго творчества, *но задатки для всѣхъ нихъ уже даны въ человѣкѣ*, и всѣ онѣ, не скажемъ—истинны: это слишкомъ узко—всѣ онѣ *дѣйствительны* и какъ-то освящены въ человѣкѣ, потому что предустановлены въ немъ. Вся природа есть нѣчто предустановленное, потому что вся она—только задатокъ, только возможность осуществляемой дѣйствительности. Разумъ, какъ одинъ изъ этихъ задатковъ, какъ простая способность образовать идеи, не только не выше остального чего-нибудь въ человѣческой природѣ, но, напротивъ, онъ и оправданіе свое имѣетъ только въ томъ, что *также предустановленъ*, какъ и всѣ прочіе задатки—стоитъ не ниже ихъ. Реальность есть нѣчто высшее, нежели разумность и истина; потому что сама истина имѣетъ лишь настолько значенія, насколько она не мнима, не призрачна, насколько она подходитъ подъ признаки реальнаго. Вотъ почему повелительнаго, дѣятельно принуждающаго—мало въ разумѣ; его дѣятельность вся—въ созерцаніи, въ уразумѣніи. Но созерцаемое происходитъ и должно происходить, нормируемое своими особыми законами, скрытыми въ остальныхъ задаткахъ человѣческой природы, ничего общаго съ сознаніемъ не имѣющихъ. Невозможность придуманной поэзіи и, до извѣстной степени, объясненной—есть частный случай этой общей истины. Среди этихъ задатковъ есть также и нравственные и религіозные. Конечно, они не проявляются безъ возбужденія, какъ и разумъ не начинаетъ мыслить, пока не данъ предметъ для мысли. Въ томъ и состоитъ сущность всякаго задатка, что онъ не иначе получаетъ развитіе, становится полнымъ существомъ, какъ когда присоединяется къ нему что-либо внѣшнее, или въ качествѣ возбужденія, или въ качествѣ матеріала, подобно тому какъ матеріалъ земли долженъ присоединиться къ сѣмени, чтобъ оно стало деревомъ. Но какъ никакая земля безъ сѣмени не образовала бы изъ себя дерева, такъ и никакія возбужденія извнѣ человѣческой природы не вызвали бы ея къ образованію религіозныхъ созерцаній и нравственныхъ идей, если-бы эти послѣднія не имѣли уже въ ней для себя задатка. По этому, какъ справедливо, что человѣкъ уже рождается разумнымъ

существомъ (хотя онъ становится разумнымъ только послѣ), такъ справедливо и то, что онъ уже рождается нравственнымъ и религіознымъ—хотя все это приходитъ также потомъ. По той причинѣ, по которой ни одному задатку мы не можемъ дать предпочтенія передъ другимъ,—по этой же причинѣ мы и религію, или нравственность не можемъ подчинить дѣятельному вліянію чего-нибудь, напримѣръ разума: *они одинаково реальны*. Наконецъ, такъ какъ всякій задатокъ есть задатокъ *къ чему-нибудь*, и это что-нибудь уже реально въ немъ настолько, насколько въ сѣмени реально дерево со всѣми своими формами, съ законами и силами своего роста: то подобно тому, какъ мыслящему разуму есть соотвѣтствующій ему мыслимый міръ, — и нравственному чувству есть отвѣчающій ему долгъ и религіозному созерцанію—созерцаемое имъ Божество. Все это столь же дѣйствительно и не менѣе ясно, какъ то, что не могло бы быть мысли, еслибъ ей нечему было отвѣчать, еслибъ вовсе не было никакихъ предметовъ, могущихъ мыслиться. И, какъ въ мышленіи единственный вопросъ состоитъ въ томъ, чтобы мыслить *правильно*; такъ и въ религіи и въ нравственности нѣтъ никакого вопроса о самыхъ предметахъ ихъ, но только о томъ, какъ отнестись къ нимъ правильно.

Отсюда смыслъ всѣхъ нравственныхъ и религіозныхъ тревогъ: въ разумѣ мы ощущаемъ живую боль всякій разъ, какъ онъ затрудненъ въ уразумѣніи чего-нибудь, когда онъ сбивается, ищетъ и еще не находитъ, и напротивъ живое удовлетвореніе чувствуемъ всякій разъ, когда онъ входитъ въ норму по отношенію къ предметамъ своимъ. Также точно, и по той же причинѣ, мы испытываемъ нравственное мученіе всякій разъ, когда не исполненъ долгъ, или религіозную тревогу, когда потеряли или не нашли еще вѣрнаго отношенія къ Богу. Во всѣхъ этихъ случаяхъ страданіе есть лишь симптомъ нѣкотораго извращенія, которому, по нашей винѣ или невольно, подвергается въ насъ одинъ изъ задатковъ души. Здѣсь, пожалуй, теорія обязанностей человѣка совпадаетъ съ утилитаризмомъ; но только изъ послѣдняго удалено все произвольное и нѣтъ болѣе неопредѣленности желаемаго. Дѣйствительно: ясная удовлетворенность есть цѣль человѣческой жизни, — но удовлетворенность эта, *нужно знать*, наступаетъ для человѣка лишь тогда, когда онъ ни одной стороною своей природы не отклонился отъ исполненія долга, въ эту природу заложеннаго; когда онъ возрастаетъ по законамъ души своей, не нарушая этихъ законовъ ни подъ какимъ вліяніемъ. Удовлетворенность есть здѣсь слѣдствіе—сопровождающій симптомъ того, что истинныя цѣли достигаются; оно есть боковое нѣчто, но не впереди лежащее—лучъ свѣта, который сопровождаетъ человѣка, пока онъ идетъ по опредѣленной тропинкѣ.

IV.

Нужно удивляться, какъ гр. Л. Н. Толстой не понялъ этого въ человѣческой природѣ. И особенно странно это будетъ для всякаго, кто, вчитываясь въ художественныя произведенія его, наблюдалъ какъ всюду, рисуя жизнь человѣческую, онъ оттѣняетъ принудительность всѣхъ движеній человѣческаго сердца, его страстей или антипатій и вытекающихъ отсюда дѣйствій. Неопредѣленности, хаотичности, безбрежнаго произвола онъ мудро не нашелъ въ жизни и не изобразилъ. Все движется у него свободно и однако по опредѣленнымъ путямъ, отъ которыхъ не уклонится [1]). Красота жизни, по этимъ путямъ движущейся и развивающейся, только повидимому свободной, но уже данной, заложенной въ характерахъ всѣхъ выведенныхъ лицъ [2])—это и составляетъ неисчерпаемый художественный и философскій интересъ его произведеній. И вотъ такъ мудро и такъ глубоко понявъ жизнь, онъ непостижимымъ образомъ на самый источникъ ея—человѣка, въ моментъ такихъ страшныхъ для себя тревогъ и рѣшеній, вдругъ посмотрѣлъ какъ ребенокъ. Все непонятно въ этомъ, и однако все это такъ. Самъ излившій такое богатство идей, самъ невольно и, быть можетъ иногда безсознательно, бравшій перо и писавшій чудныя страницы своихъ произведеній, Богъ знаетъ откуда и однако нетерпѣливо выливавшіяся,—этотъ человѣкъ могъ подумать и сказать, что другіе люди, милліоны подобныхъ ему существъ, могутъ по произволу заставлять себя или точать сапоги, или заниматься философіей; что человѣкъ есть самодвижущаяся кукла, которая можетъ опредѣлить себѣ: «пойду до этого», или еще: «никогда не сверну направо». Удивительное зрѣлище пророка, истиннаго пророка, который подумалъ бы, что вдохновенныя рѣчи говоритъ чрезъ него не Богъ, но обманщикъ-жрецъ, за нимъ сидящій.

Какъ только произошла эта ошибка въ главномъ — еще въ тѣ старые тревожные дни, которые пережилъ въ своей совѣсти

---

[1]) Напримѣръ, доканчивая послѣднія страницы второго тома *Анны Карениной*, изъ особеннаго тона ведущагося діалога, очень тонкаго, лишь слегка взволнованнаго и возбужденнаго, вдругъ ярко и совершенно впервые начинаешь ощущать едва мерцающую вдали еще и уже неизбѣжную гибель Анны, — почти съ ея подробностями, то-есть не въ ея частной обстановкѣ, но съ тѣми именно чувствами, съ которыми она умерла и по тѣмъ самымъ побужденіямъ. Весь третій томъ романа есть чудно раскрываемая картина медленной агоніи человѣка, усиливающагося и не могущаго избѣжать самоубійства.

[2]) И даже въ самомъ рожденіи: сюда относится въ *Войнѣ и Мирѣ* удивительный разговоръ между княжной Маріей Болконской, уже ставшей женой и матерью, и Наташей, также вышедшею замужъ за Пьера Безухаго, о судьбѣ Сони, воспитывавшейся въ домѣ Ростовыхъ и очень нравившейся Николаю Ростову, который и ей нравился, *но мужемъ ея не сталъ*,—то-есть о томъ, почему это произошло.

нашъ знаменитый писатель, такъ тотчасъ все смѣшалось въ хаосъ въ его идеяхъ и требованіяхъ. Все стало ошибочно и однако ужъ непреодолимо — разъ отклонились въ сторону, при разрѣшеніи центральнаго вопроса, его высокое сердце и благородный умъ. Неизбѣжно стало отрицаніе всего, что, за отсутствіемъ связи съ какою-либо высшею цѣлью, потеряло опору въ себѣ. Все, что наросло на человѣкѣ въ исторіи, — представилось ему, — наросло фатально и ненужно, безъ какого-либо опредѣленнаго смысла и безъ прочнаго основанія. Все это не выросло изъ человѣка, но придумано имъ, какъ забава для своего пустого ума или для заглохшаго сердца. Только безъ цѣли все это давитъ людей, и они должны сбросить эту историческую тяжесть, чтобы стать передъ природой также легко, какъ стояли тысячелѣтія тому назадъ. Раскутаться вновь отъ суевѣрій ума своего, отъ ошибокъ чувства; перестать собираться для чего-то въ громадныя скопища царствъ и возвративъ себѣ простоту сердца и кротость ума—воздѣлывать землю, пока она не сдѣлается могилой. Въ этомъ поколѣніе за поколѣніемъ состоитъ трудъ людей и на землѣ они не имѣютъ для себя другой задачи. Случайно попали они на эту землю, быть можетъ случайно и сойдутъ съ нея, и какъ въ существованіи ихъ нѣтъ радости, такъ не будетъ печали въ ихъ гибели.

V.

Эти мысли, которыя такъ еще волнуютъ насъ, но въ которыхъ уже стали бы задыхаться наши дѣти,—эти печальныя мысли, столь серьезно высказанныя, ошибочны въ корнѣ своемъ. Онѣ всѣ текутъ изъ одного источника—изъ признанія, высказаннаго еще въ «Исповѣди»: что человѣкъ не знаетъ цѣли своей жизни. За этимъ незнаніемъ было бы, конечно, безуміемъ для него къ чему-нибудь стремиться, чего-нибудь искать, и, насколько искалъ онъ въ прошломъ и что уже нашелъ — его исторія, его цивилизація, — все это призрачно, безсодержательно, потому что лишено высшаго оправданія, каковое могло бы получить только въ сознаніи своей цѣли. Но эта цѣль *есть*—она дана въ самомъ строеніи нашей духовной природы. Она безусловна, и мы не можемъ даже обсуждать ее, потому что у насъ нѣтъ для этого никакого орудія. Самый разумъ нашъ, самая мысль, критикѣ которой мы готовы были бы подвергнуть эту цѣль—безсильна къ этому, потому что она также входитъ въ составъ этой цѣли, и какъ часть, не можетъ обсуждать цѣлаго, которому принадлежитъ. Мы должны принять свою цѣль, какъ данное, какъ священное и намъ непонятное. Религіозенъ весь человѣкъ и вся жизнь его, и также—его цивилизація и исторія: хотя, конечно, болѣть все это и искажаться—можетъ, но искажаясь, тѣмъ

самымъ все это уже указываетъ на вѣчную норму, отъ которой отступаетъ. Здѣсь — въ нашей обязанности понять эту норму, и заключается второй выходъ для нашего общества. Не подавленіе природы своей до minimum'а, не это насильственное сжатіе своей головы и задержаніе біеній своего сердца составляетъ долгъ нашъ на землѣ — это уродство, это наконецъ преступленіе: но, напротивъ, раскрытіе своей природы въ исторіи по предустановленнымъ для нея законамъ и путямъ. Ни пути эти, ни норма цивилизаціи, ни наконецъ природа человѣка, съ этой точки зрѣнія своей предустановленности, никогда не сознавались человѣкомъ. Онъ былъ похожъ на бѣдное существо, которое, бродя туда и сюда и не зная, куда преклонить голову, забыло о богатомъ чертогѣ, который принадлежитъ ему, для него освященъ и созданъ. Онъ, правда, уже давно сталъ язычникомъ и дѣлаетъ все безстыдное, что̀ можно дѣлать, только зная, что его никто не увидитъ и что послѣ него ничего не останется. Много злобы въ этомъ, но еще больше грусти. Удивительно: на склонѣ второго тысячелѣтія жизни явиться такимъ жалкимъ, такимъ несчастнымъ, такъ позорно униженнымъ, и наконецъ дурнымъ.

И все это—только сонъ; все—заблужденіе тысячелѣтіе грезившей мысли, которая, послѣ свѣтлыхъ мечтаній, на минуту увидѣла темные призраки. Не въ призракахъ, не въ томъ, что мы *придумываемъ* — истина; но въ томъ, что мы созерцаемъ, что дано *прежде* нашей мысли. Прежде этой мысли дана природа и поняли ли мы ее? Одновременно съ этою мыслью данъ намъ духъ, въ которомъ она зародилась,—и что мы въ немъ увидѣли? Увидѣли ли, оцѣнили ли мы все значеніе этихъ неуловимыхъ нитей, по которымъ точно тянется душа наша ко всей природѣ, стремится все понять въ ней, ко всему привязаться, все запомнить и хоть въ памяти своей унести въ могилу? По истинѣ, ничего мы еще не поняли ни въ себѣ самихъ, ни въ своей жизни; и темно для насъ міроздание, на которое мы смотрѣли, но его не понимали. Какъ кажется, истинный смыслъ и значеніе текущихъ блужданій заключается именно въ томъ, что они подводятъ человѣка къ этому сознанію своего религіознаго значенія. Онъ въ самомъ дѣлѣ не язычникъ; это пустое—что онъ можетъ дѣлать что̀ хочетъ, и что съ нимъ можно дѣлать, что̀ захочется. Есть грани для него, и есть другія, которыя надъ нимъ. Онѣ всѣ забыты, всѣ переступлены— и вотъ отчего эти неопредѣленныя тревоги совѣсти, которыми мучится современное человѣчество. Въ вѣчныхъ поискахъ за успѣхомъ, въ вѣчномъ придумываніи, чѣмъ бы себя осчастливить, человѣкъ заблудился, наконецъ, до того далеко, что никакого счастья ему не нужно, и въ страхѣ рука его не хочетъ поднять то, что наконецъ найдено и можетъ быть взято. Въ этомъ чувствѣ отвращенія къ своей жизни, *какъ проходила она*, вдругъ и неожиданно

сказалась вѣчная и благородная его природа. Онъ припоминаетъ себя—гдѣ онъ и что? и зачѣмъ сюда пришелъ? Все еще не ясно для него, но для всѣхъ, кто умѣетъ прислушиваться къ темнымъ движеніямъ сердца, къ начинающимся уклонамъ исторіи—ясно, что онъ силится припомнить вѣчный источникъ себя, своей жизни и съ собою—цѣлой природы. Можно, конечно, ошибаться—но, кажется, мы стоимъ въ исторіи наканунѣ великихъ начинаній.

5. Можетъ ли быть мозаична историческая культура?

I.

Я замѣтилъ, что главный недостатокъ людей шестидесятыхъ годовъ заключался въ слабой вдумчивости, въ отсутствіи какой-либо сложности, какого-либо узора въ ихъ мышленіи. Въ отвѣтъ на это замѣчаніе г. Н. К. Михайловскій упрекнулъ меня, что, развивая свои положенія, я не подтверждаю ихъ примѣрами. Но вотъ въ другой своей статьѣ онъ даетъ мнѣ случай сдѣлать требуемую поправку, а самый предметъ этой статьи такъ важенъ, слова, въ которыхъ онъ обсуждается, столь многозначительны, что болѣе удобнаго случая для подобной поправки я не могъ бы и ожидать.

Есть, въ самомъ дѣлѣ сложныя и трудныя темы, обсуждая которыя въ продолжительныхъ спорахъ и все еще путаясь въ потемкахъ, спорящіе неожиданно, случайно, произносятъ такое слово, въ смыслѣ котораго разомъ открывается и смыслъ всей темы: только относительно его согласиться, принять или отвергнуть этотъ смыслъ—и споръ рѣшенъ. Г. Михайловскому именно случилось высказать такое слово. Обсуждая старый и вѣчно тревожный вопросъ о нашемъ отношеніи къ Западу, онъ говоритъ:

> Задача наша не въ томъ, чтобы выростить непремѣнно самобытную цивилизацію изъ собственныхъ національныхъ нѣдръ, но и не въ томъ, чтобы перенести на себя западную цивилизацію цѣликомъ со всѣми раздирающими ее противорѣчіями: *надо брать хорошее отовсюду, откуда можно*, а свое оно будетъ или чужое — это уже вопросъ не принципа, а практическаго удобства. *Повидимому, это столь просто, ясно и понятно, что и разговаривать не о чемъ.* Но очень часто бываетъ, что простыя и понятныя вещи съ большимъ трудомъ завоевываютъ себѣ мѣсто въ природѣ и въ умахъ человѣческихъ [1]).

Нѣсколько тысячелѣтій люди думали, и каждый человѣкъ могъ провѣрить собственными глазами это убѣжденіе, что солнце ежедневно поднимается изъ-за горизонта и ежедневно же западаетъ за него, описывая величественный кругъ надъ неподвижно покоющеюся землей. Это было не только «просто, ясно и понятно» — это было видимо, какъ виденъ вотъ этотъ лѣсъ, предъ которымъ я стою. Но

---

[1]) *Русская Мысль*, «Литература и жизнь», 1893, іюнь.

великъ былъ подвигъ Коперника, когда усомнившись въ этой ясной, видимой дѣйствительности, онъ предположилъ ей совершенно обратное; велико было движеніе въ немъ мысли, и отъ этого движенія ведетъ свое начало истинное вѣдѣніе человѣка о себѣ и о мірѣ.

По общности предмета, по важности его для всего человѣчества, мы, конечно, не рѣшимся сравнивать идеи славянофиловъ съ сомнѣніемъ Коперника; но по исходной точкѣ, по отношенію къ дѣйствительному и кажущемуся, ихъ мысль, ихъ требованія въ самомъ дѣлѣ имѣютъ много аналогичнаго съ его мыслью. Они также имѣли мужество только усомниться въ нѣкоторыхъ «очевидныхъ» истинахъ; это подняло противъ нихъ смѣхъ и злобу, и къ ихъ великому горю, они не имѣли подъ руками ни измѣрительныхъ приборовъ, ни математическаго счисленія, чтобы заставить стихнуть эту злобу и этотъ смѣхъ. По самому предмету своему, каковымъ была исторія, они могли дѣйствовать лишь путемъ гораздо менѣе точнаго и яснаго разсужденія; но какъ можно было заставить всѣхъ войти въ этотъ трудный и сложный кругъ мысли?

«Надо брать хорошее отовсюду, откуда можно»—эта мысль, повидимому, элементарно справедлива. На ней, именно, основывался весь ходъ нашей исторіи отъ Петра Великаго, который «бралъ хорошее отовсюду», безъ какихъ-либо сомнѣній: и на ней-же держится все ученіе западниковъ, непонимающихъ почему и впредь мы не должны бы брать хорошее вездѣ, гдѣ можно.

Но вотъ и сомнѣніе. Архитекторы нашего времени, такъ долго готовящіеся къ своему дѣлу, прежде нежели приступаютъ къ нему тщательно изучаютъ исторію зодчества во всѣхъ странахъ и у всѣхъ народовъ. Стиль китайскихъ пагодъ и греческихъ ордеровъ, наконецъ византійскій, романскій и готическій—имъ равно и хорошо извѣстны. Повидимому, они должны бы, при этомъ богатствѣ выбора, при точности и разнообразіи свѣдѣній своихъ, создавать лучшее, изящнѣйшее, нежели что создано было когда либо въ сферѣ зодчества. Мы вѣримъ, что г. Михайловскій чистосердеченъ и правдивъ: пусть же онъ подумаетъ. почему эти архитекторы, несмотря на всѣ усилія, не могутъ создать чего-нибудь хоть приблизительно равнаго по мощи, по красотѣ, по вѣчности тѣмъ памятникамъ, подражать которымъ и комбинировать, которые они свободны?

Здѣсь и лежитъ центръ спора между славянофилами и западниками. Западники не могутъ понять, почему нельзя брать «хорошее отовсюду»; славянофилы—хорошо понимая апріорную ясность этой мысли—при взглядѣ, при вдумчивости въ процессъ таинственнаго роста народовъ, сказали: «нѣтъ, они не растутъ эклектически; они не набираются, смотря по сторонамъ, наилучшаго со всѣхъ сторонъ; все, что было и есть въ исторіи великаго, священнаго, истинно живаго, развивается изъ своихъ нѣдръ; каждое дерево растетъ только изъ своего сѣмени».

Мы упомянули объ эклектизмѣ, и это понятіе съ новой стороны можетъ уяснить занимающую насъ тему: не извѣстно ли г. Михайловскому, что на развалинахъ философскихъ системъ, столь нетерпимыхъ одна къ другой, столь исключительныхъ обычно, появляются *эклектики*, которые, изучая всѣ предшествующія системы, избираютъ изъ нихъ наиболѣе совершенныя и, согласуя ихъ между собою, соединяя въ трудахъ своихъ наилучшее изъ каждой системы, создаютъ новыя ученія? Но долговѣчны ли онѣ, но значущи ли? О, г. Михайловскій не «эклектикъ»: онъ не допуститъ рядомъ съ извѣстнымъ утвержденіемъ лежать другому, изъ чужаго огорода. Онъ понимаетъ, что такое «цѣлость»; а если онъ понимаетъ это въ воззрѣніяхъ, то не можетъ не понять и въ исторіи, а съ тѣмъ вмѣстѣ—и не принять всей славянофильской точки зрѣнія.

II.

Вся разница между славянофилами и западниками заключается въ томъ, что взглядъ первыхъ на исторію есть органическій, а вторые смотрятъ, на нее, какъ на простое механическое дѣланіе. Въ рядѣ собственныхъ разсужденій [1]), г. Михайловскій самъ устанавливаетъ нѣкоторыя существенныя положенія органическаго воззрѣнія: онъ говоритъ, что въ жизни народной, какъ и въ развитіи каждаго живаго существа, нужно различать *степень* развитія отъ его *типа*; и то, что по степени можетъ быть выше другого, по типу *въ то же самое время* можетъ быть неизмѣримо его ниже. Такъ, поясняетъ онъ, всякое взрослое животное богатствомъ, силой и разнообразіемъ своихъ проявленій превосходитъ новорожденное дитя человѣка; кажется, что оно превосходитъ его и обиліемъ душевной жизни. Но все это превосходство относится лишь къ позднѣйшей степени его развитія; возьмемъ *типъ* развитія, то-есть дитя человѣческое со всею суммой лежащихъ въ немъ *задатковъ*, и мы увидимъ, какъ всякое животное бѣдно сравнительно съ нимъ.

Признаюсь, прочитавъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ это разсужденіе, я удивился, какъ мало, въ сущности, остается между этимъ воззрѣніемъ и самыми завѣтными надеждами славянофиловъ. Поистинѣ, только разныя «любви» и «ненависти», имѣющія предметомъ частности нашей дѣйствительности, мѣшаютъ слиться двумъ самымъ значущимъ теченіямъ нашей исторіи.

«По типу», говоритъ г. Михайловскій, «несмотря на очевидную элементарность степени, данное развивающееся существо можетъ быть выше другого, стоящаго уже на высшей ступени развитія, но развитія болѣе грубаго и несовершеннаго типа». Неужели не согласится онъ, что *антагонизмъ*, что *потребность побѣды* есть истин-

---

[1]) Въ *Сборникѣ статей* о графѣ Л. Толстомъ.

ный стимулъ всего западнаго историческаго движенія, что именно онъ составляетъ *типъ*, по которому эта исторія движется? Неужели напоминать патриціевъ и плебеевъ, оптиматовъ и пролетаріевъ, Италію и пожираемыя ею провинціи, чтобы согласиться въ этомъ относительно Рима? Неужели говорить о государствѣ и церкви, феодальномъ строѣ и королевской власти, католицизмѣ и реформаціи, монархіи и революціи, капитализмѣ и нищенствѣ, чтобы согласиться въ этомъ относительно христіанской Европы? Вѣдь здѣсь *вся* исторія, безъ какого-либо остатка,—и въ каждой части этой, во всякомъ біеніи своего пульса, Европа внутренно боролась, съ жаждой или умереть, или побѣдить. Въ неизъяснимой красотѣ этой борьбы, въ величіи результатовъ ея—кто будетъ сомнѣваться? Скажемъ болѣе: кто возьметъ на себя мужество осудить эту борьбу, если она такъ ясно была заложена въ самомъ сѣмени, изъ котораго выросло чудное, двухъ-тысячелѣтнее дерево европейской цивилизаціи?

Но кто же будетъ имѣть силы отвергнуть, что антагонизмъ, что борьба, съ высшей человѣческой точки зрѣнія, для сердца нашего, есть низшее, чѣмъ примиреніе? что какъ бы прекрасны ни были борющіеся въ напряженіи своихъ силъ—въ тотъ мигъ, когда они подадутъ другъ другу руку, они будутъ лучше и прекраснѣе? Въ концѣ концовъ борьба есть лишь состояніе, то-есть нѣчто временное; она полна неудовлетворительности и, слѣдовательно, стремленія изъ нея выйти. Этотъ выходъ, это завершеніе должно же быть для человѣка и его исторіи, какъ оно есть для всего развивающагося, которое непремѣнно *во что-нибудь* развивается. Для антагонизма—хотя бы онъ длился тысячелѣтія — этотъ исходъ, эта вѣнчающая глава, по самому смыслу его, по тяготѣнію,—есть примиреніе: не насильственное, не то умиротвореніе, когда противника уже нѣтъ, когда онъ стертъ съ лица земли; но когда онъ признанъ въ своей особой правотѣ, и самъ призналъ правоту другого, съ которымъ боролся.

Сказать, что началомъ мира проникнута была русская исторія—никто не рѣшится; и человѣкъ, въ утробѣ своей матери проходя различныя фазы, бываетъ въ нѣкоторыхъ изъ нихъ похожъ на то или на другое животное. Но въ томъ, куда онъ выходитъ изъ этихъ фазъ, къ чему стремится, *въ типѣ своего развитія*—онъ есть человѣкъ. Такъ точно лишь въ незначительной мѣрѣ въ фактахъ, но гораздо болѣе въ стремленіи, въ завѣтныхъ своихъ чаяніяхъ, въ томъ, что *полагается окончательнымъ*—народъ русскій проникнутъ началомъ именно гармоніи, именно примиренія.

III.

Но это относится уже къ точному смыслу той культуры, которая во всякомъ случаѣ—вся въ ожиданіи еще; споръ же славяно-

филовъ ведется главнымъ образомъ не о немъ, но только о необходимости для каждаго историческаго народа соблюдать цѣльность въ своемъ возрастаніи, а слѣдовательно и внутреннее воздержаніе отъ заимствованій, даже когда они идутъ отъ народовъ достигшихъ гораздо высшей *степени* развитія, но по иному его *типу*. Только въ этомъ одномъ состоитъ весь споръ, и не можетъ, не отрекаясь отъ своихъ же размышленій, не затирая ради раздраженія сердца плодовъ своей же умственной работы, отвергнуть г. Михайловскій коренную правоту ихъ ученія.

Но эта правота, какъ мы замѣтили въ началѣ, требуетъ для обнаруженія своего нѣкотораго напряженія мысли, временнаго сомнѣнія въ такъ называемыхъ «элементарныхъ и очевидныхъ истинахъ». Въ нежеланіи громаднаго большинства людей сколько-нибудь напрягать свою мысль и лежитъ вся причина нераспространенности ученія славянофиловъ: ученіе западниковъ, все покоясь на повтореніи общихъ мѣстъ, гораздо понятнѣе, усвоимѣе, доступнѣе самому элементарному уму. Въ этомъ причина ихъ успѣха, но только въ настоящемъ; въ будущемъ же, какъ только усложнится наша общественная мысль, ихъ несостоятельность станетъ очевидна.

Очевидно станетъ для всякаго, что при стремленіи къ нѣкоторымъ абсолютнымъ цѣлямъ, общимъ для всего человѣчества — къ добру, къ свободѣ, къ истинѣ, — каждый народъ старается достигнуть ихъ своимъ особымъ путемъ, въ своеобразныхъ формахъ и своеобразными способами. Достигнуть свободы можно и *принудивъ* дать ее, и *выждавъ*, когда крѣпостящій самъ пойметъ, что она выше рабства. Убѣдить въ своихъ мнѣніяхъ другого можно и запугивая его мысль, дѣйствуя на ея робость. Такъ поступаетъ сатира, но по истинѣ, чего бы ни достигала она — лучше было бы, еслибъ ея никогда не появлялось, потому что той же цѣли можно достигнуть, ободряя противника, заставляя его высказаться до конца и до конца же высказывая ему свои убѣжденія,—это имѣетъ еще и ту добрую сторону, что всегда открываетъ возможность и самому нѣсколько поправиться. Наконецъ, если перейти къ матеріальнымъ «нуждамъ большинства населенія»—какими бы страданіями онѣ ни сопровождались, какъ бы ни было много несправедливости въ недостаточной поспѣшности ихъ удовлетворить, — все таки было-бы лучше, еслибъ онѣ были удовлетворены такъ же, какъ удовлетворенъ, черезъ два вѣка страданія, не менѣе тяготившій народъ вопросъ о расколѣ. Есть церковь единовѣрческая и, Богъ дастъ, будетъ *одна* церковь, въ которую войдетъ, какъ *одной вѣры*, всякій человѣкъ, который теперь еще отличается именемъ «единовѣрца».

Ни для римскаго пролетаріата, ни для протеста въ нѣдрахъ католичества, ни для нищенства нашего вѣка, конечно, не было и не будетъ найдено, *на особой почвѣ ихъ требованій*, какого либо «единовѣрія». И они, громадныя массы людей и съ ними лучшія

надежды исторіи, погибли — потому только, что боролись, что не умѣли страдать и выносить. Тотъ фактъ, что всякое *не*перенесенное страданіе ничѣмъ и не рѣшалось, и никакого для себя исхода не получало—есть самый удивительный фактъ въ исторіи и, мнѣ думается, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ и самый поучительный фактъ для всякаго народа, у котораго главное—еще въ будущемъ.

IV.

Но мы опять уклонились въ сторону—къ тому, что̀ можетъ составить отличительную черту нашей исторіи. Не въ этомъ дѣло, но въ томъ, что какова бы ни была эта черта, она должна быть строго выдерживаема въ развитіи. Мы снова возвращаемся къ мысли г. Михайловскаго объ эклектизмѣ въ исторіи и, сопоставляя ее съ гораздо лучшею (потому что болѣе сложною) его мыслью о типѣ развитія, спрашиваемъ: неужели этотъ типъ не будетъ нарушенъ, если развивающійся организмъ будетъ ради улучшенія своего въ данную преходящую фазу брать отовсюду кусочки живой ткани отъ другихъ организмовъ и замѣнять ими части собственнаго существа? Не ясно ли, что онъ изранитъ только себя, что онъ умретъ гораздо ранѣе, чѣмъ достигнетъ зрѣлости въ томъ особомъ типѣ развитія, по которому течетъ и уже не можетъ не течь его жизнь?

Понятна-ли теперь та мучительность, которую внушаетъ собою эта теорія эклектизма всякому, кто имѣетъ понятіе о началахъ органическаго развитія? Правила удобныя для того, чтобы, руководясь ими, составить мозаику прилагаются къ неизмѣримо болѣе сложному, трудному и таинственному живому росту. Эти правила, соблазняющія своею простотой, уже два вѣка прилагаются къ нашему народу, и послѣ всѣхъ страданій, всѣхъ неудачъ, всей горечи, какая чувствуется отъ этого въ жизни, находятся настолько «элементарные» умы, что все еще не могутъ переступить за свои «простыя и ясныя мысли».

Къ числу этихъ «элементарныхъ» принадлежали и люди 60-хъ годовъ. Повторимъ то, что уже говорили раньше: ни въ неустанной дѣятельности, ни въ настойчивости, ни въ готовности жертвовать собою у нихъ не было недостатка. Но *какъ* жертвовать, но *за что* бороться, но *чѣмъ* слѣдуетъ созидать—этого они не понимали. Общіе для всѣхъ людей идеалы, которыхъ какъ свѣта солнечнаго не видѣть нельзя — и они видѣли; но безумецъ или неосмысленный ребенокъ былъ бы тотъ, кто, видя солнце, полѣзъ-бы къ нему, надѣясь схватить его руками, и преступникъ былъ-бы тотъ, кто, чтобы построить для этого лѣстницу, началъ бы рубить дерево, согрѣваемое, освѣщаемое этимъ солнцемъ, съ нимъ взаимодѣйствующее и только до него не достающее.

Эта доля преступности лежитъ и на той особой группѣ людей, къ которой собственно прилагается имя «людей 60-хъ годовъ», но они были лишь самые яркіе въ своей эпохѣ—неосмысленна же была вся она. Г. Михайловскій говоритъ, и не однажды, о свѣтломъ, радостномъ духѣ, съ которымъ начиналась эта эпоха. Дѣйствительно, только одинъ моментъ въ нашей исторіи аналогиченъ съ нею по настроенію, по ожиданіямъ, по какому-то единящему духу, проникавшему всѣ сердца отъ верха до низу: это первые годы царенія Грознаго. Но въ покаянной рѣчи мудраго царя предъ народомъ, когда съ лобнаго мѣста онъ говорилъ о своихъ винахъ, и о чужихъ преступленіяхъ, и о невыносимыхъ долѣе страданіяхъ «сиротъ своихъ», простаго народа, — какъ много было смысла и достоинства, если сравнить ее съ нашею «обличительною литературой», конечно правою, но такъ мелко злобною, такъ напоминающею тѣ собачьи головы, съ которыми позднѣе ѣздили опричники, «выметая соръ изъ отечества». И далѣе, въ земскомъ, въ стоглавомъ соборахъ, въ вопросныхъ пунктахъ и въ рѣчахъ на нихъ, какъ много опять было ума и обдуманности, сравнительно съ разными (кто помнитъ имя ихъ?) коммиссіями 60-хъ годовъ. Конечно, все это было въ значительной мѣрѣ элементарно, но вѣдь это же было три съ половиной вѣка назадъ. И еслибы тотъ порывъ обновленія, при взрывѣ котораго жили 60-е года, вызвалъ и самое обновленіе въ томъ же духѣ, какъ оно совершилось при юномъ и удивительно мудромъ царѣ, но съ соотвѣтствующею поздней фазѣ развитія сложностію и массивностію замысловъ,—были ли бы мы тамъ же, гдѣ теперь? То ли бы говорили? О томъ ли сожалѣли? Этотъ частный примѣръ показываетъ, что̀ значитъ «при общихъ цѣляхъ» стремиться къ нимъ по особому для каждаго народа типу развитія. Въ тысячелѣтней исторіи народъ нашъ привыкъ всякое дѣло дѣлать благословясь, съ оглядкой, а не съ просонья, не съ неумытыми руками, не бросаясь растерянно во всѣ стороны. И не «праздникомъ праздникъ» вышелъ, какъ говоритъ мой противникъ; нѣтъ, это неправда: вышла въ дѣйствительности сутолока, и кровь, и трескъ по всѣмъ швамъ раздираемаго зданія.

Какъ дерево, возрастая, осуществляетъ въ величинѣ своей, въ формѣ, въ цвѣторасположеніи, даже въ наружномъ цвѣтѣ коры тѣ именно особенности, которыя таились уже въ сѣмени, глухо лежавшемъ въ землѣ и давшемъ ему жизнь; какъ композиторъ въ каждой послѣдующей части своего произведенія только богаче, только многообразнѣе и глубже выражаетъ мотивъ, элементарно заложенный уже въ первыхъ звукахъ симфоніи,—такъ точно, ни въ чемъ не отступая отъ этихъ общихъ законовъ органическаго созиданія, и каждый народъ, вѣкъ за вѣкомъ возводя свою исторію, долженъ строго наблюдать, чтобы ни одна часть въ ней не была въ дисгармоніи съ остальными, чтобы въ ихъ смыслѣ,

въ духѣ, во внѣшнихъ чертахъ развивался все одинъ мотивъ, все тотъ же вѣковѣчный смыслъ, выразить который предъ лицомъ остальнаго человѣчества онъ, очевидно, призванъ Волею, вызвавшею его къ бытію. Бытовыя формы его, какъ и учрежденія, его церковь съ тысячелѣтними преданіями и образъ правленія—все, что бы ни взяли мы въ его функціяхъ внѣшнихъ и внутреннихъ, должно не разбѣгаться отъ центра, разрывая его существо, но быть обращено своимъ строемъ, своимъ вниманіемъ къ этому центру, къ его смыслу,—и тогда только будетъ онъ «цѣлое», а не наборъ случайно и непрочно соединенныхъ частей.

Было ли понято это въ 60-е годы? Результатомъ ли такого органическаго созиданія является новѣйшая Россія, получившая свой теперешній видъ тридцать лѣтъ назадъ? Византійская церковь, французскіе суды, германское воспитаніе, англійское мѣстное самоуправленіе, и только русская самодержавная власть—могло ли и можетъ ли все это существовать одно возлѣ другого, безъ нѣкотораго тонкаго антагонизма, хотя бы выраженнаго, до времени, въ индифферентизмѣ каждой части къ остальнымъ? Не носитъ ли здѣсь всякая часть свой особый принципъ, привнесенный ею съ цѣлаго организма, изъ котораго она взята, и не будетъ ли усиливаться она распространить его на цѣлый же организмъ, ставшій для нея новою родиной? Не отразится ли это неуловимо на внутренней устойчивости, на прочности всякаго индивидуальнаго существованія, семейнаго быта, личнаго міросозерцанія? Въ теченіе тридцати лѣтъ не видѣли ли мы обильнаго роста плодовъ именно въ этомъ направленіи, съ которымъ упорно и безсильно боролись, вовсе не догадываясь устранить порождавшее его условіе?

6. Еще о мозаичности и эклектизмѣ въ исторіи.

I.

Въ сентябрьской книжкѣ *Русской Мысли* за 1892 г. г. Н. Михайловскій далъ отвѣтъ на мою предъидущую статью, озаглавленную *Можетъ ли быть мозаична историческая культура?*

Къ сожалѣнію, колеблющійся и неясный тонъ его статьи не даетъ возможности сдѣлать сколько-нибудь опредѣленное заключеніе о томъ, какъ онъ рѣшаетъ въ своемъ умѣ поставленный мною вопросъ. Такія оговорки, какъ то, что «эклектизма въ ученіи выросшемъ въ шестидесятыхъ годахъ на развалинахъ славянофильства и западничества нѣтъ; но и предполагаемый г. Розановымъ эклектизмъ не есть, все-таки, западничество» (стр. 156),—побуждаютъ думать, что самый принципъ эклектизма онъ осуждаетъ въ основаніи, считаетъ его дѣйствительно неспособнымъ что-либо прочно и хорошо создать

въ исторіи. Мелькаютъ въ статьѣ его и другія характерныя оговорки: «въ періодъ нашего возрожденія (въ шестидесятые годы) кое-что дѣйствительно очень сложное казалось намъ очень простымъ» (стр. 153); «извѣстной доли истины въ славянофильствѣ я не отрицалъ и не отрицаю» (стр. 154); привѣтствуя судебную реформу, этотъ «мозаично вбитый въ нашу жизнь клинъ», Аксаковъ измѣнилъ славянофильской точкѣ зрѣнія, хотя, конечно, никогда не сознался бы въ этомъ» (стр. 158—159) и т. п. Но всѣ эти характерныя, многоговорящія строки затерты въ пространныхъ страницахъ, кружащихся около предмета спора, но этотъ споръ не разрѣшающихъ. И я рѣшаюсь думать, что, сверхъ дурной манеры писанія, въ этихъ ни на что не отвѣчающихъ и ни къ какой цѣли не ведущихъ страницахъ есть и нѣкоторая доля желанія затемнить или спутать споръ.

Только слѣдующее разсужденіе (изъ всѣхъ 18 страницъ, гдѣ разбирается мой фельетонъ) имѣетъ прямое отношеніе къ моимъ мыслямъ о мозаичности и эклектизмѣ въ исторіи:

«Эклектики a priori полагали, что во всякой философской системѣ заключается доля истины; во вторыхъ, они не выставляли достаточно яснаго собственнаго критерія, съ помощью котораго надлежитъ отличать истину отъ заблужденія, и думали, что результатъ этотъ можетъ быть достигнутъ простымъ сопоставленіемъ различныхъ системъ. Эти двѣ черты характеризуютъ эклектизмъ въ отличіе отъ самостоятельныхъ и цѣлостныхъ философскихъ системъ. Всѣ люди другъ у друга учатся, всѣ заимствуютъ свои идеи и знанія изъ самыхъ разнообразныхъ источниковъ, но не всѣ же эклектики. Всякій мыслитель, принимаясь за новую философскую систематизацію идей и вещей, изучаетъ системы своихъ предшественниковъ и беретъ изъ нихъ то, что считаетъ истиной, отвергая то, что ему кажется заблужденіемъ [1]). Такъ поступаетъ всякій и иначе поступать никто не можетъ, какъ бы ни былъ великъ и оригиналенъ его собственный вкладъ въ сокровищницу мысли. Но творецъ цѣлостной и самостоятельной системы отнюдь не убѣжденъ, что въ философскихъ построеніяхъ *всѣхъ* его предшественниковъ содержится истина, лишь осложненная или затуманенная заблужденіемъ.

---

[1]) Это совсѣмъ не такъ: *ядро* оригинальныхъ философскихъ системъ всегда выростало изъ *отрицанія* предшествующаго владычествующаго ученія и лишь побочныя ихъ опоры, не значущія и не характерныя части брались изъ прежнихъ системъ. Такъ механическая философія Декарта выросла изъ противодѣйствія телеологическому міровоззрѣнію древности и Среднихъ Вѣковъ и въ этомъ ядрѣ своемъ она есть явленіе совершенно новое въ исторіи; то же можно сказать объ индуктивной философіи Бэкона въ отношеніи къ силлогистической логикѣ Аристотеля, или объ ученіи Канта въ отношеніи къ Юму, скептицизмъ котораго онъ преодолѣлъ. Идеализмъ Фихте, Шеллинга и Гегеля есть переступаніе разума за границы, опредѣленныя для него Кантомъ, въ вѣчно непознаваемый, по мнѣнію этого философа, міръ «вещей въ себѣ».

Еслибы даже таковымъ и оказался результатъ его изученія (чего быть не можетъ), то это именно будетъ результатъ, а не исходная точка, a priori установленная. Далѣе, самостоятельный мыслитель не предоставляетъ дѣло отличенія истины отъ заблужденія процессу сопоставленія различныхъ системъ, а выдвигаетъ опредѣленный критерій истины. Такъ стоитъ дѣло относительно «воззрѣній», *также стоитъ оно и по отношенію къ „исторіи". Кто предлагаетъ своему отечеству „брать хорошее отовсюду, откуда можно", то есть у себя ли дома, или изъ-за границы, тотъ лишь въ такомъ случаѣ окажется политическимъ эклектикомъ, если: 1) не послѣ, а до изслѣдованія рѣшитъ, что хороше есть вездѣ, во всѣхъ политическихъ формахъ или, вообще, формахъ общежитія и 2) не установитъ опредѣленнаго принципа, на основаніи котораго слѣдуетъ различать хорошее и дурное.* О первомъ условіи нечего и говорить. Что же касается второго, то литература шестидесятыхъ-семидесятыхъ годовъ имѣла совершенно ясный критерій политическаго добра и зла; а именно принципъ интересовъ только-что освобожденнаго народа» (стр. 155).

Въ этихъ важныхъ словахъ, трижды повторяющихъ одну и ту же мысль, и содержится все серьезное, что есть въ статьѣ моего противника. Однако, сравнимъ ихъ со слѣдующимъ прежнимъ твердымъ его увѣреніемъ:

«Задача наша не въ томъ, чтобы выростить непремѣнно самобытную цивилизацію изъ собственныхъ національныхъ нѣдръ, но и не въ томъ, чтобы перенести къ себѣ западную цивилизацію цѣликомъ, со всѣми раздирающими ее противорѣчіями: надо брать хорошее отовсюду, откуда можно, а свое оно будетъ, или чужое— это уже вопросъ не принципа, а практическаго удобства. *Повидимому, это столь просто, ясно и понятно, что и разговаривать не о чемъ»* (*Русская Мысль*. 1892 г., іюнь).

Изъ этого сравненія мы видимъ ясное отступленіе г. Михайловскаго отъ прежняго своего категорическаго утвержденія. О безбрежной неопредѣленности выбора болѣе и рѣчи нѣтъ; высказывается ясное согласіе, что долженъ быть нѣкоторый опредѣленный принципъ, который сообщилъ бы единство выбираемому, придалъ бы цѣлостность тому, что исторически возводится. Мозаика и эклектизмъ въ принципѣ отвергаются.

Однако, дѣйствительно ли они исчезнутъ, когда у той или у другой изъ борющихся партій будетъ этотъ избирательный принципъ? Вѣдь партія—только коллективное лицо въ исторіи, одно изъ множества лицъ, которыя всѣ имѣютъ право на свой принципъ. Вотъ прошло четверть вѣка — минута въ исторической жизни народа нашего: тѣхъ людей, о которыхъ говоритъ мой противникъ, уже нѣтъ или они договариваютъ свои послѣднія слова, а у новаго поколѣнія есть свои надежды и сомнѣнія, своя вѣра, не похожая

на прежнюю,—и что же: оно какъ и предыдущее поколѣніе, но въ иномъ стилѣ, будетъ возводить зданіе родной исторіи съ тѣмъ, чтобы ту же свободу и неопредѣленность выбора оставить дѣтямъ своимъ, внукамъ и т. д.? Гдѣ же, въ такомъ случаѣ, единство и цѣльность, а съ ними и осмысленность, у того великаго лица, которое мы зовемъ историческимъ народомъ и ради котораго хотимъ, чтобы были осмысленны и цѣльны всѣ партіи, всѣ люди, все живое въ его нѣдрахъ, но, почему-то, не онъ самъ?

II.

Ясно, что на индивидуумѣ только, или на политической партіи, мы не можемъ остановиться въ этомъ требованіи единаго, цѣльнаго принципа. Славянофильская теорія и состоитъ вся въ томъ, что распространяетъ это требованіе на цѣлый народъ. Или точнѣе, она утверждаетъ, что подобный принципъ есть у каждаго народа, что онъ скрытъ въ особенностяхъ его духовной организаціи, въ его преимущественномъ вниманіи къ нѣкоторымъ предметамъ и въ преимущественныхъ же къ нимъ способностяхъ. Нѣтъ повторяющихся великихъ миссій въ исторіи, нѣтъ двухъ сколько-нибудь значущихъ народовъ, черты духовнаго образа которыхъ сливались бы въ одно лицо и трудъ которыхъ былъ бы простымъ продолженіемъ одинъ другого. Нѣтъ двухъ Аѳинъ; есть только одинъ Римъ, нѣтъ аналогій папству; и даже нѣтъ ихъ въ такихъ уже незначительныхъ культурныхъ мірахъ, какіе представляютъ собою въ отдѣльности Испанія, Франція, Германія или Англія. И только отъ этого жизнь всего человѣчества представляется намъ, какъ организованное цѣлое, въ которомъ каждая линія имѣетъ свой особый уклонъ, выполняетъ свое особое назначеніе, а вовсе не сливается съ другими линіями, не повторяетъ ихъ въ себѣ.

Внутри каждаго изъ этихъ образующихъ исторію теченій нѣтъ въ свою очередь совпаденія интересовъ, тождества страстей, единства предметовъ, къ которымъ склонено вниманіе. Напротивъ, все это различно, и отсюда борьба проникаетъ каждый порознь элементъ историческаго организма человѣчества; но *борьба въ формахъ, въ типѣ того особаго теченія, гдѣ она совершается.* Была борьба за право въ Римѣ, но это вовсе не то, что борьба религіозныхъ сектъ въ Іерусалимѣ; и такъ же мало та и другая напоминаютъ собою борьбу рабочихъ массъ съ капиталистическимъ строемъ, которая разыгрывается или готова разыграться въ Европѣ. Явленія жизни, какъ и формы быта, одинаково принимаютъ своеобразную печать у каждаго историческаго народа; и она налагается именно тѣмъ незамѣтнымъ склоненіемъ, какое есть въ каждой изъ тѣхъ линій порознь, о которыхъ мы выше сказали, что онѣ въ своей

совокупности образуютъ живой и осмысленный ликъ человѣчества [1]).

Все это приводитъ насъ къ идеѣ цѣлесообразности въ исторіи; тамъ, гдѣ нѣтъ повторяемости явленій и формъ, есть внутренняя причина, устремляющая каждую часть къ своему особому назначенію. Мы разсматриваемъ при этомъ исторію, какъ простое явленіе природы, какъ одинъ процессъ изъ мирiада другихъ процессовъ, которые всѣ распадаются на два великіе типа—опредѣленные и неопредѣленные.

Въ *первыхъ* будущее—то, что настанетъ со временемъ—тѣсно опредѣлено въ прошедшемъ, точнѣе въ томъ незамѣтномъ росткѣ, изъ котораго оно развивается. Таково растеніе, выростающее изъ сѣмени, въ которомъ уже предустановлены законы его жизни и смерти, предопредѣлены всѣ его формы, всѣ отличительныя его особенности.

Во *вторыхъ*—процессахъ неопредѣленныхъ—прошедшее несетъ въ себѣ опредѣленіе только для перваго момента будущаго: напротивъ, его дальнѣйшіе моменты опредѣляются уже иными, побочными и внѣшними причинами. Чѣмъ станетъ этотъ камень, который я бросилъ,—это не опредѣлено ни въ силѣ, ни въ направленіи, съ которыми я его бросилъ: быть можетъ, онъ пролежитъ до скончанія вѣка на своемъ мѣстѣ; быть можетъ, онъ будетъ перенесенъ на другое мѣсто—этого никто не знаетъ, это теперь нигдѣ не опредѣлено; быть можетъ, онъ будетъ поднятъ и обработается въ красивую вещь; быть можетъ, размоется водой и станетъ горстью песку.

Нельзя не видѣть рѣзкаго различія въ этихъ двухъ типахъ процессовъ: въ первыхъ и законы и силы развитія заключены внутри развивающагося, и они не нарушимы или, если нарушаются, происходитъ разрушеніе самого развивающагося существа; во вторыхъ и законы и силы — внѣ измѣняющагося предмета, и онъ вѣченъ, не уничтожимъ; потому что представляетъ собою лишь косную матерію, въ которой нечему исчезнуть, которая лишь превращается, но, превращаясь, измѣняетъ лишь видъ свой, но не теряетъ ни одного изъ своихъ существенныхъ опредѣленій (вѣсъ и составъ).

Напротивъ, это опредѣленное растеніе, умирая, теряетъ всѣ свои существенныя опредѣленія; горсть земли, которою оно стало, уже сохраняетъ только самыя общія незначущія опредѣленія, какія были

---

[1]) Говоримъ это въ отвѣтъ на странное утвержденіе г. Михайловскаго, будто бы славянофильство усматриваетъ въ исторіи только два различія: «Востокъ» и «Западъ», не замѣчая противорѣчій, которыя, напримѣръ, раздираютъ «Западъ». Но эти противорѣчія всѣ суть *одного* типа, и славянофильство остается вѣрно себѣ, утверждая, что перенесеніе котораго-нибудь изъ нихъ въ нашу жизнь есть то же, что замѣна какой-нибудь своей черты быта западною или заимствованіе какого-нибудь учрежденія.

въ растеніи (вѣсъ и пр.) и по которымъ мы никогда не узнали бы его, не отличили-бы въ ряду всѣхъ другихъ предметовъ природы.

III.

Принадлежитъ-ли человѣческая исторія къ типу неопредѣленныхъ процессовъ или опредѣленныхъ, имѣетъ ли она аналогію себѣ въ случайно брошенномъ камнѣ или въ развивающемся растеніи— это и есть вопросъ, раздѣляющій славянофиловъ и западниковъ.

Послѣдніе утверждаютъ, что никакой народъ не несетъ въ себѣ какихъ-либо строгихъ опредѣленій; что эти опредѣленія налагаются на него внѣшними и побочными обстоятельствами; что эти обстоятельства могутъ быть предметомъ выбора—и отъ насъ, отъ нашей свободной воли зависитъ, чѣмъ намъ стать. Они смотрятъ на народъ свой, какъ горшечникъ смотритъ на массу глины, изъ которой по образцамъ предъ нимъ лежащимъ или по мысли своей онъ лѣпитъ фигуру.

Напротивъ, славянофилы утверждаютъ, что уже отъ самаго начала всякій народъ есть живой ростокъ, а не безжизненная масса; что онъ несетъ въ себѣ очень тѣсныя опредѣленія своей будущей судьбы, и что очень рѣзкое ихъ нарушеніе, не сдѣлавъ его лучшимъ, только можетъ его разрушить.

Этотъ вопросъ есть дѣло чистаго знанія, есть дѣло наблюденія надъ природой и размышленія о ней.

Мой противникъ утверждаетъ, что теперь нѣтъ болѣе ни славянофильства, ни западничества, что реформы прошлаго царствованія упразднили ихъ теоріи. Удивляюсь этому и не понимаю, какимъ образомъ мысль какая-нибудь можетъ утратить свое значеніе иначе, какъ оказавшись ложною. Нѣтъ, славянофильство не умерло; оно все возрастаетъ, все развивается; изъ литературной партіи оно стало политическою, но и этого недостаточно; обнимая мыслью своею исторію, оно есть философское міровоззрѣніе съ очень опредѣленными политическими требованіями, но еще съ гораздо болѣе важными взглядами на самую природу вещей.

Мой противникъ очень слѣпъ къ этой природѣ: онъ заключаетъ ее въ «безконечныя общія скобки» и, не различая самъ ничего внутри ихъ, хочетъ, чтобъ и другіе въ нихъ не видѣли никакихъ различій [1]). Онъ негодуетъ на меня, какъ рѣшился я, говоря объ историческихъ путяхъ народовъ, упомянуть о высшей Волѣ, которой они повинуются, слѣдуя этимъ путямъ. Кое-что въ его гнѣв-

[1]) Вотъ слова его: «устранимъ кощунственную ссылку на волю, вызвавшую народы къ бытію. Безъ этой воли, какъ сказано, ни одинъ волосъ не упадетъ съ головы человѣка; это—безконечная общая скобка, въ которой совершается все, а потому нельзя на нее ссылаться въ томъ или другомъ частномъ случаѣ» («Литература и жизнь», стр. 165).

ныхъ строкахъ есть такого, чему я не могъ не порадоваться: это уже не безбрежное хаотическое отрицаніе, какое слышалось въ шестидесятые годы относительно всего религіознаго. Но и противникъ мой—мой противникъ потому именно, что онъ—уже не сухіе и тощіе 60—70 года, не эти мистическія Фараоновы коровы, пожравшія тучныхъ воловъ прошлаго: если не раздраженіемъ сердца своего, которымъ онъ всецѣло еще живетъ въ 60—70 годахъ, то мыслью своею онъ то здѣсь, то тамъ переступаетъ за «простыя и ясныя мысли», какими довольствовалось то время.

Итакъ, онъ ошибся, думая, что я лишь повторилъ, какъ эхо, чужой звукъ, сославшись на высшую Волю, направляющую пути исторіи. Внутри общей скобки, куда онъ хотѣлъ бы заключить природу и людей, я различаю ясно сферы свободы и необходимости, общихъ законовъ и частныхъ случаевъ. Res divinae и res humanae я не сливаю, какъ слѣпецъ, въ одну «природу». Тамъ, гдѣ оканчивается область механическихъ перемѣнъ, или гдѣ нѣтъ свободы для индивидуума,—я не вижу болѣе ни слѣпой природы, ни игры человѣческихъ страстей; и такъ какъ здѣсь еще не кончается для меня все, то за гранью механизма и произвола для меня ясно открываются res divinae.

Я думаю, есть разница въ вызрѣваніи плода, этомъ таинственномъ сосредоточеніи силъ и формъ дерева въ сѣмени, которое оно готово уронить, и въ паденіи съ того же дерева листа, который оборванъ вѣтромъ. Такъ точно и въ сферѣ исторіи: я вижу разницу въ томъ, почему издается сегодня законъ и завтра замѣняется другимъ, и почему то, что двадцать лѣтъ назадъ многимъ нравилось, что они любили и чтили, и я, и безчисленное множество людей теперь живущихъ, мы ненавидимъ это и презираемъ.

Сверхъ знаній, помимо способностей, есть темныя и гораздо болѣе важныя стороны въ душѣ каждаго, которыя также живутъ, къ одному влекутся, отъ другаго отвращаются и, въ сущности, опредѣляютъ наше отношеніе ко всему; опредѣляютъ насъ, но нами не опредѣлены. Есть эти стороны у индивидуумовъ, есть онѣ у цѣлыхъ поколѣній—имъ общія, ихъ соединяющія; будемъ ли отрицать мы, что онѣ есть и у народовъ?

И если даже индивидуумъ не знаетъ ихъ ясно и только слѣпо повинуется имъ, хотя онѣ дѣйствуютъ въ немъ одномъ и онъ могъ бы отчетливо ощутить ихъ,—то не гораздо ли менѣе сознаютъ ихъ цѣлые народы, которымъ остается, слѣдовательно, только повиноваться имъ? И они повинуются; но когда изъ этого безотчетнаго повиновенія, изъ этого слѣдованія по путямъ, въ которыхъ дальше перваго шага они ничего не видятъ, получается, однако, столь осмысленное цѣлое какъ исторія,—мы должны думать, что гдѣ-то была опредѣлена и эта осмысленность.

Вѣдь и зданіе, строителя котораго мы не видѣли, можетъ, одна-

ко, своими чертами, своею прочностью и размѣрами дать намъ нѣкоторое о немъ понятіе. Но мой противникъ хотѣлъ бы видѣть здѣсь только груду кирпича; «я не видѣлъ», «мнѣ не разсказано», повторяетъ онъ, и не приходитъ на умъ его, что ему остается еще подумать.

IV.

Подвергая осмѣянію идею о предустановленныхъ путяхъ исторіи, надъ которою, очевидно, онъ никогда долго не задумывался, мой противникъ считаетъ достаточнымъ привести нѣсколько каламбуровъ. Ему кажется убѣдительнымъ, если онъ напомнитъ мнѣніе о французахъ фонъ-Визина: «разсудка французъ не имѣетъ, да и имѣть его почелъ бы за величайшее несчастіе» (стр. 166), и остановится въ недоумѣніи, какъ же выдерживать имъ въ своей исторіи эту черту? увы, это только bon mot стараго добраго сатирика, и, я склоненъ думать, такими же bons mots были и его двѣ знаменитыя комедіи. Не этимъ рѣшаются вопросы исторіи, и о чемъ можно было весело шутить въ XVIII вѣкѣ, объ этомъ можно задуматься болѣе серьезно на исходѣ XIX-го.

Вѣдь я говорю о *дѣйствительномъ содержаніи* исторіи, а не объ отраженіи ея частностей въ сознаніи людей—въ литературѣ, въ поэзіи, будетъ ли то ода или сатира. Не было народовъ, которые, выступая на историческое поприще, несли бы въ себѣ отрицательные только задатки, или несли бы ихъ какъ главное содержаніе. Среди недостатковъ, слабостей, между чертами смѣшными или порочными, каждый несъ въ себѣ утвердительное ядро, *имъ* именно жилъ, *на немъ* основывалъ свое право на существованіе. Нѣтъ народовъ-отверженцевъ, только профанирующихъ исторію; они всѣ—любимы въ ней, избраны, но одни къ большему, другіе къ меньшему, въ мѣру необходимости большаго или малаго для каждаго времени.

Г. Михайловскій думаетъ, что меньшее должно быть пренебрежено ради большаго: въ словахъ, которыя, вѣроятно, кажутся ему патетическими, онъ отстаиваетъ существованіе «вселенской истины», ради которой народы меньшіе должны оставить свою особенную, ими любимую правду. Онъ видитъ въ утвержденіяхъ моихъ «блѣдный образъ смерти славянофильства» (стр. 168), и казнитъ меня «моимъ же судомъ» (стр. 168), какъ индифферентиста къ «вселенской истинѣ», чѣмъ никогда не были ранніе славянофилы.

Онъ и не подозрѣваетъ, къ какому трудному вопросу подошелъ, какъ невозможно рѣшить этотъ вопросъ до конца ни въ одну, ни въ другую сторону. Безъ сомнѣнія, абсолютныя истины существуютъ, и безъ сомнѣнія, онѣ должны бы быть наиболѣе дороги для каждаго человѣка, и все онъ долженъ бы оставить ради нихъ. Но по причинамъ, о которыхъ намъ ничего не дано знать, это прибли-

женіе къ абсолютнымъ истинамъ невозможно для людей здѣсь, на землѣ,—не по слабости силъ ихъ, но потому что это прикосновеніе къ нимъ равнялось бы для нихъ смерти. Жизнь, какъ движеніе, предполагаетъ разнообразіе въ движущемся,—и тамъ, гдѣ движущее есть истина, она предполагаетъ собою обладаніе только степенями ея, но не ею во всей полнотѣ; не въ безкачественномъ ея совершенствѣ. И мы наблюдаемъ въ исторіи, какъ не только подобное обладаніе, но и всякое страстное порываніе къ нему вызывало великіе катаклизмы.

Вѣроятно, съ этимъ именно связана преданность человѣка всему особенному, каждой частной формѣ жизни, какая дана ему и съ нею связаны ограниченныя, но живыя и дѣйствительныя радости. Можно быть увѣреннымъ, что человѣкъ самъ отойдетъ отъ этихъ частностей, разъ предъ нимъ явится истина въ ея абсолютныхъ чертахъ; но не безъ предвидѣнія, до исполненія «временъ и сроковъ», человѣку внушено любить свое малое, и не ошибается онъ, думая, что въ этой любви къ малому сказываются лучшія черты его, къ какимъ онъ, пока, способенъ.

Мы невольно вспоминаемъ при этомъ легенду о Донъ-Жуанѣ: въ ней удивительнымъ образомъ показано, какъ влеченіе къ безусловной красотѣ, къ совершенному идеалу, порождаетъ отвращеніе ко всему дѣйствительному, живому. Если бы дѣйствительное, живое, болѣе не чувствовало, мы, конечно, подобное влеченіе могли бы только одобрить. Но печальная истина состоитъ въ томъ, что оно еще чувствуетъ, что въ немъ еще нѣтъ идеала, и что оставить его на одно презрѣніе—это слишкомъ трудно для человѣка даже при очень яркомъ сознаніи идеала.

V.

Итакъ, пусть противникъ мой не драпируется въ идеалы и лучше подумаетъ о соблюденіи маленькой правды, при которой намъ легче будетъ выполнить свое простое дѣло. Мы возвращаемся къ вопросу, который остается все-таки неразрѣшеннымъ: можетъ ли, исторически возрастая, какой-нибудь народъ возрастать не цѣльною единою жизнью? можетъ-ли, осуждая свою дѣйствительность, замѣнять отдѣльныя ея части частями иныхъ живыхъ организмовъ, съ соблюденіемъ одного только условія, чтобъ онѣ были наилучшія? То новое, что получится чрезъ соединеніе этихъ разнородныхъ частей, будетъ ли само такъ хорошо, какъ можно было бы ожидать, судя по этимъ частямъ?

Мы ожидаемъ на это отвѣта; но, въ нетерпѣніи своемъ, невольно припоминаемъ странный миѳъ грековъ о Химерѣ. Въ своей безбрежной фантазіи этотъ народъ, намъ чудится, предупредилъ наши споры: онъ вообразилъ въ самомъ дѣлѣ, что было когда-то живое

существо, у котораго грудь льва и задъ дракона были соединены туловищемъ козы. Съ тѣхъ поръ народы, удивляясь невозможности этого соединенія, сдѣлали названіе этого чудовища нарицательнымъ для всего неосуществимаго. Но, кажется, греки въ раннемъ своемъ воображеніи были ближе къ истинѣ: они вѣрили, что Химера дѣйствительно существовала, что она обитала во Фригіи и была убита Беллерофонтомъ. Поздніе вѣка оправдали ихъ предположеніе, и только странно, что въ этомъ приняли такое участіе вѣчные носители тоскующихъ идеаловъ.

«Небесное Жуанъ все ищетъ на землѣ»—и, ненавидя дѣйствительность, усиливаясь отступить отъ нея, ея части беретъ въ невозможныхъ сочетаніяхъ и создаетъ изъ нихъ новую дѣйствительность, для которой не нужно новаго имени.

1891—92 гг.

Литературная личность Н. Н. Страхова.

Н. Страховъ. Философскіе очерки. Спб. 1895 г.
» Міръ какъ цѣлое. Изд. 2-е. Спб. 1892 г.
» Объ основныхъ понятіяхъ психологіи и физіологіи. Изд. 2-е. Спб. 1894 г.
» О вѣчныхъ истинахъ (мой споръ о спиритизмѣ). Спб. 1887 г.
» Изъ исторіи литературнаго нигилизма (1861 — 1865 гг.). Спб. 1890 г.
» Замѣтки о Пушкинѣ и другихъ поэтахъ. Спб. 1888 г.
» Критическія статьи объ И. С. Тургеневѣ и Л. Н. Толстомъ. Изд. 3-е. Спб. 1895 г.
» Борьба съ Западомъ въ нашей литературѣ. Книжка первая. Изд. 2-е. (Герценъ.—Милль.—Парижская коммуна.—Ренанъ.—Историки безъ принциповъ.—Штраусъ.—Поминки по И. С. Аксаковѣ). Спб. 1887 г.
» Борьба съ Западомъ въ нашей литературѣ. Книжка вторая. Изд. 2-е. (Ходъ нашей литературы, начиная отъ Ломоносова.—Роковой вопросъ.—Наша культура и всемірное единство.—Дарвинъ.—Полное опроверженіе дарвинизма). Спб. 1890 г.
» Борьба съ Западомъ въ нашей литературѣ. Книжка третья. (Итоги современнаго знанія.—Ренанъ.—Тэнъ.—Ходъ и характеръ современнаго естествознанія. — Споръ объ «Россіи и Европѣ» Н. Я. Данилевскаго. — Разборъ книгъ. — Бѣлинскій). Спб. 1896 г.
» Воспоминанія и отрывки. (Аѳонъ. — Италія. — Крымъ. — Л. Н. Толстой. — Справедливость, милосердіе и святость. — Послѣдній изъ идеалистовъ.—Стихотворенія). Спб. 1892 г.
» Бѣдность нашей литературы. Критическій и историческій очеркъ. Спб. 1867 г.
» О методѣ естественныхъ наукъ и значеніи ихъ въ общемъ образованіи. Спб. 1865 г.

I.

Чрезвычайная вдумчивость составляетъ, кажется, главную особенность въ умственныхъ дарованіяхъ г. Страхова и она-же сообщаетъ главную прелесть его сочиненіямъ. Ихъ можно снова и

снова перечитывать, и все-таки находить еще новыя мысли въ нихъ, которыя или остались незамѣченными при первомъ чтеніи, или впечатлѣніе отъ которыхъ закрылось впечатлѣніемъ отъ другихъ, болѣе важныхъ мыслей. Эта особенность его таланта становится всего болѣе ярка, когда переносишься мыслью отъ него къ его другу, Н. Я. Данилевскому. Связанные тѣсною и многолѣтнею дружбою и единствомъ убѣжденій, они были люди въ сущности противоположнаго умственнаго склада. Н. Я. Данилевскій разработалъ двѣ громадныя идеи, изъ которыхъ одна положительная по содержанію, другая—отрицательная. Мы разумѣемъ его теорію культурно-историческихъ типовъ, развитую въ книгѣ «Россія и Европа», и критику дарвинизма, изложенную въ двухъ томахъ неоконченнаго сочиненія, которое носитъ названіе этой теоріи. По своему универсальному значенію обѣ эти идеи высоко возвышаются надъ умственною производительностью нашего общества и, конечно, чѣмъ далѣе ряды смѣняющихся поколѣній будутъ отходить отъ нашего времени, тѣмъ яснѣе проступятъ передъ ними величественныя черты умственнаго зданія, которое онъ пытался воздвигнуть. Но подходя ближе къ этому зданію, мы замѣчаемъ, что многое въ немъ выполнено просто и грубо, хотя въ общемъ—всегда вѣрно. Истинность и совершенство цѣлаго при грубости въ обработкѣ частей есть общая черта научно-литературныхъ произведеній Данилевскаго. Онъ всегда видѣлъ только главную идею, для которой работалъ; эта идея поглощала его мысли и онъ менѣе внимательно смотрѣлъ на самый процессъ выполненія. Отъ того, разъ прочитавъ его труды и согласившись съ нимъ въ главномъ, не имѣешь охоты возвращаться къ нимъ снова, зная, что не найдешь въ нихъ уже ничего новаго. И однако самыя идеи его уже входятъ въ систему вашихъ убѣжденій, онѣ не могутъ ни исказиться, ни забыться.

Совершенно противоположны по своему характеру труды г. Страхова. Его занимаетъ слишкомъ много мыслей, чтобы мы могли выдѣлить которыя-нибудь изъ нихъ и, забывъ остальное, сохранить только ихъ. И, что въ особенности важно, эти мысли отличаются чрезвычайною сложностью и тонкостью, онѣ трудно усвоимы — и это не смотря на совершенную прозрачность языка. Онѣ трудны не потому, что трудно выражены, но — сами по себѣ, именно какъ мысли [1]). Все слишкомъ ясное и простое, все умственно грубое не особенно занимаетъ его и, если во 2-мъ томѣ «Борьбы съ Западомъ» такъ много мѣста отведено имъ теоріи Дарвина, то это конечно лишь изъ желанія выяснить достоинства труда Данилевскаго и этимъ почтить память своего умершаго друга.

---

[1]) Сюда относится много удивительныхъ и лучшихъ страницъ въ «Общихъ понятіяхъ психологіи и физіологіи».

Въ дѣйствительности-же теорія эта, слишкомъ простая и грубая, не могла надолго приковать къ себѣ вниманіе критика, разъ ея истинное достоинство стало для него ясно. Съ неудержимою силою его мысль влечется къ темнымъ и неяснымъ сторонамъ въ жизни природы, во всемірной исторіи и въ вопросахъ общественныхъ; онъ ходитъ около этихъ областей, тщательно взвѣшиваетъ все, что о нихъ думали выдающіеся умы разныхъ временъ и народовъ; и вывести изъ этой темной глубины хоть что-нибудь къ свѣту яснаго сознанія — вотъ что́ составляетъ его постоянную и тревожную заботу. Отсюда вытекаетъ необыкновенная оригинальность его мысли: вы никогда не увидите у него повтореній того, что уже извѣстно вамъ изъ другихъ книгъ; отсюда-же--отрывочность этихъ мыслей, ихъ рѣдкая законченность, и вмѣстѣ—обиліе ихъ. Первое происходитъ отъ того, что онъ никогда не хочетъ говорить болѣе, нежели сколько знаетъ; второе—отъ того, что чѣмъ труднѣе занимающій его вопросъ, тѣмъ менѣе онъ въ силахъ оставить его, и все съ новыхъ и новыхъ сторонъ пытается его разрѣшить. Вотъ почему онъ не создалъ ни одного большого систематическаго труда: «замѣтка», «очеркъ» или, какъ дважды озаглавливаетъ онъ свои статьи, «попытка правильной постановки вопроса» — вотъ самая обыкновенная и дѣйствительно самая удобная форма для выраженія его мыслей. Онѣ напоминаютъ собою ажурную работу необыкновенной тонкости и изящества, каждый уголокъ которой занимаетъ васъ, въ которой вы открываете все новые и новые узоры, хотя издали она представляется однородною. Его труды — это не величественный храмъ, который издали привлекаетъ путника, но удивительная и разнообразная орнаментація, которую онъ неожиданно замѣчаетъ, войдя въ него, и прихотливые изгибы которой уходятъ въ неопредѣленную даль. Ничего крупнаго и рѣзкаго не запоминается въ ней, но, долго всматриваясь въ ея мелкія черты, начинаешь чувствовать пренебреженіе и даже непріязнь ко всему умственно-грубому, что́, отвернувшись, находишь снова въ обыденной жизни и что́ раньше не казалось грубымъ. Она не столько входитъ какою-нибудь опредѣленною мыслью въ составъ вашихъ убѣжденій, сколько изощряетъ вашу мысль и воспитываетъ ее, и хотя-бы предметомъ ея стали другіе вопросы, на всемъ, что создастся ею, ляжетъ уже своеобразная печать.

Мы сказали объ однородности впечатлѣнія, которое остается отъ чтенія всѣхъ трудовъ г. Страхова. Это зависитъ отъ единства настроенія, съ которымъ писались они, и отъ цѣльности мысли, отсутствія разорванности въ ней, не смотря на разнообразіе предметовъ, которымъ они посвящены. Множество мыслей, переплетаясь и повидимому перерывая другъ друга, въ дѣйствительности связываются въ одну непрерывную ткань. Вы чувствуете, что о чемъ-бы ни писалъ онъ,—будетъ-ли то научный вопросъ, явленіе

литературы, политическое увлеченіе—онъ постоянно думаетъ о чемъ-то одномъ: въ отношеніи къ этому одному, не называя его, онъ высказываетъ всѣ свои мысли, чего-бы ни касались онѣ прямымъ, точнымъ значеніемъ своихъ словъ.

Это сообщаетъ его разнообразнымъ критическимъ, публицистическимъ и научнымъ статьямъ глубокую, хотя не рѣзко выраженную сосредоточенность. Слѣдя за направленіемъ, въ которомъ она возрастаетъ, мы открываемъ двѣ идеи, которыя, не будучи центромъ всѣхъ его мыслей, стоятъ наиболѣе близко къ нему; самого же центра онъ никогда почти не касается словомъ; *о чемъ онъ постоянно думаетъ, онъ не говоритъ совсѣмъ.* Вы только чувствуете этотъ центръ, открываете его изъ общаго теченія его мысли и изъ общаго настроенія, подъ которымъ онъ писалъ всѣ свои труды.

Два ближайшія къ центру сосредоточія, о которыхъ заговорили мы, — это, во первыхъ, идея раціональнаго естествознанія и, во вторыхъ, идея органическихъ категорій, какъ особыхъ понятій, исходя изъ которыхъ можно было бы, наконецъ, пролить объясняющій свѣтъ на никогда не разгаданную область жизни и смерти. Первая идея установлена въ самомъ почти раннемъ и наиболѣе цѣльномъ, закругленномъ трудѣ его: «Міръ какъ цѣлое; черты изъ науки о природѣ»; вопросъ о вторыхъ уже поставленъ имъ въ первомъ не спеціальномъ его трудѣ: «О методѣ естественныхъ наукъ и значеніи ихъ въ общемъ образованіи», и къ нему-же вернулся онъ снова и съ величайшею энергіею въ позднемъ и лучшемъ трудѣ своемъ: «Объ основныхъ понятіяхъ психологіи и физіологіи». Нужно прочитать обѣ эти книги, чтобы понять всю глубину мысли, которая заложена въ нихъ, чтобы дать себѣ ясно отчетъ во всей геніальности догадокъ, которыя здѣсь высказаны, но къ сожалѣнію, не развиты [1]). Объ идеѣ раціональнаго естествознанія написано имъ немного, и однако же она совершенно ясна изъ этого немногаго; напротивъ, объ органическихъ категоріяхъ написано имъ гораздо болѣе, и между тѣмъ сущность ихъ, точное значеніе и формальное опредѣленіе гораздо менѣе ясны. Очевидно, онъ встрѣтился здѣсь съ гораздо болѣе труднымъ вопросомъ, который не столько разрѣшилъ, сколько твердо выставилъ и рѣзко указалъ на него, какъ на такой, безъ предварительнаго рѣшенія котораго всѣ труды натуралистовъ осуждены вѣчно оставаться только собираніемъ безсмысленныхъ фактовъ, а не созиданіемъ науки въ истинномъ и строгомъ значеніи этого слова.

Невѣрность надежды достигнуть когда-нибудь полнаго проведенія первой теоріи по всей области естествознанія и ясности въ разрѣшеніи второго вопроса была, вѣроятно, не единственною причиною того, что г. Страховъ не посвятилъ этимъ двумъ задачамъ

---

[1]) См. объ этомъ предисловіе въ книгѣ «Міръ какъ цѣлое и пр.», стр. IX.

всей своей жизни, какъ хотѣлъ сдѣлать это въ началѣ [1]). Мы сказали уже, что идеи эти, стоя ближе всего къ центру его интересовъ, однако, все-таки не составляютъ этого центра и онъ, предавшись имъ, не могъ закрыть глаза на то, что вѣчно и неумолкаемо тревожило его мысль. Онъ сошелъ съ пути чистаго естествознанія и, весь руководимый одною мыслью, обратился къ разнообразнымъ сферамъ исторіи, литературы, политики, какъ будто повсюду и въ нихъ продолжая искать чего-то, чего не нашелъ въ естествознаніи за несовершенно яснымъ рѣшеніемъ двухъ главныхъ вопросовъ, занимавшихъ его тамъ. Въ явленіяхъ литературы его болѣе всего интересуютъ произведенія, въ которыхъ среди мимолетнаго и бѣгущаго уловлены вѣчныя черты человѣческаго существа и вѣчныя основы, по которымъ движется жизнь народовъ. Отсюда—восторгъ, который онъ почувствовалъ при появленіи «Войны и мира» гр. Л. Н. Толстого и лучшая оцѣнка имъ этого произведенія, какая была сдѣлана до сихъ поръ въ нашей литературѣ; отсюда—его колеблющееся отношеніе и, наконецъ, непріязнь къ Тургеневу, который ради интереса къ текущему и временному въ человѣкѣ пренебрегалъ этимъ вѣчнымъ въ немъ. Отсюда-же вытекаетъ его глубокій интересъ къ отрицательнымъ и разрушительнымъ явленіямъ въ исторіи западной Европы—къ французской революціи, къ паденію философіи, къ особенному характеру, который приняло тамъ естествознаніе. Онъ съ любопытствомъ всматривается во всѣ эти явленія, старается уяснить смыслъ ихъ возникновенія и точныя причины, которыя сдѣлали его возможнымъ. Но эта научная сторона въ его взглядахъ на текущую исторію есть только предварительная ступень къ тому, что всего болѣе занимаетъ его: онъ пытливо всматривается въ лица людей, которые идутъ впереди этого историческаго движенія, и ищетъ въ нихъ выраженія тревоги и смущенія. Онъ какъ будто спрашиваетъ: «какъ вы будете жить, заглушивъ въ себѣ вѣчныя потребности человѣческой души? что́ вы поставите на мѣсто ихъ и, чего-бы ни достигли вы въ жизни, что́ почувствуете вы въ самихъ себѣ?» Симптомы этой внутренней тревоги съ проницательностью человѣка, слишкомъ много пережившаго въ себѣ, онъ отыскиваетъ въ великихъ представителяхъ современной западной литературы—въ Ренанѣ, Штраусѣ, Д. С. Миллѣ, у насъ—въ Герценѣ. Отсюда—рядъ удивительныхъ его статей объ этихъ писателяхъ. Можно сказать, что ихъ духовная физіономія, внутренній и скрытый центръ ихъ дѣятельности, такъ хорошо извѣстной и такъ мало понятой, впервые раскрылись въ своемъ истинномъ значеніи въ этихъ статьяхъ. Объективное значеніе трудовъ этихъ писателей, ихъ содержаніе и то новое, что́ оно пытается

[1]) См. въ особенности объясненіе кристаллическихъ формъ въ минералахъ и теорію внѣшнихъ чувствъ человѣка въ книгѣ «Міръ какъ цѣлое».

внести въ науку—все это, какъ второстепенное и имѣющее пройти, оставлено въ сторонѣ г. Страховымъ. Онъ разсматриваетъ эти труды не въ ихъ значеніи для читателей, но въ ихъ отношеніи къ самимъ писателямъ, какъ показателей ихъ внутренняго настроенія. Именно оно служитъ предметомъ его постояннаго размышленія, какъ моментъ въ развитіи человѣческой души, какъ исполненная захватывающаго интереса страница изъ судебъ человѣческой совѣсти въ исторіи.

Здѣсь мы подходимъ къ тому, что уже не *около* центра постоянныхъ размышленій нашего автора, но составляетъ *самый* центръ въ немъ, въ его дѣятельности и многолѣтнихъ исканіяхъ. Искусный въ опредѣленіи скрытаго нерва другихъ, онъ ни разу не вскрылъ передъ читателями своего собственнаго, высказавъ о томъ, что́ его постоянно въ сущности занимало, лишь немного отрывочныхъ словъ, сказанныхъ по поводу чего-нибудь посторонняго и только произнесенныхъ съ чрезвычайною вдумчивостью. Есть извѣстіе, что самый религіозный народъ въ исторіи—еврейскій, никогда не произносилъ имени своего Бога и не писалъ его всѣми буквами, такъ что древній звукъ этого имени наконецъ утерялся и въ позднія и менѣе религіозныя времена сталъ предметомъ розысканій, но уже тщетныхъ. Нѣчто подобное мы наблюдаемъ и во многихъ писателяхъ. Какъ будто какой-то страхъ удерживаетъ ихъ говорить о томъ, о чемъ одномъ они хотѣли-бы говорить, и они только подводятъ читателя къ этому главному, но подведя—сами ничего о немъ не произносятъ. Боязнь сказать что-нибудь не такъ, ошибиться хоть въ одномъ словѣ о предметѣ столь важномъ, все-таки есть не единственное, что закрываетъ имъ уста. Тутъ есть дѣйствительно нѣчто цѣломудренное, есть рѣзкое сознанное нежеланіе выносить словомъ изъ своей души то, что составляетъ самую сущность этой души, и потому должно быть на вѣки схоронено въ человѣкѣ, должно быть цѣльнымъ и нерастеряннымъ возвращено имъ туда, откуда оно пришло.

Отъ этого, вѣроятно, происходитъ, что о нѣкоторыхъ важнѣйшихъ сторонахъ человѣческаго существа и человѣческой жизни оставлено такъ мало истинно цѣнныхъ словъ во всемірной литературѣ и такъ много посредственнаго и ненужнаго. О нихъ говорили люди, которые даже не понимали, о чемъ собственно они говорятъ, и часто молчали тѣ, которые могли сказать нѣчто дѣйствительно значительное. Но, хотя изрѣдка и почти всегда не прямо, эти слова иногда произносились, и они всѣ запомнены человѣчествомъ, какъ самыя дорогія для него. Въ образахъ поэзіи, въ идеяхъ философіи и гораздо рѣже въ прямомъ ученіи во всемірной исторіи было создано хоть и немногое, но за то такое, что и сообщаетъ ей все значеніе, въ чемъ и лежитъ ея главнѣйшій смыслъ.

Религіозное составляетъ область самую важную изъ тѣхъ, которыхъ изрѣдка дѣйствительно достойнымъ образомъ умѣлъ касаться

человѣкъ. Всѣ великіе умы въ исторіи явно или скрыто тяготѣли къ этой области, и даже по степени, въ которой они испытывали это тяготѣніе, можно судить объ ихъ сравнительной силѣ. Но говорить о ней что-нибудь они не могли, и это было причиною, почему они избрали для себя иныя сферы дѣятельности—искусство, науку или философію, рѣже—политику; однако, на всемъ этомъ уже отразилось то главное тяготѣніе, которому они были подчинены. Они любили и хотѣли только религіознаго, но, не осмѣливаясь любить его прямо, любили его сквозь науку, философію, поэзію. И въ то время, какъ болѣе чувствуя, нежели зная истинный смыслъ этого тяготѣнія, они о немъ молчали,—всѣ остальные, отъ которыхъ не могло укрыться это странное тяготѣніе, пытаясь опредѣлить его причину, начали призносить о немъ—то положительно, то отрицательно—безчисленныя пустыя слова. Такъ образовалась необозримая, у всѣхъ народовъ, литература о предметахъ религіи, гдѣ всѣ они уже давно объяснены, классифицированы и разсказаны. Но, какъ само собою ясно, эта литература въ дѣйствительности не столько касается религіознаго, сколько появилась потому, что религіозное дѣйствительно существуетъ въ человѣчествѣ.

Въ статьѣ «Мѣсто христіанства въ исторіи» [1]) мы уже имѣли случай высказать, что для народовъ арійскаго племени, вслѣдствіе особенностей ихъ психическаго склада, религіозное доступно съ особеннымъ трудомъ: они чувствуютъ его почти всегда не прямо, рѣдко безъ искаженія и большею частью черезъ посредство другихъ народовъ. Сфера знанія, политической дѣятельности, объективнаго воспроизведенія природы и жизни въ искусствѣ есть настоящая сфера ихъ дѣятельности, и она-то составляетъ неумолкаемый шумъ исторіи, который тысячелѣтія стелется по землѣ, изрѣдка поднимается надъ нею, большею же частью низко къ ней склоняется. Подобно тому какъ для народа не арійскаго племени странно и чуждо было-бы заинтересоваться внѣшними очертаніями окружающихъ предметовъ, и онъ съ удивленіемъ, какъ на нѣчто непонятное, посмотрѣлъ-бы на попытку найти ихъ геометрическое опредѣленіе, такъ точно для арійца странно и чуждо исключительно-религіозное настроеніе и обращеніе мыслью къ тому, что служитъ его вѣчнымъ источникомъ. И только встрѣчая у нѣкоторыхъ народовъ постояннымъ и всеобщимъ это настроеніе, онъ невольно задумывается надъ нимъ и, даже усвоивъ, перелагаетъ, согласно съ своею психическою природою, въ форму идей о религіозномъ и знанія о немъ. Но и тогда, при всѣхъ средствахъ воспитанія извнѣ, даже дѣлая знаніе религіознаго предметомъ своихъ постоянныхъ занятій, аріецъ рѣдко достигаетъ того, чтобы и все внутреннее его существо обратилось къ религіозному, чтобы оно перестало, нако-

[1]) Сборникъ В. Розанова «Религія и культура». Изд. 2-е. Спб. 1901 г., стр. 1—22.

нецъ, быть для него чѣмъ-то внѣшнимъ и лишь занимательнымъ или практически нужнымъ.

Изрѣдка появлялись, однако, среди этихъ народовъ люди, въ которыхъ ограниченность ихъ племенной природы какъ-бы поддавалась и они самостоятельно и извнутри себя начинали ощущать религіозное. Но, поддавшись отчасти, эта природа въ главномъ все-таки сохранялась, и вотъ почему, не будучи въ силахъ прямо обратиться къ религіозному и живо чувствуя недостаточность только внѣшняго обращенія къ нему другихъ людей, они искали его въ природѣ—то изучая ея явленія, но какъ будто съ мыслью не о ней,—то изображая ея красоту, но какъ будто чувствуя при этомъ красоту чего-то иного.

Къ ряду людей этого типа, очень немногихъ и очень рѣдкихъ, принадлежитъ и разбираемый нами писатель: религіозное составляетъ ни разу не названный центръ постояннаго тяготѣнія его мысли. Отъ того и предметы, надъ которыми онъ вдумчиво останавливается, такъ разнообразны, что ни одинъ изъ нихъ не занимаетъ его самъ по себѣ, но лишь въ отношеніи къ иному, о чемъ говорить прямо онъ не хочетъ и не можетъ; отъ того и люди, къ мысли которыхъ онъ прислушивается, такъ до странности несхожи: это и Кювье, недавній творецъ трехъ точныхъ наукъ, и старикъ Платонъ съ его полузабытыми «идеями», и нашъ мистикъ Лабзинъ, цитату изъ котораго не помѣстилъ-бы въ своей статьѣ ни одинъ ищущій популярности, но нисколько не ищущій истины, современный журналистъ. Онъ прослѣдилъ каждый изгибъ мысли въ Герценѣ и въ Ренанѣ, а потомъ захотѣлъ поѣхать на Аѳонъ, чтобы и тамъ посмотрѣть, какъ чувствуютъ себя и что думаютъ нѣсколько странныхъ анахоретовъ: тотъ-же ли встревоженный у нихъ взглядъ и то-же ли смущеніе, которое онъ подмѣтилъ въ такъ хорошо знакомой ему Европѣ? Впечатлѣніе, имъ вынесенное оттуда, было иное, но онъ уже такъ отвыкъ говорить собственно о томъ, что его занимаетъ, чего онъ ищетъ въ людяхъ и въ жизни, что онъ и здѣсь о главномъ умолчалъ и только съ удовольствіемъ разсказываетъ о своей поѣздкѣ въ этотъ своеобразный уголокъ Европы, столь на нее непохожій.

Всѣхъ людей подобнаго типа можно назвать скорѣе ищущими, нежели уже нашедшими, и вотъ почему такъ много въ европейской литературѣ произведеній религіознаго характера, написанныхъ подъ конецъ жизни людьми, которые о своемъ интересѣ къ религіи прежде ничего не говорили и только отрицательно относились къ тому, что обычно грубо писалось о ней ихъ современниками. Они не хотѣли говорить, пока не нашли, и не дойдя до конца—не могли удержаться, чтобы не высказать хотя въ несовершенной формѣ того, чего не успѣли для себя выяснить, но къ чему тяготѣла всегда ихъ мысль. Это тяготѣніе, однако, скрыто опредѣляетъ сферы зна-

нія, литературы или искусства, которымъ была посвящаема и вся остальная ихъ жизнь. Оно-же опредѣлило и кругъ интересовъ разбираемаго нами писателя.

Граница между матеріальнымъ и духовнымъ — тотъ узелъ, гдѣ мы видимъ, какъ теряются они, но не видимъ, какъ они связываются,—составляютъ главный предметъ вниманія г. Страхова. «Человѣкъ—вотъ узелъ мірозданія, его величайшая загадка и, если-бы ее удалось объяснить — совершенная разгадка этого мірозданія», говоритъ онъ не одинъ разъ въ своихъ трудахъ [1]). Законы внѣшней, механически устроенной природы, какъ и законы чистой психической дѣятельности хотя и занимаютъ его, но менѣе, нежели та неясная область, гдѣ какимъ-то непостижимымъ образомъ они переплетаются и взаимно переходятъ другъ въ друга. Отъ того физіологія—его любимая наука, и въ ней эмбріологическіе процессы—предметъ его усиленнаго вниманія; и, рядомъ съ этимъ, предметомъ неустаннаго же вниманія служатъ для него глубокія и скрытыя движенія человѣческаго сердца въ исторіи, его вѣчныя потребности, безъ удовлетворенія которыхъ человѣкъ не можетъ жить и которыя отразились въ литературныхъ и философскихъ произведеніяхъ—все равно Лабзина или Платона. Съ величайшею отчетливостью онъ видитъ то, что съ противоположныхъ концовъ, какъ исключительно-матеріальное и какъ чисто-психическое, подходитъ къ этому узлу и, точно блѣднѣя, теряетъ ясность своихъ очертаній и наконецъ становится неуловимымъ, когда входитъ въ него. Послѣ долгихъ мыслей, онъ наконецъ рѣшается отвергнуть представленіе, къ которому мы всѣ такъ привыкли: организмъ, говоритъ онъ, вовсе не есть предметъ или существо; это есть *процессъ*, послѣдній въ природѣ, черезъ который выдѣляется изъ нея духовное: созданіе его—этого духовнаго, вызвало всѣ особенности организаціи, какъ необходимыя свои условія [2]). Мы видимъ, что въ этихъ простыхъ и краткихъ словахъ содержится новая точка зрѣнія на двѣ великія области, органическаго и психическаго, связь которыхъ представляется столь неуловимою. Мы ожидали-бы, что вслѣдъ за установленіемъ этой точки зрѣнія онъ начнетъ искать ея оправданія на всѣхъ частностяхъ организаціи; но онъ только опредѣляетъ задачу физіологіи словами: показать, почему для появленія духовнаго та или иная и, въ концѣ концовъ, каждая черта организаціи есть условіе необходимое,—и затѣмъ переходитъ къ инымъ областямъ знанія, всюду и тамъ останавливаясь лишь на общихъ точкахъ зрѣнія и не проникая въ глубину частнаго. Этотъ единичный примѣръ лучше всего можетъ объяснить, какимъ образомъ онъ не сдѣлался ученымъ натуралистомъ. Слишкомъ большая субъективность,

---

[1]) См. объ этомъ въ особенности «Міръ какъ цѣлое».
[2]) См. тамъ-же.

отсутствіе способности заинтересоваться подробностями такъ-же сильно, какъ и цѣлымъ, помѣшало ему разработать до конца какую-нибудь мысль, и вотъ почему онъ повсюду не обосновываетъ теоріи, но только роняетъ сѣмена, изъ которыхъ могли бы вырости прекрасныя теоріи, только вкидываетъ различные вопросы или ограниченія въ разработку науки другими, или рѣзко порицаетъ ихъ, когда они уклоняются отъ своихъ задачъ.

Подобное рѣзкое порицаніе ему случилось высказать, когда въ недавнюю пору увлеченія спиритизмомъ наши ученые перемѣшали всѣ области и стали отвергать, ради утвержденія духовнаго, ненарушимость законовъ внѣшней механической природы. Подобное грубое заблужденіе не могло не вызвать протеста со стороны человѣка, уже десятилѣтія стоявшаго надъ вопросомъ объ этомъ-же духовномъ и ясно видѣвшаго, гдѣ лежитъ узелъ его разрѣшенія. Съ необыкновенною силой онъ утвердилъ непреложность и вѣчность законовъ матеріальной, физической природы; и не только ему самому, но и каждому постороннему читателю, безъ сомнѣнія, больно и трудно было видѣть, какъ самыя ясныя его слова о томъ, гдѣ нужно искать духовное, какъ будто пропускались мимо и явился удивительный вопросъ среди небрежныхъ его противниковъ: «да ужь не скрытый-ли онъ матеріалистъ»?

II.

Человѣкъ такъ напряженно живущій мыслью не могъ не стать раціоналистомъ, и хотя г. Страховъ нигдѣ этого не высказываетъ, однако для всякаго его внимательнаго читателя не можетъ не стать яснымъ глубокій *теоретизмъ* всего его душевнаго склада. У него нѣтъ трактатовъ по логикѣ или метафизикѣ, всѣ его писанія удивительно просты, и однако за простотою этою невольно чувствуется присутствіе громадной теоретической работы, которая совершилась въ духѣ писателя и только послѣдніе результаты которой мы видимъ въ его утвержденіяхъ и отрицаніяхъ, всегда просто выраженныхъ и въ то-же время глубокомысленныхъ до трудности усвоенія.

Главный и, можетъ быть, лучшій сборникъ своихъ статей г. Страховъ озаглавилъ: «Борьба съ Западомъ», и это невольно должно удивлять каждаго, кто хорошо освоился съ его умственнымъ міромъ. Авторъ, такъ озаглавливающій свои статьи, не впалъ-ли въ недоумѣніе относительно самого себя? Такъ точно разграничивая всѣ области знанія и не терпя смѣшенія ихъ съ другими, вѣрно-ли опредѣлилъ онъ свое собственное положеніе между двумя великими духовными областями—ветхой и мудрой, которую онъ нашелъ на Западѣ, и юной еще, неразвитой и часто нелѣпой, которую онъ находитъ вокругъ себя и которую иногда такъ страстно ненавидитъ? Правда, къ Россіи и къ ея будущему обращены всѣ его надежды

и желанія, но онъ не публицистъ, онъ прежде всего мыслитель, и какими-же мыслями живетъ онъ? Развѣ не ясно для всякаго, что духовный міръ Европы, глубокія идеи ея философіи, чудныя и сложныя зданія ея наукъ—это то самое, во что вросъ онъ своею душою, что живетъ въ немъ такою могущественною и яркою жизнью, какъ быть можетъ въ немногихъ и европейцахъ. Встрѣчая въ различныхъ мѣстахъ его книгъ слова, въ которыхъ онъ отдѣляется отъ западниковъ и становится на сторону славянофиловъ, недоумѣвающему читателю невольно хочется спросить его: «развѣ въ Васъ есть это соединеніе простоты и ясности созерцанія, которое присуще нашему народу и отразилось въ простотѣ и ясности его великихъ поэтовъ, каковы Пушкинъ и авторъ «Семейной Хроники»? Развѣ съ жизнью *нашего* народа связаны Ваши самые глубокіе интересы? Знатокъ и любитель поэзіи, зачитывались ли Вы когда-нибудь нашими былинами, заслушивались-ли народною пѣснею, слѣдили-ли съ интересомъ за прихотливымъ вымысломъ народной сказки? Развѣ Вы знаете хорошо русскую исторію? Цѣнитель поэзіи «преданій русскаго семейства» въ «Капитанской дочкѣ» и въ «Войнѣ и мирѣ», развѣ Вы искали ее когда-нибудь въ русскихъ мемуарахъ? И, напротивъ, развѣ Вы съ бо́льшимъ интересомъ говорите даже о Пушкинѣ, чѣмъ о Ренанѣ и Штраусѣ? Развѣ Вы писали о всѣхъ перемѣнахъ прошлаго царствованія столько, сколько о дарвинизмѣ? Развѣ самая идея культурно-историческихъ типовъ занимала Васъ сильнѣе, нежели идеи Клода Бернара объ общей физіологіи? Если когда-нибудь появлялся писатель столь мало мѣстный и такъ слабо связанный съ текущею дѣйствительностью, то это именно Вы. Вѣковѣчные вопросы всего человѣчества, исканіе «вѣчныхъ истинъ», какъ озаглавили Вы одинъ сборникъ своихъ статей,—вотъ Ваша постоянная тревога, главный смыслъ Вашей жизни, и неужели, столько понявъ, вы не поняли смысла всей Вашей дѣятельности?»

Повторяемъ, сомнѣніе это невольно, и можетъ пройти много лѣтъ прежде, чѣмъ для читателя прольется на него хоть какой-нибудь объясняющій свѣтъ. Повсюду, полемизируя съ западниками, онъ поправляетъ ихъ пониманіе главнѣйшихъ идей, которыми живетъ Европа, и нерѣдко поправляетъ въ знаніи ея литературы и философіи. Однажды, дѣлая подобную поправку, онъ замѣчаетъ: «для того, чтобы хорошо понимать Европу, конечно менѣе всего нужно быть западникомъ». Въ словахъ этихъ какъ будто слышится признаніе, что именно глубокое вниканіе въ духовную жизнь Европы, долгое и постоянное вращеніе въ сферѣ ея идей и интересовъ произвело въ концѣ концовъ и его собственное отчужденіе отъ нея. Въ «Воспоминаніяхъ о поѣздкѣ на Аѳонъ» есть нѣсколько любопытныхъ строкъ, бросающихъ свѣтъ на характеръ этого отчужденія, быть можетъ болѣе желаемаго, чѣмъ уже достигнутаго. «Имѣя два мѣсяца свободныхъ,—разсказываетъ онъ,—мнѣ *хотѣлось при-*

соединиться душою къ какой-нибудь людской жизни, идущей не по тѣмъ началамъ, по которымъ мы живемъ... Но гдѣ же искать другой жизни? Европейскіе нравы и обычаи уже распространились по всему земному шару; вездѣ власть и движеніе, ростъ и сила принадлежатъ Европѣ, а всякая другая жизнь лишена развитія и будущности. Сотни милліоновъ людей, *еще не уподобившихся европейцамъ*, составляютъ лишь служебное, рабочее, податное населеніе, которое уже не можетъ мечтать о своеобразной культурѣ, о какомъ-либо участіи въ ходѣ исторіи человѣческой». Онъ думалъ сперва о поѣздкѣ въ Египетъ, но мысль, что и тамъ онъ найдетъ ту-же Европу, какую можно видѣть и въ Петербургѣ, тѣ-же пароходы, гостинницы и итальянскую оперу, остановила его. Онъ былъ въ затрудненіи, куда поѣхать: «не то-же ли самое и вездѣ, что въ Египтѣ? *Вездѣ остались только обломки и дребезги былой жизни*, вездѣ туземное населеніе на заднемъ планѣ, *лишенное средоточія и самобытнаго движенія*, а на первомъ планѣ живетъ и движется Европа». Ему пришло, наконецъ, на мысль поѣхать на Балканскій полуостровъ; и что-же? не въ родныя славянскія страны потянуло его и не въ чужую Грецію, гдѣ онъ могъ-бы еще увидѣть памятники такъ цѣнимой имъ, такъ понимаемой античной жизни. Онъ останавливается на странѣ, которая должна-бы быть ненавистна и отвратительна для всякаго русскаго и каждаго славянофила: онъ вспоминаетъ, что «у насъ подъ бокомъ есть страна, представляющая высокую занимательность новизны и оригинальности. *Сама страшная Азія, послѣдняя могучая форма восточной жизни, еще царитъ въ Константинополѣ*; на самомъ европейскомъ материкѣ еще сохраняется грозное нѣкогда владычество турокъ». Цѣлью его поѣздки сдѣлался Константинополь, а по близости сосѣдства онъ посѣтилъ и Аѳонъ.

Во всякомъ случаѣ, какъ страненъ тонъ всѣхъ приведенныхъ словъ и какъ странно самое желаніе поѣхать посмотрѣть базары и мечети Турціи, чтобы хоть тамъ забыться отъ впечатлѣній Европы, отъ которой некуда теперь уйти. Какъ не похоже это на все, что обычно говорятъ наши путешественники. Г. Страховъ самъ, впрочемъ, не скрываетъ этого различія: «куда ѣхать? зачѣмъ ѣхать?» спрашиваетъ онъ самого себя нѣсколькими страницами выше. «Спасать свою душу одинаково надобно и возможно на всякомъ мѣстѣ, *и отъ души своей никуда спастись невозможно*. Да и вообще, не вездѣ-ли вокругъ насъ люди, а передъ нами земля и небо, всѣ стихіи природы и жизни человѣческой? *И счастливъ, конечно, тотъ, кто прямо живетъ этими окружающими его стихіями, кого не тянетъ въ даль, кто почерпаетъ свою душевную пищу изъ близкой и родной почвы*. Для такихъ людей путешествіе не можетъ имѣть глубокаго интереса; оно всегда будетъ для нихъ только забавою, только охотою».

Лишь на два мѣсяца оставляя городъ, гдѣ Европа свила одно изъ своихъ гнѣздъ, онъ бросаетъ взглядъ назадъ и произноситъ о людяхъ своего времени и своего положенія нѣсколько словъ, которыя поражаютъ своею вѣрностью и проникнуты какою-то грустью: «Мы, русскіе, легко вникаемъ въ чужую жизнь, легко отдаемся чужимъ понятіямъ, и нельзя не сознаться, что, большею частью, мы этимъ портимъ свою душевную дѣятельность. Еслибы мы были посерьезнѣе, то насъ должно-бы ужасать то *отсутствіе крѣпкихъ связей со всякою жизнью, и со своею и съ чужою*, которое у насъ такъ часто встрѣчается. Все мы понимаемъ, всѣмъ умѣемъ интересоваться, и ничѣмъ серьезно не заняты, и ни къ чему не питаемъ глубокаго, кровнаго участія, кромѣ развѣ своихъ мелкихъ личныхъ выгодъ и прихотей. *Вслѣдствіе долгаго умственнаго блужданія по разнымъ эпохамъ исторіи и народамъ земного шара, русскій образованный человѣкъ часто по душевному складу бываетъ похожъ на отжившаго старика, невольно пришедшаго къ той степени отвлеченнаго пониманія, на которой всѣ вещи равны и нѣтъ уже ничего ни новаго, ни важнаго, а все сливается въ однообразномъ потокѣ вѣчности*».

Какъ напоминаютъ эти слова другія жалобы, которыя онъ подслушалъ у Герцена—на холодный міръ абстракцій, который окружаетъ наконецъ душу человѣка, слишкомъ сильно живущаго теоретическою мыслью. И весь тонъ приведенныхъ строкъ и самъ странный замыселъ посѣтить Турцію и Аѳонъ — не пробуждаетъ-ли все это въ умѣ далекое воспоминаніе объ одномъ писателѣ-же, о великомъ и странномъ поэтѣ, который оставилъ, и навсегда, свою родину и поѣхалъ въ тѣ-же страны, съ тою-же мыслью прильнуть къ къ новой, еще не испытанной и первобытной жизни; и тамъ погибъ, сражаясь за свободу возставшаго народа? Но о чемъ поэту мечтается, что́ онъ хочетъ сдѣлать и дѣлаетъ, то мыслителю всегда хочется только видѣть.

Не будемъ, однако, вдаваться въ аналогіи и сближенія, которыя могли-бы повести насъ слишкомъ далеко. И безъ нихъ не можетъ не стать ясенъ особенный смыслъ вражды противъ западничества, который мы встрѣчаемъ у г. Страхова, но находимъ также и у другихъ славянофиловъ. Есть въ европейской цивилизаціи одна черта, которую очень трудно объяснить, трудно понять, но которой невозможно не почувствовать всякому, кто внимательно къ ней присматривался. «Страна святыхъ чудесъ» — она неудержимо влечетъ насъ къ себѣ, и все, что находимъ мы въ ней, мы не можемъ не одобрить, не въ силахъ бываемъ отрицать. Сколько душевной красоты разлито въ ея исторіи—въ этихъ крестовыхъ походахъ, въ ея свободныхъ коммунахъ, въ величественномъ зданіи средневѣкового католицизма и въ томъ полномъ одушевленія возстаніи противъ него, которое мы называемъ Реформаціею! Гдѣ найдемъ

мы этотъ трепетъ жизни, какой наблюдаемъ въ Возрожденіи, гдѣ увидимъ ясновидцевъ-художниковъ, какъ Рафаэль и Мурильо, и окутанные вѣчнымъ полумракомъ чудные каѳедралы, стѣны которыхъ возводились благочестивымъ населеніемъ цѣлыхъ городовъ? И какою мыслью все это облито—мыслью еще болѣе, нежели красотою! Станемъ-ли говорить мы, что все это только внѣшность? Не будемъ ни обманываться, ни обманывать: именно обиліе духа неудержимо влечетъ насъ къ этой цивилизаціи, глубокая вѣра скрытая въ ея исторіи, чрезвычайное чистосердечіе въ отношеніи къ тому, что она дѣлала въ каждый моментъ этой исторіи, къ чему стремилась, чего хотѣла. Развѣ эти художники, которые постомъ и ночною молитвою приготовлялись къ своему труду, не были глубокіе люди? Развѣ перепуганные и обрадованные спутники Колумба, запѣвшіе «Тебе Бога хвалимъ» на цвѣтущемъ берегу новой земли, не было вѣрующіе? Оставимъ ложное и злое въ своемъ отношеніи къ Европѣ—оно недостойно насъ, недостойно того смысла, уразумѣть который мы хотимъ, подходя къ ней.

Этотъ глубокій, странный и необъяснимый смыслъ заключается въ томъ, что чѣмъ глубже входимъ мы въ духовный міръ Европы и чѣмъ тѣснѣе сливаемся съ нимъ, тѣмъ сильнѣе поднимается въ насъ чувство странной неудовлетворенности, необыкновенной душевной усталости; и—что особенно замѣчательно—эта неудовлетворенность и усталость испытывается и самими европейцами—именно тѣми изъ нихъ, которые являются глубочайшими и послѣдними выразителями ея началъ, движущихъ ею идей. Повидимому, усвоеніе правильныхъ мыслей ея философіи и строгихъ истинъ ея наукъ должно-бы удовлетворить разумъ, который и не ищетъ ничего, кромѣ истины, и не стремится къ иному, кромѣ какъ къ правильности въ своемъ мышленіи; чувство должно-бы испытывать тѣмъ большее наслажденіе, чѣмъ совершеннѣе міръ красоты, который передъ нимъ раскрывается; воля должна-бы быть удовлетворена стройностью всѣхъ учрежденій, черезъ посредство которыхъ она дѣйствуетъ на народныя массы. И это удовлетвореніе всѣхъ способностей человѣческой души дѣйствительно испытывается: оно-то и вовлекаетъ всѣ народы въ своеобразный и чудный міръ европейской цивилизаціи и дѣлаетъ неотразимыми удары, наносимые ею прочимъ культурамъ, отъ которыхъ всѣхъ теперь остаются почти только «обломки»,—она-же одна неудержимо и могущественно разрастается по землѣ. Но такъ должно-бы быть до конца, потому что окончательное совершенство мысли, послѣдняя красота искусствъ, полнота всѣхъ учрежденій еще болѣе должны-бы удовлетворять требованіямъ человѣческой души, нежели все это въ несовершенной степени, только на пути къ идеалу. И вотъ именно здѣсь-то, гдѣ еще одинъ шагъ—и окончательное, вѣчное торжество европейской цивилизаціи было-бы несомнѣнно, обнаруживается то странное явленіе, о которомъ мы заговорили, и

неожиданно раскрываетъ двусмысленный характеръ этой цивилизаціи, заставляющій нѣкоторые народы пугливо сторониться отъ нея.

Мы утверждаемъ только фактъ, безъ какихъ-либо объясненій къ нему. Нужно читать великія произведенія европейскихъ поэтовъ, нужно всматриваться въ созданія искусствъ, чтобы почувствовать всеобщность и постоянство этого факта. Что можетъ быть выше, нежели «Фаустъ»?—а сколько невысказанной грусти залегло въ это чудное созданіе, въ это соединеніе высочайшей красоты и самой глубокой мудрости. Нужно читать воодушевленныя страницы Байрона, Шатобріана, Руссо, Ламенэ и множества другихъ писателей, чтобы увидѣть повсюду, что чѣмъ глубже проникали они къ тѣмъ скрытымъ силамъ, которыми движется европейская исторія, тѣмъ болѣе покидалъ ихъ духъ свѣтлой радости. И то, что наблюдаемъ мы въ частностяхъ, развѣ не очевидно для всякаго и въ цѣломъ? Развѣ когда-нибудь достигало развитіе наукъ такой высоты, какъ въ XIX в.? Не въ этомъ-ли столѣтіи жили самые великіе поэты? Въ какое время еще въ европейской цивилизаціи было столько могущества; въ ея движеніяхъ—столько силы и правильности; когда она давала народамъ столько покоя; такъ заботливо охраняла каждаго; столько предоставляла всѣмъ наслажденій и умственныхъ, и эстетическихъ? А удовлетворены-ли эти народы? Кто, кромѣ дурныхъ, подходитъ къ этимъ наслажденіямъ? Не ищутъ-ли лучшіе скорѣе какого-то страданія, и не страненъ-ли этотъ фактъ? Кто не смутится отъ него и не задумается надъ смысломъ европейской цивилизаціи и исторіи?

Мы все понимаемъ только въ частностяхъ, смыслъ же цѣлаго отъ насъ скрытъ. Прослѣдить, откуда именно произошло это странное явленіе, что наилучшимъ образомъ посаженное дерево приноситъ столь горькій плодъ,—мы не въ силахъ. Одно несомнѣнно для насъ—что въ еврепейской цивилизаціи есть какое-то странное искривленіе; что, будучи столь правильной *въ частяхъ*, она заключаетъ что-то ложное *въ своемъ цѣломъ*,—и то, надъ чѣмъ трудилось столько поколѣній и съ такими надеждами, вовсе не достигаетъ цѣли, ради которой надъ нимъ трудились.

Очевидно, какое-то тонкое и глубокое зло, которое мы не въ состояніи различить, анализировать и понять, вошло въ цѣлый строй европейской цивилизаціи; и для того, чтобы наука достигла когда-нибудь возможности оцѣнить его, повидимому ей нужны гораздо болѣе глубокія свѣдѣнія о природѣ человѣческой души и о строѣ историческаго развитія, нежели какими она обладаетъ теперь. Мы же можемъ пока только чувствовать, что совершилось что-то похожее на древнюю исторію о томъ, какъ нѣкогда голодный сынъ стараго отца промѣнялъ свое первенство и связанныя съ нимъ обѣтованія на чечевичную похлебку. Что-то невознаградимо дорогое, безъ чего невозможно и жить, европейское человѣчество утратило, созидая свою цивилизацію, и томится, войдя въ ея чудныя формы.

Здѣсь именно и лежитъ разгадка нашихъ особенныхъ отношеній къ западной Европѣ и причина возникновенія двухъ великихъ партій, которыя въ теченіе цѣлаго столѣтія раздѣляютъ нашу литературу и наше общество на два враждующіе лагеря. Не разъ проводилась мысль, что значеніе этихъ партій уже минуло теперь, что никто болѣе не можетъ въ настоящее время оставаться ни чистымъ западникомъ, ни исключительнымъ славянофиломъ. Напротивъ, мы думаемъ, что споръ этотъ не конченъ, и даже утверждаемъ, что значеніе его далеко переступаетъ тѣсныя границы національнаго и имѣетъ всемірно-историческую важность. Въ подобномъ же отношеніи къ западно-европейской цивилизаціи, въ какомъ стоитъ и нашъ народъ, стоитъ и длинный рядъ другихъ народовъ, но только у насъ возникъ вопросъ: слѣдуетъ-ли, оставивъ пути самостоятельнаго развитія, вступить на путь европейской цивилизаціи, или удержаться отъ этого? Другіе же народы вступаютъ или готовятся вступить на этотъ путь, не задавшись вопросомъ, который такъ смущаетъ насъ. Ясно, что то или иное рѣшеніе, которое *мы* вынесемъ для него, будетъ имѣть значеніе и для всѣхъ другихъ народовъ.

Различіе въ отношеніи къ частному и къ цѣлому составляетъ узелъ всѣхъ этихъ вопросовъ—всего, что мы рѣшали и не умѣли рѣшить, и всего, что намъ предстоитъ разрѣшить, съ трудомъ гораздо большимъ, нежели мы когда-нибудь думали объ этомъ. Когда — два вѣка назадъ — совершался переломъ въ нашей исторіи, великій государь, ведшій за собою нашъ народъ, видѣлъ передъ собою также только частное и къ частному же относилось каждое его дѣяніе, всякій его замыселъ и каждый поступокъ. Частное же въ европейской цивилизаціи невозможно не одобрить и нельзя удержаться отъ того, чтобы его не принять. Отсюда — твердость дѣятельности Петра, отсутствіе какихъ-либо сомнѣній въ ея благотворности, при величайшей любви къ своему народу, при жертвѣ будущности его—себя, себѣ близкихъ и цѣлаго поколѣнія этого народа. Не могло быть сомнѣнія о томъ, нужно-ли, оставивъ прежній строй войска, завести регулярное,—когда первое били, а второе било; нельзя было оставаться при прежнемъ судостроеніи и при неопытныхъ матросахъ и не ввести перемѣнъ, сводившихся къ тому, чтобы люди не тонули болѣе въ морѣ и суда не разбивались. И во всемъ другомъ, также, вопросъ сводился къ ясной и простой дилеммѣ: нужно ли данное дѣло совершать по-прежнему дурно, или какъ-нибудь иначе и хорошо? и слѣдуетъ-ли намъ, какъ и прежде, всегда ожидать неуспѣха, или стремиться, надѣяться, и наконецъ достигнуть успѣха? Дѣятельность имѣетъ всегда предметомъ своимъ конкретное, единичное, она не можетъ коснуться общаго иначе, какъ черезъ это конкретное, улучшать которое составляетъ задачу всякаго практическаго дѣятеля. Европейская же цивилизація содержитъ въ себѣ *неопредѣленное множество улучшенныхъ формъ*

всего частнаго, и притомъ во всѣхъ направленіяхъ, и каждый разъ, когда мы думаемъ объ улучшеніи, нашъ взоръ всегда и невольно обращается къ ней. Здѣсь и лежитъ ея неотразимость, и здѣсь же тайная причина того, почему съ вопросомъ объ отношеніи къ ней всегда связывается вопросъ объ отношеніи къ прогрессу, какъ просто *улучшенію*, въ абстрактномъ значеніи этого слова. Прошло два вѣка со временъ Петра Великаго—и цѣлая группа людей съ утонченнымъ умомъ и благородными характерами фанатично борется противъ его дѣла, видитъ въ немъ гибель дорогой Россіи; и всякій разъ, однако, когда имъ предстоитъ не говорить и мыслить, но *дѣлать*, они дѣлаютъ то самое и такъ именно, что и какъ дѣлалъ и онъ. Развѣ желая издать «Семейную хронику» своего отца, И. С. Аксаковъ не заботился о томъ, чтобы печатаніе книги было наиболѣе скоро, дешево и красиво? Когда заболѣлъ онъ самъ, развѣ онъ не послалъ за медикомъ, наилучше изучившимъ природу и свойства болѣзней и способы бороться съ ними, по наилучшимъ книгамъ и у наиболѣе опытныхъ учителей? И далѣе, когда уже существуютъ въ странѣ движеніе и торговля, и прорыты дороги, облегчающія все это, развѣ можетъ быть какое-нибудь сомнѣніе въ томъ, что ѣздить по нимъ скорѣе—лучше, чѣмъ медленно, что уставать при этомъ тяжело и было бы лучше не уставать, что платить дорого —трудно, а дешево—легко? Но, точно также и министръ, вѣдѣнію котораго поручено образованіе подростающихъ поколѣній цѣлаго народа, развѣ не долженъ тревожно заботиться о томъ, чтобы обученіе происходило по наилучшимъ книгамъ и съ помощью наилучшихъ методовъ; чтобы свѣдѣнія, выносимыя дѣтьми изъ школы, были обильно и твердо усвоены? Развѣ не должна была смущать другого министра несправедливость въ судахъ, запутанность и противорѣчія въ законахъ, невообразимая медленность каждаго процесса—и всѣ они не должны были поступать также, какъ поступалъ Петръ Великій въ своихъ заботахъ объ арміи, флотѣ и администраціи? И такимъ образомъ всѣ мы, отъ государя и до послѣдняго бѣдняка, руководимые цѣлью дѣлать каждое дѣло наилучшимъ образомъ, все болѣе и болѣе втягиваемся въ формы европейской цивилизаціи, гдѣ уже все и во всѣхъ направленіяхъ улучшено въ наибольшей степени.

Абстрактность улучшенныхъ формъ и составляетъ могущество европейской цивилизаціи, универсальность ея характера и всемірность ея стремленій; ею одерживаетъ она всѣ побѣды, даже и не стремясь къ нимъ, невольно; противъ нея безсильны бороться другія культуры, или тая и претворяясь въ формы этой цивилизаціи, или разбиваясь при встрѣчѣ съ нею. Народы, нѣкогда столь же слабые, столь же грубые и темные, такъ же гибнувшіе въ борьбѣ съ природою и между собою, какъ и другіе, не захотѣли переносить своихъ страданій, какъ терпѣливо переносили ихъ тѣ. Болѣе

ярко, чѣмъ всѣ другіе, чувствовали они несправедливость — и не захотѣли мириться съ нею; вдумывались въ причины бѣдствій, которыя наносила имъ природа,—и стали бороться съ ними. Шагъ за шагомъ, въ теченіе полутора тысячелѣтія они переходили отъ улучшенія къ улучшенію, все болѣе преодолѣвая препятствія, все чаще научаясь достигать успѣха. Въ неустанной борьбѣ силы ихъ укрѣпились и умъ ихъ изощрился, все шире становилась ихъ дѣятельность; желая прежде избѣжать только невыносимыхъ страданій, они стали, наконецъ, думать о томъ, чтобы не переносить болѣе и легкихъ. Отъ борьбы противъ частнаго, что губило ихъ, отъ стремленія къ единичнымъ цѣлямъ, они стали переходить къ цѣлямъ и заботамъ болѣе общимъ. Изощрившаяся мысль послужила могучимъ средствомъ для всего этого. Ничѣмъ не пренебрегали они, ни у кого не стыдились учиться; но ко всему прилагали свой трудъ и свою мысль—и все претворялось, какъ пища, въ растущее тѣло ихъ. Надъ чѣмъ не думали никогда люди—они задумались; чего не хотѣли они ни разу—эти народы захотѣли; и поняли они почти все, что доступно для человѣка, и достигли почти всего, чего онъ могъ пожелать. Создались государства и удивительныя учрежденія въ нихъ; возникли стройныя зданія наукъ и чудный міръ философіи. И теперь, послѣ столькихъ вѣковъ историческаго труда, силы этой цивилизаціи такъ напряжены и такъ полны, что, кажется, что бы ни поставила она для себя цѣлью, она успѣетъ ея достигнуть, и никогда не устанетъ она въ этомъ, потому что именно достиганіе составляетъ высшее ея наслажденіе.

Вотъ почему прогрессъ, какъ улучшеніе, составляетъ сущность европейскаго развитія, и европейскую цивилизацію можно опредѣлить какъ полноту улучшенныхъ формъ человѣческаго существованія. Однако, кромѣ частнаго, эта цивилизація есть и нѣчто общее; и сверхъ того, что въ ней всѣ части улучшены, есть нѣкоторый смыслъ въ цѣломъ, составленномъ изъ этихъ частей. Въ высшей степени замѣчательно, что Европа сама не знаетъ этого смысла; но не менѣе замѣчательно, что къ нему именно—къ этому общему, относится все недовольство, все смущеніе и порою ненависть и отвращеніе, которое она внушаетъ собою. Отсюда вытекаетъ неопредѣленность этого смущенія, кажущаяся безпредметность этой ненависти, которая всегда представляется несправедливо-придирчивою, когда, пытаясь говорить для всѣхъ понятнымъ языкомъ, она обращается противъ чего-нибудь частнаго. Всегда можетъ быть предложенъ вопросъ: почему вы не боретесь противъ этого или того зла въ формахъ политической борьбы, которая для васъ открыта, или путемъ ученыхъ трактатовъ, издавать которые вамъ никто не мѣшаетъ? Отсюда же—тотъ замѣчательный фактъ, что не политическіе и общественные дѣятели, видящіе наибольшее количество еще неисправленныхъ золъ, выказываютъ недовольство евро-

пейскою цивилизаціей, но поэты и философы. Первые всегда обращены къ частному и не чувствуютъ общаго; и какъ ни много зла предстоитъ имъ улучшить—зная, какъ въ европейской исторіи ничто изъ частнаго никогда не было непреодолимо,—они любятъ эту исторію и созданную ею цивилизацію: на нее одну надѣются; готовы простить все и примириться со всѣмъ, кромѣ какъ съ возстаніемъ противъ нея или даже простымъ ея осужденіемъ. Напротивъ, мыслители и поэты, которые наиболѣе слабо чувствуютъ частное. но за то наиболѣе глубоко связаны съ общимъ и (какъ всѣ признаютъ это) наиболѣе чутки и проницательны изо всѣхъ людей,—непреодолимо и безотчетно отвращаются отъ того, что такъ цѣнятъ и любятъ практики.

Къ этому же общему относится и отрицаніе, которое высказываютъ славянофилы, и общее же осуждаютъ они и въ реформѣ Петра. Два вѣка спустя послѣ его преобразованій, все частное, что сдѣлалъ онъ, исчезло: оно или замѣнено другимъ, или уничтожено или измѣнено до неузнаваемости. Ни одинъ изъ фактовъ, имъ созданныхъ, не существуетъ болѣе вполнѣ; но существуетъ общій смыслъ этихъ фактовъ, о которомъ онъ вовсе не думалъ, и мы живемъ въ циклѣ исторіи, имъ начатомъ, — движемся въ направленіи, имъ данномъ Только къ этому общему смыслу, который одинъ остался и одинъ значущъ, мы можемъ относить свои сужденія,—какъ онъ, въ свое время, только къ частному могъ относить свою дѣятельность. Дилемма, которая была для него такъ проста, для насъ сдѣлалась необыкновенно сложною и трудною. Онъ улучшалъ армію, создавалъ флотъ, искоренялъ злоупотребленія въ администраціи; мы же, ничего не говоря объ этомъ, думаемъ о разрывѣ въ нашей исторіи, утверждаемъ невозможность нормальнаго роста для дерева, разъ оно переломлено,—мы страшимся за все наше существо и спрашиваемъ: «Что же останется отъ насъ, кромѣ языка и его формъ, когда, все стремясь стать лучше, мы шагъ за шагомъ будемъ входить въ улучшенныя формы европейской цивилизаціи и, наконецъ. войдемъ въ нихъ безъ остатка? Не станемъ-ли мы только этнографическою массою, и неужели словарь своеобразныхъ словъ, да своеобразная грамматика, которую мы сами не съумѣли даже обдумать, есть все, что мы оставимъ послѣ себя въ исторіи? Неужели для этого появлялся народъ нашъ и самобытно росъ уже восемь вѣковъ? Мы стали лучше во всѣхъ отношеніяхъ, въ каждой подробности, но какою цѣною купили мы это? Мы стали пустымъ остовомъ, принявшимъ чужое содержаніе послѣ того, какъ его собственное выброшено за ненужностью, стали одеждою, въ которой движется, живетъ и развивается иное существо, которое съумѣетъ и сохранить ее до времени, но, конечно, и бросить, когда она износится, и замѣнить другою одеждою».

Вотъ одна половина славянофильскаго отрицанія, вытекающаго изъ общаго взгляда на нашу исторію и будущность нашего народа.

Его вторая половина обращена къ самой европейской цивилизаціи и состоитъ въ отрицаніи ея, основанномъ на знаніи въ ней *общаго*. Эта цивилизація не можетъ быть нормальною для всего человѣчества; она не нормальна даже для европейской части его, если заканчивается страданіемъ. Пусть все частное въ ней совершенно: есть глубокая разстроенность въ ея цѣломъ, если вмѣсто того, чтобы испытывать гармонію, радость и успокоеніе—естественную награду столь продолжительнаго труда, трудъ человѣческій испытываетъ въ ней неудовлетворенность. Происходитъ-ли это отъ того, что столь совершенныя части въ ней несовершенно соединены, и эта дисгармонія отражается разстроенностью духа; или другое что закралось въ европейскую цивилизацію?—этого рѣшить невозможно. Но если несомнѣнно, что стремиться къ страданію, какъ вѣнцу своего бытія, было-бы ложно, то такъ-же несомнѣнно, что человѣчество должно удержаться отъ того, чтобы вступать всецѣло въ формы европейской цивилизаціи.

Ясно, что подобное отрицаніе не могло быть результатомъ безотчетнаго отвращенія слѣпыхъ національныхъ инстинктовъ противъ стремящейся вытѣснить ихъ иной культуры. И дѣйствительно: оно всегда сосредоточивалось въ тѣсномъ кругѣ немногихъ людей, утонченныхъ по своему образованію, въ высокой степени склонныхъ къ обобщенію, наконецъ свободныхъ по своему положенію отъ какихъ-нибудь частныхъ заботъ или единичныхъ и временныхъ интересовъ. Они не были людьми, отрицающими то, что они мало понимали: напротивъ, они отрицали именно потому, что слишкомъ глубоко поняли извѣстное другимъ только своею поверхностною стороной и лишь въ частностяхъ. Скажемъ болѣе: они были люди до конца выполнившіе мысль Петра I, и именно изъ полноты этого выполненія вынесшіе ея отрицаніе. Тогда какъ всѣ остальные еще только движутся въ предѣлахъ этой мысли, только идутъ выполнять ее, главною же, коренною частью своего существа продолжаютъ оставаться людьми дореформенными,—дѣятельность и благожелательность, какъ и въ самомъ Петрѣ I, остается для тѣхъ людей главною ихъ чертою. Такимъ образомъ, если мы глубже всмотримся въ психическій складъ славянофиловъ и западниковъ, мы найдемъ въ немъ обратное тому, что они видимо утверждаютъ. Западники являются таковыми лишь въ своихъ стремленіяхъ—и именно потому, что по своему духовному содержанію и его складу они остаются часто еще нетронутыми русскими; славянофилы такъ страстно тянутся прикоснуться къ родному, такъ глубоко понимаютъ его и такъ высоко цѣнятъ — именно потому, что такъ безвозвратно, быть можетъ, уже порвали жизненную связь съ нимъ, такъ повѣрили нѣкогда универсальности европейской цивилизаціи и со всею силой своихъ дарованій не только въ нее погрузились, но и страстно коснулись тѣхъ глубокихъ ея основъ, ко-

торыя открываются только высокимъ душамъ, но прикосновеніе къ которыми никогда не бываетъ безнаказаннымъ. Кто станетъ отрицать, что во многихъ нашихъ западникахъ, оставшихся таковыми до конца, болѣе жилъ ясный и спокойный духъ нашего народа; и кто не замѣтитъ, напротивъ, нѣкоторой сумрачности въ складѣ чувства и глубокаго теоретизма въ складѣ ума у всѣхъ нашихъ славянофиловъ? Исторіи, самой конкретной изъ наукъ, они никогда не изучали ради ея самой и обращались къ ней лишь за пособіемъ для оправданія своихъ теорій: они не любили факта, какъ таковаго; даже изъ всѣхъ русскихъ историковъ совпалъ съ ними во взглядѣ на нее, равно какъ въ своихъ симпатіяхъ и антипатіяхъ, единственный, который обрабатываетъ ее, и съ такимъ успѣхомъ, теоретически [1]); напротивъ, самый слабый изъ нашихъ историковъ по силѣ обобщенія и наиболѣе привязанный къ конкретному [2]) былъ чистый западникъ.

Едва-ли не здѣсь слѣдуетъ искать разгадки постоянной безуспѣшности славянофильскаго ученія; ихъ мудрость не привлекала къ себѣ, ихъ горячее слово не убѣждало; холодъ и почти враждебность всегда окружали ихъ. Они сами склонны были приписывать это глупости окружающихъ, и высокомѣрное отношеніе ихъ къ людямъ и фактамъ своего времени общеизвѣстно. Но кажется, что причины здѣсь лежатъ гораздо глубже. Онѣ скрываются въ дисгармоніи ихъ психическаго склада съ психическимъ складомъ нашего общества, или слабо тронутаго, или еще не тронутаго европейскою цивилизаціей.

Понять, въ чемъ именно разошлись двѣ великія партіи нашего общества—значитъ понять глубокую правоту каждой изъ нихъ; невозможность для одной изъ нихъ поступать иначе и для другой—иначе мыслить. Понять особенности въ психическомъ ихъ складѣ—значитъ понять множество литературныхъ явленій. Мы обращаемся снова къ одному изъ нихъ, которое такъ надолго оставили для этихъ общихъ разсужденій.

III.

«Неудовлетворенность тѣмъ, что обыкновенно называется познаніемъ, есть чувство очень обыкновенное», писалъ г. Страховъ въ 1887 г., по поводу своей полемики съ Бутлеровымъ, который обнаружилъ это чувство и высказалъ его въ прекрасныхъ и глубокихъ словахъ.—«Не только питаясь естественно-научными познаніями, но *поглощая и всякія другія*, мы можемъ оставаться со-

[1]) В. О. Ключевскій. См. предисловіе къ его «Боярской думѣ древней Руси», напечатанное предварительно въ «Русской Мысли», а также извѣстный разборъ типа Онѣгина.

[2]) Разумѣемъ Костомарова.

вершенно голодными. Но возможно ли составить общую и точную формулу этого недовольства? Когда я окончилъ свою книгу «Міръ какъ цѣлое», въ которой съ увлеченіемъ развивалъ главныя и общія ученіи о природѣ, мною овладѣло это чувство неудовлетворенности, и я позволяю себѣ привести здѣсь то мѣсто, гдѣ я пытался тогда дать себѣ отчетъ въ своихъ чувствахъ [1])». Мы повторимъ его также, потому что оно можетъ служить ключемъ объясненія ко всей литературной дѣятельности г. Страхова. Высказанное и повторенное на разстояніи двадцати пяти лѣтъ, оно обнимаетъ почти всю его дѣятельность.

«Если мы чувствуемъ недовольство этимъ взглядомъ (т. е. тѣмъ, который изложенъ въ книгѣ), если онъ въ насъ что-то затрогиваетъ и чему-то противорѣчитъ, то нѣтъ никакого сомнѣнія, что источникъ такого разногласія заключается не въ умѣ, а въ какихъ-нибудь другихъ требованіяхъ души человѣческой. Человѣкъ постоянно почему-то *враждуетъ противъ раціонализма* (курсивъ автора), и эта вражда упорно ведется всѣми, спиритуалистами и матеріалистами, вѣрующими и скептиками, философами и натуралистами».

«Отдать себѣ отчетъ въ этой враждѣ есть величайшая задача мысли» [2]).

Вотъ слова, могущія внушить самое глубокое удивленіе. Обращаясь къ предисловію книги «Міръ какъ цѣлое», мы узнаемъ изъ него, что основою для мыслей автора, развитыхъ въ этой книгѣ, послужили: во-первыхъ, данныя естественныхъ наукъ и, во-вторыхъ, философія Гегеля, именно его діалектика. Ланге въ «Исторіи матеріализма» замѣчаетъ, что одна спеціальная работа въ какомъ-нибудь отдѣлѣ естествознанія болѣе знакомитъ того, кто произвелъ ее, съ общимъ духомъ и методомъ всего круга наукъ о природѣ, нежели самая обширная начитанность въ этихъ наукахъ, сдѣланная съ цѣлью ознакомиться съ ихъ содержаніемъ въ послѣднихъ выводахъ. Это условіе, очень рѣдко выполняемое, было выполнено г. Страховымъ. И спеціальныя его работы (произведенныя въ области сравнительной анатоміи, внушили ему столь общую идею, какъ идея раціональнаго естествознанія. Склонности ума совлекли его съ пути чистаго естествознанія, или, точнѣе, онъ вошелъ въ болѣе широкій и гибкій міръ философіи, чтобы съ точекъ зрѣнія, въ ней открывающихся, посмотрѣть на тѣ данныя, которыя въ кругѣ наукъ о природѣ скорѣе излагаются только, нежели объясняются.

Интересъ къ факту, однако, уже настолько окрѣпъ въ немъ, что во всемъ рядѣ послѣдующихъ философскихъ трудовъ его мы

---

[1]) «О вѣчныхъ истинахъ (Мой споръ о спиритизмѣ). Стр. XXIX.
[2]) »Міръ какъ цѣлое». Стр. IX.

не находимъ и тѣни развитія чистыхъ понятій, съ какимъ обычно встрѣчаемся въ философскихъ книгахъ, но видимъ только философскій анализъ, приложенный къ явленіямъ внѣшней природы или внутренней жизни человѣка. Философія Декарта и философія Гегеля наиболѣе, какъ кажется, послужили къ выработкѣ его міросозерцанія, и обѣ не столько содержаніемъ своимъ, сколько методомъ. Въ первой онъ нашелъ принципы и до сихъ поръ развиваемые физическими науками: это—принципы механическаго объясненія природы; во второй онъ нашелъ разработку категорій, т. е. понятій, не сводимыхъ одно на другое и однако выводимыхъ другъ изъ друга, подъ которыя подводятся, какъ подъ общее, всѣ единичныя явленія природы и всѣ разнообразныя ея области.

Такимъ образомъ подъ раціонализмомъ, неудовлетворенность которымъ почувствовалъ г. Страховъ, разумѣется не какая-нибудь односторонность научнаго изслѣдованія, но духъ знанія во всей широтѣ его, въ его цѣломъ; и въ этомъ духѣ, которымъ онъ такъ глубоко и, повидимому, такъ довѣрчиво проникся въ началѣ, ничто не было рождено тѣмъ народомъ, къ которому онъ принадлежалъ: онъ возникъ и выросъ въ западной Европѣ, какъ одна изъ лучшихъ и самыхъ совершенныхъ формъ ея развитія. Въ различныхъ мѣстахъ многочисленныхъ книгъ г. Страхова можно видѣть, до какой степени высоко въ авторѣ понятіе о наукахъ, какъ удивляется онъ твердости ихъ началъ и выдержанности ихъ методовъ. И вотъ, однако, противъ этихъ именно наукъ—предмета его главнаго удивленія, очевидно не въ частностяхъ ихъ, но въ цѣломъ, поднимается у него чувство общей неудовлетворенности.

Высказанное болѣе нежели четверть вѣка назадъ, это чувство опредѣлило его отношеніе къ западно-европейской цивилизаціи и къ той, которой смыслъ еще неизвѣстенъ, но которая можетъ, при благопріятныхъ условіяхъ, развиться въ средѣ нашего народа. Отсюда — горячая его полемика (противъ г. Вл. Соловьева) въ защиту книги Данилевскаго «Россія и Европа», гдѣ развита теорія культурно-историческихъ типовъ, какъ ряда своеобразныхъ цивилизацій, развивающихся въ историческомъ процессѣ человѣчества; онъ же первый, въ журналистикѣ [1]), и привѣтствовалъ и объяснилъ главный смыслъ этой книги. Отсюда участливое его вниманіе къ судьбамъ славянофильской партіи, высказавшееся напримѣръ въ статьѣ «Поминки по И. С. Аксаковѣ», одной изъ лучшихъ въ сборникѣ «Борьба съ Западомъ». Отсюда — всегда исполненныя уваженія слова его о русскомъ народѣ и его исторіи. Но когда читаешь ихъ, всегда и невольно приходятъ на умъ его «Воспоминанія о Ѳ. М. Достоевскомъ», который былъ его близкимъ другомъ и товарищемъ по журнальной дѣятельности (см. первое посмертное

[1]) Въ «Зарѣ» за 1871 г., мартъ.

изд. сочиненій Достоевскаго, 1882 г., т. I). Слишкомъ глубокій теоретизмъ душевнаго склада потому, быть можетъ, и вызываетъ неудовлетворенность, что всякаго, кто имѣлъ несчастье дойти до него, онъ отдѣляетъ глубокою и уже никогда не переступаемою чертой отъ всего живого и единичнаго. Тѣ связи, которыя соединяютъ каждаго съ окружающею средою, какъ будто прерываются, и глубокое внутреннее одиночество, способность ко всякому предмету или явленію, къ лицу, народу или исторіи становиться лишь въ отношеніе наблюдателя и мыслителя—есть невольное послѣдствіе этого проступка противъ собственной души, есть неизбѣжная кара за нарушеніе гармоніи въ ея развитіи. Мы склонны думать, что эта отчужденность теоретическаго ума была присуща и разбираемому нами писателю, и всякій разъ, когда онъ привязывался къ чему-нибудь, онъ собственно оцѣнивалъ дорогія ему качества и влекся болѣе къ нимъ, нежели къ ихъ живому носителю. Это не можетъ не причинять глубокаго внутренняго страданія, и отсюда-то, думается намъ, вытекла та особенность, что неудовлетворенность раціонализмомъ высказалась у г. Страхова какъ *«враждебность»* къ нему, а не какъ простое сознаніе его недостаточности только. Не менѣе знаменательно и то, что попытавшись истолковать точный смыслъ этой враждебности, онъ заговорилъ объ исполненіи *долга*, какъ о томъ, что можетъ болѣе всего другого успокоить встревоженный духъ человѣка [1]). Понятіе долга, выросшее на холодной почвѣ Рима, абстракцій его права и тоски его стоицизма есть лишь сомнительная замѣна истинныхъ чувствъ, которыми жива всякая жизнь. «Должное» указывается умомъ и выполняется, когда болѣе не подсказывается сердцемъ, и жизнь уже не творится; не играетъ, но только поддерживается.

Мы входимъ здѣсь въ темную, всегда скрытую область соотношенія отдѣльныхъ сторонъ психической жизни. Духовный міръ человѣка есть уже отъ начала нѣчто въ высшей степени сложное, но одновременно съ этимъ и нѣчто глубоко гармоничное, цѣльное. Сохранить эту цѣльность, не разстроить этой гармоніи душевныхъ силъ есть важнѣйшая задача всякаго личнаго существованія, но она, къ несчастію, обыкновенно сознается человѣкомъ тогда уже, когда разстроена непоправимо. Грусть, доходящая до помѣшательства у Гамлета и вызывающая въ Фаустѣ жажду, возвратившись къ юности, вторично и иначе пережить свою жизнь, вытекаетъ изъ того именно, что въ нихъ обоихъ основная гармонія души была нарушена, что у одного надъ волею, а у другого надъ чувствомъ такъ воспреобладала мысль. Но уроки особенно глубокіе для человѣка всегда выслушиваются имъ небрежно, или не понимаются; ихъ, правда, трудно и выполнить. Во всякомъ случаѣ

[1]) «Міръ какъ цѣлое», стр. X.

духовное развитіе, которое старается дать намъ государство и общество, къ которому мы стремимся сами, всегда почти состоитъ въ томъ, даже начинается съ того, чтобы нарушить цѣльность и гармоничность внутренней жизни. Мы силимся стать виртуозами, не замѣчая, что становимся только калѣками.

Трудно сохранимая въ личномъ существованіи, эта гармонія душевныхъ способностей еще неизмѣримо труднѣе сохраняется въ исторіи, и мы склонны думать, что глубокая разстроенность европейской цивилизаціи объясняется чрезмѣрнымъ нарушеніемъ въ ней равновѣсія духовныхъ элементовъ — подавленностью однихъ изъ нихъ, исключительнымъ развитіемъ другихъ, наконецъ несогласованностью ихъ всѣхъ между собою. Сюда слѣдуетъ, быть можетъ, присоединить ложность и самаго типа, по которому развиты по крайней мѣрѣ нѣкоторые изъ этихъ элементовъ. Со всѣмъ этимъ въ высшей степени соединена необыкновенная изощренность, высокое совершенство частей и чрезвычайное могущество, видимое обиліе жизни—все то, о чемъ мы единственно и можемъ утверждать, что оно несомнѣнно присуще европейской цивилизаціи. Но не будемъ слишкомъ входить въ разсмотрѣніе этихъ трудныхъ вопросовъ; и сказаннаго достаточно, чтобы понять отчетливо, какими путями разбираемый нами писатель пришелъ ко всѣмъ своимъ отрицаніямъ и утвержденіямъ.

Перенесенное страданіе, какъ и испытанное счастіе, всегда является источникомъ завѣтнаго и непреклоннаго въ нашихъ убѣжденіяхъ; оно-же открываетъ для насъ и внутреннюю, тайную жизнь чужой души, углубивъ и усложнивъ жизнь собственной. Въ незамѣтномъ уклонѣ мыслей, въ особомъ тонѣ рѣчи мы открываемъ присутствіе чертъ, которыхъ не можемъ не сознавать и въ себѣ, и по нимъ заключаемъ безошибочно объ общности причинъ, которыя ихъ вызвали. Эту проницательность сужденія, основанную на богатствѣ собственной внутренней жизни, мы находимъ и у г. Страхова. Неудовлетворенность—и безотчетная—одною изъ самыхъ общихъ и великихъ формъ европейской цивилизаціи, дала ему возможность безошибочно опредѣлить подобное-же недовольство ею и въ другихъ умахъ, которое сказалось также враждебно, повело къ такимъ-же, какъ и у него, страстнымъ отрицаніямъ. Раціонализированіе природы въ философіи и наукѣ; безграничное стремленіе, избѣгая всякаго страданія, улучшать каждую частность жизни и надежда черезъ это достигнуть ея полнаго совершенства; вѣра въ могущество своей природы и отверженіе необходимости для себя какой-нибудь помощи въ религіи—все это можетъ считаться главными и самыми общими чертами европейскаго общества второй половины XIX-го вѣка. Въ цѣломъ рядѣ западныхъ писателей г. Страховъ открываетъ, какъ вѣра въ раціонализмъ, столь-же горячая, какую онъ исповѣдывалъ нѣкогда, привела къ недовольству и отри-

цанію другихъ сторонъ европейской цивилизаціи, то подавляемому еще, какъ у Штрауса, то колеблющемуся, какъ у Д. С. Милля, то исполненному какого-то недоумѣнія, какъ у Фейербаха, то открытому и рѣзкому, какъ у Ренана и отчасти у Герцена.

Но если для западно-европейскихъ писателей за отрицаніемъ своей цивилизаціи остается только сумракъ и отчаяніе, то для писателя иного народа, еще не вошедшаго окончательно въ формы этой цивилизаціи, остается надежда на возможность иной культуры. Къ этой надеждѣ примыкаетъ, изъ нея исходитъ вся критическая дѣятельность г. Страхова.

Одно изъ самыхъ удивительныхъ заблужденій первыхъ представителей славянофильской партіи составляло мнѣніе, что пережитое въ два послѣднія столѣтія нашимъ обществомъ можетъ быть какъ-то забыто, и мы снова можемъ вернуться къ простотѣ своего быта до реформы Петра, чтобы затѣмъ продолжать свою исторію такъ, какъ будто въ ней не было перерыва. Здѣсь забывалось, что если все можемъ мы измѣнить, все заимствованное—снять съ себя, то не можемъ возвратиться къ простотѣ прежняго созерцанія, не можемъ истребить въ себѣ понятій и чувствъ, усвоенныхъ и сложившихся въ два послѣдніе вѣка. А въ нихъ, очевидно, и заключается все дѣло—формы-же быта и все прочее внѣшнее являются лишь необходимою ихъ оболочкою, которая не можетъ не соотвѣтствовать своему содержанію. Такимъ образомъ возможность иной культуры въ нашей исторіи обусловливается возможностью для насъ, сохраняя уже возникшую сложность своего созерцанія, перейти въ немъ съ типа западно-европейскаго къ типу иному, который соотвѣтствовалъ-бы тому, какой въ неразвитой формѣ продолжаетъ и до сихъ поръ существовать въ нашемъ простомъ народѣ. Эта возможность дѣйствительно открывается въ нашей литературѣ, историческія заслуги которой теперь нельзя даже и оцѣнить.

Въ произведеніяхъ ряда поэтовъ и художниковъ, начиная отъ Пушкина, послѣ нѣкотораго колебанія и склоненія въ сторону западно-европейскихъ типовъ духовной красоты человѣка, мы замѣчаемъ возвращеніе къ самостоятельности и созданіе типовъ и характеровъ, въ безусловной нравственной красотѣ которыхъ мы не можемъ сомнѣваться, передъ которыми преклоняются, какъ только узнаютъ ихъ, и западные писатели, и которые, вмѣстѣ съ тѣмъ, совершенно гармонируютъ съ душевнымъ складомъ, до сихъ поръ живущимъ въ нашемъ простомъ народѣ. Эта особенность нашей литературы впервые была замѣчена Ап. Григорьевымъ—критикомъ, который ни при жизни, ни послѣ смерти не былъ оцѣненъ по достоинству. Онъ открылъ новую точку зрѣнія на нашу литературу, и такъ какъ она есть истинная, то трудно допустить мысль, чтобы она не стала когда-нибудь общепринятою. Съ чуткостью, которая послѣ всего сказаннаго должна быть ясна, г. Страховъ

понялъ вѣрность этого воззрѣнія, оцѣнилъ всю его значительность для нашего духовнаго развитія и со всею страстностью примкнулъ къ воззрѣніямъ Ап. Григорьева. Онъ собралъ его статьи, разсѣянныя въ малораспространенныхъ журналахъ, и приведя ихъ въ систематическій порядокъ, издалъ, со своимъ предисловіемъ, біографіею и указателемъ [1]). Въ долгіе годы послѣдующей собственной литературной дѣятельности онъ испыталъ самъ, какъ трудно добиться въ читающемъ обществѣ вниманія, какъ всякая оригинальность и самостоятельность проводимыхъ воззрѣній сопровождаются враждебностью или отчужденностью остальной журналистики, въ своей совокупности представляющей непреодолимую силу, способную какъ дать распространеніе самымъ пустымъ мыслямъ, такъ и задавить идею, самую высокую и плодотворную.

Энергія дѣятельности, когда она неутомима и сопровождается талантомъ, можетъ, однако, преодолѣть и эту косную силу. Въ рядѣ собственныхъ превосходныхъ статей по поводу «Войны и Мира», г. Страховъ изложилъ предварительно точку зрѣнія Ап. Григорьева, и тѣмъ гораздо болѣе, нежели изданіемъ его сочиненій, способствовалъ ознакомленію съ ней широкихъ слоевъ читающаго общества. Затѣмъ эту же точку зрѣнія онъ приложилъ и къ произведенію Л. Толстого. Ихъ глубокое соотвѣтствіе, какъ теоріи и факта, не могло не поразить всякаго. Въ отношеніи ко всему предыдущему развитію нашей литературы, великая эпопея гр. Толстого являлась свѣтлымъ и высокимъ торжествомъ той стороны ея, которая впервые сказалась у Пушкина, была совершенно не понята его современниками и послѣдующими критиками, и оцѣнена впервые Ап. Григорьевымъ.

Но и для самого г. Страхова появленіе «Войны и Мира», можно думать, было важнымъ моментомъ во внутреннемъ развитіи. То, чего онъ смутно искалъ, чего ожидалъ съ сомнѣніемъ, появилось въ образахъ удивительной красоты и твердости, передъ которыми невольно склонилось читающее общество, еще не понимая всего ихъ значенія. Ни для кого значеніе это не могло быть такъ ясно, какъ для него. Въ четырехъ томахъ громаднаго литературнаго произведенія онъ нашелъ двѣ строчки, мимоходомъ брошенныя авторомъ, въ которыхъ была сгруппирована вся мысль романа, быть можетъ не такъ отчетливая и для самого знаменитаго художника. Эти строки онъ избралъ эпиграфомъ для своего разбора: «*нѣтъ величія тамъ, гдѣ нѣтъ простоты, добра и правды*» — въ этихъ короткихъ словахъ содержится указаніе иного и высшаго типа для всемірной исторіи, по которому она еще никогда не двигалась и который хранится, какъ нравственный идеалъ, безсознательно въ нѣдрахъ народа нашего; по нему, конечно ступая и вкривь и вкось,

---

[1]) Сочиненія Аполлона Григорьева, т. I. Спб. 1876.

развивался и быть нашъ до реформы Петра. Этотъ типъ можетъ быть удержанъ при всей сложности развитія, при всякой высотѣ умственныхъ созерцаній или обширности замысловъ и стремленій. Нельзя не согласиться, что онъ есть норма для человѣческаго духа и мѣрило достоинства для человѣческой дѣятельности. Придерживаясь его, первый никогда не почувствуетъ неудовлетворенности и тревоги, а вторая успѣетъ достигнуть всякихъ цѣлей. Если мы всмотримся въ двухъ-тысячелѣтнюю исторію западной Европы, мы увидимъ, что все великое, въ ней совершившееся, совершилось по инымъ типамъ, нежели этотъ. Могущество внѣшняго авторитета въ одни моменты ея развитія, свобода личной совѣсти въ другіе, гражданское равенство въ третьи, далѣе спиритуализмъ или матеріализмъ воззрѣній, чувствъ и отношеній — вотъ окончательныя цѣли, которыя преслѣдовались западными народами и породили великіе циклы ихъ развитія: католицизмъ и реформацію, систему централизованныхъ государствъ и революцію, рыцарство и промышленность, аскетизмъ монастырей и шумъ энциклопедистовъ. Идеалъ всегда бываетъ несложенъ, онъ называется двумя-тремя словами, но его осуществленіе на всѣхъ ступеняхъ жизни, проникновеніе имъ всѣхъ формъ развитія, всѣхъ моментовъ личнаго существованія и общественныхъ отношеній наполняютъ собою вѣка народной жизни, поглощаютъ трудъ безчисленныхъ поколѣній. Западная Европа въ теченіе всего послѣдняго столѣтія движется въ предѣлахъ мысли, которую мы можемъ читать въ двухъ словахъ, вырѣзанныхъ на французскихъ пушкахъ, хранимыхъ въ Московскомъ Кремлѣ—«liberté, égalité»: сюда примыкаютъ рядъ монархій и республикъ, законодательства и журналистика, индустрія и пролетаріатъ. И такъ, слова эти кратки, но смыслъ ихъ долгъ. Не трудно понять, какъ забвеніе великаго идеала, хранимаго въ нашемъ народѣ, пренебреженіе которою-нибудь изъ его чертъ, порождаетъ наше безсиліе достигнуть хоть какихъ-нибудь изъ своихъ цѣлей, и не нужно быть особенно проницательнымъ, чтобы предвидѣть, до какой степени легко и радостно мы достигли бы ихъ всѣхъ, еслибы въ стремленіи своемъ дѣйствительно были всегда просты, совершенно не заботились ни о чемъ, кромѣ добра. Но къ добру мы примѣшали лживость, къ правдѣ — ожесточеніе, извратились сами и извратили свою жизнь, и несемъ ее какъ бремя, ненавистное для себя и для другихъ.

Къ разбору «Войны и Мира» прилегаетъ, какъ къ своему центру, и вся остальная критическая дѣятельность разбираемаго нами писателя. Въ ней особенно слѣдуетъ отмѣтить превосходныя «Замѣтки о Пушкинѣ и другихъ поэтахъ». Въ противоположность основнымъ славянофиламъ, которые геніальнаго, но извращеннаго Гоголя признавали самымъ великимъ дѣятелемъ въ нашей литературѣ, потому что онъ отрицаніемъ своимъ совпалъ съ ихъ отрицаніемъ,—

вѣтвь этой партіи, къ которой принадлежалъ и г. Страховъ, выдвинула Пушкина. Ясность и спокойствіе этого поэта, равно какъ широта его симпатій, болѣе соотвѣтствовала положительному характеру идеаловъ этой вѣтви славянофильства, главными представителями которой были, кромѣ разбираемаго нами критика, Ап. Григорьевъ и Ѳ. М. Достоевскій (къ ихъ же кругу принадлежалъ и Н. Я. Данилевскій). Пушкинъ сдѣлался центромъ ихъ симпатій и толкованій. Въ его знаменитомъ стихотвореніи «Возрожденіе» они видѣли высказанною судьбу каждой сколько-нибудь даровитой русской души: долгое скитальчество за идеалами, страстное и не окончательное преклоненіе передъ богами чужихъ народовъ, утомленіе всѣми ими и возвращеніе къ идеаламъ своего родного народа.

Это можно почти толковать такъ, что уже при первомъ выступленіи на историческое поприще каждый народъ, какъ и всякій вчера рожденный человѣкъ, въ своихъ скрытыхъ духовныхъ дарахъ носитъ опредѣленіе своей судьбы. Въ теченіе долгаго времени онъ смутно и безотчетно идетъ правильнымъ путемъ, руководимый этими раскрывающимися дарами, но не сознавая ихъ. Но настаетъ время, когда онъ сходитъ съ этихъ путей, и временныя желанія, придуманныя цѣли становятся его руководителями. Онъ называетъ это время періодомъ пробужденія въ себѣ сознанія, пробужденія своей личности въ исторіи. Однако, онъ скоро познаетъ, какъ недостаточны его силы для поддержанія его на этихъ путяхъ, какъ слабъ его умъ для выбора наилучшихъ изъ нихъ. Измученный и не достигнувъ ничего, онъ снова возвращается тогда на великіе пути, по которымъ шелъ раньше. Но все перемѣняется теперь: не тотъ уже и онъ, и иначе понимаетъ онъ путь, который уже совершилъ и который ему предстоитъ еще окончить. Онъ догадывается, наконецъ, что было сознаніе, великое и глубокое, которое и вывело его на историческую сцену и долго вело по ней; не мыслью своею, но дѣяніями, повиновеніемъ онъ совпадалъ и прежде съ этимъ сознаніемъ. Утомленный, онъ и теперь хочетъ только повиноваться ему и повинуется; но онъ вмѣстѣ съ тѣмъ совпадаетъ теперь съ нимъ своею мыслью. Этотъ послѣдній періодъ и есть періодъ дѣйствительнаго сознанія, которое можно назвать мудростью.

Мы поставили для себя задачею — указать главныя линіи въ строѣ мышленія избраннаго писателя и объяснить ихъ происхожденіе; при этомъ, естественно, мы опустили все частное, что содержится въ его трудахъ. Сдѣлаемъ теперь общую характеристику его значенія.

Прекрасная и уже обширная въ поэтическомъ и художественномъ отношеніяхъ, наша литература не даетъ еще достаточной пищи для *ума собственно*, для *размышленія*. Любя своихъ великихъ писателей и постоянно перечитывая ихъ, мы можемъ воспи-

таться нравственно: научиться съ достоинствомъ проходить свою жизнь, быть внимательными ко всякому страданію и воздерживаться отъ всякаго зла. Кругъ отношеній къ ближнему, къ своему народу, разныя житейскія отношенія—все это истолковано въ образахъ нашей литературы съ удивительнымъ разнообразіемъ, съ глубокимъ знаніемъ человѣческаго сердца.

Но если проходить свой жизненный путь правильно есть самая сложная и трудная задача всякаго человѣка, то за нею остается еще и другая. Часть жизни своей всякій человѣкъ проводитъ наединѣ и здѣсь онъ невольно обращается своею мыслью не къ временному и текущему, что́ окружаетъ его, но къ вѣчному и постоянному. Онъ хочетъ сколько-нибудь уразумѣть тотъ міръ, въ которомъ мгновеніе назадъ появился и черезъ мгновеніе же исчезнетъ; хочетъ унести съ собою что-нибудь вѣчное. Это желаніе дѣлается источникомъ размышленія.

Чего-либо соотвѣтствующаго ему недостаетъ въ нашей литературѣ, и мы склонны думать, что въ ближайшемъ будущемъ ея главною заботою станетъ восполненіе этого недостатка. Нужно понять эту великую задачу во всей ея строгости, нужно отнестись къ ней съ тою же простотою и серьезностью, съ какою относится къ ней каждый въ глубинѣ своей души, наединѣ съ собою. Для литературы это задача неизмѣримо-трудная. Заинтересоваться единственно предметомъ своимъ и относиться къ читателю такъ же правдиво, какъ къ самому себѣ—это можетъ быть доступно только высокимъ душамъ.

Имъ и будетъ принадлежать умственное воспитаніе нашего общества, руководство его мыслью. Не разъ, вчитываясь въ многочисленные труды разобраннаго нами писателя, мы старались дать себѣ отчетъ, почему именно онъ такъ не похожъ на всѣхъ другихъ, что сообщаетъ ему такое своеобразіе? Цѣльнаго міровоззрѣнія онъ не даетъ, никакой яркой идеи не высказалъ и не утвердилъ, даже ни на одинъ вопросъ не отвѣтилъ ясно и отчетливо, окончательно. Но со всѣмъ этимъ, страннымъ образомъ, соединяется и чувство какой-то совершенной удовлетворенности. Стараясь дать себѣ отчетъ о немъ, невольно останавливаешься на отношеніи автора къ предметамъ своего размышленія и къ своему читателю.

Заинтересованность первыми—до забвенія личнаго въ себѣ и, въ силу этого, забвенія личнаго и въ читателѣ—есть постоянная и отличительная его черта. Это и порождаетъ въ размышляющемъ читателѣ чувство совершеннаго удовлетворенія: никакой дисгармоніи между своею душою и книгою онъ не испытываетъ; все временное, все личное, что отдѣляетъ его отъ другихъ людей и минутно соединяетъ съ ними, также какъ и тогда, когда онъ остается наединѣ съ собою, уходитъ куда-то въ безграничную даль и пропадаетъ. Мысли, въ дѣйствительности усваиваемыя имъ извнѣ,

какъ будто вырастаютъ въ его собственной душѣ и развиваются въ ней.

Это и составляетъ притягательную силу разбираемаго автора. Онъ не столько разрѣшаетъ наши вопросы, сколько научаетъ насъ серьезно искать ихъ разрѣшенія; не такъ наполняетъ умъ, какъ приготовляетъ его къ принятію истинно-достойнаго содержанія. Длинный рядъ книгъ, имъ написанныхъ, касающійся самыхъ разнообразныхъ вопросовъ внѣшней природы и внутренней жизни человѣка, исторіи и политики, философіи и религіи, служитъ прекраснымъ началомъ выполненія нашею литературою той задачи *умственнаго развитія общества*, разрѣшенія которой мы ожидаемъ отъ нея послѣ того, какъ она столь прекрасно выполнила задачу его художественнаго и отчасти нравственнаго воспитанія.

1890 г.

Три момента въ развитіи русской критики.

I.

Какъ и художественная литература, наша критика успѣла уже пережить въ своемъ развитіи нѣсколько фазисовъ. Смѣна этихъ послѣднихъ обусловливалась измѣненіемъ въ цѣляхъ, которыя она поставляла передъ собою.

Отдѣлить въ литературныхъ произведеніяхъ прекрасное отъ посредственнаго и выяснить эстетическое достоинство перваго, это составляло цѣль и смыслъ ранняго періода нашей критики. Дѣятельность Бѣлинскаго, многолѣтняя и плодотворная, была высшимъ выраженіемъ этого стремленія; и такъ какъ въ литературѣ наиболѣе существеннымъ всегда останется именно прекрасное,—то, каковы бы ни были дальнѣйшія судьбы нашей критики, какъ бы ни углубилась она въ своемъ содержаніи, эта дѣятельность никогда не будетъ затемнена и отстранена, но всегда и только—дополнена. Онъ сдѣлалъ то, что необходимо было раньше всего сдѣлать въ отношеніи къ литературѣ, и въ то же время—это было самое существенное, важное. Знать, что́ именно слѣдуетъ цѣнить въ ней и чѣмъ пренебрегать, это значило для общества начать ею воспитываться, и для писателей—стать относительно другихъ литературъ въ положеніе оцѣнивающаго зрителя, а не слѣпого подражателя. Съ величайшею чуткостью къ красотѣ, какою обладалъ Бѣлинскій, съ чуткостью къ ней именно въ единичномъ, индивидуальномъ, быть можетъ нераздѣльна нѣкоторая слабость въ теоретическихъ обобщеніяхъ—и это было причиной, почему до конца жизни онъ не установилъ никакого общаго мѣрила для прекраснаго, никакого постояннаго критеріума для отдѣленія въ литературныхъ произведеніяхъ хорошаго отъ дурного. Онъ былъ похожъ на тѣхъ людей, самыхъ нужныхъ и самыхъ лучшихъ, которыхъ мы иногда наблюдаемъ въ окружающей насъ жизни: съ изумительнымъ совершенствомъ и безошибочностью они различаютъ хорошее и дурное, сами

воздерживаются отъ послѣдняго и удерживаютъ отъ него другихъ, и однако совершенно не знаютъ, почему именно одно всегда бываетъ дурно и другое всегда хорошо; тогда какъ рядомъ съ ними мы видимъ блѣдныхъ теоретиковъ, которые истощили силы своего ума надъ отыскиваніемъ всеобщихъ основаній для хорошаго и дурного и теряются въ безсильныхъ колебаніяхъ при встрѣчѣ съ самымъ простымъ фактомъ въ жизни своей или себѣ близкихъ. Однако, какъ бы ни предпочитали мы безошибочное пониманіе частнаго знанію всеобщаго, мы не должны отвергать и важности послѣдняго, и тотъ, кто своею теоретическою мыслью съумѣлъ бы выяснить всеобщее мѣрило хорошаго и дурного въ сферѣ поэтическихъ и художественныхъ произведеній, безъ сомнѣнія, сдѣлалъ бы нѣчто не только въ высшей степени трудное, но и высоко достойное и необходимое [1]).

II.

Связать литературу съ жизнью, заставивъ первую служить послѣдней и понимая послѣднюю черезъ явленія первой—это составило смыслъ и задачу втораго періода нашей критики, высшимъ выразителемъ котораго явился Добролюбовъ. Прекрасное въ литературѣ было отодвинуто на второй планъ, какъ и наслажденіе только

---

[1]) Очень скоро послѣ смерти Бѣлинскаго точка зрѣнія, имъ установленная, была замѣнена въ критикѣ другими основаніями; и мы можемъ указать за очень много лѣтъ лишь одно крупное произведеніе, гдѣ эстетическая оцѣнка вновь заняла первенствующее мѣсто передъ всякими другими способами понимать поэзію и художество: это рядъ въ высшей степени значительныхъ статей покойнаго К. Н. Леонтьева — «*Анализъ, стиль и вѣяніе*; по поводу романовъ гр. Л. Н. Толстаго»,—лучшій критическій этюдъ за много послѣднихъ лѣтъ. Но и въ самой статьѣ этой есть нѣчто, очень трудно уловимое и не поддающееся передачѣ, что даетъ чувствовать не только *почему*—это мы знали и раньше—но и *какъ надолго* умерла эта точка зрѣнія. Безъ сомнѣнія, для очень длиннаго фазиса нашей исторіи, конца котораго сейчасъ и предвидѣть нельзя, спокойныя времена, времена неторопливаго созиданія и чуткой, наслаждающейся своимъ предметомъ критики—прошли безвозвратно; и не скоро новый критикъ, весь погруженный въ чудеса рѣчи, и образовъ, и картинъ, и забывая за ними остальное, произнесетъ, вслѣдъ за авторомъ «Анализа и стиля», этотъ старый Державинскій стихъ:

Таковъ, Фелица,—я развратенъ

— въ эстетикѣ. Есть въ самомъ дѣлѣ времена и задачи несовмѣстимыя съ эстетикой; есть категоріи добра и зла, несовмѣстимыя съ другими категоріями, и мы, несмотря на механическія усилія свои, не можемъ вовсе ихъ соединить, когда они органически не сходны. Статья Леонтьева потому исторически замѣчательна, что эта красота, на которой она вся сосредоточена, есть исключительно внѣшняя *красивость*. Ни у Бѣлинскаго, ни у кого другаго изъ нашихъ критиковъ эстетическая точка зрѣнія еще не была такъ совершенно очищена отъ всякихъ стороннихъ примѣсей; и ни у кого же, какъ у Леонтьева, въ силу этой чистоты своей, она не чувствуется столь недостаточной для удовлетворенія цѣльнаго нашего существа, требованій цѣльной жизни, чему въ концѣ концовъ должна умѣть удовлетворять литература.

имъ было признано мало достойнымъ. Какъ на самое существенное указывалось въ ней на то, что она можетъ глубже и вѣрнѣе, нежели что-либо другое, отражать въ себѣ жизнь, и притомъ не только съ внѣшней стороны, которую одну мы наблюдаемъ въ дѣйствительности, но и съ внутренней, болѣе глубокой, которая часто ускользаетъ отъ насъ. Художникъ или поэтъ есть какъ бы безсознательный мудрецъ, который въ выводимыхъ имъ образахъ или передаваемыхъ фактахъ концентрируетъ разсѣянныя черты жизни, иногда схватываетъ глубочайшую ихъ сущность и даже угадываетъ ихъ причины. Поэтому, изучая литературу, мы изучаемъ самую жизнь, а съ тѣмъ вмѣстѣ и научаемся, какъ относиться къ послѣдней. Но не всякое литературное произведеніе выполняетъ всѣ эти задачи одинаково совершенно: несмотря на совершенство, напримѣръ, въ изображеніи и обобщеніи, оно можетъ невѣрно опредѣлять смыслъ изображаемаго или, еще чаще, можетъ погрѣшать въ указаніи его причинъ. Задача критики и состоитъ въ томъ, чтобы внести поправки ко всему этому. Она есть строгій и обстоятельный комментарій къ литературѣ, который вноситъ въ нее недостающее, исправляетъ неправильно сказанное, осуждаетъ и отбрасываетъ ложное, и все это—на основаніи сравненія ея содержанія съ живою текущею дѣйствительностью, какъ ее понимаетъ критикъ.

Невозможно было придать литературѣ болѣе жизненное значеніе, пробудить къ ней болѣе глубокій интересъ, такъ слить ее съ душой исторически-развивающагося общества, чѣмъ какъ это сдѣлалъ подобный взглядъ на ея сущность и на задачи критики. Именно подъ его вліяніемъ литература пріобрѣла въ нашей жизни такое колоссальное значеніе. Не знать ея, не любить ея, не интересоваться ею—это значило съ того времени стать отщепенцемъ своего общества и народа, ненужнымъ отброскомъ родной исторіи, узкимъ и невѣжественнымъ эгоистомъ, которому никто не нуженъ и который самъ никому не нуженъ. Писатель сталъ главнымъ, центральнымъ лицомъ въ нашемъ обществѣ и исторіи, къ мысли котораго всѣ прислушиваются. И все это совершилось безъ словъ, даже безъ видимыхъ, осязаемыхъ вліяній, просто черезъ измѣненіе взгляда на литературу, черезъ новое отношеніе къ ней, въ которое стала критика, и за ней—общество.

Великое значеніе исторически развивающейся жизни заключается въ томъ, что она, въ своемъ ровномъ и могущественномъ теченіи, удерживаетъ въ себѣ все истинное и доброе, что въ нее вносится индивидуальною волею, даетъ ростъ ему и силу, и сама отъ него возрастаетъ; ложное же и дурное почти все и безъ усилій оставляетъ въ сторонѣ. Дѣятельность Добролюбова, какъ ни кратка она была по времени, вошла органическимъ звеномъ въ духовное развитіе нашего общества, и трогательныя слова, написанныя имъ

въ предвидѣніи близкой смерти, въ виду ранней и незаслуженной могилы:

Но за то родному краю
Вѣрно буду я извѣстенъ

осуществились такъ, какъ только онъ самъ могъ пожелать для себя, даже болѣе—какъ могъ онъ пожелать для самыхъ дорогихъ своихъ надеждъ. Цѣлый рядъ поколѣній, какъ-то быстро выступившихъ и быстро же сошедшихъ со сцены, неотразимо подчинился его вліянію, усвоилъ тотъ особый душевный складъ, тотъ оттѣнокъ чувства и направленіе мысли, которое жило въ этомъ еще такъ молодомъ и уже такъ странно могущественномъ человѣкѣ. И кто изъ насъ теперь живущихъ и уже свободныхъ отъ этого вліянія людей, обратясь къ лучшимъ годамъ своей юности, не вспомнитъ, какъ за томомъ сочиненій Добролюбова забывались и университетскія лекціи, и вся мудрость, ветхая и великая, которая могла быть усвоена изъ разныхъ старыхъ и новыхъ книгъ. Къ нему примыкали всѣ наши надежды, вся любовь и всякая ненависть.

Въ этомъ состоитъ, но этимъ и ограничивается положительная сторона его дѣятельности. Весь исполненный желаній, онъ на желанія же и хотѣлъ вліять, и такъ какъ онъ дѣлалъ это черезъ критику, то-есть черезъ литературу, то косвенно и невольно подчинилъ ей желанія общества. Отсюда и вытекаетъ характеръ переворота, который произвелъ онъ; и съ этимъ же характеромъ неотдѣлимо связана и отрицательная сторона его дѣятельности: именно ложность почти всѣхъ литературныхъ оцѣнокъ, которыя онъ сдѣлалъ. Натура всего менѣе рефлективная и пассивная, онъ совершенно неспособенъ былъ, отрѣшившись отъ себя, подчиниться на время произведенію, которое ему нужно было понять, войти въ міръ образовъ и идей его творца. Совершенное непониманіе художественнаго отношенія къ жизни было его отличительною чертой — естественное послѣдствіе исключительности его духовнаго склада.

Два теченія въ нашей литературѣ ведутъ отсюда свое начало: упадокъ критики и обращеніе почти всей литературы въ тенденціозную—съ одной стороны; отдѣленіе отъ этого теченія и совершенно свободное, внѣ всякой зависимости отъ критики, развитіе нѣсколькихъ самобытныхъ дарованій — съ другой. Это произошло такимъ образомъ: не будучи способенъ понять что-либо разнородное съ собою, Добролюбовъ подчинилъ своему вліянію всѣ третьестепенныя дарованія, которыя впали въ смыслъ его критики и онъ, въ свою очередь, совпалъ своею критикой съ ихъ смысломъ (Марко-Вовчокъ, Некрасовъ—большею частью своихъ произведеній, Щедринъ—почти всѣми, и многіе другіе). Напротивъ, всѣ дѣйствительно великія дарованія послѣдняго цикла нашей литературы (Достоевскій, Тургеневъ, Островскій, Гончаровъ, Л. Толстой), видя, какъ

критика говоритъ что-то, хотя и по поводу ихъ, однако какъ бы къ нимъ совсѣмъ не относящееся, отдѣлились отъ нея, перестали принимать ея указанія въ какое-либо соображеніе. Рядъ послѣдующихъ критиковъ, видя только внѣшнія черты вліянія Добролюбова и не понимая, какъ тѣсно онѣ были связаны съ его особымъ душевнымъ складомъ,—хотя и не имѣли въ себѣ ничего подобнаго, однако хотѣли во всемъ слѣдовать ему: произошло явленіе въ высшей степени слабое и незначущее, какъ не имѣющее подъ собою никакого другаго основанія, кромѣ подражательности. Тонъ силы и вліянія, замыселъ руководить обществомъ и направлять теченіе жизни—все это сохранено было ими; но въ формахъ этого тона, въ предѣлахъ этого замысла произносились ими безсильныя, не значущія слова: они были похожи на пѣвцовъ, широко раскрывающихъ ротъ, изъ котораго выходятъ едва слышные звуки. Однако, нѣтъ человѣка настолько слабаго, чтобы не нашлось еще другаго слабѣйшаго, который захотѣлъ бы подчиниться ему. Если прежде третьестепенныя дарованія подчинялись критикѣ, то теперь люди безо всякихъ дарованій стали выступать на литературное поприще, въ надеждѣ единственно своимъ подчиненіемъ критикѣ снискать для себя читателей и даже нѣкоторое вліяніе. Это породило необозримую литературу беллетристическихъ произведеній и стихотворческихъ работъ. Въ толстыхъ журналахъ, которымъ и теперь еще принадлежало главное значеніе въ нашей литературѣ, обыкновенно въ одномъ отдѣлѣ появлялись эти романы, повѣсти и стихи, а въ другомъ отдѣлѣ, «идейномъ», они же разбирались, кое въ чемъ ограничивались, но въ общемъ одобрялись—явленіе, по своей беззастѣнчивости, совершенно невозможное ни въ періодѣ критики Бѣлинскаго, ни во время Добролюбова. И въ то время какъ этими произведеніями критика пространно занималась, она высокомѣрно обходила молчаніемъ или произносила краткія и небрежныя слова о произведеніяхъ другаго, отдѣлившагося литературнаго теченія. Вскорѣ, однако, незначительность дѣлаемаго дѣла все яснѣе начала чувствоваться самими критиками: ихъ раздраженіе отъ этого возрастало, они тоскливо смотрѣли на настоящее и безнадежно на будущее. Единственно радостное было у нихъ въ воспоминаніяхъ, когда то же самое дѣло и какъ будто также дѣлалось съ успѣхомъ, вліяніемъ и силою. Сознаніе отсутствія въ себѣ какого-либо историческаго значенія видимо тяготило ихъ: они постоянно говорили, что ихъ направленіе все-таки сослужило великую службу обществу, но они никогда не говорили о себѣ въ отдѣльности, а всегда и исключительно—о себѣ въ связи съ Добролюбовымъ. Въ общемъ они были злы и дурны, какъ всѣ несчастные люди. Мало-по-малу это направленіе стало изсякать количественно: все меньше становилось критикъ, все короче онѣ становились, и мы теперь видимъ, наконецъ, какъ нѣкогда столь цвѣтущая у насъ

эта вѣтвь литературы почти прекращается. Она существуетъ лишь какъ традиціонно обязательный отдѣлъ во всякомъ періодическомъ изданіи. Чего-либо ведущаго, направляющаго, какой-либо внутренней силы въ ней не осталось и слѣда.

Одно явленіе, чрезвычайно яркое и одиночное, вспыхнуло и закончило все значущее въ этомъ теченіи критики. Мы разумѣемъ разборъ романа *Анны Карениной* въ критическомъ этюдѣ М. С. Громеки: *Послѣднія произведенія гр. Л. Н. Толстаго* (М. 1884 г.). По прекрасному языку, глубокому чувству, въ немъ разлитому, и своеобразію пріемовъ—это есть классическое произведеніе не только критики нашей, но и нашей литературы вообще. Мы не можемъ лучше опредѣлить его значеніе, какъ сказавъ, что оно имѣетъ смыслъ и силу вовсе не только какъ комментарій къ разбираемому имъ роману: независимо отъ этого, оно и само по себѣ есть одно изъ глубокихъ и прекрасныхъ проявленій того нравственнаго перелома, который съ восьмидесятыхъ годовъ начался въ нашемъ обществѣ. Несмотря на противоположность проникающаго его смысла смыслу критики Добролюбова, мы относимъ его, однако, къ теченію, которое было начато ею: это потому, что и въ немъ волевой элементъ преобладаетъ надъ рефлективнымъ, и оно, подобно критикѣ Добролюбова, разбирая литературное произведеніе, собственно разбираетъ въ немъ нарождающееся явленіе жизни, страстно отстаивая его противъ другихъ, еще могущественныхъ, хотя и старѣющихъ ея теченій.

Мы сказали, что съ возникновеніемъ критики Добролюбова произошло раздвоеніе нашей литературы: все слабое и количественно обильное подчинилось ей; напротивъ, все сильное отдѣлилось и пошло самостоятельнымъ путемъ. Собственно, только этотъ второй потокъ и образуетъ собою новый фазисъ въ развитіи нашей литературы. Немногія и очень сильныя дарованія, которыя составляютъ его, всѣ запѣчатлѣны глубокою индивидуальностью: каждое изъ нихъ шло самостоятельнымъ путемъ, внѣ всякаго вліянія остальныхъ; ихъ индивидуализму способствовало, можетъ быть, и то, что они развивались внѣ какой бы то ни было зависимости отъ своей оцѣнки въ обществѣ или въ критикѣ. Послѣдняя смотрѣла на нихъ почти враждебно, и если перечитать всѣ критическіе отзывы, явившіеся, напримѣръ, по поводу «Обрыва», и всѣ разборы какого-нибудь современнаго ему и уже давно забытаго литературнаго произведенія, то можно видѣть, насколько второе одобрялось болѣе, или по крайней мѣрѣ менѣе порицалось, нежели романъ Гончарова. Причина враждебности заключалась здѣсь въ томъ, что, не будь этихъ дарованій, текущая критика могла бы еще колебаться въ сознаніи своей ненужности: слабостью *всей* литературы она могла бы оправдывать *свою* слабость; незначительностью предметовъ, которые обсуждала, могла бы объяснить незначительность своего

содержанія. Но когда въ литературѣ существовали художественныя дарованія и она не умѣла связать о нихъ нѣсколькихъ значущихъ словъ; когда общество зачитывалось ихъ произведеніями, несмотря на злобное отношеніе къ нимъ критики, а одобряемыхъ ею романовъ и повѣстей никто не читалъ — критикѣ невозможно было не почувствовать всей безплодности своего существованія.

III.

Третье теченіе нашей критики возникло одновременно со вторымъ. Его начинателемъ и полнымъ выразителемъ былъ Ап. Григорьевъ; тонкимъ, настойчивымъ и успѣшнымъ истолкователемъ является въ наше время г. Страховъ.

Научность составляетъ отличительную черту этого теченія. Если въ первомъ своемъ періодѣ наша критика выясняла эстетическое достоинство литературныхъ произведеній, во-второмъ—ихъ жизненное значеніе, то въ этомъ она задалась цѣлью *объяснять*, *истолковывать* ихъ. Это достигалось, во-первыхъ, раскрытіемъ существенныхъ и своеобразныхъ чертъ въ каждомъ литературномъ произведеніи, и во-вторыхъ, опредѣленіемъ его историческаго положенія, то-есть органической связи съ предыдущимъ и отношенія къ послѣдующему.

Обиліе мысли и богатство собственныхъ, уже пережитыхъ, настроеній дало возможность А. Григорьеву понять и своеобразіе каждаго литературнаго произведенія, и внутреннюю, духовную связь многихъ изъ нихъ между собою. Къ сожалѣнію, при рѣдкой даровитости въ истинномъ, глубокомъ значеніи этого слова, онъ не обладалъ даровитостью внѣшнею—тѣми внѣшними качествами блестящаго изложенія, остроумія или игривой шутки, которыя такъ привлекаютъ къ себѣ читателей. Несерьезность широкихъ массъ нашего читающаго общества и господствующихъ теченій нашей литературы ярко сказалась въ томъ, что ни первое, ни вторая не съумѣли разсмотрѣть мысли, которая заключена была не въ блестящихъ формахъ. Перевѣсъ Добролюбова и даже его преемниковъ надъ Ап. Григорьевымъ былъ собственно перевѣсомъ литературнаго стиля надъ мыслью. А между тѣмъ, вчитываясь въ сочиненія Ап. Григорьева (т. 1, 1876 г.), испытывалось невольно, какъ, въ концѣ концовъ, мысль *совершенное* всего остального въ человѣкѣ, какъ отходятъ передъ нею и блѣднѣютъ и художественный восторгъ, и исполненная сжатой страсти рѣчь. Какъ ни много писалось о Пушкинѣ, какъ ни умѣлъ цѣнить его Бѣлинскій, какимъ высокимъ паѳосомъ ни запечатлѣны его статьи о немъ, всеобъясняющая мысль Ап. Григорьева покрываетъ все это—и вмѣстѣ съ прекраснымъ и великимъ образомъ нашего поэта, впервые понятымъ, въ читателѣ неотдѣлимо выростаетъ и чувство самаго глу-

бокаго удивленія къ его критику. Понятіе о народности въ поэзіи, которое такъ часто произносится и почти не сопровождается объясненіями, считаясь слишкомъ простымъ, впервые раскрываетъ здѣсь свой сложный смыслъ; и впервые же становится понятно, какъ много нужно было силъ, чтобы стать народнымъ поэтомъ, и къ какимъ это привело результатамъ. Сведеніе всего вопроса на психическую почву, какъ это сдѣлалъ Ап. Григорьевъ, было пріемомъ глубоко философскимъ. Разсматривая рядъ народностей, въ своей совокупности создавшихъ европейскую цивилизацію, какъ выразителей особыхъ *психическихъ типовъ*, онъ видитъ и въ европейской литературѣ рядъ отраженій этихъ типовъ; отсюда—мѣстныя особенности въ ней, напримѣръ постоянное сходство англійской и французской литературъ или еще общѣе — всѣхъ германскихъ литературъ со всѣми романскими, при родственности отдѣльныхъ національныхъ литературъ въ предѣлахъ каждаго изъ этихъ двухъ великихъ семействъ, на которыя распадается населеніе Западной Европы. Но отдѣльныя народности въ Европѣ не живутъ изолированно: онѣ связаны между собою единствомъ цивилизаціи, и съ нею—единствомъ цѣлей своихъ въ одно время, успѣхомъ въ достиженіи ихъ или неуспѣхомъ—въ другое. Рядъ переживаемыхъ надеждъ и разочарованій, общихъ для всей Европы въ одно и то же время и несходныхъ другъ съ другомъ въ различныя времена, порождаетъ смѣну *историческихъ настроеній*, которыя также всѣ отражаются въ литературѣ: напримѣръ, настроеніе средневѣковое, подъ которымъ написана была *Божественная Комедія*, и настроеніе Возрожденія, подъ которымъ написанъ былъ *Декамеронъ*. Совокупность національныхъ типовъ, различныхъ по этнографической средѣ, и психическихъ настроеній, различныхъ по историческимъ эпохамъ, переплетаясь взаимно—и составляютъ всю сѣть, всю гармонію отдѣльныхъ тоновъ, которые, сливаясь въ одно стройное, многовѣковое созвучіе, образуютъ собою европейскую литературу. Изучать эту послѣднюю—значитъ расчленять эту гармонію на отдѣльные тоны и слѣдить за звукомъ каждаго изъ нихъ, то заглушаемымъ, то заглушающимъ; понимать ея смыслъ—значитъ находить въ себѣ и пробуждать къ жизни душевное настроеніе, звучащее во всякомъ тонѣ.

Отсюда не трудно понять и отношеніе къ западно-европейской литературѣ литературы каждой иной народности, которая долгое время развивалась изолированно и потомъ примкнула къ общему потоку европейской цивилизаціи.

Усвоеніе формъ литературнаго творчества есть для нея первый шагъ къ сближенію и подчиненію, но шагъ еще незначительный, подчиненіе чисто внѣшнее, и при немъ она можетъ сохранять глубокую внутреннюю самобытность, можетъ оставаться вполнѣ національною. Такова была вся русская литература XVIII вѣка, испол-

ненная надеждъ *своего* народа, тревогъ *своего* времени, повсюду подъ заимствованными формами отражая особый складъ *его* ума и чувства. Въ комедіяхъ Фонвизина, въ одахъ Державина, въ сатирахъ Новикова, въ Ѳеофанѣ Прокоповичѣ или въ Кантемірѣ, несмотря на ихъ чуждое, внѣшнее убранство, мы слышимъ тонъ и звукъ, которые совершенно національны, вытекаютъ прямо изъ духа и жизни своего времени и народа. Херасковъ писалъ свою *Россіяду*, какъ Петръ Великій замышлялъ Академію Наукъ, какъ его современникъ, неизвѣстный авторъ *Записной книжки любопытныхъ замѣчаній* [1]), путешествуя по Европѣ, при видѣ всего замѣчательнаго, на что ему показывали, брался прежде всего за аршинъ, чтобъ его измѣрять. Предметами вниманія ихъ были созданія чужой жизни и исторіи; но и они, внимавшіе, и самое вниманіе ихъ не заключали въ себѣ ничего привнесеннаго, были продуктомъ своей земли и своей исторіи.

Карамзинъ былъ первый русскій европеецъ, уже не по предметамъ своего вниманія, но по самому вниманію, по всему душевному строю—и въ этомъ лежитъ тайна его обаянія для современниковъ и его значенія въ нашей исторіи. Въ немъ первомъ европейская цивилизація коснулась уже не формъ нашего быта, поэтическаго творчества и мышленія, но тронула внутреннее содержаніе наше, коснулась самой души. Глубокая ли впечатлительность его, подвижность всей натуры, или раннія впечатлѣнія дѣтства, проведеннаго съ чужеземными музами, были причиною этого—рѣшить трудно: но уже въ первыхъ его произведеніяхъ вполнѣ чувствуется вся его будущность, весь переворотъ, который ему суждено было совершить въ нашемъ духовномъ развитіи. Стоитъ сравнить его примѣчанія къ своему переводу поэмы Галлера *О происхожденіи зла* (Москва 1786 г.) съ примѣчаніями Кантеміра къ его переводу Фонтенелевыхъ *Разговоровъ о множествѣ міровъ*, чтобъ оцѣнить всю глубину пропасти, которая ихъ раздѣляетъ. Въ *Письмахъ русскаго путешественника* впервые склонилась, плакала, любила и понимала русская душа чудный міръ Западной Европы, тогда какъ раньше, въ теченіе вѣка, она смотрѣла на него тусклыми, лишь отражающими предметъ, но не отвѣчающими ему глазами.

Съ этого времени, и до нашего почти, знойнымъ наслажденіемъ для русской души стало переживать въ себѣ настроенія Европы, вбирать въ себя капли духовной жизни, выдѣляемыя цвѣткомъ, который зрѣлъ полтора тысячелѣтія. Настроеніе, созданное въ нашей литературѣ Карамзинымъ, было первою такою каплей, и мы не удивляемся, читая, какъ его современники ходили на Лизинъ прудъ

[1]) Писана въ 1697—98 гг., изд. въ С.-Петербургѣ въ 1788 г. Это одинъ изъ самыхъ любопытныхъ памятниковъ нашей литературы, и ея историкъ не ошибся бы, еслибы съ подробнаго его анализа началъ изложеніе ея хода за два послѣдніе вѣка.

помечтать и, быть можетъ, поплакать. За первою каплей послѣдовали другія, и ощущеніе ихъ становилось все жгучѣе, влеченіе къ нимъ—неотразимѣе. Что значило удивленіе наивнаго современника Петра предъ «птицею стратикомилъ», или предъ «капищемъ всѣхъ болвановъ» (Пантеонъ Агриппы) и все осязаемое, видимое, что поражало его зрѣніе, въ сравненіи съ тѣмъ неуловимымъ, неосязаемымъ міромъ идей и чувствъ, который открылся Карамзину и людямъ его времени? Раньше мы похожи были на людей, которые, увидѣвъ инструментъ неизвѣстнаго происхожденія и назначенія, съ любопытствомъ осматривали его огромныя трубы и ихъ прихотливые изгибы, но, подивившись всему довольно, затѣмъ спокойно возвращались къ своимъ дѣламъ и ежедневнымъ заботамъ; теперь же мы услышали самые звуки, чудныя мелодіи полились въ нашъ слухъ, шевельнулось, какъ никогда, наше сердце, и, возвратившись домой, уже неохотно и машинально принимались мы за свои дѣла, душа же наша полна была и на родинѣ чужихъ звуковъ. Тоскуя по нимъ, сознавая невозможность безъ нихъ жить, мы, наконецъ, рѣшились положить свою душу въ томъ, чтобъ и у себя слышать и извлекать тѣ же обворожившіе насъ звуки. Мы возненавидѣли родныя пѣсни—простыя, грубыя пѣсни; мы снесли и изломали свои волынки и гусли, чтобы построить изъ ихъ матеріала хотя подобіе того, что слышали разъ и забыть чего никогда не могли. И наши усилія увѣнчались успѣхомъ. Быстро формировался нашъ языкъ; цѣлый рядъ тружениковъ жилъ и умеръ для одной идеи; и если не они, то ихъ дѣти услышали, наконецъ, мелодіи—тѣ самыя, которыя грезились ихъ отцамъ, но уже въ звукахъ роднаго языка. Развѣ не духъ германскихъ народовъ живетъ въ поэзіи Жуковскаго; развѣ въ балладахъ его не слышатся средніе вѣка? развѣ не свѣтлая и спокойная древность дышетъ въ стихахъ Батюшкова? То, что казалось невозможнымъ, было сдѣлано: что было неуловимо—было уловлено. Какъ, какою цѣной совершилось это?

Шагъ за шагомъ, далѣе и далѣе вступала русская душа въ сѣть тѣхъ духовныхъ типовъ и тѣхъ историческихъ настроеній, о которыхъ мы сказали выше. Можно удивляться, какъ, въ самомъ дѣлѣ, глубоко переживала она ихъ, и какъ одинаково была способна къ самымъ противоположнымъ. За міромъ поэзіи—міромъ чувства, открылся міръ мысли—наукъ и философіи; мы вступили и въ него, и тайны Гегелевой діалектики, казалось, влекли насъ еще болѣе, чѣмъ паѳосъ Шиллера или очарованія Байрона. Читая произведенія нашей литературы, невозможно почти понять, какимъ образомъ возникли они, не имѣя подъ собой никакой въ сущности дѣйствительности: какъ факты жизни нашей, дѣла катились одною стороной, тогда какъ душа бродила по инымъ и фантастическимъ мірамъ, какъ будто вовсе ничего не зная объ этихъ фактахъ и дѣ-

лахъ. *Ундина* Жуковскаго, мелкія стихотворенія Лермонтова, подражанія древнимъ Пушкина, его же *Пиръ во время чумы*—какъ мы можемъ подумать, чтобы тамъ, на родинѣ всѣхъ этихъ душевныхъ настроеній, послѣднія вылились когда-нибудь болѣе совершенно, еще искреннѣе, съ сильнѣйшею любовью, чѣмъ въ этихъ произведеніяхъ далекой и чуждой, покрытой снѣжнымъ покровомъ, страны?

И все-таки о деревѣ, приносившемъ столь прекрасные плоды, можно было сожалѣть, что оно не успѣло дать *своихъ*. Никто не зналъ ни вкуса ихъ, ни другихъ достоинствъ, и мысль о томъ, что погублено что-то еще неожившее, быть можетъ, тяготила многихъ.

Здѣсь и лежитъ объясненіе Пушкина. Уже Бѣлинскій замѣтилъ, что онъ какъ бы *совмѣстилъ* въ себѣ по тону, по настроенію всѣхъ своихъ предшественниковъ, а позднѣе Н. Н. Страховъ отмѣтилъ, что у него *въ формахъ* нѣтъ никакихъ нововведеній [1]). Такимъ образомъ, для всякаго, кто сталъ бы разсматривать его лишь поверхностно, и притомъ не пересмотрѣлъ всѣхъ его произведеній, и особенно самыхъ позднихъ, невольно могло бы представиться отсутствіе въ немъ оригинальности, самобытности и, слѣдовательно, какого-либо величія въ историческомъ положеніи. Такъ это и понимается многими даже до настоящаго времени.

Не вступая въ борьбу съ усвоенными формами поэтическаго творчества, онъ въ предѣлахъ ихъ пережилъ всѣ душевныя настроенія, исторически сложившіяся въ Западной Европѣ и только частью отраженныя въ нашей прежней поэзіи [2]),—и каждый разъ переживая которое-нибудь изъ нихъ, вѣрилъ въ него какъ въ окончательное и совершенное (откуда глубина и страстность его разнообразной поэзіи). Однако, въ противоположность его ожиданіямъ, ни одно изъ нихъ не насытило его окончательно, и когда душа его утомилась всѣми ими, онъ возвратился къ народному. Это возвращеніе выразилось у него въ извѣстномъ стихотвореніи *Возрожденіе*, гдѣ онъ говоритъ о своей «измученной душѣ», въ которой пробуждаются чудныя видѣнія

«Первоначальныхъ чистыхъ дней».

Его послѣднія произведенія: вторая половина *Евгенія Онѣгина*, *Капитанская Дочка*, *Повѣсти Бѣлкина*—это все, что такъ смутило его современниковъ, и между ними самого Бѣлинскаго, которые, ожидая отъ него все большей душевной сложности, все дальнѣйшаго углубленія въ таинственный міръ европейскихъ идеаловъ, были возмущены его возвращеніемъ *къ простому и доброму*, что

---

[1]) *Замѣтки о Пушкинѣ и другихъ поэтахъ*. Спб. 1888, стр. 37—41.

[2]) См. рѣчь о Пушкинѣ Достоевскаго, напримѣръ замѣчаніе о стихотвореніи: «Однажды странствуя среди долины дикой» и т. д.

живетъ какъ высшій идеалъ душевной красоты въ нашемъ народѣ. Типы иной красоты, которымъ онъ поклонился нѣкогда и, какъ и другіе русскіе поэты, облилъ ихъ слезами своей любви, въ концѣ-концовъ были побѣждены типомъ духовной красоты, сложившимся въ нашей жизни, выросшимъ изъ нашей дѣйствительности. Отсюда-же, отъ этого послѣдняго фазиса въ дѣятельности Пушкина, ведетъ свое начало и трезвое простое отношеніе къ дѣйствительности, которое съ тѣхъ поръ стало господствующимъ въ нашей литературѣ. Сергѣй Аксаковъ въ *Семейной Хроникѣ* непосредственно примыкаетъ къ *Капитанской Дочкѣ*; къ нимъ обоимъ примыкаетъ Л. Н. Толстой съ семейною хроникой Ростовыхъ и Болконскихъ—*Войной и Миромъ*; какъ эпизоды, какъ разорванныя нити этихъ хроникъ. могутъ быть разсматриваемы и лучшіе образцы нашего семейнаго романа—*Обрывъ*, *Дворянское Гнѣздо*, отчасти *Обломовъ*. Повѣсти Тургенева представляютъ еще дальнѣйшую съуженность и индивидуализацію этого теченія нашей жизни: на ея общемъ бытовомъ фонѣ выдѣляются люди съ особеннымъ выраженіемъ лица и необычною судьбой (*Рудинъ*, типъ Базарова). Полный разрывъ съ этою бытовою основой и уклоненіе въ сторону геніальнаго и уродливаго, какъ въ изображаемомъ, такъ и въ самомъ изображеніи, представляетъ собою Ѳ. М. Достоевскій.

Теперь, если мы подумаемъ, что ни одинъ изъ нашихъ поэтовъ и художниковъ, начиная отъ Жуковскаго и кончая Л. Толстымъ, не былъ носителемъ болѣе, нежели одного духовнаго настроенія; и далѣе, если примемъ во вниманіе, что даже такой человѣкъ, какъ Лермонтовъ, до конца дней своихъ не могъ высвободиться изъ-подъ очарованія поэзіей Байрона, жилъ настроеніемъ его музы, то необъятная мощь Пушкинскаго генія станетъ для насъ ясна. Съ другой стороны, если мы признаемъ, что въ сферѣ литературы мы и до сихъ поръ движемся въ предѣлахъ направленія, имъ даннаго, только разрабатываемъ это направленіе и этой разработкѣ не видно еще конца—мы поймемъ его историческое положеніе. Онъ привнесъ всею своею дѣятельностью, ея характеромъ и судьбой, новое слово въ нашу исторію, подобнаго которому по значительности ни разу не произносилось.

Въ истолкованіи и доказательствѣ этой истины, далеко не сознанной еще, далеко не признанной и теперь, состояла великая заслуга критической дѣятельности Ап. Григорьева.

Доходятъ извѣстія, что когда съ университетской каѳедры приходится касаться нашей новой литературы (XIX вѣка), во всѣхъ объясненіяхъ своихъ ученые невольно становятся на точки зрѣнія, утвержденныя Ап. Григорьевымъ (такъ поступалъ, напримѣръ, покойный Ор. Ѳ. Миллеръ). Наука, *какъ объясненіе*, ничего другого и не можетъ сдѣлать: истолкованіе нашей новой литературы было сдѣлано имъ только, какъ оцѣнка ея—Бѣлинскимъ, какъ возведеніе

ея на степень самаго глубокаго и важнаго жизненнаго дѣла—Добролюбовымъ.

По этимъ тремъ господствующимъ цѣлямъ мы можемъ дать опредѣляющія названія и самимъ фазисамъ нашей критики: первый изъ нихъ былъ *эстетическій*, второй—*этическій*, третій—*научный*.

IV.

Всякій разъ, когда критика наша, выразивъ уже все, что могла, въ предѣлахъ одного фазиса, переходила къ другому, представители этого послѣдняго относились враждебно къ идеямъ и стремленіямъ предыдущаго. Такъ извѣстно отношеніе школы Добролюбова къ эстетическимъ теоріямъ и оцѣнкамъ, и школы Ап. Григорьева (напримѣръ г. Н. Страхова) къ школѣ Добролюбова. Враждебность эта была естественна, какъ стремленіе новаго явленія утвердить себя среди старыхъ, сознать внутри себя и сдѣлать очевиднымъ для другихъ правоту свою, ту правду, во имя которой оно появлялось и хотѣло жить.

Но должна ли эта враждебность быть чѣмъ-нибудь постояннымъ? Мы могли бы сказать «да», еслибы въ которомъ-нибудь изъ фазисовъ недоставало этой правды, его особенной своеобразной правды; но она есть, и въ ней заключается его право на жизнь, на всеобщее и постоянное признаніе, но только въ границахъ его своеобразнаго и исключительнаго утвержденія. За этими границами начинается въ каждомъ фазисѣ недостающее, которое и было восполнено другимъ фазисомъ. Правый въ утвержденіяхъ, каждый фазисъ былъ не правъ въ своихъ отрицаніяхъ. И въ самомъ дѣлѣ: что значитъ возставать противъ эстетиковъ, какъ не утверждать въ концѣ концовъ, что писать плохо лучше, чѣмъ хорошо, что рубленая проза лучше поэзіи, что вялыя и дѣланныя повѣсти и разсказы все-таки могутъ быть хороши даже какъ повѣсти и разсказы? И съ другой стороны, возставать противъ школы Добролюбова не значило ли бы говорить, что произведеніе, исполненное глубокаго смысла и жизненой правды ниже, чѣмъ оно же, лишенное всего этого? Отымите изъ *Анны Карениной* ту «разсудочную тенденцію», о которой говорить Громека,—ту глубокую и особенную идею, которая звучитъ въ каждомъ ея словѣ и во всѣхъ ея удивительныхъ образахъ,—и, хотя бы вся живость этого романа осталась, мы сами разбили бы эту живопись, изорвали бы всѣ эти сцены и описанія, еслибъ намъ оставили только ихъ, взамѣнъ тогда чуднаго цѣлаго, которымъ мы теперь наслаждаемся. Наконецъ, всему этому чѣмъ можетъ мѣшать научное разсмотрѣніе литературы? или что изъ указаннаго можетъ мѣшать ему?

Такимъ образомъ, всѣ фазисы нашей критики были частями, которымъ естественно было возрасти до цѣлаго. Закончено ли оно?

Это значитъ: тѣми отношеніями, въ которыя послѣдовательно становилась наша критика къ предмету своему—литературѣ, исчерпаны ли уже всѣ возможныя и должныя отношенія къ ней?

Мы уже имѣли случай замѣтить, что писатели послѣднихъ десятилѣтій запечатлѣны одною чертою — глубокою индивидуальностью, отсутствіемъ обоюдного вліянія другъ на друга. Въ прежнихъ періодахъ нашей литературы мы этого не замѣчаемъ, или по крайней мѣрѣ, черта эта была въ нихъ менѣе выражена: Жуковскій впадаетъ по временамъ въ тонъ Дмитріева; Пушкинъ впадаетъ въ тоны Жуковскаго, Батюшкова, Языкова и др.; всѣ они родственны, взаимно симпатизируютъ другъ другу, переливаются одинъ въ другаго. Совершенно обратное мы видѣли въ 50—70 годы: духовный взоръ писателей этого времени какъ будто обращенъ былъ внутрь себя, они не чувствовали другъ друга, даже не читали другъ друга; они создавали, прислушиваясь къ движеніямъ только своего сердца и своей мысли. Далѣе, если мы обратимъ вниманіе на то, какъ именно изучала научно-историческая критика нашихъ писателей, то увидимъ, что она преимущественно брала ихъ въ связь другъ съ другомъ, то-есть каждаго въ отдѣльности писателя разсматривала какъ бы обращеннымъ къ другимъ писателямъ: къ тѣмъ, которые находились позади его и къ тѣмъ, которымъ суждено было выступить позднѣе. Нити въ духовной жизни, за которыми она особенно и съ любовью слѣдила, были всѣ *исходящія*: она отмѣчала, какъ, выйдя изъ субъективнаго духа поэта, эти нити распространялись по всѣмъ направленіямъ и сплетались съ міросозерцаніемъ или съ настроеніемъ чувства въ другихъ поэтахъ. Ея направленіе, такимъ образомъ, было объективное; по крайней мѣрѣ, по преимуществу.

Глубокій индивидуализмъ всѣхъ новыхъ писателей невольно вызываетъ мысль о недостаточности этого отношенія, о возможности и необходимости иного—противоположнаго. И въ самомъ дѣлѣ, хотя всякій писатель, какъ и всякій человѣкъ, есть, конечно, преемникъ и предшественникъ—обращенъ и къ прошедшему, и къ будущему, но и въ первое и во второе онъ вросъ лишь вершинами своего духовнаго развитія, но не корнями его. Какъ на всякую душу, правильно и на духъ поэта смотрѣть какъ на нѣчто глубокое, своеобразное, замкнутое въ себѣ: «изъ иныхъ міровъ» онъ приноситъ съ собою въ жизнь нѣчто особенное, исключительное; оно растетъ въ немъ и развивается, лишъ питаясь, какъ матеріаломъ, всѣмъ предыдущимъ, и также питая послѣдующее, въ свою очередь становясь матеріаломъ. Но за усвояемымъ и процессомъ усвоенія скрывается усвояющее: оно-то и есть самое главное, существенное.

Возможно разсматривать литературу, какъ рядъ подобныхъ средоточій, какъ рядъ прежде всего индивидуальныхъ міровъ. Съ этой точки зрѣнія, предметомъ нашего особеннаго вниманія должны стать въ творчествѣ писателя всѣ *входящія* нити. Уловивъ эти нити въ

его созданіяхъ, мы должны идти, руководимые ими, въ духъ самого писателя, и вскрывать его содержаніе, его строй. Тамъ онѣ соединяются, и узелъ ихъ образуетъ то, чѣмъ очевидно жилъ онъ, что принесъ съ собою на землю, что его и мучительно, и радостно тревожило и, оторвавъ отъ частной жизни, бросило на широкую арену исторіи.

Разсматривать съ этой точки зрѣнія писателей представляетъ глубокій интересъ. Быть можетъ, кромѣ того, это и единственно правильный взглядъ на нихъ. Мы до того привыкли къ безличному процессу исторіи, что всякаго человѣка разсматриваемъ только какъ средство для чего-то, ступень къ чему-то. Это, наконецъ, утомляетъ; это, наконецъ, недостойно. Человѣкъ вовсе не хочетъ быть только средствомъ, онъ не вѣчный учитель въ словахъ своихъ, не вьючное животное, которое несетъ какіе-то вклады въ «великую сокровищницу человѣчества», съ благодарностью отъ современниковъ и въ назиданіе потомства. Онъ просто свободный человѣкъ, со своею скорбью и со всѣми радостями, съ особенными мыслями, которыя его занимаютъ вовсе не потому, что ими можно пополнить «сокровищницу». Развѣ недостаточно измученъ человѣкъ, чтобъ еще растягивать его по всѣмъ направленіямъ, приноравливая въ одному, дотягивая до другаго, обрубая на третьемъ. Оставьте его одного, съ собою: онъ вовсе не матеріалъ для теорій, онъ живая личность, «богоподобный человѣкъ». Умѣйте подходить къ нему съ любовью и интересомъ, и онъ раскроетъ предъ вами такія тайны души своей, о которыхъ вы и не догадываетесь.

1892 г.

Позднія фазы славянофильства.

1. Н. Я. Данилевскій.

«*Россія и Европа*». Взглядъ на культурныя и политическія отношенія славянскаго міра къ германо-романскому. Изд. 5-е. Спб. 1895.

Трудъ, не имѣвшій при жизни автора никакого почти успѣха, вышелъ нынѣ уже пятымъ изданіемъ. Не будетъ излишне смѣлымъ, если мы скажемъ, что книга эта становится настольною для всѣхъ высокихъ круговъ русскаго образованнаго общества; еще не вся учившаяся Россія ее знаетъ; но, кажется, можно предположить, что ее знаетъ вся Россія размышляющая, колеблющаяся, ищущая истины среди моря мыслей, частью туземно выростающихъ, частью навѣянныхъ къ намъ съ Запада.

Конечно, всякій, кто причисляетъ себя къ сторонникамъ славянофильской мысли, можетъ только радоваться при видѣ этого широкаго успѣха, какой выпалъ на долю хотя одной книги, выражающей имъ чтимую доктрину. Но онъ не скроетъ отъ себя, и долженъ сдѣлать усиліе, чтобы разъяснить обществу, что въ этой столь читаемой книгѣ выражена еще не вся доктрина и даже не самая ея цѣнная часть.

I.

Теорія культурно историческихъ типовъ, предложенная Н. Я. Данилевскимъ, вовсе не есть завершеніе славянофильской теоріи, не есть ея высшая фаза, какъ это утверждаютъ почти всѣ ея критики и послѣдователи. Гораздо правильнѣе ее можно опредѣлить какъ скорлупу, которая замкнула въ себя нѣжное и хрупкое содержаніе, выработанное первыми славянофилами, и послѣ никѣмъ не поправленное, никѣмъ не разрѣшенное. Въ ихъ трудахъ, такъ мало систематическихъ, что ихъ можно принять за черновые наброски,

случайно попавшіе въ печать, дано все то *положительное*, что и до сихъ поръ мы находимъ въ славянофильствѣ. Къ сожалѣнію, труды эти совершенно не распространены, и мы боимся, не въ силу ли предубѣжденія, что въ книгѣ Данилевскаго дано ихъ завершеніе, ознакомившись съ которымъ нѣтъ нужды знать предварительныя и незрѣлыя фазы доктрины.

И. Кирѣевскій, А. Хомяковъ и Кон. Аксаковъ, между тридцатыми и пятидесятыми годами истекающаго вѣка, заложили это драгоцѣнное, неразрушенное и, мы убѣждены, неразрушимое ядро славянофильской доктрины. Первый въ трудахъ своихъ: «Девятнадцатый вѣкъ», «Отвѣтъ А. С. Хомякову», «О характерѣ просвѣщенія Европы и его отношеніи къ просвѣщенію Россіи», «О необходимости и возможности новыхъ началъ для философіи», «Отрывки» [1])— проводитъ самыя общія разграничивающія черты между культурнымъ сложеніемъ западно-европейскаго міра и міра восточно-славянскаго, въ частности русскаго. Было бы неумѣстно въ краткой замѣткѣ перечислять эти черты; остановимся на какой-нибудь одной, чтобы указать, до какой степени его мысли многозначительны и какъ онѣ вѣрны.

«Скажи мнѣ, какъ ты оцѣниваешь истину, и я разскажу все, что ты въ себѣ содержишь»,—могъ бы каждый изъ насъ предложить вопросъ ближнему, партіи, народу, наконецъ, цѣлой группѣ народовъ. Этимъ вопросомъ, по отношенію ко всей группѣ романо-германскихъ племенъ, задался Кирѣевскій: «истина есть *то, что «доказано»*, отвѣчаетъ ихъ философія, міръ точныхъ наукъ, догматика [2]) ихъ церкви, наконецъ ихъ право, ихъ политическое сложеніе. Когда сѣть силлогизмовъ нигдѣ не прерывается, когда они исходятъ изъ наблюденія и провѣрены опытомъ—отъ Бэкона и до Уэвелля, отъ Кальвина и до Фейербаха, ученый, пасторъ, ремесленникъ равно не усомнятся, что истина охвачена тутъ, внутри этихъ силлогизмовъ, опытовъ, этой реторты человѣческаго познанія.

И вотъ, мы читаемъ исторію новаго права Блюнчли: около 600 страницъ, и не болѣе 3—5 страницъ на мыслителя. Какое ихъ множество, какія великія, свѣтлыя имена... И какая грусть, какое сомнѣніе охватываетъ, когда страницы бѣгутъ передъ нами и съ каждою новою мы входимъ въ сѣть новаго мышленія, такъ неуловимо подкупающую, такъ правильную, противъ которой мы такъ безсильны спорить. О, кажется, легче было бы покорить всѣ народы, всѣмъ имъ дать одинъ законъ,—нежели это множество умовъ, безкорыстно ищущихъ истины, привести къ признанію истины одной,

---

[1]) Всѣ его сочиненія изданы, къ сожалѣнію, очень небрежно, А. И. Кошелевымъ въ 1868 году и съ тѣхъ поръ не повторялись изданіемъ.

[2]) Напримѣръ, измѣненіе Символа вѣры покоится на силлогизмѣ: во Св. Троицѣ Отецъ и Сынъ равны; но Духъ Св., по Символу, исходитъ отъ Отца; слѣдовательно, Онъ исходитъ и отъ равнаго Ему Сына.

къ согласію въ одномъ мнѣніи. Но что это, вотъ уже почти невѣроятное: «я въ тебѣ ничего не признаю и не уважаю, ни собственника, ни бѣдняка, ни человѣка—я тебя *потребляю*. Я нахожу, что соль придаетъ моей пищѣ вкусъ, и потому солю ее; въ рыбѣ я вижу питательный матеріалъ, и потому ѣмъ ее; въ тебѣ я открываю способность скрашивать мою жизнь, и потому выбираю тебя въ товарищи. Или, на соли я изучаю кристаллизацію, на рыбѣ—животныхъ, на тебѣ—людей и т. д. Ты для меня именно то, что ты есть—мой предметъ, какъ *мой* предметъ—моя *собственность*» [1]).

Это—не изъ потаеннаго письма, не изъ потерянной записной книжки маньяка; нѣтъ, скромный ученый въ 1845 году опубликовалъ этотъ взглядъ на отношеніе человѣка къ человѣку, на нравственную нашу природу, въ книгѣ «Der Einzige und sein Eigenthum»; и книга не канула въ Лету: «ее достаточно прочитать, чтобы тотчасъ почувствовать себя очищеннымъ отъ грѣха, обезпеченнымъ отъ заблужденія и свободнымъ отъ всякаго ига; чтобы стать свободнымъ человѣкомъ, какимъ былъ авторъ, быть можетъ единственный въ нашемъ вѣкѣ»—восхищается черезъ 47 лѣтъ не соотечественникъ, не другъ, но недругъ-чужестранецъ [2]).

И вотъ, если *это—истина* (вспомнимъ еще философію Ницше), если какъ нѣкоторое *знаніе* высказаны эти слова и какъ *знаніе* же приняты они безчисленными читателями, значитъ самое *мѣрило* ложнаго и истиннаго потеряно, самая реторта изготовленія наукъ и философіи имѣетъ въ себѣ какой-то изъянъ. Здѣсь въ этой ретортѣ силлогизмовъ, могутъ возникнуть великія, свѣтлыя истины; но разъ мы признаемъ ихъ за таковыя не *по одному* тому, что онѣ изъ нея именно вышли, значитъ есть *другое* какое-то средство различать добро и зло, измѣрять истинное, справедливое.

«Правиленъ-ли строй душевный мыслящаго существа?» «его силы, его способности гармонированы ли?»—вотъ вопросъ, который мы должны предложить себѣ ранѣе, чѣмъ станемъ оцѣнивать извивы мыслей, быть можетъ болѣзненно направленныхъ, какъ у несчастнаго Ницше, у восторженнаго Руссо, и цѣлаго ряда мыслителей, столь страстныхъ, столь бурныхъ и вмѣстѣ такъ странныхъ, что они заставили, наконецъ, задуматься надъ собою и поставить вопросъ о родственности генія и безумія. Вопросъ, который, конечно, не могъ бы возникнуть при взглядѣ на Ньютона, Линнея, Аристотеля.

Кирѣевскій еще не предвидѣлъ торжества многихъ странныхъ ученій въ наше время; никто въ его время не предвидѣлъ возможности школы Ломброзо. Но онъ—первый въ Европѣ—сказалъ

---

[1]) Максъ Штирнеръ ум. 1855 г. въ Берлинѣ; книга его вторично была издана въ 1882 г.

[2]) Теодоръ Рандаль, въ «Journal des Débats», 1892 г.

слова, выслушавъ которыя мы не только понимаемъ эти чудовищныя ученія, развившіяся на нашихъ глазахъ, но и видимъ исходъ изъ нихъ, имѣемъ правильную на нихъ точку зрѣнія. И эта точка зрѣнія потому особенно прочна, что не принадлежитъ индивидуально Кирѣевскому, не есть плодъ его личныхъ размышленій: онъ лишь подмѣтилъ методъ оцѣнки истиннаго и ложнаго въ народѣ нашемъ, и еще ранѣе—въ нашей исторіи, въ нашей древней письменности. Всюду онъ усмотрѣлъ, что сплетенію понятій дается лишь второе мѣсто, послѣдующее значеніе, главное же вниманіе обращено на *цѣлостный* духъ размышляющаго, его *правильное* состояніе. Два указанія изъ литературы новой яснѣе вскроютъ передъ нами мысль его во «Власти тьмы» гр. Л. Н. Толстого мы очень мало довѣряемъ разсудительнымъ рѣчамъ матери преступника, его самого, всѣмъ тѣмъ, которые, несмотря на связность своей мысли, ходятъ, мы видимъ, «во власти тьмы». Напротивъ, богобоязненный отецъ преступника (Акимъ), съ своимъ знаменитымъ «тае тае», хотя не можетъ членораздѣльно передать ни одной мысли, для насъ свѣтелъ, мы его слушаемъ, ему довѣряемъ. Онъ, темный не только въ книжномъ наученіи, но и косноязычный, почти нѣмой, для насъ разуменъ, есть носитель истины... *какъ* добытой? по *правиламъ* какой логики? Для Бэкона, для Аристотеля, для автора «Novum Organon renovatum»—онъ есть только жалкій нищій, которому можно лишь бросить кусокъ хлѣба. Добролюбовъ «Въ темномъ царствѣ», выясняя характеръ Катерины, какъ на особенно цѣнную въ ней черту, указываетъ на то, что она не разсудочно дошла до протеста противъ «темныхъ силъ», ее окружающихъ, но самою натурою, правдою сердца своего почувствовала ложь и зло этихъ силъ. Названные писатели не имѣютъ ничего общаго въ себѣ; и только общая народная кровь, текущая въ ихъ жилахъ, заставила ихъ одинаково смотрѣть на истину, какъ на продуктъ вовсе не мозговой дѣятельности, не разсудочнаго сплетенія понятій.

II.

Мы приподымаемъ лишь незамѣтный краешекъ въ ученіи высокихъ и свѣтлыхъ умовъ, положившихъ основаніе славянофильства. Хомяковъ въ трудахъ своихъ: «Нѣсколько словъ православнаго христіанина о западныхъ вѣроисповѣданіяхъ по поводу брошюры г. Лоренса», 1853 г., «тоже—по поводу посланія парижскаго архіепископа», 1855 г., «тоже — по поводу разныхъ сочиненій латинскихъ и протестантскихъ о предметахъ вѣры», 1858 г., въ «Письмахъ къ Пальмеру», и, наконецъ, въ «Опытѣ катехизическаго изложенія ученія о церкви» [1])—выяснилъ впервые особенности вос-

[1]) См. сочиненія А. С. Хомякова, томъ II, изд. подъ ред. Ю. Самарина.

точнаго церковнаго сложенія сравнительно съ двумя западными. Сущность церкви — это любовь, это — согласіе; и, слѣдовательно, естественная внѣшняя ея форма — *соборность*. Она сохранена на Востокѣ—и притомъ съ столь великою опасливостью за ненарушимость принципа, что послѣ отдѣленія отъ себя западныхъ церквей, восточныя никогда не осмѣлились, несмотря на крайнюю иногда въ томъ нужду, собраться вновь на Вселенскій соборъ; ибо вселенность предполагаетъ въ себѣ полноту членовъ, а между тѣмъ западные члены церкви не примирены съ восточными. Не хочетъ она, не сознаетъ возможнымъ «собраться» не примиренною; вотъ уже тысячелѣтіе жизни въ изолированности она принимаетъ, какъ временное зло, которому исполнятся же «времена» и «сроки», и тогда церковь Христова, съ членами исцѣленными и овцами не растерянными, соберется вновь «соборовать». Этому принципу—мы хотимъ сказать, любви и согласію—въ печальную эпоху историческихъ смутъ на Востокѣ измѣнила церковь римская; вмѣсто того, чтобы пожалѣть, чтобы сострадать Востоку въ минуты тяжкія, она его презрѣла, и хоть въ поводахъ къ чувству этому, быть можетъ, была и права, не была права въ самомъ чувствѣ, и между тѣмъ имъ замутилась навсегда. Мы не можемъ даже въ самыхъ краткихъ чертахъ указать все глубокомысленное и прекрасное теченіе хомяковскихъ воззрѣній, но онъ объясняетъ, какъ протестантство было лишь продолженіемъ этого же отношенія къ церкви, но только уже противъ Рима направленное, внутри церкви западной совершившееся. Грѣхъ, не прощенный Востоку Римомъ, были взысканъ съ Рима Лютеромъ, Цвингли, Кальвиномъ, и гораздо позднѣе, уже на нашихъ почти глазахъ, эти отпаденія все продолжаются: протестантизмъ кажется слишкомъ обильнымъ вѣрою для «свободныхъ мыслителей»; является тюбингенская школа богослововъ, сбрасывающая съ себя христіанство, какъ неправильно понятый миѳъ, является матеріализмъ, сбрасывающій съ себя всякую религію, наконецъ все духовное.

III.

Кон. Аксаковъ въ рядѣ статей, изъ которыхъ особенно замѣчателенъ критическій разборъ «Исторіи Россіи» Соловьева, появившійся по выходѣ VII тома этого обширнаго труда,—даетъ объединеніе структуры русской исторіи. Впервые онъ указалъ, какъ недостаточно сводить исторію Россіи къ исторіи правительства въ Россіи, внѣшнимъ образомъ и насильственно преобразующаго косный народъ. Начало государственное—это лишь формальная сторона въ исторіи, ограничивающая, сдерживающая, охраняющая — между тѣмъ и единственно эта сторона рисуется и у Карамзина, и у Соловьева. Воинскій санъ и канцилярскій приказъ, князь-собиратель дани,

великій князь московскій дающій перевѣсъ интересамъ государственнымъ надъ *родовыми* отношеніями, наконецъ императоръ, какъ просвѣтитель, преобразователь,—вотъ постоянная тема всѣхъ предыдущихъ историковъ, разрабатывая которую, они едва имѣли досугъ бросить какой-то боковой, урванный у главной темы, взглядъ на стоящій въ глубинѣ сцены безмолвный, бездѣятельный, безвольный народъ; и невольно у читателя является вопросъ, зачѣмъ, для выраженія какой мысли стоитъ этотъ народъ.

Начало *общинное* столь же постоянно и также повсюдно проникаетъ русскую исторію, какъ *родовое*—западно-европейскую; вотъ главное открытіе, которое дѣлаетъ К. Аксаковъ въ замѣчательной статьѣ своей: «О древнемъ бытѣ у славянъ вообще и у русскихъ въ особенности». Это общинное начало выразилось въ *вѣчевомъ* строѣ древней Руси; актомъ собравшагося въ Новгородѣ вѣча было самое призваніе князей, начало государственности: народъ не безмолвствуетъ, не стоитъ, не занимаетъ только мѣсто на громадной территоріи Восточной Европы, но дѣйствуетъ, мыслитъ, творитъ, какъ живая нравственная сила. И по призваніи князей, вѣче сохраняется во всѣхъ городахъ, т. е. община продолжаетъ жить подъ всѣми тѣми внѣшними передвиженіями, которыя одни, повидимому, наполняютъ исторію, производятъ въ ней шумъ оружія, перипетіи княжескихъ отношеній. Позднѣе, съ объединеніемъ княжествъ подъ Москвою, общинная жизнь городовъ сливается и находитъ для себя выраженіе въ земскихъ соборахъ: это—*земля*, призываемая на совѣтъ свободно избраннымъ, поставленнымъ ею надъ собой *государствомъ*. Первый царь созываетъ первый земскій соборъ. Ему принадлежитъ землею не оспариваемое, но съ любовью утверждаемое право дѣятельности, закона, силы; землѣ принадлежитъ царемъ не оспариваемое, но бережно выслушиваемое право мнѣнія, сужденія по совѣсти, область духа. Государь поступаетъ, какъ ему Богъ указываетъ; земля не поперечитъ его *дѣламъ*; она присоединяетъ къ нимъ лишь свою *думу*, свободно выраженную, которой послѣдовать или не послѣдовать свободенъ царь. Высшее начало соборности, согласія, любви отражается въ этихъ отношеніяхъ.

Выражаясь въ исторіи, это начало выражается повсюду и въ бытѣ русскомъ: достаточно упомянуть *міръ*, поземельную *общину* нашу, достаточно вспомнить понятность, излюбленность *артельнаго* начала людомъ русскимъ, чтобы признать справедливость этого.

Таковы въ самыхъ краткихъ чертахъ объясненія К. Аксакова. Около этихъ трехъ основоположниковъ славянофильской идеи группируются меньшіе и позднѣйшіе: Петръ Кирѣевскій, Юр. Самаринъ, И. С. Аксаковъ, поэтъ Тютчевъ; чуть-чуть въ сторонѣ отъ нихъ стоящій, мало понятый, мало оцѣненный у насъ Н. П. Гиляровъ-Платоновъ. Роль всѣхъ ихъ въ славянофильствѣ была гораздо меньшая: они не развѣтвили, не усложнили, не углубили этого

ученія, они его *оподробили*, примѣнили ко множеству частностей, къ явленіямъ вновь нарождающимся, къ явленіямъ старымъ, незамѣченнымъ.

IV.

Н. Я. Данилевскій набросилъ обертывающій покровъ на всѣ эти ученія; около этой нѣжной, хрупкой, жизненной сердцевины образовалъ внѣшнюю скорлупу — и только. Отсюда отчужденность отъ него носителей прежняго славянофильства (напримѣръ, И. С. Аксакова); будетъ правильнѣе сказать—выразителей его существенной, жизненной, плодоносной стороны.—Онъ, въ самомъ дѣлѣ, не указалъ, ни объяснилъ ни одной особенности нашего историческаго сложенія, собственно къ *славянофильству* онъ ничего не прибавилъ; его роль была другая, менѣе значительная, болѣе грубая. Въ двухъ словахъ—это будетъ понятно.

Существуютъ *типы* органическаго сложенія; не виды, не роды, не классы, различающіеся органами, но типы, въ которыхъ различіе гораздо глубже и касается самого *плана*, по которому созданы или произошли организмы. Человѣкъ, птица, ящерица, рыба, какъ они не разнообразны съ виду, одинаково въ сущности устроены: они имѣютъ рядъ органовъ, симметрично расположенныхъ по правую и лѣвую сторону нѣкоторой идеальной линіи, проходящей отъ передней оконечности организма къ задней. Но вотъ передъ вами морская звѣзда; въ ея формахъ, лучисто идущихъ отъ центра, вы не узнаете самаго плана, по которому создано тѣло всѣхъ названныхъ выше существъ—для построенія этого животнаго нуженъ былъ *второй* планъ, нужно было *новое* усиліе творческой созидающей мысли, между тѣмъ какъ при созиданіи ящерицы или рыбы новое усиліе дѣлала только матерія, одѣвая собою тотъ же планъ, по которому устроенъ и человѣкъ. Также разсматривая содержимое двустворчатой раковины и припоминая строенія вамъ ранѣе извѣстныхъ животныхъ, вы произносите невольно: «это — что-то совершенно другое, это—еще *типъ* органическихъ созданій», не выражая этимъ ничего иного, кромѣ своего изумленія, непониманія, растерянности передъ необычнымъ и неожиданнымъ, что̀ вамъ раскрылось въ природѣ.

И въ исторіи всемірной, если мы всмотримся въ нее внимательно, мы увидимъ нѣчто аналогичное: есть *группы* народовъ—нвъ частяхъ своей жизни, не въ нѣкоторыхъ формахъ дѣятельности отличающіяся одна отъ другой, не чѣмъ-либо прибавленнымъ, убавленнымъ, переиначеннымъ, какъ переиначены нѣкоторыя функціи и органы у млекопитающаго и рыбы,—есть народы, есть культуры всемірно-историческія, какъ бы осуществляющія въ своемъ ходѣ, въ строеніи *иной планъ*, чѣмъ другія. На ту же нужду они отвѣчаютъ различно, при встрѣчѣ съ однимъ предметомъ испытываютъ

разнородное: Филоктетъ отъ боли раны кричитъ; Іовъ—тревожится, не согрѣшилъ-ли онъ? Аппій Клавдій, похитивъ Виргинію и обвиненный, разбиваетъ себѣ голову въ темницѣ; Давидъ, похитивъ Вирсавію и обвиненный, слагаетъ псаломъ покаянія и скорби. Не удивительно ли: въ цѣлой Библіи нѣтъ ни одного силлогизма, хотя увѣщаніе, объясненіе, убѣжденіе—обычные случаи, когда мы употребляемъ «слѣдовательно»,—разсѣяны въ ней едва ли не съ первой страницы до послѣдней. Тотъ же міръ вокругъ этихъ людей, но не тѣ же они; гамма ихъ внутреннихъ струнъ разнородна — иное въ нихъ сцѣпленіе понятій, иной порядокъ чувствъ, содержаніе понятій. Они лишь внѣшнимъ образомъ соотносятся другъ съ другомъ—торгуютъ, воюютъ, странствуютъ по лицу земли, но на этой землѣ осуществляютъ различное, переживаютъ несходное, и, вообще, мало понимаютъ другъ друга или понимаютъ съ большимъ усиліемъ. Таковъ арабъ и римлянинъ, іудей и грекъ — одинъ съ шумливымъ форумомъ, великимъ Капитоліемъ, Афродитою Книдской, другой—съ скрижалями завѣта, безъ отечества, безъ границъ, со скорбью и сокрушеніемъ, которымъ заразилъ міръ; таковъ, уже на исходѣ судебъ историческихъ, славянинъ, когда онъ соприкасается съ романцемъ, швабомъ, анличаниномъ,—многое *отъ нихъ* усвоившій, перенявшій, и все-таки не усвоившій *ихъ*, не чувствующій, не понимающій внутренней необходимости ихъ формъ созиданія; еще менѣе ими усвоенный въ интимномъ содержаніи души своей, въ складкѣ характера, въ неуловимомъ оттѣнкѣ смѣха, ироніи, въ мотивахъ печали, безотчетнаго разрушенія, порывистаго творчества. Все это суть люди разныхъ типовъ психическаго сложенія, и отсюда неодинаково сложеніе ихъ быта—внутренній планъ ихъ исторіи.

То, что Кирѣевскій, Хомяковъ, К. Аксаковъ наблюдали какъ фактъ, чему они удивлялись, чему не довѣряли другіе—есть явленіе, которому Данилевскій далъ имя, указалъ аналогіи въ природѣ, нашелъ мѣсто во всемірной исторіи. Онъ не открылъ новой черты въ этомъ явленіи; въ пукъ наблюденій, сдѣланныхъ первыми славянофилами, не вложилъ ничего отъ себя; собственно для славянофильства, какъ ученія объ особенностяхъ русскаго народа и исторіи, онъ ничего не сдѣлалъ. Его роль была формально-классификаторская; онъ сказалъ: «группа этихъ особенностей есть особый культурно-историческій типъ, одинъ изъ нѣсколькихъ, на которые распадается всемірная исторія и которые въ ней не преемственно продолжаютъ другъ друга, но, чередуясь или существуя бокъ-о-бокъ, созидаютъ разнородное».

Читатели, теперь столь многочисленные, «Россіи и Европы», легко поймутъ изъ этой книги, *почему*, на *основаніи* какихъ общихъ законовъ исторіи они не схожи съ германцемъ, французомъ, римляниномъ, грекомъ; но *въ чемъ* именно не схожи, *чѣмъ* ихъ ро-

дина отличается отъ тѣхъ странъ въ историческомъ, бытовомъ, культурномъ отношеніи—этого они не узнаютъ отсюда, это могутъ они узнать только изъ трудовъ Кирѣевскаго, Хомякова, К. Аксакова, другихъ меньшихъ первоначальныхъ славянофиловъ. «*Кто я?*»—«вокругъ меня *не тоже*, что я»: вотъ краткія выраженія, вотъ формулы сердцевинной и краевой фазъ одной и той же доктрины—ея жизненной плодоносной части и внѣшней, жесткой, только разграничивающей стороны.

---

2. К. Н. Леонтьевъ.

К. Леонтьевъ. «Востокъ, Россія и Славянство», 2 т. Москва. 1885—1886 гг.

Кн. С. Трубецкой. «Разочарованный славянофилъ»; *его-же:* «Противорѣчія нашей культуры» («Вѣстникъ Европы», 1894 г.).

П. Милюковъ. «Разложеніе славянофильства» («Вопросы философіи и психологіи», 1893 г., май).

Ген. Кирѣевъ. «Наши противники и наши союзники» («Протоколы славянскаго благотворительнаго общества», 1894 г.).

Л. Тихоміровъ «Русскіе идеалы и К. Н. Леонтьевъ» («Русское Обозрѣніе», 1894 г., октябрь).

І. Фудель. «Культурный идеалъ К. Н. Леонтьева» («Русское Обозрѣніе», 1895 г., январь).

Славянофильство не есть только истина выражаемая, но и нѣкоторое нравственное требованіе; это—не только доктрина, но и нѣкоторый принципъ жизни, законъ и норма нашихъ сужденій и практическихъ требованій—вотъ изъ какой незамѣченной стороны въ немъ вытекла упорная борьба, завязавшаяся надъ гробомъ послѣдняго выдающагося славянофила. Мы разумѣемъ умершаго въ 1892 году Кон. Ник. Леонтьева. Почти неизвѣстный при жизни, онъ тотчасъ послѣ смерти вызвалъ обширную и страстную о себѣ литературу, почти равняющуюся его собственнымъ «opera politica» и гораздо обильнѣйшую, нежели какая была посвящена которому бы то ни было изъ славянофиловъ. Славянофилъ ли онъ? Но неужели же западникъ? Западники отталкиваютъ его съ отвращеніемъ, славянофилы страшатся принять его въ свои ряды — положеніе единственное, оригинальное, указывающее уже самою необычайностью своею на крупный, самобытный умъ; на великую силу, мѣсто которой въ литературѣ и исторіи нашей не опредѣлено.

I.

Отдѣльно замкнутые, своеобразные міры историческаго созиданія, какъ Китай, какъ семитизмъ, какъ античный міръ, романо-германскую Европу, и, наконецъ, славянство Данилевскій назвалъ

культурно-историческими типами. Ничего въ его идеѣ не измѣняя, К. Леонтьевъ назвалъ тотъ же фактъ, ту же группу историческихъ явленій культурно-историческимъ стилемъ. Идея и названіе заимствованы первымъ изъ біологическихъ наукъ; второй особенностями даровъ своихъ, своими влеченіями побужденъ былъ къ перемѣнѣ имени при сохраненіи того же понятія: міръ художественныхъ законовъ и идей онъ распространилъ на исторію. Роль его въ исторіи славянофильства еще уже, еще менѣе жизненна и оригинальна, чѣмъ роль Данилевскаго; и она также исключительно формальна. Мы увидимъ ниже, что это не значитъ вовсе, чтобы она была маловажна.

«Востокъ, Россія и Славянство»—такъ озаглавилъ онъ сборникъ статей своихъ, указавъ въ самомъ заглавіи этомъ градацію предметовъ своего преимущественнаго вниманія, культа, любви. Славяне отходятъ у него на совершенно задній планъ; главная мысль—о новой культурѣ, не европейской, не буржуазно-утилитарной; Россія есть великая надежда въ помышленіяхъ объ этой культурѣ, но и она — лишь относительный моментъ; главный центръ вниманія — Востокъ, какъ носитель иныхъ, совершенно новыхъ, совершенно не похожихъ на европейскія, культурныхъ началъ. Турокъ и татаринъ, аѳонскій монахъ и нашъ старообрядецъ—все это въ рядѣ влекущихъ его образовъ имѣетъ свое положеніе; болгаринъ, сербъ, галичанинъ, выучившійся у насъ, въ Парижѣ, въ Берлинѣ, не занимаютъ въ его историческихъ перспективахъ никакого положенія, въ его симпатіяхъ—никакого мѣста. Судя по его писаніямъ, ихъ страстности, ихъ отчаянію, ихъ удивительной беззастѣнчивости, онъ былъ первый и единственный не чаятель только (какъ всѣ славянофилы), но до извѣстной степени уже и носитель новой культуры; единственный гражданинъ мечтаемаго отечества—Колумбъ, вышедшій уже на Новую Землю, а не плывущій только къ ней; и на этой Новой Землѣ онъ также мало стѣснялся стараго, покинутаго, полу-умершаго (какъ онъ думалъ) міра, какъ не стѣснялся бы своей Испаніи, ея вѣры и ея предразсудковъ Колумбъ, если бы онъ не думалъ болѣе никогда возвращаться въ нее.

Исходная точка его историческихъ и политическихъ взглядовъ заключается въ идеѣ трехъ фазъ, черезъ которыя проходитъ всякое развитіе, какъ едва видимой былинки, растущей въ полѣ, такъ и человѣка, народовъ, наконецъ тѣлъ небесныхъ: первоначальной простоты; послѣдующей цвѣтущей сложности; вторичнаго упростительнаго смѣшенія. Зерно и колосъ и опять зерно; этнографическая масса и изъ нея выдѣляющіеся классы, положенія, іерархія властей; и снова, при упаданіи ихъ, простота вторично-дикаго населенія (Греція и Италія передъ началомъ среднихъ вѣковъ). Туманное, безформенное пятно, изъ котораго развиваются солнца, около нихъ образуются планеты, на нихъ выдѣляются материки и

одѣваются растительною и животною жизнью, и далѣе — остывшій міръ, опять безжизненный, обледенѣлый, голый, упрощенный— вотъ великіе и всеобщіе факты міровой эволюціи. Нѣтъ въ живомъ и мертвомъ ничего, что не было бы подчинено закону этихъ трехъ фазъ, и если мы спросимъ себя, что же въ нихъ есть главное, то мы увидимъ, что это—начало грани, предѣла, обособленія. Повидимому внѣшнее, оно есть въ то же время внутренній принципъ каждой вещи и показатель ея жизненнаго напряженія, силы, способности къ бытію; и насколько мы любимъ природу, хотимъ сохраненія въ ней жизни, мы эту ограненность, обособленность и раздѣленіе всѣхъ въ природѣ вещей должны любить. Отсюда критерій добра и зла, благого и гибельнаго для цѣлой природы и для исторіи—критерій, не имѣющій ничего общаго съ установившимися точками зрѣнія въ прежней политикѣ и морали; яркость, цвѣтистость, красота (что́ все есть проявленіе грани) не въ себѣ самой цѣнимая, но какъ залогъ прочности и долголѣтія,—есть мѣрило, съ которымъ, безъ боязни ошибиться, мы можемъ подойти къ каждому предмету въ исторіи, ко всякому явленію жизни политической, общественной, художественной. Этимъ мѣриломъ, формальнымъ и потому безошибочнымъ [1]), К. Леонтьевъ оцѣниваетъ и жизненныя силы западной цивилизаціи. Актъ бурный и мощный въ ней, который мы зовемъ «великою революціею» и съ нея начинаемъ свою исторію, исторію идей своихъ и стремленій, есть только моментъ вступленія Европы въ послѣднюю фазу всякаго развитія—вторичнаго упростительнаго смѣшенія. Мы такъ любимъ свободу, такъ усиливаемся къ ней, но она—только высвобожденіе индивидуума, этого соціальнаго атома, изъ подъ законовъ, связывавшихъ его въ нѣкогда живомъ и сильномъ организмѣ, теперь разрушающемся. Все въ этомъ организмѣ теряетъ свою обособленность; все смѣшивается, уподобляется одно другому, сливается въ однородную массу, все уравнивается [2]),—потому что все умираетъ. Гибельности процесса этого мы не чувствуемъ, потому что мы именно его выразители; и порывъ нашихъ желаній, убѣжденія нашего ума не индивидуально намъ принадлежатъ, но намъ даны нашимъ временемъ, его смысломъ, его тенденціей всеобщей, непобѣдимой— умереть. Ни краснорѣчіе церкви, ни сила предразсудковъ, ни усилія политиковъ—этого біологическаго процесса не могутъ удержать: Европа, еще такъ цвѣстистая и своеобразная въ каждомъ уголкѣ своемъ 1½ вѣка назадъ слита въ однообразіе всюду той же буржуазіи, вездѣ одинаковой администраціи, однихъ почти законовъ, одного быта. Великое древнее зданіе исторіи теряетъ свой стиль: башни обваливаются, выступы стираются, линіи разграничи-

---

[1]) Т. е. чуждымъ субъективныхъ примѣсей.

[2]) Такъ называемый «эгалитарный процессъ»—по терминологіи Леонтьева.

вающія перестаютъ быть отчетливы; громады камня, странное, едва оформленное пятно остается на мѣстѣ святого и прекраснаго храма, который мы такъ любили, такъ многому въ немъ научились; и теперь... любимъ ли, ненавидимъ ли его, кто раздѣлитъ въ насъ, какъ раздѣлимъ мы сами въ себѣ эти чувства?

Почти не нужно объяснять роль Россіи въ виду этого великаго наклоненія европейской цивилизаціи: не нужно говорить объ ея политикѣ, внѣшней или внутренней. И все желаемое для нея, и оцѣнка въ ней всякой дѣйствительности—уже ясны отсюда.

II.

Мы замѣтили, что роль Данилевскаго и Леонтьева собственно въ славянофильствѣ носитъ черты внѣшности и формализма, но, взамѣнъ этого, они имѣютъ другое и болѣе существенное значеніе. Можно сказать, въ лицѣ ихъ славянофильство впервые выходитъ за предѣлы національной значительности и получаетъ смыслъ универсальный. Ученіе первыхъ славянофиловъ, Кирѣевскаго, Хомякова, К. Аксакова—это наше домашнее дѣло, наше сознаніе о себѣ, и оно не имѣетъ общечеловѣческаго интереса; но теорія культурныхъ типовъ и теорія грани, предѣла, какъ показателя жизненнаго напряженія въ цѣлой природѣ,—это уже философія исторіи, это—высокая публицистика, которая бьется, тоскуетъ, страдаетъ на рубежѣ двухъ цивилизацій, въ сущности съ любовью къ той и другой, не болѣе, чѣмъ съ любовью къ нимъ — съ любовью къ жизни, къ человѣку, съ отвращеніемъ и страхомъ передъ разложеніемъ, смертью... Мы безъ смущенія назовемъ имена Маккіавели, Монтескье, Ж. Бодена, Эд. Борка, Прудона, между которыми должны быть поставлены имена этихъ писателей. Они зовутъ столь же новое; отрицаютъ столь же обширное; и, въ сущности, отрицаютъ и зовутъ еще обширнѣйшее и болѣе новое, чѣмъ тѣ великіе умы, и также опираясь на обширную философію.

Гораздо болѣе загадочнымъ и сложнымъ, чѣмъ Данилевскій, представляется К. Леонтьевъ, не въ составѣ доктринъ своихъ, которыя ясны и просты, но въ себѣ самомъ, въ своей натурѣ, въ смыслѣ лица своего. Длинный рядъ статей, появившихся о немъ въ послѣдніе годы,-этотъ взрывъ негодованія, недоумѣнія, ревностной защиты, какую мы наблюдаемъ надъ его гробомъ—поразительны; едва ли есть кто-нибудь, кто въ глубинѣ души безъ остатка, безъ молчаливой оговорки былъ бы удовлетворенъ имъ, и едва ли есть кто, кто высказавъ въ отношеніи его всѣ порицанія, въ тайнѣ души своей не задержалъ бы, не скрылъ нѣкотораго удивленія къ нему, нѣкотораго съ нимъ согласія. Мы говоримъ, конечно, о проницательныхъ.

Три элемента образуютъ существо его духа, обусловливаютъ его сужденія, формируютъ его міровоззрѣніе: натурализмъ, эстетика и

религіозность. Медикъ по образованію, политикъ и писатель въ зрѣлые годы, онъ умеръ тайнымъ постриженикомъ Аѳонской горы, покоривъ въ себѣ религіозному началу другія. Покоривъ какъ? покоривъ насколько?—вотъ загадка, въ которой скрывается ключъ къ его объясненію. Если, не довольствуясь внѣшнимъ смысломъ имъ написаннаго, мы станемъ прислушиваться къ тонамъ его рѣчи, всматриваться въ степень оживленія, съ какою онъ говоритъ о тѣхъ и иныхъ предметахъ, мы тотчасъ замѣтимъ, что три указанные элемента не были въ немъ соединены гармонично; мы хотимъ сказать—не были соединены въ той зависимости, какая вытекаетъ изъ ихъ природы, требуется ихъ закономъ. Чувство эстетическое въ немъ безотчетно, неудержимо; оно вѣетъ изъ каждаго оборота его рѣчи, изъ всякой оцѣнки, имъ произносимой, изъ всякаго требованія, порицанія, надежды, горечи, какую ему приходится высказывать. Чувствуется, что здѣсь—натура пишущаго, которой некуда спрятаться, съ которою онъ не можетъ совладать, когда даже и хотѣлъ бы, когда нужно бы [1]); и, въ глубинѣ души своей, онъ съ нею не захочетъ даже совладать,—какъ вода струящаяся, живая, никогда не захочетъ остановиться и, даже ударяя бурно въ берегъ и отбѣгая назадъ, черезъ минуту обѣгаетъ его и стремится въ направленіи того же склона (случаи, гдѣ онъ сопоставляетъ изящное съ моральнымъ и религіознымъ: см. «Письма къ І. Фуделю»). Это чувство—его жизнь, скудель его печалей, родникъ всѣхъ радостей; и начало грани, предѣла или, что то же, формы и понято имъ такъ глубоко и универсально, потому что оно есть прежде всего начало красоты, эстетическая сторона цѣлаго мірозданія. Если, далѣе мы обратимся къ тому, что назвали натурализмомъ въ немъ, то увидимъ, что его анализъ исторіи и политики холоденъ и свободенъ, какъ размышленіе медика у постели больнаго, гдѣ онъ хочетъ знать, и—ничего болѣе [2]). Его приговоры—безпощадны [3]); его указанія, совѣты—безстыдны часто [4]) и это въ такой мѣрѣ, что на нѣкото-

[1]) См. замѣчательное частное письмо его (почти—статья по объему) къ о. Іос. Фуделю, опубликованное послѣднимъ въ январьской книжкѣ «Русскаго Обозрѣнія» за 1895 г. Письмо это имѣетъ рѣшающее значеніе въ оцѣнкѣ внутренней жизни Леонтьева, хотя обо всемъ, что тамъ ясно раскрывается, можно было догадываться и ранѣе.

[2]) «Наука будущая и желаемая должна быть проникнута великимъ презрѣніемъ къ своей пользѣ» (холодна, безучастна; ни льстить человѣку, ни радовать или утѣшать его). Самъ Леонтьевъ безусловно выполнилъ это требованіе. Приведенныя слова находятся въ «Письмѣ къ І. Фуделю».

[3]) Какъ, напр., о славянахъ вообще, и даже—о русскихъ, о Россіи [«мы прожили много, сотворили духомъ мало»; «у насъ все оригинальное и значительное придлежитъ Византіи, и ничего—собственно нашей, славянской крови»] («Византизмъ и Славянство»—центральная для воззрѣній Леонтьева статья въ 1-мъ томѣ «Востока, Россіи и Славянства»).

[4]) «Вотъ каковъ русскій народъ-«богоносецъ», когда надъ нимъ не свиститъ государственный бичъ» (изъ «Анализа, стиля и вѣяній въ романахъ гр. Л. Н. Толстого»).

рое время даже отталкиваютъ отъ него читателя, пока позднѣе онъ не покоряется невольно силѣ ума его и правдѣ языка. Но вотъ мы подходимъ къ религіи... какая связанность языка, скудость воображенія, вялость письма и мышленія! Гдѣ поразившія насъ искры генія, паѳосъ великаго публициста, столь жгучій, ласкающій, манящій, когда онъ говоритъ о предметахъ земныхъ, о красотѣ земныхъ формъ, смущеніяхъ политики, опасныхъ изгибахъ историческихъ теченій [1]); здѣсь онъ не вникаетъ болѣе, не задумывается, не ищетъ. Въ рѣчи, которая не умѣетъ болѣе играть, потеряла жизнь свою, онъ приводитъ соотвѣтствующія дѣлу канонизированныя слова — и только; что-то формально-внѣшнее, извнѣ-требующее, непонятно-господствующее—для него религія. Правда, въ жизни онъ покорилъ себя ей—и мы опять спрашиваемъ себя: какъ? Гдѣ умиленіе, гдѣ радость, гдѣ порывъ довѣрчивый и простой къ предмету вѣры? Онъ отдаетъ ей требуемое, онъ ей послушенъ, но не дѣятельно, какъ въ сферахъ красоты и мысли, а пассивно; онъ не тоскуетъ [2]) здѣсь, не негодуетъ—какъ тамъ, когда видитъ гибель прекраснаго въ жизни или темноту людей къ положенію земныхъ вещей; онъ даже не очень страшится здѣсь, вопреки собственнымъ увѣреніямъ; онъ говоритъ:

«...И поэзія земной жизни (NB: прежде всего припоминается), и условія загробнаго спасенія одинаково требуютъ не сплошной какой-то любви, которая и невозможна, и не постоянной злобы... а, говоря объективно, нѣкоей какъ бы гармонической. въ виду высшихъ цѣлей, борьбы вражды съ любовью. Чтобы самарянину было кого пожалѣть и кому перевязать раны, необходимы же были разбойники»... [3]).

И, распространяя *антиномію* эту на всю исторію, на цѣлую жизнь, онъ развиваетъ, что жестокое и несправедливое такъ же необходимо на землѣ, какъ кроткое и доброе, равно неизбѣжно, въ сущности—не осуждаемо. Такъ, можетъ быть такъ,—нашъ излишне мудрый другъ, но... принадлежитъ ли судить объ этомъ человѣку? И Спаситель о самарянинѣ, который такъ размышлялъ бы надъ изувѣченнымъ прохожимъ, разсказалъ ли бы умилительную притчу, которой мы внимаемъ въ церкви, принимаемъ ее безъ анализа; и въ церкви же, уже монахомъ, слушалъ ее Леонтьевъ и примѣнялъ, истолковывалъ ее въ этомъ странномъ приложеніи къ исторіи. На всемъ протяженіи его трудовъ, во всѣхъ безчисленныхъ пред-

---

[1]) См. «Національная политика, какъ орудіе всемірной революціи»; сравни языкъ этой брошюры съ языкомъ богословствующей части «Нашихъ новыхъ христіанъ» и съ языкомъ книги: «От. Климентъ Зедергольмъ, іеромонахъ Оптиной пустыни».

[2]) См. «Отецъ Климентъ Зедергольмъ» и «Наши новые христіане».

[3]) «Наши новые христіане—Ѳ. М. Достоевскій и гр. Л. Н. Толстой», Москва, 1892, стр. 19.

метахъ, какихъ онъ касался, нельзя найти ни одной строчки, ни одного факта, ни одного случая, гдѣ смѣшное, уродливое, некрасивое, что насъ заставляетъ отвернуться отъ себя, что носитъ на себѣ «зракъ раба» не юридическій только, снискало бы одобреніе его прочими своими достоинствами (какъ полезное, истинное или этическое). И, напротивъ, гибкимъ адвокатомъ прекраснаго, прекраснаго даже въ смѣшеніи со зломъ, какъ въ приведенномъ примѣрѣ самарянина и разбойниковъ, онъ является на самыхъ одушевленныхъ своихъ страницахъ. Мытарь презираемый, мытарь дѣйствительно смѣшной и жалкій, мытарь не въ вѣковѣчной причтѣ, но гдѣ-нибудь вовлѣ себя, тутъ, за угломъ—вотъ что ему навсегда осталось непонятно, чего онъ не захотѣлъ бы никогда простить ему самому, и даже, кажется, противъ него хотѣлъ бы бороться съ Богомъ... [1]).

Эти бѣдныя селенья,
Эта скудная природа...
Не пойметъ и не оцѣнитъ
Гордый взоръ иноплеменный.
Что сквозитъ и тайно свѣтитъ
Въ наготѣ твоей смиренной

— этотъ необходимый членъ символа славянофильства выпалъ изъ послѣдняго его исповѣданія.

III.

Изъ этихъ установленныхъ нами перспективъ далекаго и близкаго его душѣ открывается совершенно новый взглядъ на его сумрачныя теоріи. Еще разъ повторяемъ: составъ этихъ теорій—ясенъ, ясны всѣ его отрицанія и утвержденія въ ихъ связи; онъ самъ, его скорбь и уныніе—вотъ что загадочно, что смущаетъ невольно того, кто захотѣлъ бы безъ остатка освѣтить его лицо для себя. Онъ все говорилъ, въ долголѣтней и разнообразной своей дѣятельности, о народахъ Запада и Востока, ихъ вѣроятной или неизбѣжной судьбѣ; но не было ли постоянно въ его разсужденіяхъ опущено что-то, о чемъ, однако, ему, какъ именно монаху, слѣдовало бы подумать ранѣе и впереди всего, и мы ожидали бы, что онъ объ этомъ подумалъ. Церковь и особыя обѣтованія, ей данныя,—вотъ что совершенно забыто имъ, что въ его страхахъ, сомнѣніяхъ и ими обусловленномъ негодованіи не занимаетъ ни-

---

[1]) См. «Культурный идеалъ К. Н. Леонтьева» І. Фуделя, и въ немъ слова Леонтьева—объ Алкивіадѣ. По христіанскому воззрѣнію самыя добродѣтели древнихъ грековъ были только «красивыми пороками»; напротивъ, съ точки зрѣнія Леонтьева—самые пороки древнихъ были немножко «добродѣтелями».

какого положенія [1]). Онъ ея не вспомнилъ вовсе, и вотъ отчего остался неутѣшенъ. Его пониманіе исторіи, его предвидѣніе судебъ человѣческихъ—только натуралистическое. Выше мы привели исходный пунктъ его размышленій—теорію трехъ фазъ, чрезъ которыя проходитъ развитіе всего живаго и даже мертваго: но какое онѣ имѣютъ отношеніе къ церкви? Развѣ и она имъ натуралистически подлежитъ? И въ нихъ — гибели? Будто ей не дана вѣчность, и самая природа ея не супра-натуральная? Развѣ эту вѣчность мы уже не предвкусили въ удивительныхъ періодическихъ возрожденіяхъ, какія пережиты были христіанскимъ обществомъ послѣ атеистическаго Renaissance, послѣ культа разума въ XVIII вѣкѣ, и, наконецъ, какое мы переживаемъ теперь, послѣ отрицаній отъ 40-хъ до 80-хъ годовъ нашего вѣка, отрицаній столь твердыхъ и, казалось, окончательныхъ? Великій эстетикъ и политикъ, онъ видѣлъ въ исторіи волнующіяся массы народовъ, ихъ любилъ, ими восхищался, но только эстетикъ и политикъ, онъ не замѣтилъ вовсе святаго центра ихъ общаго движенія, который незримо ведетъ, охраняетъ, поддерживаетъ идущихъ. Онъ только различилъ бредущія толпы, натуралистическія стада «человѣческихъ головъ», и все, замѣченное имъ здѣсь — точно, вѣрно, научно; но есть и остался ему неизвѣстенъ въ темномъ кіотѣ святой образъ, который и избралъ эти толпы, и ведетъ ихъ къ раскрытому и ожидающему шествія храму: и все то, что онъ такъ любилъ въ исторіи, эти блестки свѣчъ, волнующіяся хоругви, курящійся къ нему дымъ— существуетъ вовсе не силою красоты въ нихъ, но долгомъ служенія своего и своего предстоянія маленькой черной иконкѣ:—

Удрученный ношей крестной,
Всю тебя земля родная,

---

[1]) Вотъ, для примѣра, нѣсколько ясныхъ мѣстъ. «...Терпите! Всѣмъ лучше никогда не будетъ. Однимъ будетъ лучше, другимъ станетъ хуже. Такое состояніе, такія колебанія горести и боли — вотъ единственно возможная на землѣ гармонія! И больше—ничего не ждите! Помните и то, что всему бываетъ конецъ; даже скалы гранитныя вывѣтриваются, подмываются; даже исполинскія тѣла небесныя гибнутъ. Если-же человѣчество есть явленіе живое и органическое, то тѣмъ болѣе ему долженъ настать конецъ. А если будетъ конецъ, то какая нужда намъ заботиться о благѣ будущихъ, далекихъ, вовсе даже непонятныхъ намъ поколѣній!.. Какъ можемъ мы надѣяться на всеобщую нравственную или практическую правду, когда самая теоретическая истина или разгадка земной жизни—до сихъ поръ скрыта отъ насъ за непроницаемою завѣсою»? («Наши новые христіане», стр. 23—24). Или еще: «...Благодѣтельное братство, доводящее людей до субъективнаго постояннаго удовольствія— не согласуется ни съ психологіей, ни съ соціологіей, ни съ историческимъ опытомъ» (id., стр. 34). Въ одномъ и въ другомъ случаѣ мысль о Промыслѣ просто не приходитъ ему на умъ; и тѣла церкви — какъ бы не существуетъ вовсе на землѣ; ни христіанства, ни Христа, ни, напр., этого глагола Его— «Я живу—и вы будете жить» (Іоанна, гл. 14, ст. 19). Онъ какъ-бы «схватывается» за церковное тѣло—на минуту, когда оно ему нужно было; и съ прекращеніемъ нужды—даже не помнитъ, край одѣянія чьего держалъ въ рукахъ.

Въ рабскомъ видѣ Царь Небесный
Исходилъ, благославляя.

Отсюда, изъ этого страннаго, почти языческаго забвенія вытекаетъ третья особенность насъ занимающаго писателя: чрезмѣрное преобладаніе въ немъ отрицанія надъ утвержденіемъ, отвращающагося чувства надъ любовью [1]), надеждою, порывомъ. Эстетическое начало есть по существу своему пассивное: оно вызываетъ насъ на созерцаніе, оно удерживаетъ, отвращаетъ насъ отъ всего, что ему противорѣчитъ; но бросить насъ на подвигъ, жертву — вотъ чего оно никогда не можетъ. Люди не соберутся въ крестовые походы, они не начнутъ революціи, не прольютъ крови... изъ-за Афродиты земной. И ее одну зналъ и любилъ истинно К. Леонтьевъ. Афродита Небесная, начало этическое въ человѣчествѣ — вотъ что движетъ, одушевляетъ, покоряетъ человѣка полно; за что, наконецъ, онъ проливалъ и никогда не устанетъ проливать кровь. Леонтьевъ не имѣлъ въ будущемъ надеждъ; но это оттого, что, заботясь о людяхъ, страшась за нихъ, онъ, въ сущности, не видѣлъ въ нихъ единственнаго, за что ихъ можно было бы уважать — и не уважалъ. Слѣпой къ родникамъ этическихъ движеній, какъ бы съ атрофированнымъ вкусомъ къ нимъ [2]), онъ не ощущалъ вкуса и къ человѣку — иного, чѣмъ какой могъ ощутить къ его одеждѣ, къ красотѣ его движеній, къ подобному... [3]). Странная пассивность всѣхъ отношеній къ дѣйствительности—что́ зовутъ его «реакціонерствомъ»—была уже естественнымъ плодомъ этого. Любить сохранившіеся остатки красоты въ жизни, собрать ея осколки и какъ-нибудь ихъ сцементировать—это было все, къ чему онъ умѣлъ призывать людей, что выходило изъ алфавита ему извѣстныхъ понятій и словъ. И умъ сильный, взглядъ твердый говорили ему, что все это—не надолго, что жизнь не можетъ стоять; и, между тѣмъ, онъ не могъ рвануться впередъ, не умѣлъ назвать, не видѣлъ, не понималъ того, силою чего въ исторіи человѣкъ порывался и порывается.

---

[1]) Говоримъ только объ его писаніяхъ, идеяхъ, строѣ міросозерцанія. Письма (частныя) его къ г. Губастову, печатавшіяся около двухъ лѣтъ въ «Русскомъ Обозрѣніи» (1896—1897 гг.) свидѣтельствуютъ, наоборотъ, о необыкновенной теплотѣ, отзывчивости его души какъ частнаго человѣка, какъ семьянина, хозяина и члена общества. Въ добромъ и кроткомъ онъ почти доходилъ (вопреки своимъ жестокосерднымъ теоріямъ) до смѣшного, какъ, напр., съ долгомъ своимъ «кавасу Яни», состоявшимъ изъ нѣсколькихъ десятковъ рублей, и который, бѣдствуя самъ и уже по истеченіи почти десятковъ лѣтъ со времени займа, онъ до смѣшного пытается уплатить, даже не зная, живъ этотъ турецкій подданный или нѣтъ. И множество подобныхъ же деталей рисуютъ его душу трогательными и нѣжными чертами.

[2]) См. замѣчательный отрывокъ изъ его письма къ І. Фуделю въ статьѣ послѣдняго: «Культурный идеалъ К. Н. Леонтьева».

[3]) См. его «Наши новые христіане—Ѳ. М. Достоевскій и гр. Л. Н. Толстой»; также любопытное его письмо-посланіе къ Фету (Шеншину) по поводу юбилея послѣдняго, напечатанное въ «Гражданинѣ».

IV.

И это тѣмъ удивительнѣе, что его взглядъ былъ обращенъ на Востокъ. Мы сказали — онъ былъ человѣкъ новый, единственный гражданинъ нѣкотораго мечтаемаго отечества; это—въ томъ смыслѣ, что онъ сбросилъ безъ остатка ветхую одежду западныхъ предразсудковъ, вѣрованій, привычекъ, надеждъ, понятій. Но, сбросивъ ихъ, онъ не облекся новымъ достаточнымъ; выразительность линій, яркость и пестрота красокъ—вотъ что въ его воображеніи вырисовывалось въ будущей ожидаемой цивилизаціи: великолѣпный порталъ, уходящіе въ небеса шпицы, но не священникъ, не таинства, не символы, не страхъ на землѣ и ожиданія за гробомъ. «Это — ночь, которую мы не отвергаемъ»,—могъ бы сказать онъ только о всемъ подобномъ. И онъ зналъ, онъ предчувствовалъ, онъ видѣлъ, что хотя бы удобствъ «утилитарно-эгалитарнаго прогресса» люди не бросятъ изъ-за жадно-мачившей его красоты линій.

Между тѣмъ, это-ли на Востокѣ? Та исторія, надъ которою онъ столько размышлялъ и всетаки понималъ ее только внѣшнимъ образомъ,—даже внѣшними массовыми движеніями своими могла бы указать ему на скрытыя въ ней этическія и религіозныя начала. Все движется опять къ Іерусалиму — таковъ смыслъ вѣковъ, смыслъ этой волны исторіи, которая гребнемъ своимъ отойдя отъ Палестины, Сиріи, обошла по всему побережью Средиземнаго моря, остановилась въ Испаніи, сіяла во Франціи, передвинулась въ Германію и Скандинавію, и, ясно понижаясь въ западной и средней Европѣ, вздымаетъ, тревожитъ сонныя воды на широкихъ равнинахъ нашей родины, уже почти соприкасающейся краемъ своимъ съ тѣми ветхими странами, отбуда началось движеніе. Смыслъ этого движенія кто разгадаетъ? Кто разгадаетъ будущее? Однако, ясно, что не для созерцанія какихъ-то красотъ мы туда подходимъ, и ясно также, что не для смерти.

Онъ во всемъ ошибся; онъ ошибся—мы повторяемъ безъ всякой боли о его памяти. «Я праздновалъ бы великій праздникъ радости, если бы кто нибудь несомнѣнными доводами убѣдилъ меня, что я заблуждаюсь», — такъ въ одномъ изъ своихъ трудовъ высказался этотъ замѣчательный человѣкъ о составѣ своихъ доктринъ. Благородный и истинно великій, онъ несъ свои идеи какъ тягость, какъ болѣзнь; и очень печальна судьба, что ложность этой болѣзни, призрачность этой тягости становится ясна такъ поздно, что уже не можетъ прозвучать для него облегчающею вѣстью. Такъ, благородная душа, — ты ошиблась; и ты не сошла бы такъ уныло въ могилу, еслибы жила истиною, а не этимъ заблужденіемъ. Развѣ уже нѣтъ утѣшенія въ томъ, что истина—всегда радостна, что все печальное ее ipso есть и заблужденіе? Развѣ это не залогъ, что Богъ и жизнь—одно, и какъ вѣченъ Онъ—не умретъ она.

1895 г.

Катковъ, „какъ государственный человѣкъ".

Не имамы здѣ пребывающаго града,
но грядущаго взыскуемъ.
Посланіе къ евр., 13, ст. 14.

Подъ этимъ заглавіемъ, которое мы повторяемъ въ заглавіи своей статьи, г. Грингмутъ помѣстилъ статью въ юбилейномъ сборникѣ «Памяти М. Н. Каткова. 1887—20 іюля—1897 г.». — Намъ хочется взять покойнаго публициста не въ эмпирическихъ данныхъ, въ которыхъ выразилась его дѣятельность, не въ колебаніяхъ, какія были у него, не въ слабостяхъ, на которыя указывали; намъ хочется взять его въ силѣ, въ идеалѣ—тамъ, гдѣ онъ никогда не колебался и окруженъ похвалою, и, подойдя къ этому идеалу, къ этому какъ-бы прототипу эмпирическаго Каткова, показать его недостаточность и ограниченность, его, наконецъ, минутность.

По истеченіи десяти лѣтъ подробности дѣятельности стушевываются, и тѣмъ выпуклѣе обрисовываются ея общіе контуры; выникаетъ и остается то идеальное, что руководило этимъ и тѣмъ, а въ концѣ концовъ и всѣми частными понятіями, словами, практическими рѣшеніями человѣка. Г. Грингмутъ очень удачно и исторически правильно освѣщаетъ это идеальное въ Катковѣ черезъ сопоставленіе съ идеальнымъ-же въ двухъ большихъ нашихъ партіяхъ, славянофилахъ и западникахъ: онъ говоритъ—и мы только смягчимъ угловатости его рѣчи, объясняемыя полемическимъ чувствомъ, итакъ—онъ говоритъ и формулируетъ:

«Программа славянофиловъ требовала такого измѣненія въ строѣ жизни [1]) для искусственнаго возсозданія древней Москов-

[1]) «Требовала такой коренной ломки государственныхъ учрежденій», говоритъ г. Грингмутъ; наши смягченія не простираются дальше этихъ жесткихъ и узкихъ опредѣленій, не касаясь нигдѣ мысли автора.

ской [1]) Руси въ ея стародавней простотѣ и невозвратимой патріархальности, что въ Петербургѣ относились къ этой программѣ съ величайшимъ недовѣріемъ, смѣшивая славянофиловъ въ одну кучу неблагонамѣренныхъ людей вмѣстѣ съ нашими либералами-западниками, которые тоже требовали измѣненія Россіи [2]), но уже съ совершенно другою цѣлью. Правда, правительство имѣло нѣкоторое основаніе относиться подозрительно къ этимъ реформаторамъ двухъ совершенно различныхъ категорій, ибо если славянофилы и слышать не хотѣли о западническихъ реформахъ либераловъ и въ особенности о ихъ парламентскихъ затѣяхъ, то либералы, наоборотъ, очень сочувствовали программѣ славянофиловъ [3]) въ той части ея гдѣ она включала въ себя требованіе перемѣнъ, такъ какъ они по принципу стоятъ за всякій видъ перемѣнъ [4]), въ надеждѣ чѣмъ-нибудь при нихъ поживиться и вообще нарушить прочность государственныхъ и народныхъ традицій. Въ особенности-же они всегда сочувствовали славянофильскимъ требованіямъ возсозданія «земскаго собора», такъ какъ отлично понимали, что этотъ «соборъ» можно будетъ превратить въ самый банальный западный парламентъ, столь ненавистный самимъ славянофиламъ, вполнѣ основательно видящимъ въ немъ верхъ вреднѣйшаго абсурда для Россіи.

«Какъ-бы то ни было, но славянофилы и либералы, расходясь между собою въ своихъ основныхъ началахъ и конечныхъ цѣляхъ, тѣмъ не менѣе сходились въ однемъ: въ необходимости перемѣнъ въ современной Россіи въ цѣляхъ возвращенія ея или къ типу до-петровской Руси, или къ типу западно-конституціоннаго государства, начиная съ ограниченной монархіи и кончая республиканскими Соединенными Штатами. Удовлетворить какъ тѣхъ, такъ и другихъ правительство могло лишь политикой опаснѣйшихъ экспериментовъ и попытокъ, имѣвшихъ цѣлью либо возвратиться въ безвозвратно исчезнувшее прошлое, либо рвануться впередъ въ погонѣ за совершенно чуждыми Россіи и по существу своему негодными учрежденіями Запада. Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ правительству предлагалось сдѣлать прыжокъ въ мрачную неизвѣстность.

«Правительство отказывалось отъ подобныхъ головоломныхъ salto mortale и предпочитало довольствоваться синицей въ рукахъ

---

[1]) А Кіевской? Вообще все изложеніе г. Грингмута не очень точно, и поэтому наши смягченія возвращаютъ только его рѣчь къ дѣйствительности, къ дѣйствительной программѣ партій. Въ самомъ дѣлѣ, сказать или подумать, что филантропъ Новиковъ (западникъ) и молившійся въ Оптиной пустыни Ив. Кирѣевскій (славянофилъ) имѣли «программою» сломать правительство— значитъ очень мало понять «дыханіе жизни» нашей умственной исторіи.

[2]) «Требовали и коренной ломки Россіи, и полнаго ея переустройства».

[3]) «Сочувствовали коренной ломкѣ, предлагавшейся славянофилами».

[4]) «По принципу стоятъ за всякую ломку всего существующаго».

въ видѣ *настоящаго* (курсивы здѣсь и ниже вездѣ автора) положенія Россіи, не гоняясь за журавлемъ въ небѣ въ видѣ ея до-Петровскаго *прошедшаго* и западническаго *будущаго*.

«И вотъ является Катковъ и впервые провозглашаетъ, что Россія *и въ настоящемъ своемъ положеніи* совершенно здорова, что она не нуждается ни въ славянофильскихъ, ни въ либеральныхъ переустройствахъ, чтобы идти по пути православія, самодержавія и народности; что для этого нужно только *вѣрить въ себя*, *вѣрить въ свои силы* и, искренно уповая на Бога, беззавѣтно повинуясь Царю и крѣпко опираясь на русскій народъ, бодро смотрѣть въ глаза своимъ внѣшнимъ и внутреннимъ врагамъ. Въ этомъ именно и заключается великая государственная заслуга Каткова: онъ увѣровалъ и заставилъ своихъ послѣдователей увѣровать въ *настоящую*, *реальную* Россію, тогда какъ славянофилы и либералы соглашались вѣрить только въ несуществующую въ дѣйствительности, а лишь предносившуюся ихъ воображенію совершенно утопическую Россію. Туманныя противорѣчивыя понятія, проявлявшіяся то у одного, то у другого славянофила, представляли какую-то хаотическую массу, въ которой трудно было разобраться. Съ огненною яркостью, точностью и опредѣленностью засіяло на этомъ туманномъ фонѣ государственное міросозерцаніе Каткова, вылившееся въ его свѣтломъ, логическомъ, точномъ умѣ въ стройное, гармоническое, несокрушимое цѣлое» («Памяти М. Н. Каткова», стр. 55 и слѣд.) [1]).

Оставимъ славянофиловъ и западниковъ; даже въ смягченной нами формулировкѣ ихъ взглядовъ, какую сдѣлалъ г. Грингмутъ, намъ не захотѣлось-бы слить своего лица, по крайней мѣрѣ сейчасъ слить, подъ впечатлѣніемъ формулы — ни съ которою изъ этихъ партій. Оставимъ ихъ: и вотъ, однако же, общее у нихъ— алканіе; и вотъ общее же у Каткова, неизмѣнное на протяженіи всей его дѣятельности — сытость: сытость души эмпирическимъ содержаніемъ дѣйствительности. «Въ этомъ заключается великая государственная заслуга Каткова», — говоритъ г. Грингмутъ. О, нѣтъ, отвѣтимъ мы: въ этомъ его малость; въ этомъ и только въ этомъ лежитъ губительная для его памяти сторона его дѣятельности, тутъ — червь, точащій его пирамиду, и, наконецъ, мы рѣшаемся даже это сказать: тутъ, въ этомъ практицизмѣ его лежитъ именно мечтательность его ума, неопытность сердца, незнаніе дѣйствительности. Тутъ онъ иллюзіонистъ, создатель самыхъ короткихъ и близко гибнущихъ видѣній. Но чтобы показать это, намъ нужно сдѣлать, чтобы читатель на минуту, только на минуту забылъ, что онъ читаетъ «ежедневную» и «политическую» газету,

[1]) Такъ-же, т. е. съ этими-же чертами эмпиризма, характеризуетъ Каткова и Н. Любимовъ въ книгѣ своей «М. Н. Катковъ. По личнымъ воспоминаніямъ».

и довѣрясь — только на секунду — пошелъ-бы за нами въ нѣкоторый въ своемъ родѣ туманъ «видѣній», гдѣ мы ему покажемъ истину.

Итакъ забудемъ «Каткова» и его «десятилѣтнюю память». Передъ нами панорама исторіи; панорама уже неоспоримаго величія, гдѣ мы можемъ научаться, что́ создаетъ его, т. е. создаетъ истинное, народами признанное, народами оплакиваемое и воспоминаемое величіе. Удивительно: исторія вся развертывается въ два, собственно, ряда людей—истинныхъ зиждителей всего ея узора: юродивыхъ и полководцевъ. Вы поражены, вы спрашиваете: гдѣ-же законодатели, дипломаты, политики? гдѣ, наконецъ, князья, цари? сословія, народъ? Они *идутъ*, но *не ведутъ*. Кромвель и въ дальнемъ разстояніи отъ него — Джонъ Ноксъ, страстный проповѣдникъ, котораго однажды прихожане церкви, выведя изъ храма, стали топтать ногами, послѣ чего, очнувшись, онъ убѣжалъ въ свое дупло,—да, въ настоящее дупло дерева, которое служило ему домомъ. Что за фантасмагорія!.. Но она—дѣйствительность, т. е. она на два вѣка опредѣлила собою дѣйствительность. Развѣ не былъ вполнѣ юродивымъ Лойола: вообразить, начитавшись рыцарскихъ романовъ, что онъ будетъ сражаться за даму, имени которой даже не зналъ; а получивъ рану въ ногу и ставъ хромымъ—вообразить, что, такъ какъ дамѣ теперь онъ не угоденъ, то будетъ служить съ такой же вѣрностью церкви. Да, когда онъ повѣсилъ щитъ и латы въ маленькой часовенкѣ Божіей Матери и молился ей... онъ смѣшивалъ, конечно, эту Божію Матерь съ тою таинственной безъимянной «donna», которой первоначально хотѣлъ служить; и потомъ всю жизнь — sanctam ecclesiam, святую церковь, смѣшивалъ, не ясно отдѣлялъ отъ Божіей Матери. Какой туманъ мечты, какая безбрежность воображенія! — и даже Помбаль и Шуазель, самые ловкіе министры самыхъ невѣрующихъ королей, едва-едва имѣли силы «проткнуть» этотъ фантастическій туманъ; да и то на долго-ли? выгнанные, іезуиты вернулись снова: «по милости Божіей, революція, противъ насъ собственно поднятая, намъ-же въ пользу и послужила», формулировали они между 1815 и 1830 годами.

Очень мало извѣстно, что такое была г-жа Крюднеръ послѣ 1815 года: знаютъ только всѣ, и теперь это документально доказано, что мысль Священнаго союза ей принадлежитъ, что эта мысль въ ней и ни въ комъ еще зародилась, какъ чаяніе, какъ предположеніе. Въ юности танцорка и очень чувственная женщина, она странно кончила: именно, она стала бродить по бѣднѣйшимъ германскимъ деревнямъ, посѣщать на фабрикахъ рабочихъ, и, проводя тамъ недѣли и мѣсяцы, возвращалась на минуты въ великосвѣтское общество, къ которому собственно принадлежала, и тогда съ упреками говорила всѣмъ, что они должны пойти къ этимъ бѣднымъ, замученнымъ нищетою людямъ, и помочь имъ. Юродивая, и

еще женщина: когда она пріѣхала въ Петербургъ, императоръ Александръ I, уже заключившій Священный союзъ, не хотѣлъ болѣе принять и видѣть фантазерку. Идея Священнаго союза была промежуточною ступенью лѣстницы, по которой отъ танцевъ и лучшихъ еще удовольствій она восходила къ странному бродяжничеству; но вотъ фактъ, что отъ 1815 до 1848 г., т. е. включая дѣятельность Меттерниха и Гизо, дипломатія Европы—да, эта хитрая и «умная» дипломатія, — во всемъ опиралась и всегда принимала къ разсчетамъ странный бредъ странной женщины—ткала по нему «цвѣточки».

Когда Густавъ Адольфъ и Тилли, «всегда непобѣдимый Тилли», а потомъ за нимъ и Валленштейнъ, напрягали въ борьбѣ силы и сопрягали въ борьбу силы почти всей Европы, — за какой странный туманъ мысли они боролись: можно-ли или нельзя оправдаться одной вѣрою. Именно мучась этимъ вопросомъ, во время торжественнѣйшей у католиковъ процессіи «несенія сердца Господня», съ Лютеромъ сдѣлалось дурно, и, здоровый монахъ, онъ упалъ въ обморокъ при мысли, что несетъ тѣло Господне, когда обремененъ «не прощенымъ» и какими-то «не прощаемыми»— кстати, вѣрно у него бывшими — «грѣхами». Фантастика, какъ и колебанія блаженнаго, въ самомъ дѣлѣ «блаженнаго», Августина между антиками и евангеліемъ, чувственностью и аскетизмомъ. Его «Градъ Божій», «Civitas Dei», есть что-то въ родѣ Священнаго-же союза, но только прочнѣе воздвигнувшееся и всемірнѣе раскинувшееся: за цѣлость этого-то «Civitas Dei» противъ сомнѣнія Лютера и встали Тилли и Валленштейнъ. Тамъ и здѣсь равно туманъ воображенія; какъ равно—если мы не хотимъ ограничиться христіанствомъ, такъ какъ имъ не ограничивается исторія—и у Магомета: «болѣе всего въ жизни любилъ я прекрасныхъ женщинъ и ароматы — но истинное наслажденіе находилъ только въ молитвѣ»; вѣхи бытія, категоріи желаемаго, которыя въ обратномъ порядкѣ могла-бы указать у себя Крюднеръ: «очень любила я молиться; еще болѣе — танцовать, но истинное наслажденіе находила только въ мужчинѣ»; за то-же ею созданное и продержалось 30 лѣтъ, тогда какъ имъ созданное — пережило тысячелѣтіе. «Юродивые», т. е. уродливые, и еще съ печатью какого-то космическаго неприличія на себѣ—истинные «хромцы» духа. Это легенды передаютъ о Тамерланѣ, что когда онъ родился, то, сверхъ всякаго другого безобразія, оказался еще и «хромцомъ»; Іаковъ тоже сталъ хромать», проборовшись цѣлую ночь съ Богомъ, «до утра». И всѣ они ясно, эти юродивые, гдѣ-то и какъ-то «поборолись съ Богомъ» и чувствуютъ Его: таинственное теистическое дуновеніе, при всей яркой и не укрытой отъ человѣчества «хромотѣ» ихъ, собственно у нихъ однихъ и замѣчается. Въ XVIII вѣкѣ у одного Руссо мы видимъ его, къ удивленію, къ негодованію «салоновъ» и «философовъ».

Никогда, ни однажды, ни ради какихъ успѣховъ онъ не покинулъ идей «Савойскаго викарія»—онъ, «Confessions» котораго такъ напоминаютъ въ одномъ опредѣленномъ направленіи «хромоты» «Confessions» Августина. Да — это вотъ еще юродивый; онъ вѣчно «пѣлъ» о чемъ-то; не видѣлъ и даже не зналъ (не предугадывалъ) революціи, но позвалъ ее: «безъ Руссо не было-бы революціи», формулировалъ Наполеонъ I, а онъ и умѣлъ формулировать, а главное — пережилъ, и даже въ сердцѣ своемъ пережилъ всѣ ея перипетіи. Странныя пѣсни, вполнѣ мистическая пѣснь: какъ удивителенъ языкъ Руссо; кто научилъ его ему? до него, даже при немъ и даже послѣ него именно такъ никто не умѣлъ, не могъ и — мы рѣшаемся это сказать — не смѣлъ-бы заговорить. Что-то манящее, какой-то зовъ: вѣрно что-то очень похожее на то, что между четырехъ глазъ произошло и на всегда осталось тайною между Александромъ I, недовѣрчивымъ, скептичнымъ, боящимся смѣшного, и между дѣйствительно смѣшною женщиной—Крюднеръ. «Ветхій деньми» туманъ, происхожденія котораго мы не знаемъ: онъ осѣдаетъ, выходя изъ какихъ-то глубинъ, на человѣкѣ, и — вчера растлѣнный, завтра юродивый — сегодня, вотъ на краткія минуты «аудіенціи», онъ является въ нимбѣ таинственнаго сіянія, которое остается памятно и на всю жизнь вліятельно даже въ томъ, кто на завтра не захочетъ принять, допустить до себя этого человѣка.—Что-то святое дѣлается въ исторіи, — мы не умѣемъ лучше назвать: ибо въ этомъ словѣ совмѣщены необходимые предикаты неразгадываемаго, мощнаго, очаровывающаго, что мы находимъ всегда въ этихъ секундахъ.—«Какіе-то голоса я слышала».—«Чьи голоса, юродивая?»—«Мнѣ кажется—святой Екатерины, но можетъ быть и святой Елизаветы»: вотъ краткій діалогъ въ основѣ исторіи Жанны д'Аркъ, въ дѣйствительность коей мы ни за что-бы не повѣрили, если-бы она не была документально засвидѣтельствована. Теперь—опрокинемъ всѣ эти панорамы; передъ нами—день этого мѣсяца и года, «ежедневная» и «политическая» газета, и частный вопросъ, насъ занимающій.

«Катковъ» и его «десятилѣтняя» память; Катковъ «какъ великій государственный человѣкъ». Нѣтъ — малый. Почему? Онъ — среди идущихъ, а не тѣхъ, которые ведутъ. Его сущность, какъ она правдиво формулирована г. Грингмутомъ, и заключается не только въ отсутствіи, но до извѣстной степени въ коренномъ отрицаніи — въ отрицаніи на вѣка, въ отрицаніи для всего народа этихъ «зовущихъ голосовъ», этихъ таинственныхъ «зововъ», на которые, оборачивая во всѣ стороны голову, мы не понимаемъ, откуда они несутся, но почему-то, всѣ дѣла бросая, спѣшимъ ихъ выполнить. Какъ это прекрасно выразилъ нашъ поэтъ, очевидно, въ себѣ эту глубокую тайну почувствовавъ:

...Изъ пламя и свѣта
Рожденное слово...
. . . . . .
И гдѣ я ни буду,
Услышавъ его я,
Узнаю повсюду;
Не кончивъ молитвы,
На звукъ тотъ отвѣчу
И брошусь изъ битвы
Ему я на встрѣчу.

Мы выше назвали Каткова «мечтателемъ»: это — потому, что имъ не принята въ разсчетъ коренная дѣйствительность исторіи, самый главный ея нервъ, хотя въ то же время и наиболѣе тонкій, менѣе всего грубо нащупываемый; и потому-же еще мы назвали его «неопытнымъ сердцемъ»: онъ не зналъ человѣческаго сердца въ древнѣйшихъ, исконнѣйшихъ его основаніяхъ — тѣхъ основаніяхъ, которыя бросили военную Францію за 17-ти лѣтнею дѣвушкою, кинули Карно и даже позднѣе Бонапарта распространять «исповѣданіе савойскаго викарія» и, наконецъ, циничную и растлѣнную, какова она была при Борджіяхъ, римскую церковь повлекли вслѣдъ страннаго паладина, еще менѣе разсудительнаго, чѣмъ герой Ла-Манча. Все это, вся эта грамота психики и реальнѣйшей дѣйствительности осталась непонятною Каткову. Конечно, подобныхъ движеній мы у себя не знали; все было у насъ меньше, блѣднѣе; и съуженность русской исторіи, сравнительно съ европейскою, заключается въ томъ, что «ветхій деньми» туманъ «юродства» и истинной хромоты духа» чуть-чуть брезжилъ у насъ въ почти-политическихъ, т. е. узкихъ и сухихъ, слишкомъ «умныхъ» для настоящей значительности, партіяхъ славянофиловъ и западниковъ. Но и это ему не понравилось: даже блѣдную зарю «взыскуемаго града»—какъ еще говоритъ и, говоря, конечно, освящаетъ Апостолъ—онъ хотѣлъ-бы согнать съ сѣренькаго неба нашей исторіи. Онѣ еще «ищутъ», эти партіи; онѣ «алчутъ»—когда онъ такъ «сытъ». Въ самомъ дѣлѣ, какая бѣда и «мука» для уравновѣшенности отъ этого! И вотъ «великій государственный человѣкъ», взявъ въ руки «государственную клюку», хотѣлъ-бы вымести всю эту «мистику»; или, какъ говоритъ Ѳедоръ Павловичъ Карамазовъ своей женѣ «кликушѣ»: «я изъ тебя эту мистику-то выбью», не подозрѣвая, что «малѣйшій въ царствѣ семъ» непреоборимо сильнѣе его, и, какъ гиппопотамъ Іова, безъ труда и даже равнодушно мнетъ «выгребающія клюки», подобныя для него «мягкому тростнику». Вотъ, мы, «искренно уповая», какъ и г. Грингмутъ, «на Бога», окончили анализъ «идеала», и опредѣлили «великое» какъ малое, поставивъ на мѣсто его кой-что «малое», но что́ и для Бога, а главное—для самихъ людей, есть истинно «великое», оплакиваемое и возлюбленное.

1897 г.

Литературно-общественный „кризисъ“.

Въ одномъ уголкѣ нашего литературнаго міра происходитъ чрезвычайное волненіе. Радикально-экономическое его теченіе, которое всегда звалось «народническимъ» и гордилось этимъ именемъ, видѣло въ имени этомъ знамя и программу, выдѣлило изъ себя вѣтвь, которая если и не называетъ себя, то ее можно назвать анти-народническою, потому что, употребляя постоянно это имя, она не упоминаетъ его иначе, какъ въ ироническихъ ковычкахъ и въ окруженіи насмѣшекъ. Нѣтъ болѣе г. Глѣба Успенскаго, не появляется на страницахъ журналовъ г. Златовратскій; мы не можемъ услышать ихъ вѣскаго и авторитетнаго слова о новомъ расколѣ въ партіи, которой они когда-то руководили и въ значительной части ее создали. Гдѣ ихъ «устои»? Гдѣ «власть земли»? Все это ихъ собственными учениками, юнѣйшими дѣтьми еще не дряхлыхъ отцовъ, объявляется «романтизмомъ», ребячествомъ, противо-наукою. Да, все это было ими подумано и высказано безъ науки, противъ науки; и вотъ почему все это оказалось такъ непрочно. Но какой науки? и кто, наконецъ, ея адепты?

Науки Карла Маркса, изложенной въ его классическомъ изслѣдованіи «Капиталъ»; науки, адепты которой со страницъ своихъ журналовъ съ чрезвычайной горячностью призываютъ на Россію «капиталистическій строй». Но что дѣлаетъ ихъ неуязвимыми, что ихъ ставитъ внѣ всякихъ подозрѣній, что подрываетъ всякую почву у ихъ противниковъ—это то, что они призываютъ капиталистическій строй, какъ необходимое предвареніе имѣющей настать послѣ него эры труда. Такимъ образомъ, они являются также «народниками»: «народное» есть ихъ конечный идеалъ, но... черезъ тысячу лѣтъ—это есть нѣкоторый «рай», котораго, однако, можно и нужно достичь проползя предварительно въ мукахъ капиталистическаго «ада» и «чистилища».

Все хорошо сосчитано здѣсь, но только излишне далеко разсчитано. Въ сентябрьской книжкѣ «Вѣстника Европы» за 1897 г. г. Слонимскій, въ статьѣ, которую нельзя не назвать любопытною и здравомысленною («Карлъ Марксъ въ русской литературѣ»), даетъ слѣдующую иллюстрацію нашего книжнаго теоретизма, который рѣшительно не только не считается съ фактами, но и не замѣчаетъ ихъ даже и тогда, когда они окружаютъ его, когда онъ на нихъ смотритъ и, наконецъ, о нихъ именно разсуждаетъ: «Не поразительны ли эти тревожные въ литературѣ толки о томъ, явится ли къ намъ капитализмъ или нѣтъ, когда на дѣлѣ онъ живетъ и распоряжается среди насъ съ давнихъ временъ? Мы постоянно употребляемъ продукты капиталистическаго производства; мы окружены ими въ домашнемъ быту и видимъ огромныя массы ихъ въ лавкахъ и магазинахъ; мы одѣты съ ногъ до головы въ фабричныя издѣлія, пользуемся заводскою посудою, пишемъ фабричнымъ перомъ на фабричной бумагѣ, ѣздимъ въ экипажахъ, вышедшихъ изъ капиталистическихъ мастерскихъ, и путешествуемъ на желѣзныхъ дорогахъ и пароходахъ, наглядно свидѣтельствующихъ о капитализмѣ, наши книги и статьи печатаются въ капиталистическихъ типографіяхъ, и въ этихъ книгахъ и статьяхъ мы встрѣчаемъ глубокомысленныя разсужденія о вѣроятныхъ шансахъ появленія у насъ капитализма. Сколько теоретическаго ослѣпленія, сколько предвзятой вѣры въ каждое слово Маркса нужно для того, чтобы не замѣчать всей окружающей насъ дѣйствительности и упорно предаваться безцѣльной софистикѣ, представляя себѣ общеизвѣстныя вещи на выворотъ» (стр, 303 и 304).

Вотъ довольно правдоподобное изображеніе нашихъ юныхъ волненій. Разсчеты нео-марксистовъ на тысячу лѣтъ также вытекаютъ изъ этого теоретизма, который перестаетъ видѣть, слышать и обонять. Построенія Карла Маркса овладѣли мыслью нашихъ теоретиковъ; они ихъ гипнотизировали, какъ глаза очковой змѣи гипнотизируютъ маленькую птичку, и она, вмѣсто того, чтобы летѣть отъ чудовища, безсильно падаетъ ему въ пасть. Птичка, конечно, могла бы улетѣть прочь, какъ только она перестала бы смотрѣть на чудовище; и мы думаемъ — муки капиталистическаго строя, которыхъ, кстати, никто не отвергаетъ, не только обходимы, но они и безъ всякаго труда могутъ быть обойдены, какъ только мы выйдемъ изъ-подъ гипноза экономическихъ идей и примемъ въ разсчетъ всю полноту бытія человѣческаго, оглянемся ясно на ясную лежащую окрестъ насъ природу и вообще станемъ думать, прислушиваться и понимать не часть дѣйствительности, а полную дѣйствительность.

Нео-марксисты говорятъ о Россіи; но вотъ, возьмемъ два факта, одинъ постоянный и географическій, и другой историческій и минутный, но который можно съ такою же легкостью, какъ Карлъ

Марксъ сдѣлалъ это съ экономическою идеею, раздвинуть въ обширную историческую панораму.

Россія съ наиболѣе протяженной своей стороны примыкаетъ къ Ледовитому океану; «государство Россійское», со всей градаціей его уѣздовъ, губерній, волостей, становъ не столько переходитъ, сколько теряется, и теряется неуловимо, неизвѣстно съ какихъ точекъ начиная—въ тундрахъ, болотахъ, тайгѣ, гдѣ всѣ эти градаціи администраціи становятся болѣе или менѣе призрачны и мнимы, означены на картѣ и вовсе не означаются и ничѣмъ не выражены въ дѣйствительности. Г. Слонимскій, въ приведенной выдержкѣ, замѣчаетъ, что капиталистическій строй уже вошелъ къ намъ; въ другихъ мѣстахъ своей статьи онъ говоритъ, что главная и собственно единственная черта этого строя — «отдѣленіе продукта производства отъ производителя-работника, который за работу получаетъ часть ея стоимости»,—уже читается въ нѣкоторыхъ статьяхъ «Русской Правды». Ясно, что испуганные марксисты не объ этомъ частичномъ явленіи говорятъ: они исполнены далекихъ надеждъ и близкаго страха передъ всеохватывающими капиталистическими отношеніями, передъ всеотъемлемостью и повсемѣстностью капиталистическаго строя, въ формахъ котораго станетъ биться и въ нихъ «очищаться» вся полнота народнаго бытія. И вотъ мы указываемъ географическій поясъ, притомъ неопредѣленнаго растяженія, куда и за который никогда не проникнетъ настоящая государственность и еще менѣе проникаетъ интенсивная, капиталистическая производительность, съ ея подробностями: раздѣленіемъ труда, машинностью производства, крупнымъ капиталомъ и всего лишеннымъ, во всемъ «обокраденнымъ»—по довольно справедливому подозрѣнію соціалистовъ — работникомъ. Вотъ граница капитализма, лежащая въ условіяхъ «лычнаго края», страны «морошки», «ягеля» и «оленя». Оттуда, какъ изъ неумирающаго эмбріона, въ самый капиталистическій строй, если бы онъ раскинулся южнѣе, будутъ или, по крайней мѣрѣ, могутъ всегда вторгаться отношенія, а, наконецъ, и идеи анти-капиталистическія. Ломоносовъ, какъ и Зосима и Савватій, какъ замученный митрополитъ Филиппъ—всѣ были изъ этихъ странъ; и между XX и XXIV столѣтіями оттуда же могутъ придти люди равной и еще большей силы, съ тою же непобѣдимой мыслью, всеувлекающимъ примѣромъ, подымающимъ сердца словомъ, и, самое главное: люди, нисколько не зараженные капитализмомъ въ условіяхъ быта вскормившей ихъ земли. Мы говоримъ о спеціально нашей странѣ, о которой спеціально говорятъ и наши нео-марксисты; но если мы оглянемся на географію иныхъ странъ, мы увидимъ, что цѣлый обширнѣйшій кругъ ихъ, пройдя рѣшительно всяческіе фазисы историческаго существованія, никогда не зналъ одного—капиталистическаго. Примѣръ—Византія. Отъ пелазговъ и до прихода турокъ, проживъ

$2^1/_2$ тысячи лѣтъ, она ни на одну минуту не сдѣлалась капиталистическою; и тотъ вопросъ о пролетаріатѣ, который такъ тяготилъ Римъ, никогда не тяготилъ ни Аѳины, ни Спарту, ни Константинополь... Въ Римѣ рабочій вопросъ былъ, въ Византіи — нѣтъ; и очевидно, есть, сверхъ экономическихъ, еще какія-то условія существованія, доминирующія надъ экономическими, и то дающія имъ просторъ, то ихъ задерживающія. Но здѣсь мы перейдемъ къ маленькому историческому явленію, на которое хотѣли указать сверхъ общаго и постояннаго географическаго факта.

Это—не такъ давно закопавшіеся у насъ на югѣ раскольники-сектанты. О нихъ было распрошено; всѣ обстоятельства ужасной ихъ смерти вскрыты; и какъ юристы, такъ и богословы, наконецъ даже психіатры растерялись передъ фактомъ. Но во всякомъ случаѣ—вотъ психическая атмосфера, которая можетъ быть раздвинута по произволу далеко, которая объемлетъ очень значительныя части нашего населенія уже и теперь, и куда если бы вы ввели идеи Карла Маркса, вы увидѣли бы, что онѣ ни съ чѣмъ тутъ не сливаются и съ ними ничто здѣсь не сливается. Это какъ бы масло и вода, которыя не умѣютъ слипнуться и никогда, рѣшительно никогда, ничего общаго не создадутъ изъ себя. Вотъ фактъ, котораго никто не захочетъ оспорить; что же это за атмосфера? принадлежитъ-ли она спеціальностямъ догматическаго ученія сектантовъ? Эта несливаемость ея съ экономическими ужасами, какъ и вожделѣніями, входитъ ли въ ихъ вѣроученіе? Нѣтъ и нѣтъ. Мы имѣемъ интенсивную, т.-е. напряженную до крайности, *религіозную* культуру, какъ бы ни низкопробно было ея содержаніе, ея «вѣроученіе»; мы имѣемъ духъ и настроеніе, аналогичные съ тѣмъ, какой овладѣлъ Византіей во время великихъ богословскихъ споровъ; и вотъ, тамъ и здѣсь, интенсивная *экономическая* культура равно невозможна: она не просачивается сюда, просто она не находитъ мѣста для себя, ей не открыты поры, черезъ которыя проникнувъ въ организмъ, она разрушила бы его, какъ проникаетъ черезъ поры, по существу уже мертваго внутри, соціальнаго организма и тогда начинаетъ его уродовать, являясь въ немъ доминирующимъ механическимъ закономъ

Иногда хочется, черезъ ближайшую тысячу лѣтъ «чистилища», заглянуть въ слѣдующую тысячу лѣтъ, которую какъ «рай», намъ обѣщаютъ нео-марксисты. Это—эра «труда» и «только» труда, какъ формулируютъ строго и нетерпѣливо они. И такъ, билліоны четвертей картофеля, «своими руками» выкопаннаго, съѣдены; но въ то время какъ они перевариваются въ желудкѣ, о чемъ же будутъ говорить или думать обладатели этихъ желудковъ? Т.-е. съ «искрой», увлеченіемъ, «румянцемъ», на щекахъ говорить? со «счастьемъ» думать? Какъ только кто-либо такъ заговорилъ бы или подумалъ, тѣмъ самымъ онъ и отмѣнилъ бы законъ экономизма какъ высшій, под-

палъ бы иной нормѣ бытія и, въ сущности, глубочайшимъ образомъ потрясъ бы весь «райскій» строй. Всякая живая тема — это уже новая жизнь, струйка иной жизни, просочившаяся въ экономическій строй, и какъ «ртуть», пущенная «по водѣ», она прорвала бы плотину желудочно ручного благополучія. А внѣ этой мысли? безъ такихъ «темъ»? — дѣйствительно только усталые и дѣйствительно сытые только... неужели люди были бы счастливѣе, теперь въ тундрахъ около вертящагося шамана, чѣмъ въ Аравіи бедуины, чѣмъ спутники Чингисъ-хана, вѣка вспоминавшіе «минутку» своихъ походовъ и побѣдъ? И такъ, никакого плюса передъ прежнимъ и настоящимъ тутъ не содержится,—и совершенно не понятно, марксисты вовсе не могутъ объяснить, почему именно мы должны втягиваться въ эру не отвергаемыхъ и ими мукъ, чтобы вступить... въ то же и даже меньшее, чѣмъ то, что мы имѣемъ теперь?

Въ августовской книжкѣ марксистскаго «Новаго Слова» за 1897 г. высказанъ слѣдующій взглядъ на значеніе или, точнѣй, на незначительность всякихъ идей въ исторіи; замѣтимъ, что статья полемическая, и отсюда проистекаетъ форма вопроса въ разсужденіяхъ автора: «почему это представляется всѣмъ, будто высшее образованіе обладаетъ какой-то специфической способностью претворять культуру?.. Да и наконецъ, что такое вся интеллигенція, какъ не простое и послушное орудіе въ рукахъ крупныхъ денежныхъ магнатовъ?» (отд. II, стр. 144). Капитализмъ, какъ начало господствующее надъ идеями; люди науки и вообще мысли, какъ простые рабы денежныхъ людей — мысль эта пронизываетъ всѣ страницы дѣйствительно «новаго», въ нашей литературѣ, «слова»; къ этой же подчиненной роли около капитала сводится и государство, это же рабство уготовывается и рабочему: въ статьѣ г. Туганъ-Барановскаго «Народники крѣпостной эпохи» разбирается, и насмѣшливо, попытка въ царствованіе императора Николая I улучшить положеніе рабочихъ на фабрикахъ: именно—установить, чтобы они не оставлялись ночью и не спали около машинъ на фабрикѣ. «Тѣмъ дѣло и кончилось, — говоритъ авторъ, — Мейендорфъ былъ такъ остороженъ, что не болѣе 20 фабрикантовъ и то по возможности, т.-е. насколько сами захотѣли, исполнили Высочайшую волю» (отд. I, стр. 85). Конечно, все это молодой теоретизмъ, юныя сорадованія «наукѣ», но вѣдь и отъ нихъ можно потребовать оглянуться, каково же въ самомъ дѣлѣ, при ночлегѣ около станка, рабочему приниматься за работу безъ всякаго предварительно свободнаго движенія по утру, хотя бы пока онъ перебегаетъ черезъ дворъ? Вѣдь если «ad majorem gloriam Dei», то̀ и то̀ не было позволительно, то ad majorem gloriam Marksi... Да и какой-же это «божокъ», и сколько ребячества во всей этой вчера выросшей «наукѣ»?

Нео-марксисты не замѣтили, что лишь нѣкоторыя узко-опредѣленные циклы идей дѣйствительно поддаются и подчиняются капиталистическому настроенію ли, владычеству ли: именно, всѣ логическія идеи—въ тѣсномъ смыслѣ «наука»; и вовсе не поддаются ему идеи жизненныя, которыхъ логическаго происхожденія мы не можемъ ни прослѣдить, ни доказать. Шотландская философія, т.-е. очень идеалистическая, въ лицѣ Адама Смита послужила капитализму; ему послужили, т.-е. послужили вообще торжеству и расширенію экономическихъ идей, гегельянцы Лассаль и Марксъ; даже, какъ это ни печально, наши «народники» родили изъ себя гг. Бельтова, Струве, Туганъ-Барановскаго, и это показываетъ только, какъ мало жизненности и много бѣдной книжности было въ нашемъ «народничествѣ». Но вотъ однако же южные сектанты... Вы скажете—это «невѣжество», которое капитализмъ преобразуетъ черезъ «школу»,—и тогда я спрошу васъ объ итальянскомъ Ренессансѣ: не Рафаэль и Микель Анджело послужили купечеству Медичисовъ, но именно и напротивъ «купечество» Козимо и Лоренцо Медичи было ковромъ, который стлался подъ ноги и въ ногахъ этихъ выразителей эстетическаго взгляда на міръ, т.-е. опять жизненной, а не логической, идеи. Вы скажете — это минута, порывъ, и ихъ переборетъ время,—и тогда я укажу вамъ на еврейство: искони торговое, оно внутри себя, т.-е. гдѣ оно трансцендентно-религіозно, не сложилось даже и до сихъ поръ капиталистически. Еврейство поставило банкъ и капиталъ около европейской, т.-е. для него внѣшней, цивилизаціи и, очевидно, могло поставить потому и тогда, когда эта цивилизація стала изсякать въ трансцендентныхъ своихъ основаніяхъ. Вотъ факты—крайне разнообразные, но которые говорятъ объ одномъ. Карѳагеняне изобрѣли вексель; финикіяне — алфавитъ и всемірную для того времени торговлю; и снова оба эти народа, съ интенсивной, религіозной культурой, какова бы и въ чемъ бы она ни состояла по содержанію, не сложились капиталистически. Но вамъ хочется «ума», и я укажу на пиѳагорейцевъ: въ союзѣ этихъ философовъ, но которые самую философію понимали жизненно и ей подчинили бытъ и политику, мы также мало можемъ представить восторжествовавшими надо всѣмъ капиталистическія отношенія, какъ и у нашихъ бѣдныхъ закопавшихся въ землю сектантовъ. Экономизмъ, какъ доминирующая норма, есть дѣйствительно смерть: онъ дѣйствительно просачивается внутрь только уже опустошеннаго отъ всякихъ мистическихъ струекъ организма. «Экономическій» строй, семья какъ содружество работника и работницы, государство какъ содружество экономическихъ же группъ, и все «экономическое» въ тенденціи и основаніяхъ: «наука», печать, публицистика, — это ничего болѣе, какъ минерализовавшееся общество, которое имѣетъ форму и перестало дышать, потеряло «дыханіе жизни»—употреблю библейскій терминъ.

Такимъ образомъ—вотъ вторая граница, кромѣ географической, въ томъ, что бытіе человѣческое не исчерпывается логической стороной, и что та—другая и темная въ немъ сторона, ни природы, ни происхожденія которой мы не знаемъ, но которой присутствіе ясно въ себѣ чувствуемъ—выходитъ изъ нормъ экономизма и всегда и безусловно его подчиняетъ себѣ. Какія трудности преодолѣли Ромео и Юлія, чтобы умереть гдѣ-то въ темномъ подземельѣ; я зналъ въ Вязьмѣ приказчика, который, получивъ отказъ въ рукѣ любимой дѣвушки—пошелъ и въ тотъ же вечеръ удавился. Вотъ трансцендентная идея уже въ каждомъ изъ насъ, и, слава Богу, отъ временъ Монтекки и Капулетти она жива и даже не ослабла до этихъ дней. Но мы хотимъ вернуться опять къ нашей дѣйствительности: нео-марксисты говорятъ о Россіи — и въ ея именно условіяхъ, сверхъ географической преграды, есть еще одна, которая, повидимому, всегда будетъ мѣшать торжеству у насъ интенсивной, экономической, т.-е. капиталистической культуры,

Это—странная и неустранимая, кажется, русская неуклюжесть. Остановимся на подробностяхъ. Не удивительно ли, что въ огромномъ уже теперь множествѣ всюду разбросанныхъ аптекъ мы не встрѣчаемъ, даже какъ исключенія, русскихъ природныхъ мальчиковъ, не встрѣчаемъ ихъ вовсе?—необходимость педантической чистоты и крайней аккуратности при измѣреніяхъ и взвѣшиваніяхъ исключила изъ этого прекраснаго ремесла русскую кровь. Все нужно здѣсь «по каплѣ», а русскій можетъ только «плеснуть». Не менѣе замѣчательно, что и въ часовомъ ремеслѣ, гдѣ также требуется мелкое и тщательное разглядыванье—не попадается русскихъ. Удивлялись, отчего въ Петербургѣ рѣчное пароходство въ рукахъ финляндцевъ, и замѣчали—«вѣрно вода не русская стихія». Но вотъ на Волгѣ и Ладогѣ это русская стихія. Но на Невѣ—суета, и опять «подробности», т.-е. такъ много мелькающихъ и мелкихъ судовъ, что, конечно, русскій лоцманъ на пароходикѣ-лодкѣ или сломается самъ, или сломаетъ. И чувство отвѣтственности, страхъ «сломать» или «сломаться», а главное—отвращеніе къ суетѣ и неспособность быть каждую минуту на чеку, гонитъ его отъ лоцманства, изъ аптеки и отъ часовщика. Напротивъ, кровельщикъ или маляръ, висящій на головокружительной высотѣ—всегда русскій и никогда еврей или нѣмецъ: это—рискъ, но и уединеніе, спокойствіе, гдѣ работающій можетъ «затянуть пѣсню». Русскій—немножко «созерцатель», и онъ только въ той работѣ хорошъ, гдѣ можно задуматься, точнѣе—затуманиться легкимъ покровомъ мысли о чемъ-то вовсе не связанномъ съ работою: такъ поетъ и полу-думаетъ онъ за сапогомъ, который шьетъ, около бревна, которое обтесываетъ, и, наконецъ, въ корзиночкѣ около четвертаго или пятаго этажа. Всѣ ремесла собственно интенсивныя и всѣ интенсивные способы работы—просто у него не въ крови. А о народѣ въ его историческомъ ростѣ мы

можемъ повторить то же, что говоримъ о ребенкѣ, взрослом и наконецъ, старикѣ: «каковъ въ колыбельку — таковъ и въ могилку» [1]). Обильно и долго я наблюдалъ дѣтей за ученьемъ; способъ работы учебной, у насъ принятый—быстрое чередованье уроковъ съ требованьемъ вниманія къ каждой минутѣ, — истощаетъ, энервируетъ и, наконецъ, просто не исполняется всѣми даровитыми русскими дѣтьми—именно тѣми, которыя при разговорѣ, за чтеніемъ, на письмѣ, т. е. во всѣхъ формахъ не интенсивнаго выраженія своихъ способностей, брызжутъ умомъ, сообразительностью, наблюдательностью; и напротивъ, эти формы работы—ясно не національныя—охотно и легко у насъ переносятся, но только малоспособными людьми.

Но перейдемъ къ капиталу и капитализму: мы увидимъ, что и способы ихъ копить у насъ глубоко отличны отъ западныхъ. Русскій капитализмъ—это или Плюшкинъ-Корзинкинъ (умершій лѣтъ 15 назадъ въ Москвѣ, почти въ чуланѣ, милліонеръ), т. е. психозъ, или это — случайная удача; но во всякомъ случаѣ — это не есть неопредѣленно-расплывшееся въ обществѣ явленіе; не есть общій потокъ, тянущій въ себя массы людей, неопредѣленное ихъ множество. Напротивъ, массы, множество — у насъ бѣдны, и неуклюжи въ обогащеніи, даже когда очень его желаютъ. Фирма «Домби и Сынъ» не вырисовывается на фонѣ нашего быта и исторіи: наслѣдственныхъ богатствъ, изъ рода въ родъ «пріумножающихся», у насъ нѣтъ или очень мало. Нашъ богачъ—удивительное явленіе: онъ «стрижетъ купоны», и опять мы наблюдаемъ здѣсь любовь къ покою, не суетѣ, какъ у лоцмана и кровельщика; онъ не «работаетъ на капиталѣ», какъ и ученикъ избѣгаетъ учиться «по урокамъ». Люди, какъ Губонинъ, т. е. вѣчно дѣятельное богатство, у насъ — феноменъ; а мы говоримъ о толпѣ, о господствующемъ типѣ, ибо исторія всегда течетъ изъ основныхъ, а не исключительныхъ народныхъ чертъ. Богачъ угрюмъ у насъ, не общителенъ; почти можно подозрѣвать, что онъ несетъ богатство какъ «грѣхъ»; это — привязанность, болѣзненная, несчастная, съ которою онъ не умѣетъ справиться, но и не спѣшитъ весело съ нею на улицу, не общится ею съ другими, не союзится на ней: и вотъ отчего богатые люди у насъ не сливаются въ ассоціаціи, какъ это было-бы непремѣнно, если бы инстинктъ богатства у насъ былъ веселящимъ, радующимъ, природнымъ. Удивительно, какъ много богачей у насъ становятся тайными, а иногда и явными алкоголиками. Казалось бы, что за удовольствіе въ винѣ, когда возможно чувство Скупого рыцаря—

Какой волшебный блескъ!..

---

[1]) Историки замѣчаютъ, что галлы, описанные Цезаремъ, во всѣхъ подробностяхъ характера, сохраняются и въ теперешнихъ французахъ.

Но вотъ, вмѣсто этого сладострастія имуществомъ—гораздо бѣднѣйшее и прямо нищенское упиваніе виномъ, изъ-за котораго такъ и слышится прекрасный Некрасовскій стихъ:

Бѣсъ благородный скуки тайной.

Если мы припомнимъ своеобразную поэзію тяжелыхъ колоколовъ, пудовыхъ свѣчъ и всякаго храмового «благолѣпія», которой упиваются наши купцы, мы догадаемся, что эта строка Некрасова не обошла и ихъ, и допустимъ, что и источникъ алкоголизма у нихъ не всегда бываетъ только распущенность. Но въ общемъ всѣ эти черты какъ мало обрисовываютъ типъ, который былъ бы достаточенъ и силенъ охватить и подчинить себѣ весь строй жизни. «Капиталистическій строй»... Г. Слонимскій правильно замѣтилъ, что онъ уже начался съ «Русской правды», и всегда существуя, всегда необходимый какъ частное и подчиненное явленіе, онъ у насъ и въ будущемъ останется *однимъ изъ жизненныхъ теченій*, то ширящимся, то съуживающимся, но никогда, рѣшительно никогда—*единственнымъ*, все поглотившимъ (гипотеза нашихъ марксистовъ).

Есть виды опасности, порождаемые опасеніемъ; ложный крикъ «пожаръ» можетъ въ партерѣ театра породить несчастія, для которыхъ нѣтъ реальнаго основанія, но ложное опасеніе становится ихъ реальною причиною. Нео-марксисты своимъ преувеличеннымъ и ложнымъ страхомъ производятъ или имѣютъ тенденцію произвести такого рода бѣдствія. Они зовутъ мѣры, которымъ еще не время и для которыхъ никогда, можетъ быть, не настало бы время; они отвлекаютъ вниманіе, какъ отъ «археологіи», отъ другого, что можетъ быть полно жизни или можетъ при вниманіи возродиться къ лучшей жизни. Вѣдь все-таки не разобрано и не объяснено, почему община, исчезавшая въ Германіи при Тацитѣ, т. е. въ своемъ родѣ при «Русской правдѣ» — у насъ удержалась до «Судебныхъ уставовъ» Александра II, т. е. 1,000 лѣтъ? Мнѣ случалось объ этомъ упоминать въ литературѣ, и еще разъ я настаиваю, что эта разница въ длительности существованія не объяснена, и есть главный фактъ, должна бы стать главной темой размышленія нашихъ экономистовъ. Община — это, конечно, экстенсивная земельная культура, но на множествѣ подробностей мы уже показали, что интенсивности и вообще во всемъ не ищетъ русская кровь. Какъ будто можно съ какимъ-нибудь видомъ правдоподобія сказать, что въ нашихъ университетахъ профессора занимаются со студентами «интенсивно»?

Мы всѣ учились по немногу,
Чему-нибудь и какъ-нибудь...

И, въ сущности, мы учимся въ университетѣ, учились у такихъ свѣтилъ, какъ покойные Буслаевъ и Тихонравовъ, совершенно по тому же методу, такъ же «экстенсивно», какъ наши Петры и

Иваны пашутъ въ Новгородской губерніи землю: и какъ они ее дѣлятъ и ею владѣютъ «міромъ»,—мы точно также «міромъ» готовились къ экзаменамъ, и на самыхъ экзаменахъ покрывали «грѣхи» другъ друга. Вотъ примѣръ неуклюжей, пожалуй вредной, но какъ-то милой и, очевидно, вѣчной «общины» въ духѣ, въ духовныхъ занятіяхъ, и у людей, казалось бы, потерявшихъ всякую связь съ народомъ и съ землею. Да, работа «міромъ» лежитъ искони въ духѣ русскаго народа, создавшаго даже пословицу: «на людяхъ и смерть красна». Кромѣ общины—въ сферѣ владѣнія землею, у насъ есть артель—въ сферѣ коллективной созидательной работы; есть и то, что можно было бы назвать моментальными артелями — не въ цѣляхъ длительной работы, но минутнаго усилія, натиска, подвига рукъ и иногда ума — это такъ называемая «помочь». Ни у одного народа начало общности и помощи не развито такъ, какъ у нашего; ни у одного не сохранилось оно такъ долго. Германецъ-земледѣлецъ, ставящій свою ферму среди своихъ владѣній, отдаленно и отчужденно отъ окружающихъ, уже этимъ самымъ безмолвно выражаетъ, до какой степени мало онъ нуждается въ «помочи» и какъ мало готовъ съ «помочью» побѣжать къ сосѣду. Не то въ нашихъ деревняхъ—въ этой линіи домиковъ, тѣсно жмущихся другъ къ другу, почти лѣзущихъ другъ на друга, и только-только не говорящихъ: «если и горѣть — то вмѣстѣ». Самымъ расположеніемъ своимъ, самымъ видомъ деревня говоритъ о народѣ-«мірѣ».

Изъ живого зерна—изъ качествъ народной души, выросли и формы нашего быта и труда. «Соборне» молясь, православные «соборне» трудятся; «соборне» строятъ деревню, подъ-рядъ; «соборне» подымаютъ колоколъ, держась «міромъ» за канатъ; «соборне» косятъ, владѣютъ землею; и наконецъ «соборне» же высыпаютъ на работу, помолясь на кресты родного села, роясь какъ пчелы въ шумливую и веселую артель, а не угрюмо, не скупо, не туго, какъ идетъ нѣмецъ. «Соборне»—это свѣтъ нашей жизни, веселость нашего сердца, залогъ великихъ нашихъ успѣховъ въ мірѣ и въ грядущихъ вѣкахъ.

Но эта прекрасная сторона нашей жизни можетъ, и преждевременно, насильственно, можетъ быть спугнута ложными криками и завѣреніями нео-марксистовъ, особенно если они найдутъ для себя авторитетныхъ слушателей. Нужно замѣтить, что экономизмъ, экономическія ученія вообще сыграли одну очень скверную и мало замѣченную роль: они вызвали, создали экономизмъ какъ фактъ; они призвали его, даже когда пытались бороться съ нимъ (соціализмъ). Человѣкъ достаточно и хорошо защищенъ отъ него мистическими задатками своей природы; но эти задатки въ высшей степени были ослаблены у одного, другого, и наконецъ у многихъ, у всего общества чувствомъ перепуганности, которое распространяли экономисты, и ихъ увѣреніями, которыя не могли не подѣйствовать

на «малыхъ сихъ», что экономизмъ есть или завтра долженъ стать высшею нормой, управляющею жизнью всѣхъ. Экономисты гипнозомъ своихъ ошибокъ оттянули вниманіе общества отъ предметовъ, идей, темъ, гдѣ лежала его естественная защита; они отняли у него «дыханіе жизни», и наступившая минерализація уже естественно стала оформливаться въ господство экономическихъ отношеній, «капиталистическій строй». Вотъ процессъ, котораго единственно мы должны бояться, т. е. не фиксировать свой взглядъ на одной точкѣ, съ предположеніемъ: «тутъ очковая змѣя» — она въ самомъ дѣлѣ тогда вырисуется и пожретъ насъ, т. е. мы пожремъ другъ друга скудостью своего духа.

Карлъ Марксъ и вообще школа нѣмецкаго соціализма не была во всемъ прогрессомъ сравнительно со школой стараго, «археологическаго» соціализма. Въ лицѣ Фурье и Сенъ-Симона соціализмъ былъ великодушіемъ; онъ не претендовалъ быть «наукою», но былъ порывомъ, который умѣлъ родить порывы. Между тѣмъ самое существо предполагаемаго будущаго процесса содержитъ въ себѣ, именно въ заключительной его фазѣ, даже по Марксу—требованіе порыва, и безъ него все ученіе становится нескончаемымъ и безплоднымъ номинализмомъ. Трудно представить себѣ, какъ «катедэръ-соціалисты» въ такой-то день мѣсяца и года выбѣгутъ, наконецъ, на улицу и «передадутъ» «орудія производства» «самимъ производителямъ». Я хочу сказать, что энтузіазмъ составляетъ не только психику, но и логику соціализма, именно центральный моментъ этой логики—и онъ умеръ въ Марксѣ. Любопытны въ этомъ отношеніи воспоминанія о немъ Лафагра, переведенныя въ «Новомъ Словѣ». Марксъ—буржуа; это—ученый; но онъ темой избралъ соціально-экономическій строй общества, какъ другіе избираютъ и какъ при другомъ стеченіи обстоятельствъ онъ самъ избралъ бы движенія Марса или кольца Сатурна. Каковы бы ни были результаты его изслѣдованій — важно, что это суть мысли порождающія мысли же, книга, порождающая книги же; и вообще, какъ послѣ Лапласа мы имѣемъ обширную небесную механику и прославляемъ имя ея перваго творца,—мы имѣемъ всѣ основанія прославлять Маркса, ожидать увеличенія марксистской литературы,—и ничего еще, ничего болѣе. Въ лицѣ Маркса, и общѣе—въ лицѣ нѣмецкаго теоретическаго соціализма, нѣкоторый видъ минерализаціи постигнулъ самый соціализмъ. Это немножко жаль; потому что истинную сторону въ соціализмѣ составляетъ не эта якобы «наука», какою онъ сталъ, но именно великодушіе: для него реальныя основанія были и остаются.

1897 г.

О Достоевскомъ.

(Отрывокъ изъ біографіи, приложенной къ собранію сочиненій Ѳ. М. Достоевскаго, изд. «Нивы»).

I.

Теперь, когда съ нумерами «Нивы» полное собраніе сочиненій Достоевскаго будетъ разнесено по самымъ далекимъ и укромнымъ уголкамъ Россіи, дѣйствіе его на умственное и нравственное развитіе нашего общества получитъ, наконецъ, тѣ размѣры, къ какимъ оно способно по внутреннимъ своимъ качествамъ, безъ всякихъ внѣшнихъ задерживающихъ обстоятельствъ. Толпа слушателей, какую только можетъ пожелать себѣ мыслитель или художникъ, невидимо, неощутимо собрана: что́ скажетъ *онъ* ей—въ этомъ и ни въ чемъ другомъ теперь весь вопросъ. Невольно является смущеніе при мысли: что́ же въ немногихъ строкахъ, въ краткія минуты, какія мнѣ удѣлены на то, чтобы сказать этой толпѣ объ этомъ писателѣ, *слѣдуетъ* сказать?

Что́ нужно ей отъ писателя? Зачѣмъ, отрываясь отъ насущныхъ дѣлъ, заботъ, иногда обязанностей, читатель беретъ книгу и уединяется съ нею — уединяется въ себя, но зачѣмъ-то въ сообществѣ съ человѣкомъ, давно умершимъ или далекимъ, котораго онъ не знаетъ и, однако, въ эти минуты уединенія предпочитаетъ всѣмъ, кого знаетъ? Какой смыслъ въ книгѣ, въ чтеніи? Наслажденіе-ли? Но въ непосредственныхъ созерцаніяхъ, въ реальныхъ ощущеніяхъ дѣйствительности оно можетъ быть всегда ярче. Красота-ли? Но развѣ для нея уединяется человѣкъ? Онъ уединяется, чтобы, на минуту оторвавшись отъ частностей, отъ подробностей своей жизни, своихъ тревогъ, обнять ихъ въ цѣломъ, понять эту жизнь въ ея общемъ значеніи. Что́ скажетъ, что́ можетъ сказать онъ мнѣ *обо мнѣ* самомъ и обо всемъ, что такъ тяготитъ меня и смущаетъ въ

жизни — вотъ вопросъ, который опредѣляетъ выборъ нами того, кого мы зовемъ съ собою въ уединеніе, или книги, какую избираемъ. «Помоги мнѣ разобраться въ моей жизни, освѣти, научи» — вотъ самая серьезная мысль, съ какою можетъ читатель обратиться къ писателю; думаемъ даже, что это есть единственная серьезная мысль, на которой можетъ истинно скрѣпиться ихъ общеніе. Внѣ этого, внѣ отношенія писателя къ нашимъ индивидуальнымъ тревогамъ, заботамъ, опасеніямъ празденъ смыслъ самого чтенія, незначаще появленіе книги, мишурно все, что въ необъятныхъ размѣрахъ мы называемъ литературою и чѣмъ любуемся или гордимся, какъ народъ, но можемъ гордиться и любоваться съ правомъ тогда лишь, когда она удовлетворяетъ только что опредѣленной нуждѣ.

Въ индивидуальномъ — основаніе исторіи, ея главный центръ, ея смыслъ, ея значительность: вѣдь, человѣкъ, въ противоположность животному, всегда *лицо*, ни съ кѣмъ не сливаемое, никого не повторяющее собою; онъ—никогда не «родъ»; родовое—въ немъ несущественно, а существенно особенное, чего ни въ комъ нѣтъ, что впервые пришло съ нимъ на землю и уйдетъ съ нея, когда онъ самъ отойдетъ отъ нея въ «міры иные». Не отъ этого-ли и попытки дать философію исторіи въ смыслѣ законовъ историческаго развитія всегда были напрасны: вѣдь, эти законы, если они и есть, обнимаютъ самое незначащее въ исторіи; въ противоположность природѣ, гдѣ, обнимая родовое, общее — они обнимаютъ существенное. Въ Цезарѣ, въ Петрѣ, въ тебѣ, читатель, и во мнѣ, который пишетъ эти строки, развѣ главное — то, въ чемъ мы не отличаемся отъ всѣхъ другихъ людей? Какъ главное въ планетахъ — конечно, не ихъ разное разстояніе отъ солнца, а фигура эллипсиса и законы, повинуясь которымъ онѣ по этой фигурѣ всѣ одинаково движутся. Здѣсь—тайна безуспѣшности науки и философіи понять человѣка, его жизнь, его исторію; тайна безуспѣшности ихъ истинно въ ней наставить, просвѣтить; и, къ удивленію, проблески истиннаго знанія о себѣ, какое человѣкъ почерпаетъ въ областяхъ, ничего общаго съ его умствованіями не имѣющихъ—въ религіи и въ высокомъ художествѣ. Онѣ не знаютъ законовъ и не ищутъ ихъ; но, не находя ихъ, не находятъ только несущественнаго; онѣ обращены къ сердцу человѣка, всегда говорятъ его лицу — главному, что́ есть въ немъ; и, зная это сердце, проникая въ самыя его сокровенныя движенія, говорятъ этому лицу съ глубочайшимъ знаніемъ, какого только можетъ онъ допытываться о себѣ самомъ. Вотъ гдѣ понятная намъ, уразумѣваемая въ исторіи сторона значительности религіи; вотъ гдѣ тайна, почему такъ прилѣпляется человѣкъ къ высокому художеству—первое любитъ его въ исторіи, съ послѣднимъ имъ разстается, обращается къ нему въ тревожныя и свѣтлыя минуты своей жизни.

Какъ, однако, художникъ достигаетъ этой силы наученія, и въ

чемъ, вообще, значеніе генія въ исторіи? Не въ другомъ чемъ, какъ въ обширности духовнаго опыта, которымъ онъ превосходитъ другихъ людей, зная то, что порознь разсѣяно въ тысячахъ ихъ, что иногда скрывается въ самыхъ темныхъ, невысказывающихся характерахъ; знаетъ, наконецъ, и многое такое, что никогда еще не было пережито человѣкомъ, и только имъ, въ необъятно богатой его внутренней жизни, было уже испытано, измѣрено и оцѣнено. Можно сказать, что въ то время, какъ другіе люди по преимуществу только *существуютъ*, геній—по преимуществу *живетъ*: т. е. онъ никогда не остается все тѣмъ же, разныя душевныя состоянія слагаются въ немъ и разлагаются, міры созданій проходятъ черезъ его сердце — и все это безъ сколько-нибудь прочнаго, уловимаго отношенія къ дѣйствительности. Посмотрите на великихъ художниковъ, поэтовъ: развѣ жизнь ихъ особенно богата событіями, развѣ поле ихъ наблюденія такъ особенно превосходитъ наше? И, однако, какое необъятное множество лицъ, положеній, движеній сердца, просвѣтлѣній человѣка и паденій его совѣсти отражено въ ихъ произведеніяхъ? Какъ узко поле ихъ фактической жизни сравнительно съ полемъ какой-то другой жизни, гдѣ все это они видѣли уже, все поняли, и, понявъ, по одной чертѣ сходства опредѣляютъ характеръ и судьбу реальныхъ явленій ихъ окружающей дѣйствительности. Высокій поэтъ или художникъ есть всегда вмѣстѣ и провидѣцъ; и это потому, что онъ уже *видѣлъ* многое, что для остальныхъ людей остается на степени возможнаго, что для нихъ только будущій вѣроятный фактъ. Отъ этого, посмотрите, какъ много встревоженнаго въ лицѣ ихъ, когда такъ мало причинъ для этихъ тревогъ въ дѣйствительности; какой перевѣсъ въ задумчивости надъ другими людьми, когда предметовъ для нея у нихъ вовсе не болѣе, чѣмъ у остальныхъ людей; и еще болѣе удивительный, столь же общій фактъ: какая растерянность среди практической жизни, разсѣянное невниманіе къ ней. Къ чему же, на что, не отрываясь, устремлено это вниманіе?.. Но если все, что мы сказали, дѣйствительно такъ, то какъ не искать намъ въ самомъ дѣлѣ наученія у того, кто столь превосходитъ насъ опытомъ, и слѣдовательно, плодомъ его—мудростью?

Какая же мудрость заключается въ произведеніяхъ, лежащихъ теперь передъ читателемъ? Въ чемъ духовный опытъ творца ихъ? На что главнымъ образомъ было устремлено его вниманіе?

II.

Три момента мы можемъ различить въ душевномъ развитіи каждаго человѣка, пожалуй, всякаго народа и цѣлаго человѣчества. Не всѣ они переживаются каждымъ, развитіе можетъ быть не окончено у индивидуума ли, у народа, или даже у цѣлой ихъ группы,

слагающей совокупною жизнью обширный циклъ исторіи. Но всегда, когда это развитіе полно, оно протекаетъ три фазиса: непосредственной первоначальной ясности, паденія, возрожденія. Есть цѣлыя эпохи исторіи, которыя выражаютъ собою только одинъ который-нибудь изъ этихъ моментовъ; такъ жизнь нѣкоторыхъ людей, которымъ мы удивляемся, которыхъ понять не можемъ, является утвержденіемъ и развитіемъ подобнаго же единичнаго момента. Въ обоихъ случаяхъ, однако, это суть только части цѣльнаго процесса, однородность которыхъ объясняется изъ совершенной ихъ противоположности съ другими смежными частями. Все, что́, рождаясь, достигаетъ естественнаго конца и вмѣстѣ одарено высшимъ сознаніемъ, не можетъ избѣгнуть ни одного изъ этихъ моментовъ.

Если, однако, мы всмотримся въ ихъ соотношеніе, то увидимъ, что въ наблюдаемой дѣйствительности средній моментъ чрезмѣрно преобладаетъ надъ остальными двумя. Въ исторіи паденіе, преступленіе, грѣхъ—это центральное явленіе [1]); въ немъ бьются безсильно индивидуумы, народы; о немъ учитъ и съ нимъ борется религія; тѣнью своею оно задѣваетъ, наконецъ, и высокое художество. И, между тѣмъ, смыслъ этого момента только относительный: преступное, грѣховное — это преступное противъ чего-то, что ранѣе ему предшествовало и было лучше его;—это паденіе, отъ котораго нужно подняться къ чему-то, вновь возродиться. Этимъ значеніемъ своимъ, обращеннымъ къ прошедшему и будущему, онъ указываетъ на другіе два момента, которыхъ, однако, только просвѣтъ, только краевое сіяніе мы наблюдаемъ въ текущей дѣйствительности и исторіи; и вотъ почему ихъ яркое выраженіе, полное осуществленіе человѣкъ переноситъ за границы имъ проходимаго на землѣ бытія—къ своему до-земному существованію и послѣ-загробному. Мысль о безсмертіи своей души, такъ трудная, такъ непостижимая, не только постигается человѣкомъ, но и становится неотдѣлимою отъ его сознанія, какъ только онъ глубоко погружается въ смыслъ грѣха, и еще болѣе, когда онъ погружается въ него не мыслью одною своею, но всею природою—когда онъ глубоко грѣховенъ, преступенъ. Нѣтъ человѣка, кто бы онъ ни былъ, какъ бы ни былъ онъ полонъ отри-

[1]) Мы говоримъ „центральное“ по тѣмъ усиліямъ, по той степени вниманія къ себѣ, какой требуетъ грѣхъ, преступленіе, вызывая на борьбу съ собою религію, законодательство, поэзію. Но не слѣдуетъ забывать, однако, что въ нихъ содержится отступленіе отъ нормы, и въ жизни норма естественно преобладаетъ надъ своимъ исключеніемъ, *не возбуждая къ себѣ, тѣмъ не менѣе, нашего вниманія*, не вызывая ужаса, удивленія, сожалѣнія—и потому какъ бы затѣняется въ своей значительности порокомъ. Какой нибудь всемірно-извѣстный примѣръ, взятый хотя бы изъ поэзіи, лучше всего пояснитъ нашу мысль: Гретхенъ (въ „Фаустѣ“) разъ только согрѣшила, долгіе годы она была безпорочна—и *долгіе* годы были забыты ея окружающими, не припомнены: *ими* помнится, и *намъ* внушаетъ горесть, вызываетъ на размышленія день только ея паденія. Въ судьбѣ ея—онъ центральный, не будучи центральнымъ по времени, преобладающимъ по положенію въ ряду другихъ фактовъ ея жизни.

цанія, сомнѣнія, который, преступивъ какой-нибудь коренной законъ своего существа, въ мѣру того, какъ преступилъ—не почувствовалъ бы тотчасъ, какъ напрасны были всѣ его вѣрованія, что съ землею для него кончается все; нѣтъ народовъ, которые на исходѣ своего историческаго труда, и труда серьезнаго, не были бы проникнуты этимъ же убѣжденіемъ. Только въ свѣтлые, юные моменты жизни своей народы ли или отдѣльные люди равно бываютъ далеки отъ этихъ идей: рождаясь и умирая въ томъ краевомъ сіяніи, о которомъ мы упомянули, они думаютъ, что имъ, этою смѣсью относительной темноты и относительнаго свѣта, исчерпывается все возможное бытіе. Какъ бы то ни было, но въ законѣ, что именно среди глубочайшаго мрака человѣкомъ постигается главная истина его бытія, содержится условіе перехода его къ утвержденію этой истины въ своемъ сознаніи и жизни; сущность грѣха такова, что она предполагаетъ возрожденіе:

Чѣмъ ночь темнѣй—тѣмъ звѣзды ярче,
Чѣмъ глубже скорбь—тѣмъ ближе Богъ.

Въ этихъ двухъ стихахъ—смыслъ всей исторіи, и исторія развитія тысячъ душъ.

Проникновеніе въ законъ этотъ, и не только умомъ своимъ, но сердцемъ, совѣстью—составляетъ особую, ни съ кѣмъ не раздѣленную сферу духовнаго опыта Достоевскаго. Можно сказать, что въ то время, какъ другіе великіе художники, его современники (Гончаровъ, Тургеневъ, Островскій, гр. Л. Толстой), заняты были воспроизведеніемъ перваго момента—это было великолѣпное рисованіе общества и народа въ его исторически сложившемся бытѣ, въ его непосредственной ясности,—всѣ его произведенія посвящены изображенію момента второго и указанію изъ него выхода. Въ этомъ послѣднемъ указаніи—объясненіе особаго характера его романовъ, повѣстей, все зовущихъ куда-то, или грозящихъ, хотя, повидимому, они только изображаютъ, рисуютъ. Онъ кончилъ «Дневникомъ Писателя»—субъективнѣйшею формой бесѣды-ли съ собою, или, какъ въ данномъ случаѣ, обращенія къ окружающимъ; страницами этого дневника, въ сущности, были и всѣ его романы, повѣсти, съ однообразнымъ колоритомъ, на всѣхъ ихъ лежащимъ, однимъ языкомъ, которымъ говорятъ всѣ лица. Это относится къ формѣ его творчества; напротивъ, если мы обратимся къ главному въ немъ, къ содержанію, мы и самый «Дневникъ» и всѣ остальныя произведенія поймемъ, какъ обширный и разнообразный комментарій къ самому совершенному его произведенію—«Преступленіе и наказаніе». Въ романѣ этомъ намъ дано изображеніе всѣхъ тѣхъ условій, которыя, захватывая душу человѣческую, влекутъ ее къ преступленію; видимъ самое преступленіе; и тотчасъ, какъ совершено оно, съ душою преступника мы вступаемъ въ незнакомую намъ ранѣе

атмосферу ужаса и мрака, въ которой намъ почти такъ же трудно дышать, какъ и ему. Общій духъ романа, неуловимый, неопредѣлимый, еще гораздо замѣчательнѣе всѣхъ отдѣльныхъ поразительныхъ его эпизодовъ: какъ—это тайна автора—но онъ, дѣйствительно подноситъ намъ и даетъ ощутить преступность всѣми внутренними фибрами нашего существа; сами мы, вѣдь, не совершили ничего, и, однако, окончивъ чтеніе, точно выходимъ на воздухъ изъ какой-то тѣсной могилы, гдѣ были заключены съ живымъ лицомъ, въ ней похоронившимъ себя, и съ нимъ вмѣстѣ дышали отравленнымъ воздухомъ мертвыхъ костей и разлѣзающихся внутренностей. Колоритъ этого романа, и уже затѣмъ эпизоды его, весь онъ въ своей неразрывной цѣльности—есть новое и удивительное явленіе во всемірной литературѣ, есть одно изъ глубочайшихъ словъ, подуманныхъ человѣкомъ о себѣ. Возрожденіе—здѣсь только издали показано намъ; «его исторія должна бы составить новый романъ...»—никогда не написанный; мы и въ другихъ произведеніяхъ Достоевскаго имѣемъ все только этотъ же колоритъ; дышемъ все тою же атмосферой душевнаго ужаса и мрака; среди него играютъ лучи ослѣпительнаго свѣта, также ни откуда еще намъ неизвѣстной душевной чистоты и свѣтлости. Вотъ все, что мы у него находимъ; но, вѣдь, это и *все*, чѣмъ въ глубочайшей сущности исчерпывается человѣкъ и его земное странствіе. Прочее—за гробомъ, прочее—въ ожиданіи, въ надеждѣ; да и могли ли бы мы, въ этой бренной оболочкѣ своей, въ этихъ земныхъ условіяхъ, надолго вынести этотъ ослѣпительный свѣтъ? Умереть, узнавъ о себѣ окончательную истину, это такъ естественно, почти необходимо; для чего бы еще жить, мястись душою, измѣняться, когда самого условія для этого, невѣдѣнія,—нѣтъ болѣе?

Зовъ къ этому свѣту, къ этому выходу—вотъ что составляетъ второй моментъ въ дѣятельности покойнаго писателя, то, что такъ поверхностно, такъ не глубоко, приравнивая къ *своему*, звали его «публицистикой»; о, конечно, это было обращеніе, но уже почти не къ читателю, а къ *ближнему* своему, котораго онъ предостерегалъ, которому грозилъ, отъ котораго требовалъ. Да это былъ, если ужъ нельзя отвязаться отъ непріятнаго слова, всемірно-историческій публицистъ, интересы котораго были внѣ своего дня, зовъ котораго былъ обращенъ къ вѣкамъ и народамъ, взоръ—устремленъ въ вѣчность. Нѣтъ, это ошибка сказать, что онъ былъ «публицистъ 60—70 годовъ»; къ этимъ-ли годамъ относится «Легенда о Великомъ Инквизиторѣ», къ нимъ-ли — изображеніе будущаго атеистическаго состоянія людей (разговоръ Версилова со своимъ сыномъ въ «Подросткѣ»), или «Сонъ смѣшного человѣка»? Конечно, не болѣе къ нимъ, чѣмъ и къ цѣльной всемірной исторіи, возвести къ глубочайшему смыслу которой свой преходящій моментъ—вотъ что составляло его задачу и что сказать о немъ—значитъ, дѣйстви-

тельно, опредѣлить его значеніе. Печать эпохи его, встревоженной, мятущейся, лежитъ и на его взволнованныхъ трудахъ; къ счастью, однако, онъ уберегся отъ обычныхъ путей своего времени даже еще въ ученическіе годы—и въ своемъ мощномъ воображеніи, геніальномъ умѣ и сердцѣ, на тѣхъ уединенныхъ путяхъ, которыми проходилъ жизнь, нѣсколько переиначивъ дѣйствительность, возвелъ ее къ вѣчному смыслу и значительности. 60-е — 70-е годы почти уже умерли въ своемъ *точномъ* и *ограниченномъ* смыслѣ; не такъ уже смотримъ мы на дѣла ихъ и рѣчи, многое растеряли изъ нихъ и не особенно дорожимъ оставшимся; еще всплескъ исторической волны, и все будетъ залито тамъ; но какое время, какія новыя заботы, болѣе высокія созерцанія зальютъ безсмертныя страницы «Преступленія и наказанія», «Братьевъ Карамазовыхъ», гдѣ все, что *было* въ то время, что на минуту условно и ограниченно *мелькнуло* въ ту эпоху,—въ геніальномъ умѣ ихъ творца взошло на вѣчное *есть*, стало для всѣхъ временъ неумирающей *ихъ* тревогой?

Всѣ остальныя черты въ творчествѣ Достоевскаго, нерѣдко выставляемыя, какъ главныя, составляютъ только детальную разработку этой основной темы. Неутолимое страданіе, нищета, развратъ—что такъ широко разлито на его страницахъ—это только гноище, на которомъ по закону необходимости выростаетъ преступное; искаженные характеры, то возвышающіеся до геніальности, то ниспадающіе до слабоумія—это отраженіе того же преступнаго въ человѣческихъ генераціяхъ, наконецъ это борьба съ нимъ человѣка и безсиліе его побѣдить. Среди хаоса безпорядочныхъ сценъ, забавно-нелѣпыхъ разговоровъ (быть можетъ, умышленно нагроможденныхъ авторомъ)—чудные діалоги и монологи, содержащіе высочайшее созерцаніе судебъ человѣка на землѣ: здѣсь и бредъ, и ропотъ, и высокое умиленіе его страдающей души. Все въ общемъ образуетъ картину, одновременно и изумительно вѣрную дѣйствительности, и удаленную отъ нея въ какую-то безконечную абстракцію, гдѣ черты высокаго художества перемѣшиваются съ чертами морали, политики, философіи, наконецъ, религіи, вездѣ съ жаждою, скорѣе потребностью не столько передать, сколько сотворить, или по крайней мѣрѣ переиначить. Удивительно: въ эпоху совершенно безрелигіозную, въ эпоху существеннымъ образомъ разлагающуюся, хаотически смѣшивающуюся—создается рядъ произведеній, образующихъ въ цѣломъ что-то напоминающее религіозную эпопею, однако со всѣми чертами кощунства и хаоса своего времени. Всѣ подробности здѣсь—*наше*; это—*мы*, въ своей плоти и крови, безконечномъ грѣхѣ и искаженіи говоримъ въ его произведеніяхъ; и, однако, во всѣ эти подробности вложенъ не нашъ смыслъ, или по крайней мѣрѣ смыслъ, котораго мы въ себѣ не знали. Точно кто-то, взявъ наши хулящіе Бога языки и ничего не измѣняя въ нихъ, сложилъ ихъ такъ, такъ соче-

талъ тысячи разнородныхъ ихъ звуковъ, что уже не хулу мы слышимъ въ окончательномъ и общемъ созвучіи, но хвалу Богу; и, ей удивляясь, ея дичась—къ ней влечемся.

III.

Міросозерцаніе народное, какъ общая *почва*, на которой можетъ единственно правильно возрастать всякое индивидуальное развитіе; Россія, исторически возникшая — какъ фундаментъ и рядъ звеньевъ, на который налагая дальнѣйшія звенья, мы только и можемъ правильно трудиться—вотъ вкратцѣ формула тѣхъ взглядовъ, которые проводилъ Достоевскій въ своей публицистической дѣятельности и на которыхъ онъ сошелся съ рядомъ писателей, образующихъ единственную у насъ школу оригинальной мысли (И. Кирѣевскій, Хомяковъ, Константинъ и Иванъ Аксаковы, Ю. Самаринъ, Ап. Григорьевъ, Н. Данилевскій, К. Леонтьевъ, Н. Страховъ и др.): эта, такъ называемая, школа *славянофиловъ*—названіе очень узкое и едва ли точно выражающее смыслъ школы. Правильнѣе было бы назвать ее школою протеста психическаго склада русскаго народа противъ всего, что создано психическимъ складомъ романо-германскихъ народовъ, — протеста, сперва выразившагося въ смутномъ, безотчетномъ отчужденіи, а потомъ и въ полной сознанія критикѣ и отверженіи этихъ созданій и тѣхъ началъ, изъ которыхъ они вышли. Начала противоположныя, и частью высшія, были указаны ими въ народѣ нашемъ: начало гармоніи, *согласія* частей, взамѣнъ антагонизма ихъ, какой мы видимъ на Западѣ въ борьбѣ сословій, положеній, классовъ, въ противоположеніи церкви государству; начало *довѣрія*, какъ естественное выраженіе этого согласія, которое, при его отсутствіи, замѣнилось подозрительнымъ подсматриваніемъ другъ за другомъ, системою договоровъ, гарантій, хартій, — конституціонализмомъ Запада, его парламентаризмомъ; начало *цѣльности* въ отношеніи ко всякой дѣйствительности, даже къ самой истинѣ, которую народъ нашъ различаетъ и ищетъ не обособленнымъ разсудкомъ (раціонализмъ, философія), но и нравственною стороною своею, полнотою своего существа; наконецъ, въ церкви — начало *соборности*, вѣнчающая все собою любовь, сліянность съ ближнимъ—что такъ противоположно римскому католицизму, съ его внѣшнимъ механизмомъ папства, подавляющимъ собою, но не организующимъ въ себѣ жизнь духа, — и не похоже также на протестантизмъ, который, отвергнувъ это давящее извнѣ единство, не понявъ начала внутренняго согласія, кинулся въ разрозненность, думая въ ней сохранить свободу, и сохраняя только произволъ. Всѣ эти начала, слѣды которыхъ еще сохраняются въ нашемъ простомъ народѣ, въ его «мірскомъ» владѣніи землей, въ

его склонности къ артельной формѣ труда, въ преданности его верховной власти, безусловно свободной въ своихъ рѣшеніяхъ, но и за то прислушивающейся безъ страха къ свободному же выраженію боли, страданія, къ голосу «земли» (народа), — начала эти обѣщали бы въ полномъ своемъ развитіи жизнь болѣе высокую, гармоничную, примиренную, нежели въ какой томится Европа, вовсе не догадывающаяся о причинахъ этого томленія, о ложности самыхъ принциповъ, на которыхъ построена ея цивилизація. Славянофильская школа, долгое время гонимая оффиціально и пренебрегаемая нашимъ темнымъ обществомъ, только въ послѣднее время получила если не въ жизни (все еще текущей по инерціи въ прежнемъ направленіи), то въ сознаніи лучшей части образованныхъ круговъ Россіи свое признаніе и торжество. И ничто не способствовало этому въ такой мѣрѣ, какъ распространеніе Достоевскаго; его творенія, всюду читаемыя, его рѣчь на Пушкинскомъ праздникѣ—это такія памятныя слова, которыя не могли не врѣзаться въ мысль каждаго; и съ ними — новыя начала сознанія, внесенныя славянофилами, стали печатью въ душевномъ складѣ каждаго, только болѣе или менѣе мѣшающеюся съ другими, но никогда и ни въ комъ не исчезающею. «Правда народная» получила въ лицѣ Достоевскаго такого по силѣ и настойчивости выразителя, какого не имѣла никогда ранѣе. Онъ былъ ея Аарономъ, и рѣчь его потому именно звучала такъ твердо, что онъ чувствовалъ за собою несмѣтныя народныя толпы, которыя, не будь онѣ нѣмы, заговорили-бы то именно и такъ именно, что и какъ говорилъ онъ.

IV.

Біографическія черты, чрезвычайно значащія для объясненія душевнаго склада самого Достоевскаго, мы находимъ въ четырехъ его произведеніяхъ—въ «Игрокѣ», въ «Униженныхъ и оскорбленныхъ» (и его прототипѣ—«Бѣлыхъ ночахъ»), «Идіотѣ» и въ «Запискахъ изъ подполья». Можно сказать, что повсюду въ письмахъ, въ воспоминаніяхъ, въ самомъ художественномъ творчествѣ онъ является съ чертами котораго-нибудь изъ главныхъ выведенныхъ здѣсь лицъ: какъ *теоретикъ* — это человѣкъ угрюмаго подполья, геніальный діалектикъ, недовѣрчивый и презирающій людей,— и въ то же время ненавидящій дѣйствительность; какъ журналистъ, какъ человѣкъ своего времени, отчасти какъ членъ общества — это задушевный, простой, измученный своимъ сердцемъ и нуждою другъ Наташи («Униж. и оскорбл.»); въ своемъ дурачествѣ, пренебреженіи къ жизни, къ будущему, въ своей вульгарной сторонѣ — это «игрокъ». Въ «идіотѣ» отражено его сердце въ идеальномъ успокоеніи, вмѣстѣ и отчужденное отъ людей на какую-то безконечную высоту, и совершенно слитое съ ихъ нуждами,

страданіями; этотъ странный образъ есть до извѣстной степени то, что каждый поэтъ зоветъ своею «музою». *«Преступленіе и наказаніе»*—самое законченное въ своей формѣ и глубокое по содержанію произведеніе Достоевскаго, въ которомъ онъ выразилъ свой взглядъ на природу человѣка, его назначеніе и законы, которымъ онъ подчиненъ, какъ личность. Но *«Идіотъ»*—это было его любимое созданіе; кажется—самое свободное, наименѣе связанное съ волненіями текущей дѣйствительности. Странный колоритъ лежитъ на этомъ романѣ; все фантастично здѣсь, и, вмѣстѣ, какъ будто это фантастическое—звѣздный, мерцающій свѣтъ, падающій на сѣрую нашу дѣйствительность изъ далекаго, далекаго будущаго. Колоритъ этого романа, но уже съ чертами болѣе ясными и поразительными въ своемъ смыслѣ, повторяется въ двухъ только произведеніяхъ: «Сонъ смѣшного человѣка» (въ «Дневникѣ писателя») и въ разговорѣ Версилова съ «подросткомъ» (см. «Подростокъ»), и, отчасти, въ знаменитой Пушкинской рѣчи. Аскетизмомъ, чистотой, и высшимъ духомъ примиренія и съ страданіемъ человѣка, и съ его бѣдностью духовною, вѣетъ отъ всѣхъ этихъ произведеній, глубоко однородныхъ и представляющихъ какъ бы антитезу мучительно-безпокойнымъ созданіямъ въ родѣ «Записокъ изъ подполья», «Pro и Contra» и «Легенды о Великомъ Инквизиторѣ»; это—рафаэлевскія черты, это—его успокоеніе, которое мелькаетъ намъ сквозь бури Микель-Анджело.

Въ теченіе всей жизни, съ раннихъ лѣтъ, Достоевскій хранилъ въ себѣ какой-то особенный культъ Пушкина; нѣтъ сомнѣнія, что въ натурѣ своей тревожной, мятушейся, тоскливой, онъ не только не имѣлъ ничего родственнаго съ спокойнымъ и яснымъ Пушкинымъ, но и былъ какъ бы противоположеніемъ ему, сближаясь съ Гоголемъ, и еще далѣе, быть можетъ, съ Лермонтовымъ;—съ тѣмъ различіемъ, однако, что онъ вѣчно жаждалъ успокоенія, какъ тѣ, тревожась, искали новыхъ тревогъ. Пушкинъ былъ для него этимъ успокоеніемъ; онъ любилъ его, какъ хранителя своего, какъ лучшаго оберегателя отъ смущающихъ идей, позывовъ—всего, что онъ хотѣлъ бы согнать въ темь небытія и никогда не могъ. Этимъ оберегателемъ, онъ чувствовалъ, Пушкинъ можетъ стать и для каждаго; можетъ стать имъ, наконецъ, для народовъ, и особенно въ моменты великихъ внутреннихъ тревогъ, въ которые, повидимому, всѣ они болѣе и болѣе входятъ. Съ дивною гармоніей его поэзіи не могутъ бороться хаотическія начала человѣческой души; они улегаются отъ нея, противорѣчія смолкаютъ, сомнѣнія и темные помыслы отходятъ далѣе; его муза—какъ арфа Давида: она и невыносима для нашего слуха, но, еслибы мы могли ее вынести, принять въ свое сердце, въ ея звукахъ нашли бы успокоеніе для своей души. Вотъ невысказанныя и, быть можетъ, не сознанныя основы великой любви творца «Легенды объ Инквизиторѣ», «Pro

и Contra» къ творцу «Онѣгина», «Капитанской дочки»; создателя образовъ Свидригайлова, Карамазовыхъ — къ создателю Татьяны, лѣтописца Пимена.

Во всемъ этомъ есть, однако, нѣкоторая ошибка, скорѣе иллюзія, и она сказалась въ знаменитой Пушкинской рѣчи: этотъ экстазъ, этотъ призывъ къ всемірному братству, этотъ вопросъ объ единичной человѣческой душѣ, на замученности которой посмѣетъ ли человѣчество устроить свое окончательное счастье—развѣ это Пушкинское? Развѣ это *его* покой? Развѣ это покой какой-нибудь? Пушкинское осталось въ безграничной дали, отдѣленное отъ словъ этихъ безпросвѣтнымъ хаосомъ, изъ котораго, однако, душа великаго художника имѣла силы подняться къ новому свѣту. Но тотъ-ли это свѣтъ? Первоначальный-ли, естественный, эпически ясный? Это—*про*свѣтлѣніе, *воз*рожденіе; это уже свѣтъ другой и по происхожденію, и по природѣ, и по его вліянію на человѣческую душу. Извѣстенъ взрывъ особенныхъ чувствъ, который вызвала рѣчь Достоевскаго; здѣсь были слезы, кажется мучительныя слезы. И Пушкинъ читалъ свои произведенія—тамъ былъ восторгъ, но кто же «едва имѣя силы добраться до эстрады, упалъ безъ чувствъ»... Мы хотимъ сказать, что не въ слушающихъ только, но и въ сердцѣ, изъ котораго лились эти проникновенныя слова, была уже совершенно другая психическая атмосфера, нежели какою жили и дышали люди Пушкинской эпохи; то время умерло и навсегда; худшее или лучшее, но навсегда же наступило другое время.

V.

«Карамазовщина»—это названіе все болѣе и болѣе становится столь же нарицательнымъ и употребительнымъ, какъ ранѣе его возникшее названіе «обломовщина»; въ послѣднемъ думали видѣть опредѣленіе русскаго характера; но вотъ оказывается, что онъ опредѣляется и въ «карамазовщинѣ». Не правильнѣе ли будетъ думать, что «обломовщина»—это состояніе человѣка въ его первоначальной непосредственной ясности: это онъ — дѣтски чистый, эпически спокойный,—въ моментъ, когда выходитъ изъ лона безсознательной исторіи, чтобы перейти въ ея бури, въ хаосъ ея мучительныхъ и уродливыхъ усилій ко всякому новому рожденію; «карамазовщина»—это именно уродливость и муки, когда законы повседневной жизни сняты съ человѣка, новыхъ онъ еще не нашелъ, но, въ жаждѣ найти ихъ, испытываетъ движенія во всѣ стороны, чтобы изъ самаго страданія своего въ моментъ нарушенія извѣстныхъ и священныхъ завѣтовъ — найти, наконецъ, эти послѣдніе и подчиниться имъ. Главы «Братьевъ Карамазовыхъ» «*Pro* и *Contra*» и «*Великій Инквизиторъ*» — центральныя не только по отношенію къ роману, въ которомъ онѣ содержатся, но

и по отношенію ко всему длинному ряду произведеній Достоевскаго, который можно разсматривать, какъ предварительныя, неясныя и неполныя варіаціи мучительной темы, вылившейся неожиданно почти, почти безъ связи съ самимъ романомъ, въ этихъ главахъ, по времени написанія — почти предсмертныхъ. Геній писателя поднимается здѣсь на высоту, на которую еще не восходилъ до него никто въ художествѣ: въ чудной сценѣ, гдѣ представляются, въ узкомъ подземельи, вновь сведенными Христосъ и человѣкъ,—Богъ принимаетъ исповѣдь отъ твари своей за всѣ тысячелѣтія ея страданій, смрада, грѣха и могучихъ и напрасныхъ усилій превозмочь это. Было бы затруднительно въ цѣлой всемірной литературѣ найти какія-нибудь аналогіи этой сценѣ; чтобы отыскать ихъ, нужно обратиться къ памятникамъ письменности совсѣмъ другого рода. Это опять предъ нами Іовъ, но, сообразно новымъ тысячелѣтіямъ страданій и опыта, рѣчь его становится сложнѣе, мысль проникновеннѣе, да и онъ самъ говоритъ уже не о своихъ страданіяхъ, не о странной причудливости своей только судьбы, но за все человѣчество, за вѣка его необъяснимыхъ судебъ. Событіе тѣсное, частный эпизодъ въ землѣ Уцъ, съ похищенными стадами, потерянными дѣтьми, какъ будто раздвинулось въ необозримую панораму всемірной исторіи, сохранивъ однако свой смыслъ и имѣя для себя тѣхъ же виновниковъ. Только положеніе этихъ виновниковъ взаимно перемѣстилось,—и это есть, кажется, самая важная черта, какую новые вѣка внесли въ смыслъ сѣтованій, столь древнихъ: дерзкій вопросъ уже не находитъ себѣ отвѣта, спрашивающій—до конца спрашиваетъ, и наконецъ мы не различаемъ, *кто* же именно спрашиваетъ? Граница между человѣкомъ и искушающимъ Бога дьяволомъ исчезаетъ, ихъ образы сливаются, смыслъ ихъ словъ становится тожественъ, и весь эпизодъ получаетъ невыразимо тягостный смыслъ. Нѣтъ болѣе праведнаго Іова и не будетъ для него утѣшенія; есть Іовъ другой, безъ утѣшенія, безъ вѣры, который такъ же покрытъ проказой, на томъ же сидитъ гноищѣ, но уже безъ какого-либо смысла своего страданія только ощущающій его боль, и ропотъ котораго переходитъ въ темный хаосъ словъ. Вѣра-ли это? Безвѣріе-ли? Какой окончательный смыслъ сцены? Его договоритъ исторія — мы же знаемъ только, что никогда не являлось болѣе точнаго, болѣе правильнаго выраженія того, до чего Высшимъ Промысломъ доведена эта исторія къ нашему многозначительному и тревожному моменту.

1893 г.

„Вѣчно печальная дуэль“.

Этимъ названіемъ г. Мартыновъ, сынъ Н. Мартынова, имѣвшаго прискорбную судьбу убить Лермонтова на дуэли, опредѣляетъ («Русское Обозрѣніе», 1898 г., январь) ея характеръ и значеніе. Въ статьѣ, передающей неизвѣстныя до сихъ поръ подробности дуэли, онъ слагаетъ часть тяготѣющаго надъ его отцомъ упрека на секундантовъ, кн. Васильчикова и Глѣбова, не сдѣлавшихъ никакого усилія къ примиренію друзей-недруговъ. Есть что-то темное и дѣйствительно тягостное для памяти всѣхъ окружающихъ людей въ этой дуэли. Какъ объясняетъ и доказываетъ письмомъ Глѣбова Мартыновъ-сынъ, отецъ его вовсе не умѣлъ стрѣлять изъ пистолета и на дуэли «стрѣлялъ третій разъ въ жизни; второй—когда у него разорвало пистолетъ, и на дуэли—въ третій» (стр. 321). Пусть такъ; пусть смерть поэта была нечаянностью для стрѣлявшаго: все же остается безспорнымъ, что Мартыновъ, если бы не хотѣлъ убить поэта, могъ преднамѣренно настолько взять въ сторону, чтобы не задѣть противника. У него не было «умѣнья стрѣлять»; но, къ прискорбію, та доля умѣнья наводить дуло, какая была, совпала съ желаніемъ правильно его навести и оказалась достаточною.

Далѣе, секунданты. Оказывается изъ передачи Мартынова-сына, что вызовъ на дуэль послѣдовалъ около Петрова дня, т. е. 29-го іюня, а не 13-го іюля, какъ до сихъ поръ принималось въ біографіяхъ Лермонтова на основаніи показаній живыхъ участниковъ дуэли, и между днемъ вызова и самою дуэлью прошло двѣ недѣли, а не «трехдневная отсрочка, въ теченіе которой сокрушились всѣ наши усилія», какъ писалъ дѣйствительно темно и неясно, очевидно что-то замаскировывая, кн. Васильчиковъ. Глѣбовъ тотчасъ послѣ дуэли писалъ Мартынову: «покажи на слѣдствіи, что мы тебя уговаривали съ начала до конца, что ты не соглашался, говоря,

что ты Лермонтова предупреждалъ, чтобы онъ не шутилъ на твой счетъ и особенно настаивай» на такихъ-то его словахъ (стр. 321). Мартыновъ согласился это сдѣлать, но писалъ обоимъ секундантамъ: «вину всю я приму на себя и покажу на судѣ о всѣхъ вашихъ усиліяхъ примирить меня съ Лермонтовымъ, но требую, чтобы послѣ окончанія дѣла вы возстановили всю истину для очищенія моего имени, и опубликовали дѣло, какъ оно дѣйствительно было» (стр. 320). Въ теченіе всей долгой жизни участниковъ дуэли дѣйствительно было удивительно ихъ упорное молчаніе. Мартыновъ все время молчалъ, не проронивъ ни слова, какъ бы чѣмъ-то связанный, и теперь становится очевидно, что онъ былъ обязанъ «чувствомъ чести», ожидая, но молча и терпѣливо, что подробности, нѣсколько оправдывающія его, будутъ опубликованы секундантами. Съ другой стороны становится понятна и психика страннаго объясненія кн. Васильчикова, столь скупого въ фактической сторонѣ, но такъ усиленно настаивающаго на «несносномъ характерѣ» Лермонтова, на «невозможности для Мартынова не вызвать Лермонтова, не быть противъ Лермонтова естественно раздраженнымъ». Тутъ есть нѣчто убаюкивающее, обѣляющее Мартынова, но именно только морально, безъ дачи фактическаго матерьяла, котораго Мартыновъ ждалъ тоже отъ «друзей-недруговъ», но именно фактическаго-то они и не хотѣли дать, имъ было больно дать. Теперь оказывается, что Лермонтовъ не только задѣлъ Мартынова на вечерѣ у Верзилиныхъ, но что нѣсколько ранѣе онъ распечаталъ и похитилъ письмо-дневникъ сестры Мартынова, данное ему для передачи брату; онъ это сдѣлалъ, любя дѣвушку и, кажется, имѣя на нее болѣе серьезныя намѣренія: это о ней были написаны знаменитые его стихи: «Я, Матерь Божія, нынѣ съ молитвою», и т. д. Въ силу этого, въ двухнедѣльный промежутокъ между вызовомъ и дуэлью, Лермонтовъ, нисколько о дуэли не думавшій серьезно, сказалъ какъ-то князю Васильчикову: «Нѣтъ, я сознаю себя настолько виновнымъ передъ Мартыновымъ, что чувствую—рука моя на него не подымется» (стр. 324). «Передай мнѣ объ этихъ словахъ Васильчиковъ или кто-либо другой, я Лермонтову протянулъ бы руку примиренія и нашей дуэли, конечно, не было бы», замѣтилъ какъ-то отецъ сыну. О томъ, что Лермонтовъ «прежде сказалъ секунданту, что стрѣлять не будетъ», упоминаетъ изъ передачи секунданта Глѣбова и Эмилія Шанъ-Гирей, рожденная Верзилина, которая послужила «яблокомъ раздора» между друзьями и на балу у матери которой произошла ихъ стычка («Воспоминаніе о дуэли и смерти Лермонтова» — «Русскій Архивъ» 1889 года). Такимъ образомъ, фактъ совершенной мирности души Лермонтова и нечаянности для него исхода дуэли теперь можетъ считаться твердо установленнымъ изъ двухъ показаній. Изъ объясненій Мартынова-сына видно, что нѣкоторая свѣтская щекотливость нудила секундантовъ желать что-

бы дуэль не была «пустою»: именно, за годъ передъ этимъ бывшая дуэль Лермонтова съ Барантомъ, сперва на пистолетахъ и затѣмъ на шпагахъ, кончилась простой царапиной, и это произвело впечатлѣніе смѣшного какъ въ петербургскихъ великосвѣтскихъ, такъ и въ кавказскихъ военныхъ кружкахъ, и тѣнь этой смѣшливости пала и на секундантовъ прошлогоднихъ; секунданты новаго года не хотѣли этой смѣшливости для себя и естественно желали, чтобы дуэль была нѣсколько серьезнѣе. Здѣсь, въ этомъ незамѣтномъ на первый взглядъ обстоятельствѣ, въ сущности и лежитъ вся тяжесть дѣла. «Случай» удачнаго выстрѣла совпалъ съ «серьезнымъ» отношеніемъ къ дуэли секундантовъ: но все вышло гораздо «серьезнѣе», чѣмъ ожидалъ кто-нибудь изъ участниковъ; вышло тягостно и страшно—«вѣчно печальная» дуэль.

Не въ русскомъ духѣ, однако, ставить укоръ надъ памятью умершихъ. Итакъ, оставимъ дравшихся и свидѣтелей, и разовьемъ только мысль о «вѣчной печали» самой дуэли. Но сперва одно слово въ защиту личности поэта, на которую особенно темную тѣнь «несносности» наложилъ кн. Васильчиковъ. Да, это участь генія, прежде всего для него самого тягостная—быть нѣсколько не уравновѣшеннымъ; и эта нервность духа часто переходитъ въ желчность, придирчивость. Во всемъ зависѣвшій отъ Ив. Ив. Шувалова и даже имъ облагодѣтельствованный—Ломоносовъ съ нимъ ссорится; Гоголь написалъ «другу» Погодину письмо, читая которое тотъ плакалъ отъ оскорбленія какъ мальчикъ. Поэтъ есть роза и несетъ около себя неизбѣжные шипы; мы настаиваемъ, что острѣйшіе изъ этихъ шиповъ вонзены въ собственное его существо. Вспомнимъ Руссо, который такъ мучилъ, такъ мучился. Но роза благоухаетъ; она благоухаетъ не для одного своего времени; и есть нѣкоторая обязанность у пользующихся благоуханіемъ сообразовать свое поведеніе съ ея шипами. Поэтъ и всякій вообще духовный геній—есть даръ великихъ, часто вѣковыхъ зиждительныхъ усилій въ таинственномъ ростѣ поколѣній; его краткая жизнь, зримо огорчающая и часто незримо горькая, есть все-таки рѣдкое и трудно созидающееся въ исторіи мѵро, которое окружающая современность не должна расплескать до времени. «Aprés quoi Martynow croit de son devoir de se mettre en position»: эта шутка на балу у Верзилиныхъ, около 29-го іюня 1841 года,—какъ она легка, бѣгуча, воздушна передъ тягостною утратою, которую мы изъ-за нея понесли. «Вѣчно печальная» дуэль.

Лермонтовъ могъ бы присутствовать на открытіи памятника Пушкину въ Москвѣ, рядомъ съ сѣдоволосымъ Тургеневымъ, плечомъ къ плечу—съ Достоевскимъ, Островскимъ. Какое предположеніе! Т. е. мы чувствуемъ, что будь это такъ, ни Тургеневъ, ни особенно Достоевскій не удержали бы своего характера, и ихъ литературная дѣятельность вытянулась бы въ совершенно другую

линію, по другому плану. Въ Лермонтовѣ срѣзана была самая кронка нашей литературы, общѣе—духовной жизни, а не былъ сломленъ, хотя бы и огромный, но только побочный сукъ. «Вѣчно печальная» дуэль; мы рѣшаемся твердо это сказать, что въ поэтѣ таились эмбріоны такихъ созданій, которыя совершенно въ иную и теперь не разгадываемую форму вылили бы все наше послѣдующее развитіе. Кронка была срѣзана, и дерево пошло въ суки. Критика наша, какъ извѣстно, выводитъ всю послѣдующую литературу изъ Пушкина или Гоголя; «серьезная» критика, или, точнѣй, серьезничающая, вообще какъ-то стѣсняется признать особенное, огромное, и именно умственно-огромное значеніе въ «27-лѣтнемъ» Лермонтовѣ, авторѣ ломаннаго:

И скучно, и грустно...

или ходульно-преувеличеннаго «Демона», какъ и множества фальшивыхъ страницъ и сценъ «Героя нашего времени».—Онъ «не дозрѣлъ до простоты», вотъ глубокое словечко Гоголя, прикидывая которое къ Лермонтову—мы обыкновенно отказываемся признать въ немъ значительность. Нужно замѣтить, что критика въ этомъ взглядѣ только послѣдуетъ нашимъ большимъ писателямъ: С. Т. Аксаковъ, въ пространныхъ литературныхъ воспоминаніяхъ, едва раза два-три упоминаетъ имя Лермонтова; Гоголь въ «Выбранныхъ мѣстахъ изъ переписки съ друзьями»—также проходитъ лишь упоминаніемъ Лермонтова и несравненно больше говоритъ объ Языковѣ; Л. Толстой въ началѣ «Казаковъ», не называя имени Лермонтова, явно смѣется надъ его изображеніями Кавказа; Достоевскій въ первыхъ выпускахъ «Дневника писателя» и еще кой-гдѣ въ художественныхъ созданіяхъ выказываетъ несомнѣнную нелюбовь къ Лермонтову, между прочимъ за его «жестокость».—«Не дозрѣлъ до простоты»—какъ и отсутствіе ласки, «простосердечной» любви къ «ближнему»—затѣнило въ Лермонтовѣ всѣ качества и ото всѣхъ скрыло его значеніе. Всѣ выводили себя или другъ друга изъ яснаго, уравновѣшеннаго Пушкина, или изъ «незримыхъ слезъ» Гоголя, его «натурализма». Но это—не такъ.

Связь съ Пушкинымъ послѣдующей литературы вообще проблематична. Въ Пушкинѣ есть одна, мало замѣченная черта: по структурѣ своего духа онъ обращенъ къ прошлому, а не къ будущему. Великая гармонія его сердца и какая-то опытность ума, ясная уже въ очень раннихъ созданіяхъ, вытекаетъ изъ того, что онъ существенно заканчиваетъ въ себѣ огромное умственное и вообще духовное движеніе отъ Петра и до себя. Бѣлинскій не безъ причины отмѣтилъ въ колоритѣ его и содержаніи элементы Батюшкова, Карамзина, даже Державина («Клеветникамъ Россіи»), Жуковскаго; и даже есть у него кой-что изъ Крылова («Лѣтопись села Горохина», «Сцены изъ рыцарскихъ временъ»—въ концѣ).

Страховъ въ прекрасныхъ «Замѣткахъ о Пушкинѣ», анализомъ фактуры его стиха, доказываетъ, что у него вовсе не было «новыхъ формъ» и относитъ это къ его «скромности», «смиренію», нежеланію быть оригинальнымъ въ формѣ. Не было у него новыхъ «ритмическихъ біеній»—внесемъ мы поправку къ Страхову, но и сейчасъ же закончимъ наблюденія этихъ критиковъ: Пушкинъ не имѣлъ вообще лично и оригинально возникшаго въ немъ новаго; но все, ранѣе его бывшее—въ немъ поднялось до не превосходимой красоты выраженія, до совершенной глубины и, вмѣстѣ, прозрачности и тихости сознанія. Это—штиль вечера, которымъ закончился долгій и прекрасный историческій день. Отсюда его покой, отсутствіе мучительно-тревожнаго въ немъ, дивное его цѣломудріе, даже и въ «Графѣ Нулинѣ», «Русланѣ и Людмилѣ»; «власть заклинать демоническія стихіи природы человѣческой»—какъ опредѣлилъ Апол. Григорьевъ, или, точнѣе, какъ показалось и не могло не показаться этому критику. Заклинать «стихіи»: о, нѣтъ! Которую же изъ «мучительныхъ» стихій имѣлъ онъ «власть» заклясть у Гоголя? у Лермонтова? у Достоевскаго? А они всѣ передъ нимъ преклонились и такъ готовы были бы что-нибудь изъ «мучительнаго и «тревожнаго» въ себѣ «заклясть» черезъ него. «Хотѣли» бы, но не могли; и совершенно очевидно, что, давъ «сюжеты» «Мертвыхъ Душъ» и «Ревизора» Гоголю—Пушкинъ на самый характеръ его творчества, дивную и властительную его «мертвенность» и «умерщвляемость» живого—не имѣлъ ни капли, ни малѣйшаго вліянія. Гоголь, да и остальные два, именно въ «стихійности» своей неизмѣримо властительнѣе Пушкина; и такъ «готовые» бы поддаться передъ Пушкинымъ, подчиниться ему—не уступили ему ни пяди изъ личнаго и оригинальнаго въ себѣ, изъ того существенно «новаго», что было въ нихъ и что въ нихъ единственно значительно. Итакъ, съ версіей происхожденія нашей литературы «отъ Пушкина»—надо покончить. Далѣе, если мы возьмемъ Гоголя, какъ второго предполагаемаго «родоначальника» послѣдующаго развитія,—то, конечно, напр. «Бѣдныхъ людей» мы можемъ вывести изъ «поправленной» его «Шинели» [1]); но вѣдь не въ «Бѣдныхъ людяхъ» особенное, новое, характерное у Достоевскаго; и что же изъ его «карамазовщины» мы могли бы отнести къ Гоголю? Къ которымъ гоголевскимъ фигурамъ могли бы пріурочить длинныя размышленія Раскольникова, порывы Свидригайлова, судьбу Сони Мармеладовой и всю «бѣсовщину», включительно до «Легенды объ инквизиторѣ», отъ которой этотъ писатель хотѣлъ освободить русское общество и не умѣлъ освободиться самъ. Остановимся на Толстомъ. Ни у Гоголя, ни у Пушкина нѣтъ

[1]) Взглядъ Ап. Григорьева, Страхова и Ив. С. Аксакова: «Достоевскій развился изъ «Шинели» гоголевской, но привнесъ въ нее поправку милосердія».

никакихъ зачатковъ размышленій раненаго на Аустерлицкомъ полѣ князя Болконскаго, истинно «стихійной» игры и сплетенія страстей у Анны Карениной; ни тревогъ автора въ «Смерти Ивана Ильича» и «Крейцеровой сонатѣ», т. е. ничего именно типическаго и оригинальнаго у Толстого. Напротивъ, оба эти писателя, и еще третій—самъ Гоголь, имѣютъ родственное себѣ въ Лермонтовѣ, и, собственно, искаженно и частью грязно, «пойдя въ сукъ», они раскрыли собою лежавшіе въ немъ эмбріоны. Это очень трудно доказать, потому что Лермонтовъ только началъ выражаться, и показать это можно только уловляя—

Въ дымныхъ тучкахъ пурпуръ розы,

т. е. бѣгучія тѣни и полу-тѣни роднящихъ настроеній:

Но я безъ страха жду довременный конецъ:
Давно пора мнѣ міръ увидѣть новый...

— это тревога Лермонтова, почти постоянное его чувство, вызвавшее чрезвычайно много новыхъ «ритмовъ» въ его поэзіи. «Есть міры иные» — тревожно сказалъ Достоевскій, устами старца Зосимы, въ «Братьяхъ Карамазовыхъ»; «есть міръ иной»—развѣ не говоритъ это намъ, не предостерегаетъ насъ объ этомъ въ «Смерти Ивана Ильича» Толстой? Вотъ родство, уже внутреннее и гораздо болѣе тѣсное, чѣмъ «сюжетъ» «Мертвыхъ душъ», переданный Пушкинымъ Гоголю, но который Пушкинъ безъ сомнѣнія выполнилъ бы совершенно противоположно Гоголю, съ небесною улыбкою своею, какую онъ далъ увидѣть намъ въ «Онѣгинѣ», «Капитанской дочкѣ», «Дубровскомъ», и рѣшительно безъ всякихъ «незримыхъ слезъ», вулканическихъ рыданій подъ корою ледяного смѣха. Въ указанной, пусть мимолетной пока чертѣ, есть связь не «сюжета», но содержанія души, «умоначертанія», связь сердца, умственныхъ догадокъ, тревожащихъ сомнѣній.

И вижу я себя ребенкомъ; и кругомъ
Родныя все мѣста: высокій барскій домъ,
И садъ съ разрушенной теплицей.
Зеленой сѣтью травъ подернутъ спящій прудъ,
А за прудомъ село дымится—и встаютъ
Вдали туманы надъ полями...
(«1-е января»).

Развѣ это не тема «Дѣтства и отрочества» Толстого? Не та же тоска, очарованіе, тревога?

Въ аллею темную вхожу я; сквозь кусты
Глядитъ вечерній лучъ; и желтые листы...

«Не хочу я уѣзжать за границу», говоритъ одно характерное лицо въ «Преступленіи и наказаніи»: «не то, чтобы что-нибудь, а вотъ—Неаполитанскій заливъ, косые вечерніе лучи заходящаго солнца, и какъ-то грустно станетъ». Эти характерные «косые лучи» солнца еще повторяются въ «Подросткѣ», «Бѣсахъ» и личной біо-

графіи въ самыхъ интимныхъ и патетическихъ мѣстахъ, такъ что искусившійся въ чтеніи Достоевскаго, встрѣтивъ ихъ—уже знаетъ, что сейчасъ послѣдуетъ что-нибудь важное и, такъ сказать, автобіографическое у него; какъ, упомянувъ о нихъ, заволновался и Лермонтовъ:

Глядитъ вечерній лучъ...
И странная тоска тѣснитъ ужъ грудь мою.
Я думаю о ней, я плачу и люблю—
Люблю мечты моей созданье,
Съ глазами полными лазурнаго огня,
Съ улыбкой розовой...

Конечно, это не такъ громоздко, уловимо и доказательно, какъ «сюжетъ», «данный» и «взятый», но это—общность въ ощущеніи природы, въ волненіи, вызываемомъ какою-нибудь ея частностью; что-то близкое, такъ сказать, въ самой походкѣ, въ органическомъ сложеніи двухъ людей, такъ далеко разошедшихся въ манерахъ и очеркѣ лица.

... И желтые листы
Шумятъ...

«— Видѣли вы листъ? Съ дерева листъ?

«— Видѣлъ.

«— Я видѣлъ недавно желтый, немного зеленаго, съ краевъ подгнилъ. Вѣтромъ носило. Когда мнѣ было десять лѣтъ, я зимой закрывалъ глаза нарочно и представлялъ листъ зеленый, яркій съ жилками и солнце блеститъ. Я открывалъ глаза и не вѣрилъ, потому что очень хорошо, и опять закрывалъ.

«— Это что-же, аллегорія?

«— Н-нѣтъ... Зачѣмъ? Я не аллегорію, я просто листъ, одинъ листъ. Листъ хорошъ. Все хорошо.

«— Все?

«— Все. Человѣкъ несчастливъ потому, что не знаетъ, что онъ счастливъ—только потому. Это все, все! Кто узнаетъ, тотчасъ сейчасъ станетъ счастливъ, сію минуту. Эта свекровь умретъ, а дѣвочка останется—все хорошо. Я вдругъ открылъ...

«— Ужъ не вы ли и лампадку зажигаете.

«— Да, это я зажегъ». («Бѣсы», т. VIII, стр. 215, 216, изд. 1882 г.).

Кто знаетъ всю внѣшнюю хаотичность созданій Достоевскаго и внутреннюю психическую послѣдовательность текущихъ у него настроеній, тотъ безъ труда догадается, что этотъ «среди зимы» представляемый «изумрудно зеленый» листъ — и сейчасъ же «всѣ хороши», «зажегъ лампаду», есть собственно мотивъ предсмертнаго Лермонтовскаго:

Засохъ и увялъ онъ отъ холода, зноя и горя
И въ степь укатился...
У Чернаго моря чинара стоитъ молодая;

Съ ней шепчется вѣтеръ, зеленыя вѣтви лаская,
На вѣтвяхъ зеленыхъ качаются райскія птицы...
. . . . . .
И странникъ прижался у корня...

Связка ощущеній космическаго декабря, «зимы», и «изумрудной зелени», т.-е. космическаго же «апрѣля», — здѣсь и тамъ, въ сущности, одна: «листъ желтый, немного зеленаго, съ краевъ подгнилъ», т.-е. смерть и жизнь въ какомъ-то ихъ касаніи. И вотъ у Лермонтова:

...Я плачу и люблю —
Люблю мечты моей созданье...

И у Достоевскаго:

«— Вы зажгли лампаду?

«— Я зажегъ».

Я знаю, что тысячи людей и всѣ «серьезные» критики скажутъ, что это — «пустяки», что тутъ «ничего еще значительнаго нѣтъ»; я отвѣчу только, что это — настроеніе, выростающее до «я плачу» у одного, до «всѣ хороши», «зажегъ лампаду»—у другого, подъ сочетаніемъ странныхъ и намъ непонятныхъ почти, но совершенно очевидно однихъ и тѣхъ же представленій, оригинально, т.-е. безъ внѣшняго заимствованія «сюжета», у обоихъ нихъ возникающихъ. Именно родственное въ «походкѣ», при крайнемъ разнообразіи «лицъ». Но будемъ слѣдить дальше, ловить родняцкія черточки:

Посыпалъ пепломъ я главу,
Изъ городовъ бѣжалъ я...

—развѣ это не Гоголь, съ его «бѣгствомъ» изъ Россіи въ Римъ? не Толстой—съ угрюмымъ отшельничествомъ въ Ясной Полянѣ? и не Достоевскій, съ его душевнымъ затворничествомъ, откуда онъ высылалъ міру листки «Дневника Писателя»?

Смотрите—вотъ примѣръ для васъ:
Онъ гордъ былъ, не ужился съ нами...

Это — упрекъ въ «гордынѣ» Гоголю, выраженный Бѣлинскимъ и повторенный Тургеневымъ; Достоевскому этотъ же упрекъ былъ повторенъ послѣ Пушкинской рѣчи проф. Градовскимъ; и его слышитъ сейчасъ «сопротивляющійся» всякимъ увѣщаніямъ, не «миролюбивый» Толстой. Т.-е. духовный образъ всѣхъ трехъ обнимается формулою стихотворенія, въ которомъ «27-лѣтній» юноша выразилъ какую-то нужду души своей, какое-то ласкающее его душу представленіе. Замѣчательно, что ни одна строка Пушкинскаго «Пророка» (заимствованнаго) не можетъ быть отнесена, не льнетъ къ тремъ этимъ писателямъ.

Дамъ тебѣ я на дорогу
Образокъ святой;
Ты его, моляся Богу,
Ставь передъ собой

—не это развѣ, какъ мать трепетно любимому сыну, совалъ Достоевскій растерянному, нигилистическому и въ сущности только забывчивому и юному русскому обществу; припомнимъ «Бѣсовъ» и какъ въ заключительной главѣ этого романа Степанъ Трофимычъ читаетъ съ книгоношею-дѣвушкою Евангеліе, и преображается, «воскресаетъ».

Ты его, моляся Богу,
Ставь передъ собой

—вотъ тема всего Достоевскаго въ религіозной части его движенія. Мы дѣлаемъ только намеки, указываемъ тонкія нити, но уже въ самомъ настроеніи, которыя связываютъ съ Лермонтовымъ главныхъ послѣдующихъ писателей нашихъ. Но если бы кто-нибудь потребовалъ крупныхъ указаній, мы отвѣтили бы, что характернѣйшія фигуры, напр., Достоевскаго и Толстого—Раскольниковъ и Свидригайловъ въ ихъ двойственности, и вмѣстѣ странной «близости», кн. Андрей Болконскій, Анна Каренина — всѣ эти люди богатой рефлексіи и сильныхъ страстей все-таки кой-что имѣютъ себѣ родственнаго въ Печоринѣ ли, въ Арбенинѣ, но болѣе всего—лично въ самомъ Лермонтовѣ; но ничего, рѣшительно ничего родственнаго они не имѣютъ въ «простыхъ» герояхъ «Капитанской дочки», какъ и въ благоуханной, но также простой, нисколько не «стихійной» душѣ Пушкина. Власть эти стихіи «заклинать» именно и была у Лермонтова:

Когда волнуется желтѣющая нива,
И свѣжій лѣсъ шумитъ при звукѣ вѣтерка...
Когда росой обрызганный душистой,
Мнѣ ландышъ серебристый...
Привѣтливо киваетъ головой...
Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челѣ
И въ небесахъ я вижу Бога.

Онъ зналъ тайну выхода изъ природы—въ Бога, изъ «стихій» къ небу; т.-е. этотъ «27-ми-лѣтній» юноша имѣлъ ключъ той «гармоніи», о которой вѣчно и смутно говорилъ Достоевскій, обѣщая еще въ эпилогѣ «Преступленія и наказанія» указать ее, но такъ никогда и не указавъ, не разъяснивъ, явно — не найдя для нея словъ и образовъ. Ибо «когда волнуется желтѣющая нива» есть собственно заключительный аккордъ къ страшному, истинно «стихійному», предсмертному сну Свидригайлова, когда ему мерещились: «цвѣты, цвѣты, вездѣ стояли цвѣты... гробъ, 14-ти-лѣтняя дѣвочка-

самоубійца», но около гроба «ни зажженныхъ свѣчей, ни образа не было». Наше сопоставленіе не представится страннымъ, если мы возьмемъ изъ Лермонтова еще промежуточную, связывающую картинку.

...шторы
Опущены: съ трудомъ лишь можетъ глазъ
Слѣдить ковра восточные узоры;
Пріятный трепетъ вдругъ объемлетъ васъ,
И, дѣвственнымъ дыханьемъ напоенный,
Огнемъ въ лицо вамъ дышетъ воздухъ сонный.
Вотъ ручка, вотъ плечо, и возлѣ нихъ
На кисеѣ подушекъ кружевныхъ,
Рисуется младой, но строгій профиль...
И на него взираетъ Мефистофель.

Въ сущности—это и есть сюжетъ сна Свидригайлова; въ то же время вѣчный сюжетъ Лермонтова:

Ночевала тучка золотая
На груди утеса великана

Или:

Слушай, дядя—даръ безцѣнный!
Что другіе всѣ дары
.....
Трупъ казачки молодой
.....
И старикъ во блескѣ власти
Всталъ могучій, какъ гроза («Дары Терека»).

Сочетаніе, какъ мы выразились, космическаго октября и апрѣля, съ заключительнымъ—

Мучительный, ужасный крикъ («Демонъ»)

—что въ полную картину, въ широкій образъ раздвинулъ Достоевскій; и кто присматривался къ его собственному творчеству, могъ въ немъ замѣтить, что тема сочетанія октября съ апрѣлемъ есть и его постоянная тема (Свидригайловъ—въ «Преступленіи и наказаніи», Ник. Ставрогинъ — въ «Бѣсахъ», мимолетныя сценки въ «Униженныхъ и оскорбленныхъ», идея «карамазовщины»), но уже безъ выхода:

...смиряется души моей тревога...
...я вижу Бога.

Волненіе: «я плачу и люблю», «я—зажегъ лампаду», при воспоминаніи среди «зимы» объ «изумительно-зеленомъ листкѣ», полнѣе объясняется изъ этихъ сопоставленій и картинъ.

Вернемся къ Пушкину: онъ, конечно, богаче, роскошнѣе, многодумнѣе и разнообразнѣе Лермонтова, точнѣе — Лермонтовскихъ

«27 лѣтъ»; онъ въ общемъ и милѣе намъ, но не откажемся же признаться; онъ намъ милѣе по свойству нашей лѣни, апатіи, недвижимости; всѣ мы любимъ осень, «камелекъ», теплую фуфайку и валеные сапоги. Пушкинъ былъ «эхо»; онъ далъ намъ «отзвуки» всемірной красоты въ ихъ замирающихъ аккордахъ, и отъ него ихъ безъ труда получая, мы образовываемся [1]), мы благодарнимъ его:

Реветъ ли звѣрь...
Поетъ ли дѣва...
На всякій звукъ
Свой откликъ
Родишь ты вдругъ...

Какъ это понятіе «музы», опредѣленіе поэзіи глубоко противоположно музѣ Гоголя; до чего противоположно—Толстому; тоже—Достоевскому, у коихъ всѣхъ—

одной лишь думы власть,
Одна, но пламенная страсть («Мцыри»).

И это есть характерно не Пушкинскій, но характерно Лермонтовскій стихъ. Мы видимъ, что родство здѣсь открывается уже болѣе, чѣмъ въ отдѣльныхъ настроеніяхъ: но, такъ сказать, въ самомъ характерѣ зарожденія души, которая лишь одна и варіируется у трехъ главныхъ нашихъ писателей, но начиная четвертымъ—Лермонтовымъ. Это все суть типично-«стихійныя» души, души «пробуждающейся» весны, мутной, мѣстами грязной, но вездѣ могущественной. Тургеневъ, Гончаровъ, Островскій, и какъ послѣдняя ниспавшая капля «тургеневскаго» въ литературѣ—г. П. Боборыкинъ, вотъ раздробившееся и окончательно замершее «эхо» Пушкина. Россія вся пошла въ «весну», въ сосредоточенность:

...одной лишь думы власть,
Одну, но пламенную страсть,—

и вотъ почему казалось бы «ужасно консервативный» Достоевскій, довольно «консервативный» Толстой, какъ ранѣе тоже консервативный Гоголь стали «хорегами» и «мистагогами» нашего общества. «Эхо» замерло, «весна» выросла въ «лѣто», довольно знойное: но она стала рости сюда именно отъ Лермонтова. Онъ умеръ въ годы, когда Гоголь написалъ только «Вечера на хуторѣ близь Диканьки» и «Миргородъ», Достоевскій — «Бѣдныхъ людей» и «Неточку Незванову», Толстой—«Дѣтство и отрочество» и кой-что о Севастополѣ и Кавказѣ: т.-е. «вѣчно печальною дуэлью» отъ насъ унесена собственно вся литературная дѣятельность Лермон-

[1]) Замѣчательно опредѣленіе Пушкина Островскимъ, при открытіи въ Москвѣ памятника: «черезъ него всякій становится умнѣе, кто способенъ поумнѣть».

това, кромѣ первыхъ и еще не вѣрныхъ шаговъ. Пушкинъ, въ своей дѣятельности — *весь* очерченъ; онъ могъ сотворить лучшія созданія, чѣмъ какія далъ, но въ томъ же духѣ; вѣроятно, что нибудь изъ темъ

Отцы пустынники и жены непорочны—

возведенное въ перлъ обширныхъ и сложныхъ, стихотворныхъ или прозаическихъ эпопей. Но онъ—угадываемъ въ будущемъ; напротивъ, Лермонтовъ — даже не угадываемъ, какъ по «Бѣднымъ людямъ» нельзя было бы открыть творца «Карамазовыхъ» и «Преступленія и наказанія», въ «Дѣтствѣ и отрочествѣ»—творца «Анны Карениной» и «Смерти Ивана Ильича», въ «Миргородѣ»—автора «Мертвыхъ душъ». Но вотъ, даже и не раскрывшись, даже не предугадываемый—общимъ инстинктомъ читателей Лермонтовъ поставленъ сейчасъ за Пушкинымъ, и почти впереди Гоголя. Дѣло въ томъ, что по мощи генія онъ несравненно превосходитъ Пушкина, не говоря о послѣдующихъ; онъ весь разсыпается въ скульптуры; скульптурность, изобразительность его созданій не имѣетъ равнаго себѣ, и, можетъ быть, не въ одной нашей литературѣ:

Еслибъ зналъ ты Виргинію нашу, то жалость стѣснила-бъ
Сердце твое, равнодушное къ прелестямъ міра: какъ часто
Дряхлые старцы, любуясь на бѣлыя плечи, волнистыя кудри
На темныя очи ея—молодѣли; юноши страстнымъ
Взоромъ ее провожали, когда, напѣвая простую
Пѣсню, амфору держа надъ главой, осторожно тропинкой
Къ Тибру спускалась она за водою, иль въ пляскѣ,
Передъ домашнимъ порогомъ, подругъ побѣждала искусствомъ,
Звонкимъ ребяческимъ смѣхомъ родительскій слухъ утѣшая.

Это что-то Фидіасовское въ словахъ, по полнотѣ очерка, по обилію движенія; и, между тѣмъ, это только недоконченный отрывокъ, даже безъ заглавія, 1841-го года. Около него какъ блѣдна «Аннунціата» (изъ «Рима») Гоголя! Подобнымъ же образомъ «рѣзалъ на стали» только Гоголь и только въ самыхъ зрѣлыхъ, уже позднихъ своихъ созданіяхъ; но онъ «рѣзалъ» принижая, спуская дѣйствительность въ «грязнотцу». Параллелизмъ (и, слѣдовательно, родственность) между Гоголемъ и Лермонтовымъ удивителенъ: это— зенитъ и надиръ, высшая и нисшая точки «круга небеснаго». Среди рѣшительно всѣхъ созданій Лермонтова нѣтъ ни одного «съ пятнышкомъ»; у Гоголя почти вся словесность есть сплошной «лишай», «кора проказы», покрывающая человѣка. Именно — надиръ, но до глубины и окончательно вырисовавшійся, когда «зенитная» точка едва была намѣчена. Далѣе, въ созданіяхъ Лермонтова есть какая-то прототипичность (опять — параллель Гоголю): онъ возсоздавалъ какіе-то вѣчные типы отношеній, универсальные образы; печать случайнаго и минутнаго въ высшей степени исключена изъ его поэзіи. «Три пальмы» его, его «Споръ»—запомнены и незабвенны,

какъ рѣшительно ни одно изъ стихотвореній Пушкина; они не забываемы, какъ не забываемы, только обратныя по рисунку, фигуры «Мертвыхъ душъ», «Ревизора». Вѣчные типы человѣка, природы, отношеній, положеній, но—въ противоположность Гоголю—«зенитныя», надъ нами поставленныя:

Сквозь туманъ кремнистый путь блеститъ;
Ночь тиха, пустыня внемлетъ Богу,
И звѣзда съ звѣздою говоритъ.

Такихъ многозначительно-простыхъ и вѣчно понятныхъ строкъ, выражающихъ вѣчно повторяющееся въ человѣкѣ настроеніе, не написалъ Пушкинъ.

Дальше: вѣчно чуждый тѣни,
Моетъ желтый Нилъ
Раскаленныя ступени
Царственныхъ могилъ.

Въ четырехъ строчкахъ это не образъ, но скорѣе — идея страны. Названы точки, становясь на которыя, созерцаешь цѣлое. И какая воздушность видѣній:

И снился мнѣ сіяющій огнями
Вечерній пиръ въ родимой сторонѣ:
Межъ юныхъ женъ, увѣнчанныхъ цвѣтами
. . . . . .
И снилась ей долина Дагестана...

Это какая-то послѣ-смертная телепатія; связь сновъ, когда люди не видятъ другъ-друга, и когда одинъ даже уснулъ «вѣчнымъ сномъ». Удивительная красота очерка, и совершенная оригинальность, новизна въ замыслѣ. Пушкинъ не зналъ этой тайны существенно новыхъ словъ, новыхъ движеній сердца и отсюда «новыхъ ритмовъ». Мы упомянули о смерти. Вотъ еще точка расхожденія съ Пушкинымъ (и родственности—Толстому, Достоевскому, Гоголю). Идея «смерти», какъ «небытія», вовсе у него отсутствуетъ. Слова Гамлета:

Умереть—уснуть...

въ немъ были живымъ, вѣруемымъ ощущеніемъ. Смерть только открываетъ для него «новый міръ», съ ласками и очарованіями почти здѣшняго:

Я-бъ хотѣлъ забыться и заснуть...
Но не тѣмъ холоднымъ сномъ могилы...
Я-бъ желалъ навѣки такъ заснуть,
Чтобъ въ груди дрожали жизни силы,
Чтобъ, дыша, вздымалась тихо грудь;
Чтобъ всю ночь, весь день мой слухъ лелѣя,
Про любовь мнѣ сладкій голосъ пѣлъ,
Надо мной чтобъ, вѣчно зеленѣя,
Темный дубъ склонялся и шумѣлъ.

У Пушкина есть аналогичная тема, но какая разница:

И пусть у гробового входа
Младая будетъ жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вѣчною сіять.

Природа у него существенно минеральна; у Лермонтова она существенно жизненна. У Пушкина «около могилы» играетъ иная, чужая жизнь; самъ онъ не живетъ болѣе, слившись какъ атомъ, какъ «персть» съ «равнодушною природой»; и «равнодушіе» самой природы вытекаетъ изъ того именно, что въ ней эта «персть», эта «красная глина» преобладаетъ надъ «дыханіемъ Божіимъ». Осеннее чувство — ощущеніе и концепція осени, почти зимы; у Лермонтова—концепція и живое ощущеніе весны, «дрожаніе силъ», взламывающихъ вешній ледъ, бѣгущихъ веселыми, шумными ручейками. Тутъ мы опять входимъ въ идеи «гармоніи», «я вижу Бога», «я—зажегъ лампаду»,—которыя присущи всѣмъ и роднятъ всѣхъ этихъ «мистагоговъ» русской литературы. «Вѣчная жизнь» ихъ, «вѣруемая» жизнь, и есть жизнь «изумрудно-зеленаго листа», «клейкихъ весеннихъ листочковъ», какъ записалъ Достоевскій въ «Карамазовыхъ»: они уловили «міры иные» и «Бога» въ самомъ этомъ пульсѣ жизненнаго біенія, выказывающемъ въ лонѣ природы новые и новые «листки». Отсюда ихъ пантеизмъ, живой и жизненный, немного животный (у Толстого, Достоевскаго—у одного въ «карамазовщинѣ»; у другого—въ «загорѣлыхъ солдатскихъ спинахъ», «толстой шеѣ, на которую съ чувствомъ собственности смотрѣла Китти»), въ противоположность скептическому стиху Пушкина:

Устами праздными вращаемъ имя Бога

— замирающее «эхо» котораго сказалось въ извѣстномъ безвѣріи Тургенева, въ легкомысліи г. Боборыкина. Лермонтовъ недаромъ кончилъ «Пророкомъ», и притомъ оригинально новаго построенія, безъ «заимствованія сюжета». Струя «весенняго» пророчества уже потекла у насъ въ литературѣ, и это—очень далекихъ устремленій струя.

Но его собственныя пророческія, истинно пророческія видѣнія были прерваны фатально-неумѣлымъ выстрѣломъ Мартынова. Какъ часто, внимательно расчленяя по годамъ имъ написанное, мы съ болью видѣли, что, отнявъ только написанное за шесть мѣсяцевъ рокового 1841 года, мы уже не имѣли бы Лермонтова въ томъ объемѣ и значительности, какъ имѣемъ его теперь. До того быстро, бурно, именно «вешнимъ способомъ» шло, подымаясь и подымаясь, его творчество. Въ этомъ послѣднемъ году имъ написано: «Есть рѣчи—значенье», «Люблю отчизну я, но странною любовью», «По-

слѣднее новоселье», «Изъ-подъ таинственной, холодной полумаски», «Это случилось въ послѣдніе годы», «Не смѣйся надъ моей пророческой тоскою», «Сказка для дѣтей», «Споръ», «Въ полдневный жаръ», «Ночевала тучка», «Дубовый листокъ», «Выхожу одинъ я», «Морская царевна», «Пророкъ». Если бы еще полъ-года, полтора года; если бы хоть небольшой еще пукъ такихъ стиховъ... «Вѣчно печальная» дуэль!..

1898 г.

---

50 лѣтъ вліянія.

(Юбилей В. Г. Бѣлинскаго—26 мая 1898 г.).

26-го мая 1848 года «вешнія воды» Петербурга прорвали и унесли послѣднія частицы силъ, которыми цѣплялся за землю Бѣлинскій. Ни къ кому такъ не идутъ, какъ къ нему, послѣднія страницы «Рудина»:

«...И масла въ лампадѣ нѣтъ, и сама лампада разбита, и вотъ-вотъ сейчасъ докурится фитиль. Смерть, братъ, должна примирить...

«—Ты, я увѣренъ, однако, сегодня же, сейчасъ же готовъ опять приняться за новую работу.

«—Нѣтъ, я усталъ теперь. Съ меня довольно.

. . . . . .

«Они обнялись въ послѣдній разъ. Рудинъ вышелъ, а Лежневъ сѣлъ къ столу писать къ женѣ письмо. Между тѣмъ на дворѣ поднялся вѣтеръ и завылъ зловѣщимъ завываніемъ, тяжело и злобно ударяясь въ звенящія стекла. Наступила долгая осенняя ночь. Хорошо тому, кто въ такія ночи сидитъ подъ кровомъ дома, у кого есть теплый уголокъ. И да поможетъ Господь всѣмъ безпріютнымъ скитальцамъ».

Бѣлинскій есть основатель практическаго идеализма въ нашемъ обществѣ. Были люди столь же чистые, какъ онъ, душою, но прошедшіе незамѣтно, въ тиши, трудившіеся около маленькаго дѣла, въ сторонѣ отъ большихъ дорогъ исторіи; другіе были люди несравненно обширнѣйшаго, чѣмъ у него, образованія (славянофилы, Тютчевъ) или глубокомыслія (Достоевскій, Толстой); есть фигуры, необыкновенно красиво сложившіяся (Карамзинъ, Тургеневъ) и, такъ сказать, стоящія неувядаемымъ перистилемъ въ портикахъ исторіи. Но чье еще имя назовемъ, кто пробѣгалъ бы по этому портику такимъ живымъ дыханіемъ, неугомоннымъ вѣтеркомъ; чей звучный голосъ такъ долго, замѣтно и иногда властительно звучалъ

подъ его сводами и волновалъ чистѣйшимъ волненіемъ чистѣйшія сердца? «Удивляюсь я: въ какой бы глухой городокъ я не заѣзжалъ, вездѣ я находилъ, что среди играющихъ въ карты клубскихъ завсегдатаевъ, сплетень, всяческаго сора, есть группа не принимающихъ никакого въ этомъ участія свѣтлыхъ головъ: онѣ всѣ—восторженные почитатели Бѣлинскаго». Эта запись Ив. Аксакова, ѣздившаго въ пятидесятыхъ годахъ изучать малороссійскія ярмарки и отмѣтившаго вліяніе скорѣе непріязненнаго ему писателя, могла бы стать лучшею надписью на могилѣ Бѣлинскаго.

Основатель практическаго, жизненнаго, житейскаго идеализма. Удивительно, какъ все соединилось въ Бѣлинскомъ для полноты этой миссіи. Онъ вышелъ въ жизнь съ тощенькимъ «чемоданчикомъ», да и тотъ гдѣ-то на перепутьяхъ «отрѣзали». Онъ былъ одинъ, совершенно одинъ: только свѣтлая голова, только руки; кровь—если позволительна гипербола—температуры 100°, и пульсъ 200 ударовъ въ минуту. Характерно, и очень важно, и почти нужно было въ провиденціальныхъ цѣляхъ, что ему не дали доучиться въ университетѣ, и онъ «выбылъ» чуть-ли не «по неспособности». Совершенно одинъ, и никакой матеріальной, вещественной, формальной поддержки, хотя бы даже въ видѣ пустенькаго диплома. Только человѣкъ, только его душа; «вѣяніе» «вѣтра Божія...» Очень непріятно было читать его переписку съ невѣстою, года два назадъ напечатанную, гдѣ онъ требовалъ отъ нея, чтобы она пріѣхала къ нему въ Петербургъ: «обвѣнчаемся тихо, и пѣшкомъ пойдемъ домой». Непріятная черта здѣсь была въ какомъ-то непониманіи его, что у дѣвушки или у ея родныхъ есть свои привычки, предразсудки, требованія, которыя любящій человѣкъ могъ и, конечно, долженъ былъ уважить. Да, «долженъ»—здѣсь на землѣ, въ формальныхъ границахъ, въ которыхъ мы всѣ живемъ. Но тайна Бѣлинскаго и сущность его души, его миссіи и была совершенная несвязность ни съ какими формами быта, практики: въ чистѣйшемъ вѣяніи, и не «по» землѣ, а «надъ» землею. И это отношеніе къ невѣстѣ, такъ мучительно не хотѣвшей огорчить своихъ родныхъ, поражаетъ насъ въ Бѣлинскомъ жестокостью и грубостью только при первомъ чтеніи писемъ; позднѣе, взвѣшивая ихъ и относя къ цѣльности его исторической фигуры, невольно говоришь: «такъ все и должно было случиться, какъ случилось»; «конечно, Бѣлинскій не могъ и даже не долженъ былъ сидѣть на свадебномъ ужинѣ». Никакого «быта», никакихъ «нравовъ».

Съ отрѣзаннымъ «чемоданчикомъ», онъ жилъ гдѣ-то еще «на антресоляхъ». Когда разыгралась исторія съ Чаадаевскимъ письмомъ, въ напечатаніи котораго Бѣлинскій принималъ самое дѣятельное участіе,—упоминается, что онъ «въ это время жилъ у Надеждина, въ мезонинѣ».

О чемъ, бишь, «Нѣчто»?.. Обо всемъ...

—эта характеристика литературнаго «emplois», которую дѣлаетъ Репетиловъ, въ своей неопредѣленной зыбкости и, такъ сказать, неуловимости, очень точно выражаетъ, если ее переложить на матеріальные знаки, неуловимость и зыбкость внѣшняго положенія Бѣлинскаго. Нѣтъ въ нашей литературѣ еще человѣка, который лежа на гребнѣ исторической волны, и такъ долго, такъ видно лежа,—годы, десятки лѣтъ взмахивалъ бы только своими тощими руками, безъ малѣйшаго «своего» подъ нимъ суденышка. Не только онъ былъ одинъ, но онъ всегда былъ безпріютенъ; онъ уже велъ за собою огромную толпу—ибо Грановскій, Герценъ, В. Боткинъ собственно всѣ лишь дополняютъ и разнообразно продолжаютъ образъ Бѣлинскаго, безъ специфическаго и новаго, оригинальнаго въ себѣ значенія; но, какъ видно по письмамъ его о Краевскомъ и Некрасовѣ, внѣшнимъ образомъ онъ все еще оставался среди нихъ какимъ-то неустроеннымъ studiosus'омъ—съ вліяніемъ, простирающимся на всю Россію, и безъ увѣренности, не ожидаетъ ли его дочерей безысходная нужда. (См. его письма, исполненныя страха за семью, передъ смертью). Все это сплело ему терновый вѣнецъ—при жизни; но на разстояніи времени все это какъ-то увеличиваетъ блескъ его имени и опять нужно было для полноты его исторической миссіи. «Духъ вѣетъ идѣже хощетъ». Нужно было, чтобы «горѣніе» Бѣлинскаго до конца осталось только «изъ себя» горѣніемъ, чисто «человѣческимъ», «духовнымъ», почти безъ примѣси извнѣ подбрасываемыхъ «дровъ».

Что же сдѣлалъ этотъ одинокій и безпріютный человѣкъ, не имѣвшій «мѣста» въ обществѣ, «нуль» въ государствѣ, «пасынокъ» университета, «пловецъ въ морѣ житейскомъ»? Все идеальное, что есть въ этомъ обществѣ, есть въ университетѣ, частью даже въ государствѣ—онъ безмѣрно возлюбилъ. «Шелуха» практическаго бытія своего народа, «отбросъ» его текущихъ дней—онъ возвеличилъ, поднялъ, призвалъ всѣхъ вкушать отъ всего, что есть «съѣдобнаго» въ зернѣ, его такъ мало замѣтившемъ и пріютившемъ. Дѣятельность Бѣлинскаго не исчерпывается одною литературою въ ограниченныхъ и сухихъ ея рамкахъ: въ 12-ти томахъ Солдатенковскаго изданія его «сочиненій» есть собственно полный очеркъ нужнаго и цѣннаго въ жизни, «искры», «огоньки»—брошенные во всѣ углы человѣческаго обихода. Онъ именно все «свѣтлое» возлюбилъ и ко всему ему, въ полномъ очеркѣ, возбудилъ на долго свѣтлыя и именно практическія усилія. Нельзя не отмѣтить именно «практическаго» его вліянія. «Смакователи» эстетики въ 40-хъ годахъ и позднѣе вовсе не имѣютъ своимъ родоначальникомъ Бѣлинскаго, въ фазѣ его поклоненія Гегелю и Гете; они всѣ относятся генетически къ болѣе пассивнымъ натурамъ его времени—В. Боткину, Грановскому, Кудрявцеву,—къ тѣмъ, которые «говорили», и

не къ нему, который «кричалъ на крышѣ» [1]). Отъ него пошло именно идеальное въ практикѣ, какъ и онъ самъ былъ человѣкъ, который сейчасъ же бы промѣнялъ слово на всякое открывшееся возможное дѣло; отъ него пошли тѣ незамѣтные «чиновнички», «учителя», «семинаристы» по глухимъ провинціямъ, о которыхъ упомянулъ въ письмѣ своемъ Аксаковъ. Онъ, если позволительно такъ выразиться, зажегъ идеализмъ въ «рабскихъ» слояхъ нашего общества, и надолго сдѣлалъ невозможнымъ обратное впаденіе этихъ слоевъ въ «вино» и всяческую житейскую «грубость». Зажегъ свѣтъ въ глыбѣ земли, и никогда или долго эта глыба не сдѣлается у насъ опять безформенною, безмысленною «землею». Т.-е. онъ и его сочиненія внесли ласку въ отношенія учителя къ ученикамъ; добросовѣстное дѣланіе своего дѣла судейскимъ секретаремъ; изъ семинариста сдѣлали привѣтливаго и вдумчиваго въ свою паству священника; вездѣ они разошлись по Россіи лаской, мягкостью, честностью; немножко — мечтою, но на той прекрасной ея границѣ, гдѣ она нисколько не мѣшаетъ дѣлу и только согрѣваетъ его, облегчаетъ его, улучшаетъ его. Вотъ что, какъ огромный и прочный фактъ, далъ Россіи Бѣлинскій.

Это есть главное и около него все остальное, т.-е. частное, предметное содержаніе его критическихъ работъ, уже образуетъ второстепенность.

Въ послѣднія десятилѣтія прошла въ нашей литературѣ тенденція поставить впереди его другихъ критиковъ и также—осудить его за послѣдній періодъ его дѣятельности, когда онъ «измѣнилъ прекрасному». Ну, эта «измѣна»-то и текла изъ «прекраснаго вообще» въ его душѣ, что отогнало въ сторону «прекрасное» въ узкомъ и стѣсненно-ограниченномъ «словѣ». Прекрасно «думать прекрасное» и еще прекраснѣе его «совершать»: противъ этого какой же «книжникъ» что-нибудь скажетъ. Но обратимся къ его предполагаемымъ замѣстителямъ. Справедливо, что Добролюбовъ былъ утонченнѣе (нервознѣе) и потому сильнѣе Бѣлинскаго; женственнѣе [2])—и потому страстнѣе, владычественнѣе его; но его дѣятель-

---

[1]) Нельзя не обратить вниманія на то, что уже ставъ «литературнымъ авторитетомъ», Бѣлинскій не выпустилъ изъ-подъ пера своего ни одной «отчеканенной» строчки; т.-е. что цѣли литературной «чеканки» и, слѣдовательно, какого бы то ни было литературнаго emplois, «положенія», и даже литературно-исторической «по себѣ» памяти, — не входили никакою долею въ кругъ его заботъ и вниманія. Изъ его частныхъ писемъ, — за опубликованіе которыхъ общество особенно должно быть благодарно г. Пыпину, — многія выше по формѣ его статей, и, во всякомъ случаѣ, они всѣ сливаются съ «полнымъ собраніемъ его сочиненій», безъ границы между ними проходящей.

[2]) Черта, на которой мы упорно настаиваемъ. Есть рядъ писателей— напр., у насъ Карамзинъ, Лермонтовъ, во Франціи Руссо—съ ярко выраженнымъ женственнымъ сложеніемъ въ душѣ; такіе писатели всѣ оставили глубокій слѣдъ послѣ себя, что-то заражающее; въ ихъ лицѣ какія-то какъ-будто «кормилицы» прошли въ исторіи, съ напояющимъ «молокомъ». Еще примѣры:

ность, превосходная по растрачиваемымъ силамъ, была уже и односторонніе дѣятельности Бѣлинскаго, — пусть въ избранномъ руслѣ и глубже; и она была гораздо болѣе груба и матеріальна по цѣлямъ, движенію, объектамъ усилій. Тотъ духъ еще мягкаго, человѣчнаго, рокочущаго протеста, которымъ подъ самый конецъ не столько заострилась, сколько стала тревожиться дѣятельность Бѣлинскаго,—этому духу, окунувъ его въ холодную воду своего стиля, Добролюбовъ сообщилъ закалъ стали. Слово вдругъ стало рѣзаться, когда съ нимъ прежде играли, и очень многіе хотѣли бы вѣчно играть. Далѣе, Ап. Григорьевъ былъ, конечно, осторожнѣе и дальновиднѣе Бѣлинскаго въ сужденіяхъ; также его преемникъ въ критикѣ—Н. Н. Страховъ. Но вѣдь тутъ много значитъ эпоха, накопившійся опытъ фактовъ и психическаго развитія. Когда появлялись «Рудинъ», «Отцы и дѣти», «Театръ» Островскаго, «Война и миръ», «Преступленіе и наказаніе» — то съ этими произведеніями вся Россія зрѣла, и также созрѣвали критики; въ кудрявую юную шевелюру общества падалъ первый сѣдой волосъ. Бѣлинскій только не понималъ (напр., «народнаго» и «простонароднаго») того, чего вовсе не было въ его время; а Ап. Григорьевъ или Страховъ поняли и охватили то, чего было съ избыткомъ въ ихъ время. Слѣдуетъ добавить къ этому, что славныя и ставшія знаменитыми воззрѣнія этихъ критиковъ — напр., на «смирный» и «хищный» типъ человѣка—лишь немного времени спустя послѣ ихъ смерти кажутся ужасно преждевременными: «Л. Толстой въ «Войнѣ и мирѣ», этой прекрасной хроникѣ русскаго семейства, продолжилъ далѣе типы «Капитанской дочки»; онъ указалъ на простое и доброе, и уничижилъ хищное» (слова и вообще точка зрѣнія Страхова). Но вѣдь онъ «простымъ и добрымъ» разворачиваетъ всю нашу цивилизацію, «закусивъ удила»: и когда же приходило въ голову Пушкину сдѣлать такое употребленіе изъ мирныхъ обитателей Бѣлогорской крѣпости? Нѣтъ — тутъ не то, и даже вовсе не то, что предполагали и предвидѣли оба эти критика. Т.-е. вовсе не тотъ смыслъ имѣетъ русская литература: не—вѣчнаго пейзажа, «смиренно-мудраго» «перебѣленія бумагъ» и почтительнаго «отдыха на могилѣ своихъ предковъ». Но мы отвлеклись...

Бѣлинскій все любилъ издали и потому все, облитое имъ любовью, облито особенно страстно. Гончаровъ въ обширной статьѣ, посвященной его памяти, прекрасно и точно указываетъ, что онъ былъ очень образованъ, имѣя необходимость прочесть такое множество и столь разнообразныхъ книгъ; но, при его глубокой деликатности, «не оконченный курсъ» сказался вѣчнымъ предположе-

---

Ломоносовъ, Пушкинъ — типично мужскія души, удивительно слабой заразительности; изъ двухъ нашихъ народныхъ поэтовъ — Кольцовъ явно мужской консистенціи, Никитинъ —женственной. Стихотвореніе «Вырыта заступомъ яма глубокая»—типичный женскій «надъ-могильный» «плачъ».

ніемъ о какихъ-то таинственныхъ глубинахъ науки и философіи, коими обладаютъ его друзья, «окончившіе» — Герценъ, Бакунинъ, Кудрявцевъ, Тургеневъ. Онъ вѣчно разспрашиваетъ и вѣчно учится. Характеръ вѣчной попытки научиться, «просвѣтиться», носятъ и его статьи, и именно этимъ «учащимся» своимъ тономъ, тономъ безмѣрно пытливаго и недовѣрчиваго къ себѣ ученика—онѣ и производятъ такое заражающее дѣйствіе; отъ этого течетъ ихъ воспитательное значеніе. Далѣе, въ обществѣ и государствѣ онъ былъ «отбросъ», «studiosus»: само собою разумѣется, что онъ не могъ проникнуться тѣмъ специфическимъ неуваженіемъ къ «людямъ нашего круга», которымъ пылаетъ Л. Толстой; ни тѣмъ специфическимъ неуваженіемъ къ «племянникамъ министра», переписку коихъ живописуетъ всю жизнь вращавшійся среди министровъ кн. Мещерскій. Въ прекрасныя — истинно прекрасныя — «антресоли» ничего отсюда, изъ этой «кухни» государственно-соціальнаго строительства, не доносилось; и «смотря на небо», обоняя «свѣжій воздухъ» 5-го этажа, Бѣлинскій сохранилъ почти до самаго конца безпримѣсно-книжный теоретическій идеализмъ. Отсюда нѣкоторыя трогательнѣйшія его письма, напр. къ одному другу-юношѣ на Кавказъ, съ длинными и сложными увѣщаніями никогда не роптать на начальниковъ, и вообще принимать же въ разсчетъ, что при огромной исторической работѣ «иногда» государство и не можетъ не ошибаться, или даже и не «подавить» человѣчка. Отсюда его «Бородинская годовщина», такъ возмутившая особенностями своего тона его пріятелей, «служившихъ».

Отъ этого та доля отрицательности, какая есть у Бѣлинскаго, не сложилась ни въ какія узкія и опредѣленныя отрицанія; раздѣленіе между «свѣтомъ» и «тьмою», какое есть у него и должно быть у всякаго писателя, легло чрезвычайно правильною чертою между «просвѣщеніемъ» и «грубостью». Онъ отъ «Литературныхъ мечтаній» и до послѣднихъ годовыхъ обзоровъ текущей литературы остался неумолчнымъ борцомъ за свѣтъ вообще «идеи» противъ грубости косной «глины», «красной земли», гдѣ еще не вѣетъ «духъ Божій». Его миссія и значеніе совокупности его трудовъ есть «обще»-просвѣтительное и высоко-«просвѣтительное», безъ частнѣйшихъ устремленій или съ устремленіями мѣнявшимися и, слѣдовательно, въ измѣнчивости своей, сохранявшими лишь общій характеръ порыва къ свѣту. Онъ не уважалъ «Горе отъ ума» за его публицистическій характеръ и онъ преклонился передъ Гоголемъ за то, что тотъ «обличилъ Россію»; онъ написалъ «Бородинскую годовщину» и онъ-же написалъ извѣстное «Письмо къ Гоголю» по поводу «Выбранныхъ мѣстъ изъ переписки съ друзьями», которое можно назвать порнографіею Россіи; онъ преклонился передъ «равнодушіемъ къ дѣйствительности» Гете и прославилъ Пьера Леру за страстную (въ идеяхъ и требованіяхъ) переработку дѣй-

ствительности. Очевидно, эти противоположности срываютъ значеніе другъ у друга; не въ нихъ — важное у Бѣлинскаго; важно и вѣчно, что въ каждую минуту бытія своего онъ горѣлъ къ лучшему и что лучшее это было для него «умственный», «духовный», «образовательный» свѣтъ противъ косного лежанія, противъ великой оцѣпенѣлости его родины.

Тутъ мы опять вспоминаемъ въ сущности очень важный эпизодъ его съ невѣстою. Граница, за которую не простирается значеніе Бѣлинскаго, лежитъ въ книгѣ. Весь «умственный», «духовный», «образованный» свѣтъ, за который онъ боролся—шелъ изъ книги, безъ всякой примѣси къ нему «самосвѣтящихся земляныхъ частицъ». Ихъ впервые подняли позднѣйшіе и гораздо болѣе могущественные, чѣмъ онъ и все его окруженіе, писатели—Л. Толстой особенно рельефно и понятно, и еще утонченнѣе и глубже — Достоевскій («святая» карамазовщина); менѣе понятно и доказуемо — Гоголь, Лермонтовъ. Изъ какой «книги» идетъ свѣтъ Платона Каратаева (въ «Войнѣ и мирѣ»), Сони Мармеладовой — въ «Преступленіи и Наказаніи»; это вѣщее восклицаніе Гоголя: «скорбью ангела нѣкогда загорится русская литература», и почти непонятныя его словечки, но собственно вдругъ становящіяся понятными при взглядѣ на Достоевскаго, Толстого: «у—Русь! чего ты хочешь отъ меня? какая непостижимая между нами таится связь?.. Что глядишь ты такъ, и все, что ни есть въ тебѣ—обратило на меня полныя ожиданія очи?.. И, еще полный недоумѣнія, неподвижно стою я, а уже главу осѣнило грозное облако, тяжелое грядущими дождями... Какая сверкающая, чудная, незнакомая даль... Русь!» Какое, казалось бы, дикое восклицаніе: что общаго съ Чичиковымъ? Но какъ оно понятно около смерти «Смерти Ивана Ильича», и множества-множества строкъ, даже страницъ у Достоевскаго:

«Постигнуть я притомъ не могу, Алеша, какъ иной высшій даже сердцемъ человѣкъ и съ умомъ высокимъ, начинаетъ съ идеала Мадонны, а кончаетъ идеаломъ содомскимъ. Еще страшнѣе, кто уже съ такимъ павшимъ идеаломъ въ душѣ не отрицаетъ и идеала Мадонны, и горитъ отъ него сердце его, и во-истину, во-истину горитъ, какъ и въ юные безпорочные годы. Чортъ знаетъ что такое, даже, вотъ что... Ужасно, что это одновременное совмѣщеніе не только страшная, но и таинственная вещь; тутъ — дьяволъ съ Богомъ борется, а поле борьбы—сердца людей. Широкъ человѣкъ, слишкомъ широкъ, я бы съузилъ». Почти можно продолжать Гоголемъ: «Что пророчитъ сей необъятный просторъ; и грозно объемлетъ меня могучее пространство, страшною силою отразясь въ глубинѣ моей; неестественною властью освѣтились очи... у, Русь». Тоны странно сливаются и въ строки одного писателя можно вплетать строки другого, не разрушивъ единства лица писавшаго.

Эти писатели, какъ мы выразились — «свѣтоносно-земляные»,

начали собственно совершенно новую эру въ нашемъ развитіи, и дѣятельность Бѣлинскаго, весь «книжный» умъ его и его окруженія (люди «40-хъ годовъ» и теоретики 60-хъ) просто перестали «быть» для всякаго, кто умѣетъ вчитаться и вдуматься въ этотъ существенно новый и гораздо болѣе могущественный свѣтъ. Но вѣдь и вообще эти писатели уже выводятъ насъ за рубрику всего «Петровскаго цикла», «Петербургскаго теоретическаго существованія», и ведутъ въ очень неясные, но существенно новые «міры».

Умственное наслѣдіе Бѣлинскаго уже подернулось археологическою ветхостью; какъ нѣсколько принужденно мы читаемъ теперь и его современниковъ — В. Боткина, Герцена, Грановскаго. Все это

...плѣнной мысли раздраженье

не волнуетъ насъ и сохраняетъ лишь историческій интересъ. Бѣлинскій, давъ необозримое множество литературныхъ разборовъ, сохраняетъ болѣе классное значеніе, т.-е. для класса, для «учащагося» вообще, и въ жизни каждаго изъ насъ онъ захватываетъ вліяніемъ отрочество, юность и вообще годы нашего ученическаго «странствованія». Соотвѣтственно этому и въ обществѣ ему принадлежатъ, т.-е. ему еще подчиняются, умственно-средніе и низшіе слои. Но отъ этой старѣющей и почти старой ноши, которую онъ несетъ съ собою, долженъ быть строго отдѣляемъ самъ несущій. Бѣлинскій есть не только «писатель»: онъ есть «лицо» и какъ «лицо» онъ также свѣтитъ сейчасъ, какъ и въ вешнюю пору сороковыхъ годовъ. Ничего не умерло въ чертахъ его нравственнаго образа и въ нихъ онъ несетъ столько значенія, что сталъ вѣчно нужнымъ существомъ, «двѣнадцатымъ» гостемъ среди всякихъ 11 «пирующихъ» или «труждающихся и обремененныхъ». Всякое дурное дѣло имѣетъ, сверхъ упрека отъ живыхъ-честныхъ, еще и упрекъ отъ мертваго, Бѣлинскаго; и всякое доброе дѣло, сверхъ похвалы отъ живыхъ добрыхъ людей, имѣетъ похвалу и отъ него. Онъ—соучастникъ нашей жизни какъ нравственное лицо; онъ вѣчно живъ между нами и даже болѣе: въ немъ все тѣ же «100° температуры», «200 ударовъ пульса въ минуту», — и онъ насъ спрашиваетъ: «живы ли вы?»

Была, кажется, попытка, поставить ему памятникъ; мы не «за» «мѣдную хвалу», слишкомъ холодную. Кстати—русскіе типично не скульпторы, и у насъ вовсе нѣтъ живыхъ, жизненныхъ, «говорящихъ» памятниковъ, т. е, можно думать, этотъ способъ посмертнаго воздаянія не «рвется» изъ русской души, не выражаетъ ея любящихъ припоминаній. Кажется, характеръ русскаго «подвига» не вяжется, не связывается въ одинъ узелъ съ «бронзою» «стоящей»,—и нѣкоторымъ у насъ драгоцѣннѣйшимъ людямъ, напр. Кирѣевскому, да и тому же именно Бѣлинскому, просто нельзя, не

приходитъ на умъ «воздвигнуть» памятникъ, соорудить «мавзолей»... Иная гамма у насъ «чтимаго», «припоминаемаго» подвига. Теперь «памятникъ» есть или, точнѣе, сталъ у насъ символомъ признанія за человѣкомъ «всероссійскаго» значенія: что «отечество» вотъ признаетъ и «увѣковѣчиваетъ»... Время его постановки обыкновенно совпадаетъ съ совершеннымъ выходомъ человѣка, напр. писателя, изъ «живой» памяти, изъ волненій сердца; и, собственно, это есть символъ того, что, при умолкнувшихъ страстяхъ, «уста» уже «шепчутъ имя», не различая его точнаго значенія и содержанія; и слишкомъ понятно въ этомъ случаѣ, что его начинаютъ тогда шептать «уста всей Россіи». Поэтому «преткновеніе», которое встрѣтила мысль постановки Бѣлинскому памятника, есть символъ, что около него еще бьются сердца, волнуются страсти; что онъ болѣе живъ, чѣмъ мы опредѣлили выше. Тутъ, безъ сомнѣнія, аберрація, и какъ положительныя, такъ и отрицательныя движенія около «проекта памятника» идутъ, можно предполагать, въ «училищныхъ» слояхъ нашего населенія.

За XIX вѣкъ фигура Бѣлинскаго, въ своемъ смиреніи, безформенности, одухотвореніи есть, конечно, одна изъ самыхъ видныхъ; и съ его 50-лѣтнимъ живымъ вліяніемъ не можетъ быть поставлено въ рядъ вліяніе напр. Карамзина, который какъ только умеръ—сейчасъ же сталъ «монументомъ», не читаемымъ. Но, повторяемъ, мы не *за* «мѣдную хвалу» и также не за переименованіе улицъ, что стало входить у насъ въ употребленіе — въ «Пушкинскую», «Глинкинскую», и проч. «Улица» имѣетъ свой бытъ, нравы, мудрость и поэзію: это народное достояніе, съ тѣмъ «крестнымъ именемъ», въ какое окрестилъ ее безъименный «попъ»-народъ. «Память» каждаго человѣка нужно индивидуализировать, т.-е. особенно, заново, по новому чтить каждаго входящаго «угломъ» въ храмину духовной или вообще житейской исторіи. Бѣлинскій такъ нуждался при жизни; умирая—такъ страшился за будущность дѣтей; всю жизнь онъ работалъ на просвѣщеніе — «несъ крестъ просвѣщенія» въ духовно-косной странѣ; просвѣщеніе тѣхъ временъ, признавъ его «неспособнымъ къ продолженію курса ученія»— сдѣлало такой промахъ непониманія противъ «ввѣреннаго его заботамъ» ученика. Вотъ черты, которыя уже слагаютъ особенности его «памятника». Почему бы не сдѣлать изъ потомства Бѣлинскаго нѣкоторыхъ постоянныхъ пенсіонеровъ такъ обязаннаго ему образованія; т. е. что каждый мальчикъ и дѣвочка, указующіе его имя въ составѣ своихъ предковъ, имѣютъ отъ элементарнаго и до высшаго раскрытыми передъ собою (безплатно) двери всѣхъ учебныхъ заведеній; а при возможной нуждѣ — имѣютъ и готовый въ нихъ «коштъ». Это такъ просто и такъ отвѣчало бы особенностямъ его заслугъ.

1898 г.

Съ юга.

1. Около болящихъ.

Пятигорскъ, Эссентуки, Желѣзноводскъ, съ ихъ щелочными и сѣрными ваннами, съ зрѣлищемъ искалѣченныхъ людей, перевязанныхъ ранъ, приводятъ невольно на память слова Апокалипсиса: «и вотъ будетъ нѣкогда—падетъ звѣзда на источники водъ: и станутъ они горьки».

— «Равви, если ты Сынъ Божій, скажи: кто согрѣшилъ, этотъ слѣпой или его родители»?

— «Не онъ и не родители его, но—чтобы прославился Сынъ Человѣческій».

— «И сдѣлавъ бреніе на ладони, помазалъ глаза болящему. И слѣпой прозрѣлъ».

Безъ вѣры — нельзя жить; безъ вѣры въ чудо не прожилъ-бы человѣкъ; безъ Бога—онъ не прожилъ-бы. Развѣ эта группа водъ не есть чудо природы? «Согрѣшилъ я» — и припадая къ матери-землѣ, къ этимъ сѣрнымъ ключамъ, бѣгущимъ изъ Горячей горы (въ Пятигорскѣ)—исцѣляюсь. Какая связь, какое соотношеніе? Что за дѣло сѣрѣ до характерной болѣзни, которую она исцѣляетъ, что за дѣло этой характерной болѣзни — до сѣры? Но онѣ сцѣпляются въ узелъ какого-то соотношенія. Чудо, Богъ, вѣра—все тутъ.

И все-таки для вѣрующаго сколько сомнѣній въ Промыслѣ!

«Не онъ и не его родители согрѣшили, но—чтобы прославился Сынъ Человѣческій».

Такъ; хотѣлось-бы уповать; хотѣлось-бы вѣровать. Но вотъ передо мною конкректнѣйшій фактъ, гдѣ и «не онъ, и не родители не согрѣшили», а настанетъ-ли «прославленіе»?..

Есть у Кольцова стихъ:

О, Боже—могила и вѣрѣ страшна.

Странно, я сталъ впадать въ какія-то не колебанія, не сомнѣнія, но недоумѣнія религіозныя. Есть такія конкретности бытія, передъ коими какъ-то безсиленъ весь богословскій номинализмъ. Я сказалъ не такъ: есть конкретности, около которыхъ сердце обливается кровью, а всѣ утѣшенія становятся, какъ говоритъ Гамлетъ, «слова, слова, слова»... Что Богъ есть—объ этомъ-то я знаю, объ этомъ говорятъ сѣрныя ванны; говорятъ о какомъ-то мистическомъ узлѣ въ мірѣ, гдѣ все связуемо и который «всяческая и во всемъ». Что есть, наконецъ, религія — объ этомъ опять говорятъ вздохи сердца, вздыманія грудной клѣтки въ ночной тиши. Но далѣе, но подробнѣе?

... Боже—могила и вѣрѣ страшна.

Странно, я полюбилъ здѣсь докторовъ—этихъ матеріалистовъ, этихъ скептиковъ. Правда, именно здѣсь я встрѣтилъ въ нихъ много человѣчности. «Пусть эта благодать—не изъ алтаря, а все-же благодать», подумалъ я здѣсь не однажды. Въ докторахъ мнѣ нравилась всегда ясность ихъ профессіи; учитель, писатель, ораторъ, трибунъ—если онъ тонокъ и уменъ—сколько имѣетъ причинъ сомнѣваться, такъ сказать, въ самыхъ фундаментахъ своей дѣятельности. Но входитъ докторъ въ семью: сколько тревожныхъ глазъ устремлено на него,—и вдругъ почти это «талифа куми»—«и дѣвица вста». Нѣтъ, когда-нибудь медицина станетъ священною наукою. Въ 60-е годы она пережила грубѣйшіе афоризмы: «мысль течетъ изъ мозга, какъ урина изъ почекъ» (Фохтъ). Что-же, одинъ дуракъ осени не дѣлаетъ! Отъ Гиппократа, отъ Галена до Пастера, до Шарко—это тысячелѣтія вниманія, тысячелѣтія заботъ, тысячелѣтія скорби около человѣка, за человѣка! Нѣтъ, когда-нибудь потомки Фохта потребуютъ себѣ мантій, и человѣчество дастъ имъ мантіи!

Среди поразительнѣйшихъ зрѣлищъ безсилія медицины, здѣсь я сталъ и захотѣлъ вѣрить въ безграничный ея прогрессъ. Сказать-ли всю правду: я повѣрилъ въ исканія «философскаго камня» и «жизненнаго элексира». Вѣдь онъ такъ нуженъ, а что нужно—то будетъ. Притомъ эти сѣрныя ванны, эти таинственныя Эссентуки... Почему дугу, хорду, «отрѣзокъ» не продолжить мысленно, т. е. почему онѣ въ самомъ дѣлѣ не продолжаются, гдѣ-нибудь подъ землей и надъ землей, въ полный кругъ? Если есть какое-нибудь лекарство, то существуетъ всякое; если вообще есть, возможно и случается излеченіе, то, значитъ, есть всякое излеченіе. Я не могу себѣ представить, чтобы что-нибудь, начинаясь, не кончилось. Это былъ-бы абсурдъ міра и разума. Начинается: кой-кто и кой отъ чего, подъ вліяніемъ какихъ-нибудь лекарствъ — оправился; значитъ, должно кончиться, и нѣкогда всѣхъ приметъ въ себя святая силоамская купель. «Талифа куми»—«дѣвица вста».

Болѣзнь есть начало смерти—и смерть существуетъ; но и исцѣ-

леніе есть начало жизни, и, значитъ, жизнь существуетъ не какъ мигъ, не какъ 10%, но какъ 100%, какъ вѣчность. Всякая дуга имѣетъ для себя полный кругъ—это-то и есть идея «жизненнаго элексира», философскаго камня. Хина, дерево Южной Америки, дѣйствуетъ на лихорадку; маленькая трава digitalis волшебно вліяетъ на сердце. Вотъ начало жизненнаго элексира и песчинка, отколовшаяся отъ «философскаго камня». Непремѣнно всѣ ужасы человѣческаго страданія имѣютъ для себя ненайденную травку, не открытый digitalis. Ракъ растетъ и нѣтъ «травки», которая-бы ему легла «поперекъ дорожки», но я не безъ причины заговорилъ о мантіяхъ для докторовъ: если что-нибудь найдено, все будетъ найдено. Нѣтъ дуги—безъ круга...

Полнота уже теперь дѣйствующихъ медикаментовъ суть градусы круга, ихъ всѣхъ—360, найдено только 311, можетъ быть даже только 111. Одинъ Пастеръ какія бездны новаго знанія и новыхъ средствъ открылъ. А солнце—утилизированы-ли его силы? Посмотрите, какъ расцвѣченъ хребетъ кошки, спинка мотылька, а нижняя ихъ сторона сѣра, безцвѣтна, безвидна. Солнце—творитъ; оно имѣетъ въ себѣ никогда не дававшійся медикамъ секретъ жизненнаго синтеза, органическаго созиданія. Извѣстно, что медики и вообще «наука» многія органическія вещества «разложила», но ни одного (кромѣ немногихъ и въ сущности обманчивыхъ исключеній) не съумѣла и до сихъ поръ не умѣетъ «сложить». Солнце есть именно животно-слагающая сила, и не неправдоподобно, что въ немъ есть огромный запасъ лечащихъ силъ, но только «сундучекъ еще не открытъ»—нѣтъ какой-то и, можетъ быть, пустой догадки о томъ, какъ раскрыть и овладѣть его сокровищами. Это что-нибудь степени свѣта, комбинаціи лучей, что-нибудь за «ультра-фіолетовыми лучами». Я только одно испытывалъ и всѣ это знаютъ, что въ комнатѣ при температурѣ въ 18 градусовъ является тошнота и головокруженіе, но солнечный жаръ даже до 22, даже до 27 градусовъ выносится легко. Природа теплоты солнечной, такъ сказать,—не термическая только, но жизненно-термическая. Ищите—въ солнцѣ...

Но, Боже—могила и вѣрѣ страшна.

Я сталъ вѣрить въ солнце, любить людей, я повѣрилъ въ нескончаемость науки. Но, странно, специфически религіозная вѣра во мнѣ стала, остановилась въ какомъ-то недоумѣніи. Главное—очень трудно жить; очень трудныя страданія; есть и «не согрѣшившіе, и отецъ ихъ не согрѣшилъ»...

Боже—могила и вѣрѣ страшна...

Вы видите человѣка «согрѣшившаго» и который выходитъ изъ сѣрныхъ ваннъ, какъ бы изъ Силоамской купели; но вы видите

другого человѣка, котораго весь «грѣхъ» заключался только въ любви—вы видите «милостиваго самарянина», который наклонился надъ «пораненнымъ», «перевязалъ ему язвы»—и вотъ гніетъ въ этихъ же язвахъ! За что, за чей же грѣхъ, «свой» или «родителей?» И кто же надъ нимъ «сдѣлаетъ бреніе»?

Пусть это единичный случай, т. е. рѣдкіе [1]), но они же есть, ихъ не исключишь изъ природы, а не исключивъ—какъ начертаешь для себя ея образъ, ея именно мистическій ликъ? Великое безсиліе ума, великое сиротство человѣчества...

У Іова было семь сыновей, но когда умерли они—онъ имѣлъ еще четырнадцать. Онъ утѣшенъ; но—сыновья? Вопросъ остается безъ отвѣта. «Смерть, гдѣ твое жало?»—сказалъ пророкъ, повторилъ апостолъ. Но оно—во мнѣ, «азъ умираю». Религія учитъ меня мужественно умереть; тому же учили стоики, и также говоря «о безсмертіи души», о «погруженіи въ Бога». Развѣ же религія сливается съ стоицизмомъ? Безъ плюса, безъ живѣйшаго и реальнѣйшаго передъ этой человѣческой и безсильной философіей?

И между тѣмъ—сердце вздымается въ тиши ночи; есть молитва, и, значитъ, есть религія. Я не о ней говорю; я говорю о «словахъ, словахъ, словахъ», которыя построены на тончайшемъ благородствѣ сердца человѣческаго, которое и скорбя—не ропщетъ, и безнадежное — еще утѣшается; сирота — и сиротливо, переворачиваясь съ одного болящаго бока на другой болящій же, что-то шепчетъ и въ тиши ночи обращаетъ глаза къ образу, къ зажженной лампадѣ...

«— Вы ропщете?..

«— Нѣтъ, Богъ не велѣлъ роптать...»

И приходитъ нѣкоторый день, онъ умираетъ. Я вспоминаю мотивъ «Травіаты»: онъ всемірно извѣстенъ. Можно ли представить себѣ, что творецъ этого мотива—бѣдный силами человѣкъ—обладай онъ уже найденнымъ «философскимъ камнемъ», не бросился бы къ постели умирающей и въ мигъ, когда возможна для нея жизнь, возсіяла для нея правда, не продлилъ бы эту жизнь на годъ, на пять лѣтъ, на безконечность.

Бѣдные мы люди, что мы понимаемъ въ религіи? Если человѣкъ такъ благъ, что бросился бы, что продлилъ бы, что раздвинулъ бы въ безконечность восторгъ послѣдняго утѣшенія, то...

То «философскій камень» не найденъ и смерть «не» побѣждена, какъ утверждаютъ «слова, слова, слова». Она владычественна

---

[1]) «Рѣдкіе»-ли? Безъ исключенія всѣ дѣти въ безпорочный возрастъ 8—11 мѣсяцевъ «проводятся чрезъ огонь» зубного страданія, не переносимаго иногда даже до смерти («родимчикъ»). «Кто согрѣшилъ?»—Но «всѣ» болятъ и многимъ «нѣсть исцѣленія», «не бысть славы»... Тутъ, т. е. если принять во вниманіе, что даже «волосъ не падаетъ съ головы безъ воли»—срѣзываются въ сущности всѣ катехизическіе вопросы и отвѣты.

не только здѣсь и сейчасъ, но владычественна какъ какая-то правда, какъ какой-то абсолютъ же наравнѣ съ абсолютомъ жизни. Но тогда существенно не правильны наши унитарныя религіозныя представленія: міръ раздвоется, поляризуется:

Се, женихъ грядетъ въ полунощи...

Вытекаютъ два лица: полу-нощное, полу-денное; несущее смерть, несущее жизнь—не какъ силы только, но какъ двѣ абсолютныя правды. Значитъ, не только есть страданіе и насъ постигаетъ смерть: есть, значитъ, правда смерти и страданія, т. е. красота умиранія, красота болѣзни. Тургеневъ, въ «Живыхъ мощахъ», пожалуй, уловилъ эту правду.

Младенца-ль милаго ласкаю,
Уже я думаю...

надписалъ Пушкинъ въ какомъ-то безмѣрномъ любованіи; но другой поэтъ, правда, меньшихъ силъ, опять съ безконечнымъ любованіемъ остановился на старости:

Лысый, съ бѣлой бородою,
Дѣдушка сидитъ.
Чашка съ хлѣбомъ и водою
Передъ нимъ стоитъ...
. . . . . .
Гдѣ ты черпалъ эту силу,
Бѣдный...

и т. д. Человѣкъ постигаетъ красоту одного, красоту другого. Но потому это, что онъ самъ есть синтезъ и одной красоты, и другой красоты: онъ *родился*—вотъ первая красота въ немъ; но онъ еще *умретъ*—и это также есть въ немъ. Святое рожденіе, святое «успеніе»; и если они слиты въ человѣкѣ, тѣмъ паче они могутъ быть слиты въ Богѣ. Тогда полярность міра снова сливается въ экваторіальное единство, остается одно Лицо Божіе, безъ противо-«грядущаго» Ему «полунощнаго жениха». Но то ли это Лицо, «побѣдившее смерть», которое мы исповѣдуемъ? Нѣтъ и нѣтъ—смерть отъ Него же и даже она есть Его дыханіе, какъ есть Его же дыханіе—жизнь и рожденіе. Правда, вѣдь и сказано въ Апокалипсисѣ: «Азъ есмь Альфа и Омега, первый и послѣдній». Но тогда причемъ идея «смерти», какъ «наказанія» «за грѣхъ»? смерть есть дыханіе живого синтетическаго лица—она есть правда, она есть святость, по крайней мѣрѣ въ томъ смыслѣ, что божественна какъ и жизнь; тогда и ея дроби—болѣзни—святы же. Но тогда мы получаемъ мистическій узелъ вселенной въ сплетеніи горгонъ и свѣта; и тогда опять, значитъ, не вѣрны, совершенно не вѣрны, всѣ построенія нашихъ «словъ, словъ и словъ». Мы исполняемся религіознаго страха; страхъ получаетъ мѣсто въ мірѣ—какъ законъ, и

притомъ не грѣха вовсе, но и чистѣйшей святости. Трепетъ пронизываетъ человѣка—не потому, что «онъ погрѣшилъ или его родители», но потому, что самое Лицо, къ коему онъ шепчетъ молитвы ночью, есть неисповѣдимое Лицо, равно исполненное ужасовъ и свѣта, бурь и «тихаго вѣтра». Но это—совсѣмъ не то, чему насъ научили въ школѣ...

Бѣдный я человѣкъ: и сирота въ фактахъ, и убогъ мыслью.

Тутъ, пожалуй, есть и граница для «жизненнаго элексира»; и медикамъ, вмѣсто мантій, какъ бы не облечься въ эпитрахили и камилавки; но опять—тутъ все ново, и существенно нова должна стать молитва: робка, исполнена ужаса, смятенія и самыхъ трепетныхъ надеждъ.

«Первый и послѣдній, Альфа и Омега». Правда, Христосъ и совмѣстилъ Голгофу и Виѳлеемъ. Онъ былъ «рожденъ» и потомъ еще «умеръ». Но это вовсе не по тѣмъ мотивамъ и не по тѣмъ основаніямъ, о коихъ учатъ «слова», но для раскрытія человѣку одинаковой истины, небесности и Виѳлеема, и Голгофы. Все таки—бѣдный я человѣкъ. А я-то хотѣлъ и надѣялся безсмертія! Тогда понятно, пожалуй, какимъ образомъ даже въ музыкѣ напримѣръ смерть, какъ въ аріи Травіаты, исполнена, правда, надрывающихъ душу мотивовъ, исторгающихъ изъ глазъ слезы и—однако именно прекрасныхъ, именно возвышенныхъ. Прекрасно жить, прекрасно умереть. Но тутъ... но значитъ стоики не были уже такъ только «философы»—у нихъ была настоящая и истинная религія, зачатокъ какой-то религіи; и, съ другой стороны, страшная Бовани индусовъ, подъ колеса коей бросаются изувѣры—тоже несетъ какую-то правду, какое-то предчувствіе правды. Тогда объясняются не только «Живыя мощи» Тургенева, т. е. что пришла же фантазія человѣку такое и такъ написать [1]), но и наши закопавшіеся въ землю раскольники тоже получаютъ какой-то смыслъ.

---

[1]) Важенъ инстинктъ написанія, возведеніе страданія въ культъ, къ святости («мощи»), къ религіи. Нельзя не обратить вниманія, что всѣ главныя и множество мелкихъ сочиненій Тургенева—вся амплитуда его писательской дѣятельности носитъ отдаленно какъ бы предчувствіе, какъ бы страхъ тяжкой, продолжительной и мучительной его кончины. Земная любовь—вѣчно разстраивается; изъ земныхъ дѣлъ ничего не выходитъ («Дымъ», «Новь»); самый опоэтизированный типъ—Лиза Калитина, съ безсмертнымъ ея выраженіемъ о жизни, какъ предъуготовленіи въ смерть. Поэтому, мало замѣченному въ немъ характеру, онъ есть типично христіанскій и именно русско-христіанскій писатель. Всѣ типично «рождающія» произведенія Достоевскаго, «во славу рожденія» («карамазовщина»), носятъ совсѣмъ обратное направленіе и составляютъ какъ бы предчувствіе его замѣчательно свѣтлой, безстрадальной, краткотечной смерти. Умеръ—какъ отрѣзалъ.

2. Въ Кисловодскомъ паркѣ.

Русскому публицисту, вѣрно, успокоеніе только въ могилѣ. Самыя мирныя сцены навѣваютъ ему мятежныя мысли, и самая ласкающая природа не разгонитъ умственныхъ облаковъ. Съ зачатками язвъ онъ родился; съ раскрытыми язвами—сойдетъ въ землю.

Черненькія и бѣлыя головки дѣтей, оригинально перепутывающіяся въ Кисловодскомъ паркѣ, навели меня на мысли о современной національной перепутанности; и странно, ихъ игры завели въ лабиринтъ далекихъ политическихъ соображеній. Дѣти — всякія и вездѣ прекрасны; они вездѣ—слиты. Вотъ два черные армяненка, года по четыре каждому, ведутъ трехлѣтнюю блондинку. Сколько бережливости, чтобы, переступая черезъ дождевую канавку, она не запнулась. Съ другой стороны, около армянскихъ дѣтей — вездѣ русскія няни, здороваго и добраго московскаго типа. Я совершенно не видѣлъ около армянъ-дѣтей армянокъ-нянекъ. Вѣрно, какъ въ древности Спарта для всей Греціи давала лучшихъ кормилицъ,— русскій благодушный типъ, на оцѣнку всяческихъ народностей, даетъ лучшаго пѣстуна для первыхъ безсознательныхъ и полусознательныхъ лѣтъ человѣка. И вотъ, глядя на мирную смѣшанность дѣтей всякихъ родовъ и племенъ, я вспомнилъ: «сихъ есть царство небесное», и задумался о неустроенныхъ земныхъ царствахъ.

Есть «обрусѣніе» и «обрусѣніе»... Политика того «обрусѣнія», программу коего впервые формулировали «Московскія Вѣдомости», въ сущности есть политика національнаго обезличенія, денаціонализаціи племенъ, а не универсальнаго національнаго синтеза. Оглянемся назадъ. Русь въ Кіевскій періодъ своей исторіи совершила великія культурныя и религіозныя завоеванія, почти не имѣя, по крайней мѣрѣ не формулировавъ, «программы завоеванія»; московскіе великіе «сидѣльцы», отъ Калиты до «тишайшаго» Алексѣя Михайловича, совершили не меньшія завоеванія политическія, и также безъ замѣтнаго національнаго обостренія. Но Польша, которая всегда была полна національною и религіозною обостренностью, такъ и раскололась, и пала, не успѣвъ стесать и притупить рѣжущихъ другъ друга внутреннихъ ножей. Успѣхи Москвы и Кіева, національные и религіозные, были такъ медлительны, постепенны и «безпрограмны», что историки ищутъ и почти не находятъ документовъ о ступеняхъ, по которымъ совершилось (въ этомъ направленіи) восхожденіе русской силы. «Бѣдна русская исторія», «никакихъ яркихъ событій нѣтъ»: но вотъ, посмотрите, на концѣ этой великой тысячелѣтней тишины фактъ самаго огромнаго, самаго колоссальнаго, истинно тысячелѣтняго значенія—не государство, но почти міръ странъ и народовъ, между тремя океанами и

почти досягающій четвертаго; первая міровая мощь; не сегодня, завтра—центръ всемірныхъ къ ней тяготѣній, центръ разыгрывающихся всемірныхъ событій.

Для этого міра странъ и народовъ, который именуется «Россіею», — не бѣдна ли мыслью, не узка ли значеніемъ, не опасна ли и этою бѣдностью и тѣснотою духа программа «Москов. Вѣдомостей», какъ она была формулирована покойнымъ Катковымъ и поддерживается безъ измѣненія до сихъ поръ? Я осторожно спрашиваю; я готовъ отречься отъ сомнѣній, если мнѣ будетъ сказано твердое и доказательное «да». Филологическія ошибки бываютъ часто источникомъ ошибокъ политическихъ. Мы говоримъ «обрусѣніе»; но «обрусять», т. е. сливать съ собою до неразлучимости умѣли Кіевъ и Москва, и рѣшительно этого не умѣетъ Петербургъ. Помилуйте, чухна въ Парголовѣ, т. е. дачномъ мѣстѣ петербуржцевъ, и 200 лѣтъ спустя послѣ «перенесенія столицы» къ нему въ сосѣдство, сохраняетъ типъ финна (лицо, языкъ, бытъ), не принявъ ни единой въ себя ниточки изъ «русскаго лица». Вѣдь это все равно, какъ если бы на Воробьевыхъ горахъ или въ Останкинѣ, около Москвы, уцѣлѣлъ до Грознаго тюркскій типъ. Мало того: Парголово отвоевало и отвоевываетъ по сейчасъ частицы Петербурга; кто въ немъ не встрѣчалъ чистокровно-русскихъ извозчиковъ, бойко и главное весело, радушно перекидывающихся съ чухнами на ихъ діалектѣ. Вы съ удивленіемъ спрашиваете о метаморфозѣ, и узнаете, что это—дѣтище Воспитательнаго Петербургскаго дома, выросшее въ чухонской избѣ и не порывающее, не хотящее порвать съ нею связи. «За мѣсто отца и матери были».

Фактовъ нельзя и не нужно отъ себя скрывать; и фактъ — въ томъ, что не Петербургъ отъ чухны отрываетъ дѣтей, а скорѣй— чухна отъ Петербурга. Но распространите наблюденіе, и вы увидите, что Петербургъ — вѣроятно по безличности своей — вообще не имѣетъ въ себѣ ассимилирующихъ, сливающихъ, уподобляющихъ силъ. Онъ можетъ покорить; онъ совершаетъ глотокъ; но проглоченное становится въ его желудкѣ «долотомъ», отъ коего «болитъ нутро» Россіи. И эту боль отъ непереваренныхъ проглоченныхъ кусковъ мы называемъ нашими «окраинными вопросами». «Обрусить»... когда бы мы были сильны къ этому! Но это филологическая ошибка; бѣдные русскимъ сознаніемъ, русскимъ чувствомъ, «безличные» въ себѣ, мы только пытаемся снять лицо индивидуальности съ другихъ, и это зовемъ «обрусительною политикою».

Въ ней—какъ и рѣшительно во всѣхъ программахъ покойнаго Каткова (удивительно не изобрѣтательный былъ умъ)—мы въ сущности ужасно не оригинальны. Программа этой политики есть программа покойной Рѣчи Посполитой, которая удалась въ Литвѣ и

не удалась въ Малороссіи; программа, которая сейчасъ удается Пруссіи и не удалась, въ XVIII — XIX вѣкахъ, Австріи. Во всякомъ случаѣ, это не программа Кіевской Руси, Московской Руси; даже это не программа міро-владычнаго Рима. Римъ овладѣлъ міромъ (между прочимъ—и въ языкѣ овладѣлъ), никогда не вмѣшиваясь въ языкъ и нравы Трансъ-Альпійской и Цисъ-Альпійской Галліи,—вездѣ проводя дороги, устраиваясь съ сосѣдями на началахъ договора и вбирая этихъ сосѣдей «союзниковъ» («socies») въ себя, незамѣтно, постепенно, силою именно пищеваренія своего, но не механизмомъ глотка. Какъ ни удивительна параллель, она вѣрна: Кіевъ, Москва и Римъ росли по одному закону; Петербургъ, Варшава, Вѣна, Берлинъ—по другому, гораздо болѣе узкому и, мы думаемъ, менѣе удачливому, болѣе рискованному.

Всѣ начали наблюдать, что внутреннее ядро Россіи гибнетъ, худаетъ, а окраины—воскресаютъ; и это со времени и подъ вѣроятнымъ вліяніемъ именно «окраинной политики». Вглядимся въ механизмъ и средства «обрусѣнія», и мы кой-что поймемъ въ этомъ явленіи. Мы на окраины высылаемъ орловъ, въ виду «трудныхъ и тонкихъ тамъ политическихъ задачъ», а у себя внутри довольствуемся «генералами поплоше». Имена Воронцова, Барятинскаго, Ермолова, Гурко, Кауфмана, Черняева — суть имена общей русской славы: это—люди всероссійскаго таланта и значенія, которые посланы были приложить вѣчно дѣятельный умъ и несокрушимую энергію на окраины. Между тѣмъ, въ Калугѣ, Рязани, Костромѣ, гдѣ «никакихъ политическихъ задачъ нѣтъ», мы оставили только, такъ сказать, «гарнизонную» администрацію, инвалидовъ ума и воли. Вѣдь это такъ было, этого никто не оспоритъ; и посмотрите на результатъ этой тончайше задуманной политики. Человѣкъ вездѣ есть человѣкъ, т.-е. первое и главное, «царь вещей»; дадите вы человѣка городу или мѣстности — и вы дадите ему все; надѣлите тотъ же городъ всяческими учрежденіями и отнимите у него человѣка—и вы дадите ему слова безъ исполненія, обманчивую и даже лгущую надежду. Ужъ лучше бы отчаяніе. Даровитый человѣкъ, данный окраинѣ, и сдѣлалъ то, что онъ вездѣ бы сдѣлалъ, куда вы его ни поставьте: онъ «ввѣренный ему край» привелъ въ цвѣтущее состояніе; худой человѣкъ, т.-е. бездарный, безцвѣтный, опять сдѣлалъ то, что онъ вездѣ бы сдѣлалъ; онъ «захудилъ», сдѣлалъ «дрянцомъ» «ввѣренный край». Вѣдь и до сихъ поръ это же на глазахъ у всѣхъ: дѣятельнѣйшій и даровитѣйшій попечитель учебнаго округа — на Кавказѣ; выдающіеся по дарованіямъ попечители были въ Привислинскомъ краѣ. Что же они сдѣлали? Вы думаете, т.-е., повидимому, казалось всѣмъ, что они «обрусивали» армянъ, грузинъ, латышей? Конечно, ничего подобнаго: они дѣлали единственно то, что единственно можетъ сдѣлать даровитый человѣкъ съ спеціально отведенною ему сферою: привели ее въ цвѣтущее состояніе; т.-е. они

увеличили число школъ, дали имъ лучшій контингентъ учителей, смягчили вездѣ недостатки «уставовъ», и, при данныхъ условіяхъ, дали ученикамъ возможно наилучшее обученіе. Они создали, конечно, ни мало о томъ не думая, рядъ духовныхъ «возрожденій»; въ то время, какъ около Москвы, Казани, Харькова, Кіева — дѣдины русской земли—все заростало понемногу бурьяномъ: въ данномъ случаѣ, напр., ученики не учились, школы — закрывались (въ Брянскѣ, Касимовѣ, Ефремовѣ, Бѣлевѣ). Примѣните сказанное о школѣ къ пяти-шести еще вѣдомствамъ, и вы получите картину почти неисцѣлимой, трудно исцѣлимой раны: покривленность набокъ центральной Россіи и гордо приподнятыя кверху головы окраинъ.

Такъ идетъ кругооборотъ политики, совершенно не по тому руслу, какъ думали нѣсколько недальновидныя «Моск. Вѣд.» 60-хъ и 70-хъ годовъ. Но оставимъ сумрачныя тенета политики, и дадимъ мѣста нѣсколько—мечтѣ. Играющіе на Кавказѣ дѣти не создали, но оживили во мнѣ одну давнишнюю политическую мечту, которую почему бы и не обсудить читателю, пусть мимолетно и какъ мимолетное впечатлѣніе. Всюду мы видимъ, за XIX вѣкъ, политическихъ «воскресающихъ Лазарей»; три дня былъ въ гробу и уже «смердѣлъ», но пробилъ часъ и, повитый пеленами по рукамъ и ногамъ, онъ появляется изъ входа могильной пещеры, одними привѣтствуемый, другими проклинаемый. Латыши, финны, поляки, армяне, русины, чехи, раньше греки, сербы и болгары—всѣ стали или сейчасъ стоятъ на порогѣ какого-то бытія ли, небытія ли, никто пока не знаетъ; но они мучительно всѣ не хотятъ идти обратно въ гробъ и требуютъ себѣ мѣста среди живыхъ, котораго живые имъ не хотятъ или смущаются дать. Вотъ положеніе; оно—фактъ; различимъ въ этомъ фактѣ истинное, различимъ въ немъ ложное; различимъ возможное и должное.

Есть существованіе политическое, есть существованіе нравственное, которое, развѣтвляясь, имѣетъ видъ быта, характера, языка, вѣры («обличье»). Польша существовала политически и политически она сама разрушилась. Лишь политическій щебень ея взяли себѣ сосѣди, и взяли просто какъ неудобную въ сосѣдствѣ руину: одинъ попользовался стропилами, другой — забралъ кирпичъ, третій—воспользовался бревнами. Но все это взято было именно по внутренней несвязанности, какъ только этнографическій матеріалъ, безъ силъ и средствъ само-строенія, само-существованія (политическаго). Вотъ русская половина польской истины, за коею начинается, однако, истина краковяковъ, мазуровъ, познанцевъ. Никогда и ни въ какомъ договорѣ не было написано, подписано и скрѣплено, что эти Стаси и Зоси должны стать Лизами и Иванами: здѣсь начинается истина быта, языка, вѣры («обличье»), которыя никогда и ни въ какомъ договорѣ не уступались, не разрушились

среди политическаго разрушенія, и отстаивая которыя поляки чувствуютъ, что они отстаиваютъ «свое», нѣкоторый остатокъ, нѣкоторое «есть» въ себѣ, свое «право». Я не изъ любителей поляковъ; ихъ характеръ—мнѣ совершенно чуждъ, даже антипатиченъ: просто—я не умѣю нравственно понять ихъ, какъ вѣрно они никогда нравственно меня не поняли бы. Во мнѣ говоритъ только логика, ясное чтеніе того, что написано въ договорахъ, и совершенно отчетливое сознаніе, что не можемъ же мы вписывать въ договоры, чего тамъ нѣтъ: что тутъ начинается плагіатъ, поддѣлка документовъ, но не правдивая исторія и не здравая политика.

Я упомянулъ о Польшѣ; это—конечно наиболѣе трудный уголокъ нашего политическаго бытія, всего больнѣе рѣжущее «долото» въ нашемъ желудкѣ. Но ихъ нѣсколько, и это уже создаетъ трудность, которая можетъ перейти въ опасность. Безъ всякихъ подсказываній, эти окраины соединяются или завтра же соединятся сочувствіемъ; представители трехъ-четырехъ «возрожденій», разбросанные внутри Россіи, внутри Россіи служащіе и работающіе, и соединенные общимъ чувствомъ по крайней мѣрѣ индифферентизма къ Россіи—уже образуютъ въ ней великій минусъ. Около «плохенькихъ генераловъ», оставленныхъ у насъ «дома» «для обихода», этотъ минусъ возростаетъ до огромнаго значенія и силы. Доля коренного русскаго «захуданія» должна быть отнесена, какъ къ причинѣ, къ этой политикѣ «русскихъ—на окраину», «окраинцевъ—внутрь», которую — опять не оригинально, но по примѣру Виктора Эммануила—мы практикуемъ у себя. Уничтожить эту общую трудность и возможную опасность слѣдуетъ и можно яснымъ разграниченіемъ тонко переплетенныхъ здѣсь истины и лжи.

Все ложно въ политической сторонѣ имѣющихся у насъ пятишести окраинныхъ «возрожденій»; и совершенно истинно все въ этихъ «возрожденіяхъ» бытовое, своеобычное, своенравное, своевѣрное. И не только истинно: все должно быть для насъ радостно. Вспомнимъ Шевченку: онъ «плоть отъ плоти нашей»,—и чѣмъ и какъ поправить ту огромную, ту неисцѣлимую политическую язву, какую мы нанесли себѣ, причинивъ нѣкоторыя біографическія неудобства этому русскому изъ русскихъ, на коего вздумали посмотрѣть во-истину австрійскимъ взглядомъ? Это — язва, потому что это пятно на свѣтлой русской душѣ. Вѣдь мы же повторяемъ и заставляемъ дѣтей учить въ школѣ слова Невскаго, двинувшагося на шведовъ: «не въ силѣ Богъ, а въ правдѣ». Такъ развѣ сейчасъ, въ 1898 году, это не такая же истина, какъ и въ XIII вѣкѣ? Россія не на день должна быть крѣпка, а на вѣка и даже — подавай Богъ—на тысячелѣтія. Сейчасъ можно успѣть силою и вѣроломствомъ; но вѣка жить, но тысячелѣтія стоять можно только правдою. Шевченку за его милыя думы на хохлацкомъ говорѣ

слѣдовало наградить, дать ренту, освободить отъ крѣпостной зависимости. И въ вѣнокъ свѣта, сіяющаго надъ Россіей, вплелся бы еще лучъ, вплелся бы къ пущей ея именно политической крѣпости. Но то, что мы говоримъ, стоитъ внѣ всякихъ политическихъ цѣлей. Оно такъ хорошо, что какъ-то не хочется вплетать сюда политику. «Само приложится». Лучшія политическія побѣды—именно не програмныя.

Сущность національныхъ у насъ «возрожденій», имѣя истину въ моральной своей сторонѣ, ложна въ политической. Весьма правдоподобно, что родникъ «политиканщины» у насъ на окраинахъ лежитъ опять въ неумѣлости нашего «обрусѣнья». Мы наступаемъ на нравы, на языкъ, иногда и хоть чуть-чуть — на вѣру: намъ отвѣчаютъ «политикой». Мы узурпируемъ, на что не въ правѣ; и у насъ узурпируютъ то, на что въ свою очередь нѣтъ у нихъ права. Дѣло все въ томъ, что мы пытаемся «обезличить», думая, что это-то и значитъ «обрусить». Взглянемъ опять на одну частность обрусяющаго механизма: изъ нашихъ школъ выходитъ на 100 учениковъ 99 «общечеловѣковъ», «ни Господу — свѣчка, ни чорту—кочерга», и одинъ «съ русскою душой», съ вѣрой отцовъ, съ центральнымъ тяготѣніемъ къ Москвѣ, Калугѣ, Рязани. И такъ, мы не умѣемъ въ русскомъ сохранить русскаго; и вотъ черезъ тотъ же механизмъ, безъ малѣйшаго варіанта въ его устройствѣ, мы хотимъ изъ варшавянина, изъ эриванца сдѣлать... москвича? туляка? Конечно — нѣтъ и нѣтъ: мы дѣлаемъ тоже «общечеловѣка», «ни — свѣчку, ни—кочергу». Въ Соединенныхъ Штатахъ этотъ «общечеловѣкъ» занимался бы промышленностью и торговлей: тамъ $^{10}/_{10}$ человѣка ушло на это, и нѣтъ въ строго-опредѣленномъ смыслѣ ни исторіи, ни религіи (національной); ни политики, какъ нѣтъ и самостоятельно и оригинально развивающейся литературы, философіи и науки. Но на европейской почвѣ всякій «общечеловѣкъ» становится немножко литераторомъ (на практикѣ или въ душѣ); немножко проповѣдникомъ и немножко политикомъ. Всякій человѣкъ, о коемъ мы думали, что его «обрусили», проведя черезъ Ходобая и глаголы на «ці»,—въ силу указанныхъ литературныхъ, проповѣдническихъ и политическихъ инстинктовъ становится дѣятелемъ мѣстнаго національнаго «возрожденія»: оно даетъ ему тему, оформливаетъ его рѣчь и мысль. Вѣдь ни одно, рѣшительно ни одно изъ пяти-шести нашихъ «возрожденій» не идетъ изъ населенія, отъ селъ и деревень: это — городское явленіе, и даже частнѣе—школьное, литературно-ученое.

У насъ болѣе половины населенія—не великороссы. Россія есть именно не государство, но міръ странъ, народовъ, языковъ, религій. Задачи ея существованія и исторіи — не Варшавы, не Вѣны, не Берлина: и сапоги, въ которыхъ прошли эти чиновническія державства свои короткіе пути, износятся, да уже и износи-

лись, едва мы ступили въ нихъ нѣсколько шаговъ. Россія—другая, и все въ ней и у нея—другое. И вотъ, въ предѣлахъ уже существующей у насъ національной переплетенности мнѣ хочется не развить, но дать одинъ только намекъ на возможность иной политики, мысль коей, очень давняя, какъ-то конкретно шевельнулась у меня при зрѣлищѣ играющихъ дѣтей въ Кисловодскомъ паркѣ.

Дѣти не только щадятъ «національную исключительность»: они ее культивируютъ, ее требуютъ, ее хотятъ. Вотъ странное до дикости отношеніе, при которомъ вдругъ эта исключительность теряетъ «ножъ въ себѣ», тупѣетъ, стесывается; вы около нея вращаетесь и не только не обливаетесь кровью, но испытываете какое-то ласкающее, бархатистое впечатлѣніе. Все, что по закону ненависти и на почвѣ обезличенія не только не удалось до сихъ поръ, но и очевидно никогда не удастся, — все это по закону любви и на почвѣ культуры нравственно-народнаго лица разрѣшается само-собою. Я говорю, что дѣти-армяне съ великой бережливостью ведутъ русскую дѣвочку; а русская няня, на вопросъ о способностяхъ армянскаго двулѣтка, отвѣчаетъ: «преспособный!» И вотъ обѣихъ націй и нѣтъ въ одно и тоже время, и есть онѣ— т.-е. онѣ есть, только не рѣжутся острыми краями. Края стесаны; остались закругленныя сердцевинки, которымъ не больно лежать другъ около друга. Право же, можно наблюдать и не ошибаться: сколько здѣсь, на Кавказѣ, я видалъ туземнаго привѣта въ отвѣтъ на мину же привѣта, съ которой обращаются къ человѣку, и совершенно очевидно не дѣланнаго, не притворнаго. Просто человѣкъ лучше, чѣмъ кажется; и онъ политически лучше, какъ только на минуту самъ перестаешь быть «съ политикой».

Русское ядро на всѣхъ краяхъ обложилось небольшими, но своеобразными странами ли, культурами ли, но во всякомъ случаѣ своеобличьемъ въ языкѣ, нравахъ, вѣрѣ. Могутъ онѣ стать тучами на горизонтѣ, а могутъ стать и свѣтлыми зарницами. Почему не стать Россіи на вселенскую почву, не помечтать, какъ нѣкогда она мечтала въ Москвѣ, о «третьемъ Римѣ» въ себѣ, т.-е. о третьей во времени, а сейчасъ первой и единственной правдѣ? Удивительно узки петербургскіе идеалы передъ идеалами московскихъ «сидней». Мы шумимъ, бѣгаемъ; тѣ повидимому дремали, но въ ихъ дремотѣ расцвѣтали какіе великолѣпные сны Они, эти маленькіе и безсильные народцы, «возрождаются»—Лазари передъ выходомъ изъ пещеръ; что же, растеряться ли намъ передъ этимъ зрѣлищемъ «по австрійскому» подобію, или, по примѣру Христа, не повторить ли сомнѣвающимся Мареамъ: «не скорби, сестра; братъ твой не умеръ, онъ только спитъ»?—И неужели, неужели умерло благородство въ человѣческихъ сердцахъ (тогда для чего и «политика»?), и неужели воскресающіе у насъ Лазари не дадутъ намъ еще ге-

роевъ, какъ Багратіонъ, Барклай, какъ черноморскій Лазаревъ? И какое множество-множествъ еще именъ, на коихъ практически совершилось прекраснѣйшее изъ возможныхъ «сліяній центра съ окраинами»!

Я знаю, что мысли мои вызовутъ много протестовъ; что же, вѣдь я даю не программу, а почти мечту. «Не раскололась бы Россія», говорятъ ея фактическіе и недалекіе раскалыватели; я же къ политическому цементу прибавлю и моральный: «послужиши всѣмъ—да и тебѣ послужатъ».

3. «Горе отъ ума».

Представленія въ сезонномъ Кисловодскомъ театрѣ открылись комедіей «Горе отъ ума». Имя Грибоѣдова связано по трагической кончинѣ съ Кавказомъ, и, можетъ быть, поэтому его комедія открываетъ собою театръ. Первые іюльскіе дни здѣсь былъ холодъ и дождь: на Бермамудѣ, въ 40 верстахъ отъ курорта, выпалъ глубокій снѣгъ и испортилъ недѣлю, полторы недѣли для всей окрестности. Отъ нечего дѣлать, я пошелъ въ театръ; играли, однако, необыкновенно дурно; оставалось, почти зажимая глаза на игру, слѣдить за текстомъ знаменитаго литературнаго произведенія и еще разъ невольно переоцѣнивать его.

Безсмертность комедіи «Горе отъ ума» основана на множествѣ необыкновенно удачно обдуманныхъ мыслей, удачно подумавшихся и удачно сказавшихся. Нѣтъ ни одного еще произведенія въ русской литературѣ, строки коего до такой степени запомнились бы и такъ часто повторялись бы въ обиходной рѣчи, т. е. ни въ одномъ произведеніи нѣтъ столькихъ формулъ не превосходимой краткости, ясности и точности для характеристики многоразличныхъ житейскихъ положеній, отношеній, или для выраженія ироніи, негодованія, или, наконецъ, для обрисовки глупости, грубости, низости. Комедія каждому нужна, потому что она каждому даетъ неистощимый почти запасъ прекрасныхъ мыслей и словъ въ обиходѣ дѣйствительности; даетъ слово безсловесному и умъ ограниченному, при самой легкой степени литературнаго образованія и вкуса. Достаточно не смѣшать себя со Скалозубомъ или понять низость Молчалина, чтобы имѣть возможность въ тысячѣ случаевъ показаться Чацкимъ или родственнымъ Чацкому. И все это—безъ поддѣлки и усилія, само собою; такъ велико и естественно во всякомъ очарованіе необыкновеннымъ литературнымъ произведеніемъ. Можно сказать: съ появленіемъ этой комедіи, которая еще въ рукописи, какъ извѣстно, разошлась и выучилась всею читающею Россіей, Россія и весело и свободно вошла въ нѣкоторый лучшій, чистѣйшій эмпирей понятій и вкусовъ, заговорила новымъ языкомъ и на новыя темы о новыхъ предметахъ. «Грамотное», «обу-

чающее» значеніе этой комедіи — необыкновенно; ни одну школу Россія не проходила такъ охотно; ни одна школа не наводила на своихъ питомцевъ столько политуры и глянца; ни одна не была такъ непререкаема, такъ трудна для оспариванія. Въ чудной этой комедіи какъ бы уже данъ отпоръ на всякую попытку ея критики: неувядаемая острота, въ ней именно написанная, соскальзываетъ съ губъ всякаго вашего слушателя, передъ которымъ вы вздумали бы отрицать или оспаривать истину нѣсколькихъ тысячъ афоризмовъ, изъ которыхъ она составлена. Нѣтъ произведенія — и быть можетъ не въ одной нашей литературѣ—болѣе счастливаго и сыгравшаго болѣе счастливую роль.

Чувство счастья вообще разлито въ пьесѣ; если отъ отдѣльныхъ афоризмовъ, ее составляющихъ, мы перейдемъ къ ея тону— мы почувствуемъ, что это есть существенно побѣдный, побѣждающій тонъ. Маленькая неудача въ краткомъ романѣ Чацкаго есть только необходимѣйшее условіе его нравственной надъ слушателями или читателями побѣды; ореолъ страдальчества необходимъ герою, и въ данномъ случаѣ онъ данъ главному лицу въ той легкой дымкѣ почти только неудовольствія, которое разрѣшается заключительнымъ крикомъ:

Карету мнѣ, карету...

Самое страданіе его—быть объявленнымъ сумасшедшимъ отъ глупцовъ, сумасшедшимъ за явное превосходство ума — конечно есть тотъ видъ страданія, который показался бы лакомою участью почти каждому изъ смертныхъ. Можно сказать

Карету мнѣ, карету

— и есть олимпійскій вѣнокъ, который авторъ надѣлъ на голову первому бѣгуну великаго умственнаго ристалища. Позади его, уѣхавшаго въ вѣнкѣ

искать,
Гдѣ оскорбленному есть чувству уголокъ,

остаются совершенно глупыя, «побитыя» «чампіономъ», лица Фамусова, Софьи и Молчалина. Говоря о побѣдномъ тонѣ комедіи, мы однако разумѣемъ не рѣчи Чацкаго: мы разумѣемъ самый замыселъ комедіи и то чувство, которое принадлежитъ не лицамъ произведенія, но самому автору. Грибоѣдовъ не пережилъ ни одной изъ тѣхъ глубокихъ практическихъ коллизій, которыя пришлось пережить Пушкину, Лермонтову, Достоевскому, Толстому, Гоголю: ни коллизіи расхожденія между равно близкими родными (Лермонтовъ), ни—исполненнаго какого-то недоумѣнія положенія среди общества и въ «рангахъ» государства (Пушкинъ), ни—расхожденія между страданіемъ и любовью къ тому, отъ кого или отъ чего страданіе (Достоевскій), ни — расхожденія между своимъ громад-

нымъ умомъ и не пройденною, или плохо пройденною, отвергаемою школою (Толстой); не говоря о болѣе тайныхъ и болѣе глубокихъ нравственныхъ мученіяхъ. Поэтому критика, съ которою выступилъ Грибоѣдовъ и которая, какъ извѣстно, составляетъ содержаніе «Горя отъ ума», существеннымъ образомъ есть критика счастливаго, радующагося человѣка.

Грибоѣдовъ имѣлъ радость въ своей молодости, въ здоровьи, въ прекрасной и любящей женѣ, въ счастливо слагавшейся службѣ, въ сознаніи высокаго и прекраснаго своего таланта. Онъ такъ былъ беззастѣнчиво счастливъ, т. е. ему даже не приходила на умъ возможность или необходимость скрыть это, что онъ просто и спокойно, нѣсколько наивно, выразилъ это въ самомъ заглавіи пьесы. Какъ счастливъ былъ бы кто-нибудь, еслибъ ему выпало на какомъ-нибудь—пусть очень «умномъ»—своемъ произведеніи прямо надписать: «произведеніе умнаго человѣка», какъ это почти надписалъ Грибоѣдовъ, сливъ, очевидно, лицо свое—съ Чацкимъ, и объявивъ, что этотъ послѣдній несетъ «горе», даже до страданія—

...карету мнѣ, карету—

не по иной какой причинѣ, какъ отъ чрезвычайнаго излишества у него «ума». Этимъ объясняется осторожное замѣчаніе Пушкина, выраженное сейчасъ послѣ чтенія комедіи: «Грибоѣдовъ, конечно, уменъ, но не уменъ—Чацкій»; и то вообще, что тысячи его критиковъ чувствовали себя вынужденными высказаться прежде всего объ «умѣ» комедіи, какъ бы сказать «да» или робкое «нѣтъ» въ отвѣтъ на ярко выставленное «да» въ заголовкѣ, въ тонѣ, въ манерѣ счастливаго произведенія.

Этихъ критиковъ было гораздо болѣе, чѣмъ ихъ вообще видно. Произведеніе такъ знаменито, что молча или вслухъ почти каждый русскій писатель переживалъ пору мысленной его критики. Тамъ, въ самомъ концѣ комедіи есть слова одной изъ московскихъ старухъ о пріобрѣтенной ею «арапкѣ»:

да какъ черна, да какъ страшна...

—знающій комедію найдетъ безъ труда эту строку. Въ «Войнѣ и Мирѣ», которая имѣетъ темою обзоръ и критику именно критикуемой и Грибоѣдовымъ эпохи, есть фраза, среди размышленій о Москвѣ и глубочайшихъ родникахъ нашей побѣды надъ Наполеономъ: «вотъ именно такая-то (имя и отчество), которая, забирая своихъ арапокъ, дуръ и шутихъ, выѣзжала изъ Москвы съ смутнымъ сознаніемъ, что она — Бонапарту не слуга,—тысячи такихъ лицъ и такъ чувствовавшихъ и создали необходимость для Наполеона понять, что съ занятіемъ пустой столицы война не кончилась, что борьба и вообще не имѣетъ ни опредѣленнаго предмета, ни опредѣленныхъ границъ; и понудили его, тоже въ какомъ-то

недоумѣніи, выйти злобно и не понимая, что и для чего онъ дѣлаетъ, изъ Москвы—назадъ». Такъ многодумно, послѣ годовъ внимательнѣйшаго изученія документовъ и размышленій, рѣшилъ о той же самой эпохѣ, и даже о тѣхъ самыхъ лицахъ, о коихъ съ Фамусовымъ мы можемъ повторить:

ба! знакомыя все лица...

—рѣшилъ болѣе поздній и не такъ счастливо себя чувствовавшій писатель. Резюмируя причину того, что ему пришлось спасовать въ «любви» передъ Молчалинымъ, Чацкій заключаетъ монологъ словами, что-де—«впрочемъ

... чтобъ имѣть дѣтей
Кому ума не доставало...

—и именно этимъ двустишіемъ, почти сводя свою статью къ его критикѣ, Достоевскій начинаетъ въ «Дневникѣ Писателя», знаменитую свою статью: «Земля и дѣти», которую, если разсмотрѣть внимательно, можно счесть программою ко всей его литературной дѣятельности. Статья содержитъ разсмотрѣніе положенія Западной Европы—положенія начинающагося тамъ «вырожденія», и сводитъ родники этого вырожденія къ разрыву человѣка «съ землею», къ разрыву его «съ дѣтьми».

Кому ума не доставало...

—«а вотъ недостаетъ же», восклицаетъ Достоевскій, и съ величайшею глубиною и страстью настаиваетъ на этомъ, казалось бы, элементарнѣйшемъ и въ дѣйствительности очень глубокомъ и трудномъ «умѣньи». «Земля и дѣти»—въ самомъ дѣлѣ въ формулѣ этой содержится самая удачная критика «ума» комедіи, къ которому мы и переходимъ.

Это есть «умъ» какой-то обстановочный; умъ, насколько онъ употребителенъ и нуженъ для обстановки нашего бытія, но не для самого бытія. Все великое «горе» Чацкаго и автора есть въ сущности самый счастливый видъ горя: ибо оно происходитъ единственно отъ расхожденія во вкусѣ и требованіи — меблировать-ли домъ въ стилѣ «рококо», Louis XVI или Empire. Все содержаніе комедіи вращается около фасоновъ; и даже отсюда, отъ этого предмета критики, исходитъ фасонность самой критики, ея рѣзкіе углы, тонкіе и изящные словесные завитки, которые собственно и произвели великую общую ея запоминаемость, какъ и составили условіе ея счастливой побѣды. Дальше «фасона» критика не простирается; дальше требованія—смѣнить одинъ видъ «стиля» другимъ, новѣйшимъ, авторъ не задается. Отъ него нельзя провести соединительной линіи къ Лаврецкому, но очень можно — къ Паншину, такъ удачливо начавшему ухаживанье за «соломенной вдовой» пер-

ваго; огрубите Чацкаго, нѣсколько съузьте его умъ и, ни въ чемъ не мѣняя его существеннаго колорита, вы получите типъ такъ удачно нарисованнаго Тургеневымъ петербургскаго чиновника «изъ молодыхъ и réformé». Въ «Войнѣ и Мирѣ» Алпатычъ ѣдетъ въ Смоленскъ, штурмуемый и почти взятый французами, и, озираясь на хлѣбныя поля, почти не замѣчаетъ, гдѣ и среди какой «страждущей» обстановки онъ; Толстымъ посвящено нѣсколько страницъ на его (почти) «бормотанье» объ урожаѣ и прочемъ. Геніальныя страницы, но ихъ геніальность нельзя почувствовать, мысленно не придвинувъ ихъ къ «Горю отъ ума». Вотъ — противоположность, вотъ—расхожденіе; здѣсь опять «земля»—та «земля», которая побѣдила Наполеона, прожила 1,000 лѣтъ, смѣнивъ на себѣ много фасоновъ, и которую, какъ величайшую цѣнность, собирался «пахать» Лаврецкій. Сущность «ума» комедіи Грибоѣдова заключается не только въ безъ-внимательности къ этой «землѣ», но и просто въ непостиженіи о ней ничего, кромѣ того, что о нее «ушибся Молчалинъ», и тутъ ужъ, конечно, острота:

Контузился—затылкомъ или въ спину?

Комедія движется на паркетѣ, и ея безпримѣрно изящный словесный сгибъ есть именно словесная кадриль, съ чуднымъ волшебствомъ проходимая по навощенному полу, и которая оборвется, не нужна, не возможна какъ только вы уберете это условіе паркета подъ нею. То-есть «умъ» комедіи чрезвычайно условный—мѣстный и частный; умъ, о коемъ никакъ нельзя сказать, что въ немъ

—дистанція огромнаго размѣра,

какъ это невольно хочется сказать объ «умѣ» «Войны и Мира», т.-е. ея автора, Достоевскаго, Тургенева, и даже объ «умѣ» и «смёткѣ» простого мужика Алпатыча. Въ «Горѣ отъ ума» выразился вкусъ, и, такъ сказать, вкусъ исключительно мебельнаго, фасонно-дѣлательнаго характера, своей минуты и своего мѣста. Мужикъ Алпатычъ живетъ полною жизнью; это — полный человѣкъ, полная фигура человѣка: напротивъ, въ «Горѣ отъ ума» есть только чампіоны кажущагося «ума», бѣгущіе до поставленной авторомъ мѣты, причемъ почти всѣ не добѣгаютъ и за это осмѣиваются авторомъ, и успѣшно, даже раньше срока, достигаетъ этой мѣты одинъ. Такимъ образомъ, самое построеніе комедіи чрезвычайно бѣдно, безжизненно, и до нѣкоторой степени, имѣя въ виду именно любопытство зрителя или читателя, не «умно». Менуэтъ или польскій, который отплясываютъ (и на сценѣ довольно красиво) москвичи, вопреки укорамъ Чацкаго, есть единственное въ ней жизненное и, такъ сказать, физіологическое дѣйствіе.

Вообще недостатокъ физіологіи, жизнеоборота, «круговращенія силъ мірскихъ» — поразителенъ въ пьесѣ. Она не основана ни на

какой страсти, ни на одной привязанности. Страсть Чацкаго—исключительно головная, страсть къ произнесенію рѣчей и, такъ сказать, къ тысячному надписанію на фронтонѣ бытія своего: «горе (мнѣ) отъ ума»; но, напримѣръ, его страсти къ Софьѣ мы должны повѣрить на-слово, ибо въ чемъ же и какъ она выразилась, кромѣ совершенно холодныхъ ужимокъ во время ея обморока и глядѣнья въ дверь, когда она выходитъ изъ гостиной? Вообще отсутствіе темперамента, горячности сердца—у Чацкаго или автора—поразительно: и тутъ проходитъ граница ихъ обоихъ «ума». Подобнаго восклицанія:

А ты, съ которой былъ срисованъ
Татьяны милый идеалъ...
О, много, много рокъ отъялъ!

—подобнаго этому, внезапно воскликнувшемуся у Пушкина восклицанію, нѣтъ въ комедіи ни одного. И вообще замѣчательно, что въ ней нѣтъ совершенно ни одного слова и никакого штриха трогательнаго, милаго или наивнаго; такъ что параллель съ Паншинымъ и то, что самъ авторъ такъ рано и молодо дослужился до

... степеней извѣстныхъ,

невольно приходитъ на умъ и безспорно свидѣтельствуетъ объ исключительно дѣловыхъ, служебныхъ качествахъ его «ума», безъ примѣси даже чуточки поэзіи, «пѣсенки» или «сказочки» въ складѣ его способностей. «Горе отъ ума» есть самое не поэтическое произведеніе въ нашей литературѣ, и какое вообще можно себѣ представить.

Есть или были попытки сблизить Грибоѣдова съ декабристами, и напр. монологъ Чацкаго о «французикѣ изъ Бордо», гдѣ онъ говоритъ о «прекрасной нашей до Петра одеждѣ», въ самомъ дѣлѣ соприкасается съ мыслью и тономъ «Историческихъ думъ» Рылѣева (см. изд. 1825 г.). Тутъ даже можно предполагать заимствованіе, т. е. Грибоѣдовымъ отъ Рылѣева. Но опять есть глубокая между декабристами и Грибоѣдовымъ разница—въ темпераментѣ. Извѣстно, что очень много было въ обществѣ 1825 года людей, которые, будучи чуть-чуть не захвачены при арестѣ декабристовъ, — такъ близко стояли они къ нимъ,—въ дѣйствительности стали «разбирателями ихъ дѣла». Грибоѣдова вполнѣ можно представить въ ихъ кругѣ; что это были люди свѣта и добра, т. е. что говоря такъ о Грибоѣдовѣ—мы не говоримъ о немъ ничего дурного, въ этомъ свидѣтелями служатъ имена Блудова или, напр., Никитенко; тутъ проходитъ тонкое разграниченіе—именно въ темпераментѣ. Въ самомъ концѣ «Войны и Мира»—въ расхожденіи характеровъ Пьера Безухаго и Николая Ростова, изъ коихъ очевидно, одинъ ринется «къ памятнику Петра I», «около сената», а второй, «упрямо и не разсуждая», станетъ «на сторону Аракчеева», — глубоко выражена

правда обоихъ движеній: субъективная правда группировки и «около зимняго дворца» и «около монумента Петру». Ростовъ, какъ нравственный образъ, не ниже Безухаго; Россія не стояла бы такъ твердо 1,000 лѣтъ и не готовилась бы стоять еще 1,000 лѣтъ, и еще «паче тверже», если бы на сторонѣ ея историческихъ устоевъ, ея фактической дѣйствительности не стояли люди безупречнаго сердца и великаго умственнаго идеализма. Въ превосходной обрисовкѣ Ник. Ростова—студента, улана, дворянина, мужа некрасивой и безцѣнно прекрасной Marie Болконской,—показана эта историческая и бытовая наша правда; до этихъ глубинъ постиженія Грибоѣдовъ никогда не додумывался (ошибочный типъ Скалозуба), но и до безразсудныхъ, т. е. геніальныхъ въ безразсудствѣ своемъ, фантазій Пьера—онъ не доросъ. Вѣдь тотъ былъ сынъ екатерининскаго вельможи, который

...жилъ при дворѣ,
Да при какомъ дворѣ...

—и просто у автора «Горе отъ ума» не было крови, не было того шампанскаго въ нервахъ, которое бросило бы его «къ сенату», къ «монументу Петра» 14-го декабря. Онъ резонировалъ бы, присматривался бы, —да вѣдь онъ и въ самомъ дѣлѣ присматривался, и резонировалъ—«рисовалъ узоры перомъ» для будущей комедіи, не поспѣшивъ ни туда, ни сюда.

Въ «Милліонѣ терзаній» Гончаровъ отмѣтилъ невѣрность пониманія Грибоѣдовымъ типа и характера Софьи: въ самомъ дѣлѣ, ея привязанность къ Молчалину, молчащему идіоту, когда къ ней привязанъ говорящій геній, Чацкій, принадлежитъ положительно къ безсмысленнымъ чертамъ комедіи, и замѣчательно, что она поставлена въ центрѣ, образуетъ завязку и развязку пьесы. Гончаровъ тонко говоритъ, что Софья—въ условіяхъ времени своего и своего мѣста—представляетъ новое, цѣнное и любопытное лицо: она вглядывается въ обстановку, ее окружающую, всматривается въ людей, она выбираетъ, а не повинуется. Въ самомъ дѣлѣ, если вспомнить каменную Еленъ Безухову въ «Войнѣ и Мирѣ»—Софья скромное и прекрасное явленіе своего времени, которое, перебирая дѣйствительность, тянется къ какому-то внутреннему въ человѣкѣ свѣту; и расширивъ и углубивъ ея образъ, мы исторически можемъ дотянуться до Лизы Калитиной (въ «Дворянскомъ гнѣздѣ»), или Вѣры (въ «Обрывѣ»), и вообще подобныхъ положительныхъ въ нашей жизни и литературѣ типовъ. Но любящій тянетъ за собой и любимаго: Грибоѣдовъ былъ слишкомъ счастливъ, и притомъ самоувѣренно-счастливъ, чтобы—живи онъ на четверть вѣка позднѣе—въ скромномъ, напримѣръ, и застѣнчивомъ Басистовѣ, молча и благоговѣйно поклонявшемся Рудину, ему не показался тоже Молчалинъ; и онъ могъ бы, зная любовь того къ словеснымъ наукамъ, предложить ему снять копію, «для образца слога», съ знаменитой своей

комедіи. Произошло бы великое qui pro quo между кажущимся и дѣйствительнымъ умомъ.

Одинъ Молчалинъ—мнѣ не свой,
И то за тѣмъ, что—дѣловой,

—и его любитъ скромная, застѣнчивая, затаенная въ себѣ Софья. Вотъ двѣ фундаментальныя въ типѣ черты, около которыхъ все остальное—риторика и клевета. Такъ о Сперанскомъ, скромномъ преподавателѣ Владимірской семинаріи, передавали тоже въ 10-хъ и 20-хъ годахъ въ Петербургѣ, что, будто бы, когда за нимъ пріѣхала карета «взять его въ Большой домъ», то по незнанію и «молчалинской скромности» онъ вскочилъ на ея запятки. Чувство смѣха надъ Сперанскимъ въ петербургскомъ обществѣ сливается съ чувствомъ смѣха Грибоѣдова надъ Молчалинымъ, сливается до подробностей анекдота. Молчалинъ—даже стыдно его защищать, до того въ данномъ пунктѣ силенъ Грибоѣдовъ, мощенъ талантъ его ошибки, принимая во вниманіе два прорвавшіеся у автора штриха,—есть типъ начинающаго невиднаго работника въ государственномъ укладѣ, на мѣсто тѣхъ екатерининскихъ, коимъ

на куртагѣ случалось оступиться.

Ихъ ко двору не звали, во дворъ они не рвались, но скоро овладѣли всѣмъ государственнымъ механизмомъ. Что-нибудь изъ семинаристовъ, упорное и тихое; третьестепенный Сперанскій или третьестепенный изъ его помощниковъ. Кстати, соединяющая черта: знаменитый государственный секретарь былъ сантименталенъ; онъ былъ женатъ на нѣмкѣ — случай сочетанія не частый у насъ—и, рано потерявъ жену, никогда не полюбилъ во второй разъ, храня какой то культъ единственной въ своей жизни любви. Вѣдь то была пора, т.-е. Сперанскаго и Молчалина, когда и сочиняли, и пѣли—

стонетъ сизый голубочекъ,

—и какъ-то умѣли это соединять съ воловьей государственной работой. Мы можемъ представить, что эту пѣсню пѣлъ во Владимірской семинаріи Сперанскій; и съ другой стороны мы можемъ дорисовать, что непонятно привязавшій къ себѣ Софью секретарь Фамусова, случись ему быть секретаремъ у государственнаго человѣка, могъ бы написать докладъ, и «слогу» и содержанію котораго захотѣлъ бы подражать Грибоѣдовъ. Мы прикидываемъ все это примѣрно; говоримъ, что въ пьесѣ есть какое-то недоумѣніе въ пониманіи своей эпохи, какъ на это можемъ указать, ссылаясь на невольную критику ея въ «Войнѣ и Мирѣ»,—недоумѣніе въ пониманіи самыхъ типовъ комедіи, какъ на это указалъ Гончаровъ, и мы только нѣсколько продолжаемъ и развиваемъ мысль послѣдняго.

Исторически «Горе отъ ума» продолжаетъ «Недоросль» Фонвизина; только здѣсь «недорослемъ» названо и показано все русское общество, какъ оно сложилось къ двадцатымъ годамъ этого столѣтія, какъ оно массою осѣло, а не выдѣлилось порознь высокими даровитыми лицами (критикующіе декабристы; Никитенко, Блудовъ). Въ Грибоѣдовѣ сказался все тотъ же

птенецъ гнѣзда Петрова,

какими были, отъ Кантеміра и до него, многіе, если не всѣ, сатирики русской литературы. Съ Пушкина, но въ особенности съ 50-хъ годовъ и по-сейчасъ, вся русская литература пошла существенно по другому руслу: пробудилось уваженіе именно къ быту, такъ-таки и «не доросшему» до поставленныхъ литераторами лѣтъ,— къ быту, каковъ онъ есть—къ обществу въ его историческомъ сложеніи. Все героическое, въ особенности все героически-говорящее— принизилось; все общее, безличное, казавшееся «молчалинскимъ» или «недоросшимъ», было приподнято къ свѣту—«и такъ и этакъ» начало «разглядываться на свѣтъ». Рядъ прозорливцевъ дѣйствительно удивительнаго «ума» началъ всматриваться въ эту компактную, безличную массу: и Тургеневъ нарисовалъ Чертопханова изъ лица, которому почему бы не показаться «недорослемъ»; Увара Ивановича (въ «Наканунѣ») — изъ лица, котораго на первый бы взглядъ можно счесть Скотининымъ; и, можетъ быть, «Гамлета Щигровскаго уѣзда», вѣдь дѣйствительно забитаго, дѣйствительно, смѣшного—изъ лица, которое опять-таки Грибоѣдову показалось бы необыкновенно жалкимъ и неосмысленнымъ. Все показалось иначе, какъ только иной взглядъ посмотрѣлъ на дѣйствительность. Мы упомянули объ обучающемъ, грамотномъ значеніи комедіи; но это значеніе, даже въ самый мигъ ея появленія, не было просвѣщающимъ, развивающимъ. Сущность развитія и просвѣщенія заключается во вниманіи, въ сомнѣніи о себѣ, въ пристальности къ другому. «Горе отъ ума» бѣдно вниманіемъ.

Трагическій конецъ въ Персіи ея автора составляетъ какъ бы эпилогъ комедіи—первое и единственное настоящее горе, которое испыталъ Грибоѣдовъ. Какъ ни грѣшно судить его въ этотъ мигъ, но не возможно же не указать, что въ самомъ дѣлѣ онъ совершенно забылъ, куда и зачѣмъ, съ какими точными полномочіями пріѣхалъ, и продолжалъ мыслить и дѣйствовать въ Тегеранѣ, какъ бы въ Петербургѣ. Именно, онъ сталъ растаскивать у «долгополыхъ» персіяшекъ ихъ женъ—пунктъ именно той «земли», о «камень» которой онъ и въ самой комедіи «преткнулся ногою». Намъ, съ христіанской точки зрѣнія, трудно понять, что и какъ тутъ мыслятъ персіяне: но мы знаемъ, и Грибоѣдовъ могъ знать ихъ исторію, что за подобныя посягновенія тамъ всегда братъ убивалъ брата. Хитрый Ахитовель, чтобы порвать связь возмутившагося Авесса-

лома съ отцомъ, далъ тайный совѣтъ первому: «войди къ женамъ отца твоего». Правда, въ Тегеранѣ то были похищенныя у грузинъ дѣвушки, но на Востокѣ, опять со временъ Давида и Вирсавіи, женъ вообще какъ-то воруютъ, «умыкаютъ»: обычай, который намъ не можетъ показаться особенно ужаснымъ, если мы сопоставимъ и оттѣнимъ его частымъ у насъ обыкновеніемъ «кидать», «оставлять» дѣвушекъ, «бросать» и женъ. Во всякомъ случаѣ, тутъ есть особое и уже двухтысячелѣтнее «умоначертаніе». Чего, по Ахитовелеву разсужденію, не могъ вынести псалмопѣвецъ и долженъ былъ возжаждать крови сына,—естественно не могли простить «чрезвычайному послу и полномочному министру» дикіе тегеране: городъ загоготалъ, пошло «кругообращеніе» страстей—все то, чему дано такъ мало мѣста въ «Горѣ отъ ума». Долгополые ринулись на зданіе посольства, чтобы сдѣлать «сѣкимъ башка» человѣку такихъ высокихъ талантовъ и ума. Все было дико и ужасно въ ужасный день—въ этотъ азіятско-европейскій день, гдѣ униженный, уже давно униженный Востокъ яростно бушевалъ надъ горстью закинутыхъ судьбою къ нему людей. Говорятъ, трупъ убитаго едва былъ узнанъ безконечно-любящей его женой. На прекрасномъ монументѣ его, въ Тифлисѣ, вырѣзаны прекрасныя слова, за которыми намъ слышится «сказка» прекрасной и истинной любви. Сейчасъ мы не помнимъ буквально этихъ словъ: ихъ знаетъ всякій приблизительно и можетъ перечесть буквально въ каждой изъ безчисленныхъ біографій писателя. Многозначительнымъ въ этой надписи намъ представляется то, что ея трогательныя слова проговорила надъ писателемъ именно та «земля», та «Ева», та суть бытія и жизни—нѣкоторая глухота къ чему составила ошибку его жизни и комедіи.

4. Военно-Грузинская дорога.

Главная прелесть Кавказа—не въ горахъ; горы, пока вы не втянулись въ дефиле Военно-Грузинской дороги, собственно не представляютъ ничего поразительнаго. Эти огромные горбы, стоящіе на совершенно плоской равнинѣ, возбуждаютъ болѣе умственнаго любопытства, нежели зрительнаго любованія; не понимаешь, какъ и почему они произошли, но совершенно равнодушно переводишь глазъ съ нихъ на окружающую равнину. Къ тому же, они очень малы (для впечатлѣнія) по одной особенной причинѣ: когда вы ѣдете въ горную страну, въ вашихъ ожиданіяхъ вырисовываются именно горы; «горы» и «горы»—и ничего еще болѣе, т. е. онѣ закрываютъ собою все, подчиняютъ себѣ все, подавляютъ себѣ все. Вы пріѣзжаете: и вдругъ съ непріятнымъ разочарованіемъ видите, что эти горы—лишь бугорки на необъятно раскинувшейся равнинѣ, лишь точки, пики подъ синевою неба. Вы не приняли во вниманіе, что вѣдь небо не будетъ закрыто, не закроется и степь: а,

брошенныя на ихъ масштабъ, естественно самыя высокія вершины представляются точками, горбами, выпуклостями. Какое разочарованіе, какъ мало и бѣдно!—думалъ я, подъѣзжая къ станціи «Минеральныя воды» и позднѣе уѣзжая съ этой станціи къ югу, во Владикавказъ. Вотъ—Машукъ, Желѣзная гора, Змѣиная; вотъ, наконецъ, Бештау, упоминаемая въ географіи, какъ одна изъ вершинъ Кавказскаго хребта. Я ее всю вижу, охватываю отъ края до края глазомъ; гдѣ же тутъ безконечность, неотдѣлимая отъ понятія красоты, и именно удивляющей или поражающей красоты? Какое нищенство!

Повторяю, все это измѣняется, когда вы втягиваетесь въ горы и начинаете съ нихъ смотрѣть внизъ. Но я упомяну о томъ, что уже ранѣе поражаетъ васъ необыкновенною красотою и сразу дѣлаетъ для васъ Кавказъ волшебно-прекраснымъ, съ чѣмъ никогда бы не разстался: это—горныя рѣчки. По пріѣздѣ въ Кисловодскъ я нѣсколько ночей не спалъ и не хотѣлъ спать: прямо подъ окнами гостинницы, т. е. подъ окнами моей комнаты, пробѣгала рѣчка; ея вѣчный шумъ—это какая-то вѣчная жизнь. Единственная музыка, которую не хочешь остановить, потому что знаешь, что она никому не причиняетъ усталости. Въ говорѣ струй ея есть варіанты; именно жизнь и движеніе—въ однообразіи; вѣчное, но безъ монотонности, какъ въ сущности монотоненъ всякій видъ, всякое зрительное остановившееся впечатлѣніе. Этотъ шумъ сообщаетъ вамъ самимъ необыкновенное воодушевленіе; вы входите въ комнату, и вмѣсто того, чтобы лечь и заснуть—разсмѣиваетесь и приказываете подать самоваръ. Я не буду одинъ: у меня есть діалогъ, въ которомъ другой будетъ говорить, и я буду тоже говорить—безъ словъ, безъ усилія, однимъ умомъ. И когда въ этихъ дремлющихъ рѣчахъ вы припоминаете, что ручей этотъ—пращуръ Ноя и его Ковчега, что онъ не умолкнетъ, когда умолкнетъ не только ваша грудь, но и всѣ ваши родичи, быть можетъ вся имперія, въ которой вы живете—вы въ дремѣ рѣчей какъ бы сливаетесь съ вѣчностью. Маленькій ручеекъ становится предметомъ необыкновеннаго вашего почтенія: это—дитя по величинѣ, дѣдъ—по возрасту. Если бы, какъ у Поликрата, у меня былъ дорогой перстень, или много перстней,— одинъ изъ нихъ я бросилъ бы въ даръ говорящимъ волнамъ.

Такой ручеекъ-рѣчка все время бѣжитъ или прямо подъ ногами лошадей, или гдѣ то въ сторонѣ, когда вы совершаете небольшую горную прогулку. Здѣсь варіанты рѣчей возрастаютъ: ручей реветъ, пугаетъ лошадей, когда онѣ едва цѣпляются копытами за кремнистый его берегъ; но вотъ онъ становится глуше, тише: это—деликатный рокотъ, который васъ убаюкиваетъ. Вы ѣдете, положимъ, въ «Замокъ коварства» (гора очень напоминающая очертаніями руины замка)—и какъ будто не одни: съ вами, за вами, то

впереди васъ бѣжитъ неугомонная и вѣчная рѣчка. Вы повернули за гору—вотъ она; или повернулися—и она осталась, отстала. Она обгоняетъ, вы ли обгоняете: во всякомъ случаѣ—вы не одни, вы вмѣстѣ съ кѣмъ-то, другъ около друга — съ вѣчно живымъ существомъ. Наши спокойныя рѣки сѣвера, и притомъ рѣки, а не ручьи-рѣчки, не могутъ дать объ этомъ никакого представленія: на Волгѣ или на Свіягѣ (Симбирской губерніи, маленькая рѣчка)—вы чувствуете, что не съ вами рѣчка, а—вы съ рѣчкой: она есть постоянное условіе, вы — временное; вы пришли и ушли — и она какъ-то пассивно подставила вамъ свое лоно; претерпѣла васъ или претерпѣваетъ: тутъ нѣтъ обоюдности; нѣтъ личнаго; нѣтъ игры, шалости и милой поэзіи.

Отдѣльно стоящіе горные пики если имѣютъ какую-нибудь красоту, то не очертаніями своими, но этою же вѣчною жизнью, какую имъ сообщаютъ облачки. Каждый пикъ, если онъ высокъ и когда день не знойно сухъ, имѣетъ около себя облачко; оно—переваливается черезъ него, какъ-то ползетъ по боку, достигаетъ вершины и, переваливаясь на ту сторону, опять начинаетъ сползать. Есть, безъ сомнѣнія, притяженіе, спеціально горное притяженіе, которое овладѣваетъ и держитъ около себя прозрачно-легкую дымку этихъ миріадъ воздушныхъ пузырьковъ, составляющихъ собою облака. Вы видите совершенно отчетливо, какъ, подходя къ горѣ, туча спускается, начинаетъ лизать ее туманами, и наконецъ ложится на нее грудью: грудь ея ниже, чѣмъ бока, чѣмъ передъ, задъ, которые, едва переступивъ гору, снова загибаются къ верху. Если полдень—облако переползетъ; если къ вечеру—оно свивается въ клубокъ и заночевываетъ на пикѣ. Кстати: кавказская, бѣлая или сѣрая папаха (низкая и широкая мохнатая шапка) въ неотдѣлимой связи съ кринолино-образной буркою есть копія этого постояннаго и характернаго для Кавказа вида горы и облачка. Въ первый разъ, когда въ дождливое непріятное утро я увидѣлъ нѣсколько туземныхъ верховыхъ фигуръ въ этомъ традиціонномъ костюмѣ, тутъ же обернувшись на Лысую гору, я воскликнулъ: «это одно и то же». Одинъ очеркъ, одинъ типъ, одинъ художественный мазокъ у природы и ея подражателя—человѣка.

На переѣздѣ отъ станціи Минеральныхъ водъ до Владикавказа я впервые убѣдился, что окружающія Пятигорскъ горы въ самомъ дѣлѣ высоки. Онѣ не скрываются за горизонтъ, не уходятъ подъ землю: онѣ исчезаютъ, перестаютъ быть видны лишь за толщею воздуха. Поѣздъ мчится къ югу; вы оглядываетесь, и при особенно счастливомъ паденіи солнечныхъ лучей вдругъ схватываете весь полный (до основанія) очеркъ двугорбаго Бештау; на фонѣ голубого неба онъ вырѣзывается кромочкою чуть-чуть болѣе темнаго, но неба же. Не было бы сомнѣнія, что это — далекое облачко или просто отливъ неба, если бы не давно знакомое вамъ очертаніе.

Вы смотрите внимательнѣе и небо расчленяется передъ вами на громадные куски какъ бы вставленной въ него мозаики; мозаики небесной же, одноцвѣтной съ общимъ фономъ и только чуть-чуть потемнѣе. Это — горы. Наконецъ, онѣ сливаются совершенно съ горизонтомъ, перестаютъ вовсе быть видимыми: воздухъ одолѣлъ и поглотилъ, затушевалъ мозаику. Вы обертываетесь на западъ, гдѣ уже давно видите зазубрины облаковъ: привычнымъ теперь взглядомъ вы отгадываете, что это главный кавказскій хребетъ, все время остающійся вправо отъ бѣгущаго поѣзда.

Изъ Владикавказа онъ виденъ сейчасъ же за Терекомъ. Я вышелъ на мостъ, за которымъ начинается знаменитая дорога. Видъ горъ здѣсь совершенно иной, нежели около минеральной группы. Если, набравъ полный ротъ дыма (табачнаго) и плотно прижавъ губы къ рукаву сюртука, вы пустите его въ сукно, то затѣмъ вы будете минуту или двѣ видѣть довольно красивое зрѣлище какъ бы дымящагося сукна—сукна, изъ каждой поры котораго лѣзетъ дымъ, и не отлетаетъ, а тутъ же стелется. Отношеніе облаковъ къ горамъ чрезвычайно правильно выражается этимъ отношеніемъ дыма къ сукну: они лѣзутъ какъ будто изъ горъ; или — лазѣютъ по горамъ. Надъ вами, надъ городомъ, по сю сторону деревяннаго небольшого моста—голубое небо; но по ту сторону шумливой и грязной рѣчки начинается что-то зубчатое: огромныя, по горизонту въ безконечность раздавшіяся зазубрины, увитыя, повитыя, насыщенныя мглой этого темнаго дыма. Другой міръ; тамъ—все новое: темная, таинственная неизвѣданность, покрытая пологомъ—таково впечатлѣніе горной цѣпи изъ Владикавказа. Еще особенность: до сихъ поръ, да и вообще вездѣ, всегда—вы видите небо, т.-е., пожалуй, небо васъ видитъ. Это сообщаетъ чувство ясности, открытости, пожалуй—честности вамъ: «я—не воръ», «мы — не воруемъ», да и «нельзя воровать» подъ всевидящимъ, все освѣщающимъ окомъ солнца. Закутанность горнаго Кавказа именно срѣзываетъ это впечатлѣніе ясности и отчетливости въ отношеніи къ верху (небу); мы—подъ пологомъ, т.-е. завтра я въѣду прямо дышломъ экипажа въ это облако; тамъ — тайна, и все возможно, между прочимъ, и даже особенно — преступленіе. Впечатлѣніе, что вы вступаете въ міръ случайнаго и преступнаго, укутаннаго, кутающагося отъ солнца, глубокою и рѣзкою чертою отдѣленнаго отъ подъ-солнечныхъ, подъ небесныхъ странъ,—не оставляетъ васъ все время, когда вы смотрите на эти характерно подъ-облачныя, даже внутрь-облачныя мѣста. Что горецъ вѣчно вооруженъ, что онъ всегда при шашкѣ и кинжалѣ, что онъ любитъ коня своего и, такъ сказать цѣпляется за его сильныя ноги, какъ за невѣсту,—это, мнѣ думается, не только обстоятельство времени, условіе когда-то дикаго быта: это—условіе и, такъ сказать, психика самой природы.

Но вотъ это «завтра» настало; въ первый разъ я услышалъ

рѣзкій крикъ рожка кондуктора; семь часовъ утра и громадный экипажъ, подъ которымъ чудо что мостъ держится, въѣзжаетъ на Терскій мостъ; кондукторъ кричитъ въ рожокъ (дудитъ), чтобы всѣ экипажи, возы, арбы убирались въ сторону съ дороги. Ѣдетъ—«казна», ѣдетъ—«Россійская имперія», и обыватели въ страхѣ, пятясь на своихъ волахъ, должны отдавать шапку. Еще бы: вѣдь «казна» и дорожку пробила

... черезъ тѣ скалы,
Гдѣ носились лишь туманы
Да цари орлы.

Ну, пристало ли, ну, не дико ли среди красотъ Военно-Грузинской дороги думать о чиновникахъ, чиновничествѣ? вотъ подите же!—неотстанно думалъ, и впервые, грѣшный человѣкъ, именно на этой чудной дорогѣ я подумалъ съ уваженіемъ о чиновникѣ.

«Тебѣ данъ былъ окрикъ остановиться: куда ты лѣзешь?..»—это какіе-то зеленые лацканы несносно грубо кричатъ оправдывающемуся и испуганному кондуктору. Терекъ, около Ларса, на поворотѣ, совсѣмъ подмылъ скалу. Всѣ пассажиры вышли и за ними прослѣдовалъ съ одною кладью экипажъ. Сверху (съ дороги) ничего не было замѣтно, и кондукторъ смѣло ѣхалъ на толпу копошившихся рабочихъ-осетинъ, что-то отламывавшихъ ломами и кирками въ каменной стѣнѣ.

Какая дисциплина! «Кондукторъ ничего не видѣлъ». Ему не нужно видѣть: онъ долженъ повиноваться тому, кто видитъ. Вотъ суть государства. Но это—только черточка, секундный эпизодъ на громадной дорогѣ. Уже на завтра, проѣзжая чуднымъ спускомъ по ту сторону хребта, въ пять часовъ утра я видѣлъ всюду осетинъ и другую туземную рухлядь, аккуратно сметавшихъ пыль въ правильно расположенныя кучки, совершенно какъ у насъ, на Невскомъ, гдѣ всякое невѣжество лошади аккуратно подбирается человѣкомъ съ метелкой и ящикомъ. Пять часовъ утра: какъ хочется спать! Но никто не спитъ, и хоть не ѣдетъ никакой ревизіи—каждый стоитъ съ метелкой, заступомъ, киркой, ломомъ и исполняетъ маленькое и необходимое свое дѣло: полнота этихъ исполненныхъ дѣлъ и создаетъ два дня покоя, роскоши, художества тамъ, гдѣ нѣкогда проходило двѣ недѣли муки, опасности, риска и, наконецъ, прямо, мѣстами и днями, невозможности. Около Гудаура, ниже нашего экипажа, лежали на совершенно плоскихъ мѣстахъ длинныя полосы снѣга, прикрытыя пленкой летящей съ дороги пыли; и окрестъ взлизы горъ, морщины горъ всюду сіяютъ яркой, ослѣпительной, дѣвственною бѣлизной. Холодно, пріятно холодно, безъ стужи; 22 іюля, и широта Милана или даже Флоренціи; мы ѣдемъ на высотѣ вѣчнаго снѣга, черезъ непроходимѣйшій въ Европѣ горный хребетъ—съ удобствомъ, комфортомъ, поэзіей, какъ бы изъ Москвы въ Петровскій паркъ къ вечернему чаю.

Какіе же гиганты это сдѣлали? консулы? проконсулы? Это сдѣлали смиреннѣйшіе люди, «Максимы Максимычи» и отчасти «Акакіи Акакіевичи», изъ коихъ каждый до корня волосъ боялся огорчить своего начальника, съ подобострастіемъ смотрѣлъ ему въ глаза, бросался «по мановенію» выполнить каждое «предначертаніе» и цѣплялся, изо всѣхъ силъ цѣплялся за (такъ осмѣянное) «20-е число». Нѣтъ—это сила; пусть не красота, не страусовое перо въ шляпѣ, не Поза или Гамлетъ, и ни про кого изъ нихъ нельзя повторить стихъ Офеліи:

Моего вы знали-ль друга?
Онъ былъ бравый молодецъ;
Въ бѣлыхъ перьяхъ, статный воинъ,
Первый Даніи боецъ...

Но эта ужасная проза жизни, которую мы называемъ чиновничествомъ, необходима для выполненія ужаснѣйшей-же и совершенно неизбѣжной прозы, чтобы у каждаго обывателя былъ своевременно вытертъ носъ. Обыватель мечтаетъ, онъ пишетъ стихи, философствуетъ. Было бы не только неудобно, но и совершенно невозможно жить, еслибы этимъ разсѣяннымъ Гамлетамъ и маркизамъ Поза нѣкто смиренный и не притязательный отъ времени до времени не вытиралъ носа, и вообще около нихъ, для нихъ, вокругъ нихъ не устраивалъ нѣкотораго комфорта элементарнаго бытія. Смиренную, не видную, сѣрую роль, безъ монументовъ и стиховъ, и беретъ на себя государство въ томъ некрасивомъ чиновническомъ сложеніи, какое болѣе и болѣе въ немъ начинаетъ преобладать. Оно не великолѣпно; на немъ нѣтъ тогъ, все болтаются на комъ «Станиславъ», на комъ «Анна», и, главное—трепетъ, трепетъ: не

страхъ, что будетъ тамъ?—

т.-е. за гробомъ, передъ чѣмъ смущался Гамлетъ, но что будетъ «тамъ»—въ «директорскомъ кабинетѣ», куда зовутъ и еще не ясно, за какимъ дѣломъ зовутъ. Чиновничество есть сфера совершеннаго забвенія «иного міра»—Бога, религіи; это есть не только проза, но и величайшая плоскость души человѣческой, сведеніе ея отъ вершины и до глубины къ смиреннѣйшей заботѣ и смиреннѣйшимъ созерцаніямъ: сдѣлано-ли это «ввѣренное мнѣ дѣло» и «какъ отнесутся ихъ п—во». Да, и эта плоскость душевная необходима на землѣ, какъ между Азіей и Европой — Военно-Грузинская дорога.

Я давно прислушиваюсь къ странному переименованію, которое нашъ народъ постоянно даетъ «государству»—«казна». Нѣтъ иныхъ у него политическихъ терминовъ, и очевидно нѣтъ иныхъ политическихъ представленій. «Казна выдастъ», «казна поможетъ», «казенная дорога», «казенное заведеніе». «Матушка-казна», такъ и хочется закончить терминологію. Здѣсь выражено понятіе о необъятной и нѣсколько безличной, незрячей мощи: «матушка-

казна»—это такая же матерія, глыба въ людскихъ дѣлахъ, по отношенію къ человѣку, что «мать сыра земля» по отношенію къ живому міру, къ травкамъ и мотылькамъ, ее обитающимъ. Глыба, идѣ-же «духа» «не бѣ», но безъ которой и внѣ которой духу какъ-то не для чего было-бы витать, не надъ чѣмъ витать, пожалуй—не изъ чего вылетѣть. «Казнѣ» нельзя противиться; «казну» нельзя отрицать; «казну» надо почитать, какъ батюшку съ матушкой; опасливо почитать и совѣстливо. «Казна» кружевъ не плететъ, а раститъ ленъ, изъ коего всѣ кружева. Она темна «душою»; за «душою» она идетъ къ попу, какъ и каждый изъ насъ, — не очень понимая, что онъ говоритъ и почему говоритъ; довѣряясь на слово и покоряясь авторитету. Вотъ граница государства; вотъ его сущность: темное, не разумное, но въ высокой степени почтенное. И оно совершенно гармонируетъ съ поэзіей-ли, съ философіей-ли, какъ только не впутывается въ ихъ область. *Она* даетъ Военно-Грузинскую дорогу — *вы* можете изучать ледники Казбека или писать «Героя нашего времени». Геологъ, не остановившійся передъ шлагбаумомъ и не уплатившій 3 рубля шоссейнаго сбора — есть виновный, есть наказуемый для «незрячей казны», — и Гумбольдтъ, еслибъ ему случилось быть этимъ оштрафованнымъ геологомъ, долженъ почтительно просидѣть свой день на гауптвахтѣ. Я беру примѣры и указываю, что въ грубо-общей сферѣ своей государство всегда право, всегда свято,—и его гауптвахта столь-же непререкаема для обывателя, какъ для самого государства должны быть непререкаемы, не касаемы, обожаемы красоты «Героя нашего времени» или выводы «Космоса». Два міра; двѣ совершенно различныя области; и между ними, т. е. между краткимъ и приказывающимъ чиновничествомъ и между сложнымъ и эластичнымъ обывателемъ возможна, при пониманіи, не только гармонія но и любовь.

Дарьяльское ущелье мнѣ не показалось самой красивой частью Военно-Грузинской дороги: видъ горъ — дикъ и прекрасенъ, но Терекъ, тутъ-же подъ ногами грязно плещущійся, мѣшаетъ впечатлѣнію. Нѣтъ пространства, простора, воздушныхъ перспективъ— внизъ; вы не висите въ воздухѣ — необходимое условіе горной красоты. Правда, я ѣхалъ въ совершенно тихую погоду—и нужно знать Кавказъ, чтобы понимать, что послѣ дождей, въ бурную осень, тотъ-же скучно бѣгущій Терекъ можетъ превратиться въ нѣчто неописуемое. Я помню почти перепугъ жильцовъ нашей гостинницы въ Кисловодскѣ: всѣ бросились къ окнамъ, кто на дворъ,—въ какомъ-то страхѣ, что вотъ-вотъ гостинницу или часть стѣны ея снесетъ. Посмотрѣвъ въ окно, я не узналъ Ольховки, маленькой и мелкой рѣчки, почти ручья: прошелъ дождь, краткій и не очень замѣтный,—ручей поднялся на нѣсколько аршинъ, онъ превратился въ рѣку, сжатую въ берегахъ; съ горъ принесло

стволы-ли, каменья-ли, но только передъ самой гостинницею образовался моментально порогъ, и съ невыразимой силой, неописуемой яростью рѣка ударялась въ него, всплескивалась кверху и точно кусала сверху препятствіе, котораго не могла прорвать сбоку. Черезъ 6—8 часовъ она бѣжала совершенно тихо, какъ игривая барышня послѣ романтической бури. Но буря эта есть истинная буря, пугающая; и если такова была Ольховка въ Кисловодскѣ послѣ 1—2 часовъ обычнаго на югѣ ливня, то можно представить себѣ Терекъ въ октябрѣ, въ бурную ночь. Конечно, онъ долженъ пугать путника. Я же смотрѣлъ на него, въ тихій іюльскій день, съ недоумѣніемъ и презрѣніемъ: никакой силы движенія, а главное— такъ близко, тутъ-же, и эта невыразимая загрязненность воды. Точно огромная прачка гдѣ-то изъ огромнаго корыта сливаетъ не нужную воду по лощинѣ—и она шумитъ передъ вами отвратительною лужей. Истинную красоту въ этомъ родѣ я увидѣлъ позже. Пока были прекрасны изломы горъ: нѣтъ сомнѣнія, что они всѣ произошли отъ бокового давленія. Какъ будто гигантской рукой наложены были каменныя доски—и вотъ нѣсколько вертикальныхъ ударовъ сломали ихъ, какъ черезъ колѣно лучину, и въ то-же время гигантское боковое сжатіе выпятило углы изломовъ кверху, книзу. Справа, гдѣ лѣпится шоссе, вы и видите этотъ переломанный, цвѣтной, каменный тесъ. Мощь силы, сломавшей горы, и составляетъ ихъ красоту: мощь перелома, мощь сжатія. Неба видно только полоса надъ ущельемъ; все — тѣсно, душно. И вотъ здѣсь вы впервые познаете красоту горной страны. Въ то же время, по ту сторону Терека, надъ ущельемъ выбѣгаютъ, иногда на огромной вышинѣ, какія-то острыя, трехгранныя груди горъ: точно— птичья грудь, и самая вершина, какъ вытянутая голова птицы, виситъ надъ рѣкой. Это—изящно, мощно, воздушно.

«Вотъ отсюда можно видѣть Казбекъ» — обернулся съ козелъ кондукторъ.

Это былъ молоденькій армянинъ — сперва принятый мною, по худобѣ въ тѣлѣ и вооруженію, за горца или грузина. Первый разъ я наблюдалъ армянина не за прилавкомъ. Онъ былъ живъ, смышленъ, чрезвычайно деликатенъ, и видимо не желалъ, чтобы мы пропустили какой-нибудь замѣчательный видъ на дорогѣ.

Экипажъ сдѣлалъ нѣсколько шаговъ, справа открылась лощина,— и вотъ на темно-голубомъ фонѣ неба, имѣя коверъ травъ подъ собою, вдругъ вырѣзалась сахарная головка Казбека. Болѣе прекраснаго, болѣе изумляющаго зрѣлища природы я не видѣлъ. Пыль, жаръ. Лѣто на небѣ, лѣто на землѣ. И между этимъ лѣтомъ и лѣтомъ, разрѣзая ихъ — зима. Чудная феерическая зима: снѣгъ широкимъ конусомъ спадаетъ прямо въ зелень луговъ и лѣсовъ; сверху—опять ни тумана, ни ниточки: снѣга выпятились прямо въ купу лѣтнихъ лучей, подъ зной солнца, и ихъ сахарная бѣлизна

такъ ослѣпительно очерчена, вычерчена по небосклону. До нихъ верстъ 11—16, но, какъ и всегда, въ горахъ—разстояніе скрадено, и Казбекъ прямо передъ вами, вотъ сейчасъ за лощиной, куда бы, кажется, добѣжалъ, еслибъ лошади подождали. Конусъ совершенно правиленъ, и его преимущество передъ видомъ со станціи Казбекъ, гдѣ онъ видится подъ нѣсколько инымъ угломъ, — въ томъ, что здѣсь снѣга не разрываются и не портятся черными пятнами, т.-е. вертикальными паденіями скалъ, гдѣ снѣгъ не держится. Снѣжная голова, трехгранная, т. е. равнаго протяженія въ основаніи, какъ и съ боковъ, — и пологъ неба, постель луговъ. Не забываемо, единственно, трудно-выразимо. Есть проза — и вдругъ она прервана волшебнымъ стихотвореніемъ: такое стихотвореніе природы и испытываетъ, прочитываетъ человѣкъ въ данной точкѣ.

«Сегодня первый разъ за лѣто виденъ отсюда. Все былъ закрытъ облаками».

Дѣйствительно, день стоялъ знойно-сухой.

Удивительная сторона Военно-Грузинской дороги заключается въ совершенномъ отсутствіи чувства подъема: вы совершенно не понимаете, зачѣмъ на этой станціи подпрягли двухъ лошадей, тамъ — четырехъ. Подъемовъ нигдѣ нѣтъ бо́льшихъ, чѣмъ въ Москвѣ на нѣкоторыхъ улицахъ, и даже можно навѣрное сказать, что подъемъ (въ Москвѣ) отъ угла Срѣтенки — въ направленіи къ Николаевскому вокзалу — круче, чѣмъ какой-либо кусокъ Военно-Грузинской дороги. Прибавьте къ этому, что экипажъ нигдѣ не качнется и не накренится на сторону, какъ рѣшительно на каждой изъ нашихъ уѣздныхъ дорогъ, — и вы поймете, что только увеличивающійся холодокъ, или холодокъ спадающій показываетъ вамъ, гдѣ вы находитесь. Вотъ прошелъ Гудауръ; вы проѣхали мимо нѣсколькихъ тунеллей, черезъ которые экипажи слѣдуютъ зимою, во время снѣжныхъ засыпей, и проѣхали однимъ лѣтнимъ тунеллемъ, подъ непрерывно грозящими паденьемъ камнями. «Крестовый перевалъ»; «вотъ тутъ—отдыхалъ Ермоловъ». Почти плоскость; лишнихъ лошадей куда-то убрали; и начинается—на мое ощущеніе—самая красивая часть дороги.

Это — спускъ въ Азію: змѣиная нить шоссе передъ станціею Млеты. Вы на вершинѣ Кавказа, т.-е. сейчасъ передъ вами вдругъ открывается воздушная перспектива внизъ — та именно главная красота горъ, которой недоставало ранѣе при вѣчныхъ поворотахъ Терской долины. И внизу, на головокружительной высотѣ, на днѣ страшной продольной пропасти, бѣжитъ пѣнистая лента Арагвы. Арагва—чиста, въ отличіе отъ большинства горныхъ рѣкъ, безъ сомнѣнія по причинѣ кремнистаго русла. Быстрое движеніе экипажа; что-то веселое, какое-то счастье, но которое растягивается на часы; бездна воздуха; стремнины сзади, все возрастающія по мѣрѣ того, какъ бѣгутъ минуты, — а главное, главное: стремнина внизъ,

сейчасъ же о-бокъ съ колесами экипажа, на тысячи футовъ. Все это сообщаетъ ѣздѣ характеръ воздушнаго движенія, какъ бы вы чертите по каменной стѣнѣ и соскальзываете почти по спирали книзу. Ничего суроваго; да и не нужно суроваго; вы такъ радостно привѣтствуете Азію: новая часть свѣта, наконецъ — не Европа. Уже завтра, на утрѣ, я увидѣлъ верблюда, бѣгущаго по дорогѣ— такъ, an und für sich, «въ себѣ и для себя» бѣгущаго. Боже, я выпустилъ бы на свободу всѣхъ запряженныхъ верблюдовъ, по крайней мѣрѣ всѣхъ изъ Зоологическаго сада: такъ этотъ одинъ былъ хорошъ. Кондукторъ ослабилъ впечатлѣніе, сказавъ, что это станціонный, сбѣжавшій, верблюдъ; но онъ бѣжалъ легко, какъ-то выгибая ноги, то вытягивая, то сокращая шею, — и эти странные горбы! Встрѣчныя арбы тянулись уже буйволами: сжатая голова, прижатые къ ней рога — книзу, а не въ бокъ, изогнутые. Все — новое: «новый свѣтъ», по крайней мѣрѣ для природнаго костромича и вѣчнаго сѣверянина.

1898 г.

О писателяхъ и писательствѣ.

Замѣтки и наброски.

Въ № 35 «Нивы» за 1898 г. приложенъ снимокъ съ бюста гр. Л. Толстого, выполненнаго И. Я. Гинцбургомъ, и тутъ же въ маленькой статьѣ объяснено, что 28-го августа этого года автору «Войны и Мира» минуло 70 лѣтъ. Бюстъ замѣчательно хорошъ; скульптура тѣмъ совершеннѣе и выше живописи, что схватываетъ и выражаетъ идею предмета (или вещи), а не ея состоянія; не штрихи въ ней или сбѣгающія и набѣгающія тѣни. Живописецъ беретъ вещь въ ея цѣлости; имѣя серію красокъ, а главное—такой тонкости переливовъ, и имѣя такое послушное орудіе въ рукахъ, какъ кисть — онъ рисуетъ не только лицо, но и пылинку, которая сѣла на это лицо, и о которой онъ не знаетъ, принадлежитъ ли она лицу или внѣшней природѣ. Скульпторъ бѣденъ средствами, это монотонный мраморъ или монотонная бронза; самое орудіе его, рѣзецъ, не такъ послушенъ: нужно усиліе, чтобы выдавить черту. Ваятель сосредоточивается, напрягается; уловивъ одно и главное—онъ разливаетъ это на всѣ подробности предмета, и мы получаемъ его мысль, какъ бы окаменѣвшую въ вѣкахъ и для вѣковъ.

Много есть прекрасныхъ лицъ въ русской литературѣ, увитыхъ и повитыхъ задумчивостью. Лица Тютчева, Тургенева, Островскаго не только выразительны и полны мыслью, но они какъ бы договариваютъ вамъ недоговоренное въ «полномъ собраніи сочиненій». Самая, напр., поза Тютчева, со сложенными на груди руками, какъ бы сообщаетъ ему видъ уставшаго и задумавшагося послѣ разговора человѣка; въ Тургеневѣ, за писателемъ, вы такъ и чувствуете помѣщика, любителя пострѣлять куликовъ, или вечеромъ у камина,

послѣ охоты — что-нибудь разсказать. Бытъ, манера, воспитаніе, привычки—все это, какъ-то одухотворившись, бросило свою черту на лицо и послѣднее получило ту сложность и глубину, которую вы никакъ не покроете краткимъ и оголеннымъ, въ сущности одичалымъ терминомъ: «интеллигентный». Тургеневъ — «интеллигентный человѣкъ», у Тютчева — «интеллигентное» лицо: какая профанація! «Интеллигентность» это, правда. нѣчто «духовное»; но это — бѣдно-духовное; это — бѣдность именно въ самомъ духовномъ, какое-то умственное мѣщанство, начинающаяся «барковщина» въ поэзіи. Но мы отвлеклись. При взглядѣ на бюстъ Гинцбурга. невольно подумаешь: именно такого прекраснаго лица еще не рождала русская литература. Коренное русское лицо, доведенное до апогея выразительности и силы; наша родная деревня, вдругъ возросшая до широты и мѣръ Рима. Конечно, — какъ прообразъ, какъ штрихъ, коему черезъ немного лѣтъ сбѣжать въ могилу, укрыться стыдливо подъ землею, какъ преждевременному еще явленію: но если когда-нибудь настанетъ время (если только оно настанетъ), что русскій голосъ заговоритъ міру,—то по этимъ прекраснымъ чертамъ мы можемъ приблизительно догадываться, какое будетъ, какъ сложится, какъ выразится это грядущее и русское, и одновременно уже міровое лицо. И въ самомъ дѣлѣ: въ немъ есть всѣ черты исторической многозначительности и устойчивости; и вмѣстѣ это — будничнo-сегодняшнее лицо, какое я могу встрѣтить, выйдя на улицу. Это «нашъ Иванъ», «нашъ Петръ»—мужики, съ коими мы ежедневно говоримъ; но, поставленное между лицами Сократа, Лютера, Микель-Анджело оно бы не нарушило единства и общности падающаго отъ нихъ впечатлѣнія; совсѣмъ напротивъ. Тогда какъ, напримѣръ, лицо Тургенева или Островскаго — нарушило бы; это—слишкомъ частныя и дробныя лица, не отстоявшіяся въ тишь и величіе исторіи.

Такое лицо надо «заслужить», его можно только «выработать». Вообще, кто любитъ человѣка, не можетъ не любить лица человѣческаго, «лицо» у себя подъ старость мы «выслуживаемъ», какъ солдаты — «георгія». Въ лицѣ — вся правда жизни; замѣчательно, что нельзя «сдѣлать» у себя лицо, и если вы очень будете усиливаться передъ зеркаломъ, «простодушное» человѣчество все-таки опредѣлитъ васъ «подлецомъ». Лицо есть правда жизненнаго труда именно въ скрытой, а не явной его части: это какъ бы навигаторская карта, но по которой уже совершилось мореплаваніе, а не предстоитъ. Сумма мотивовъ, замысловъ; не одного осуществленнаго, но и брошеннаго въ корзину. У Толстого — истинно-прекрасное лицо, мудрое, возвышенное; и по нему русское общество можетъ гадать и довѣриться, что онъ зналъ заблужденія, но не — порочное, такъ сказать, въ мотивѣ своемъ, въ замыслѣ. Это лицо чистаго и благожелательнаго человѣка, и «да будетъ

благословенно имя Господне» за все и о всемъ, что онъ совершилъ.

Мы упомянули о мотивахъ. Высоко печальны все-таки для православнаго и русскаго уклоненія его послѣднихъ лѣтъ, но тутъ жестокость негодованія нашего должна притупиться о незнаніе именно всей полноты его мотивовъ. Левинъ (въ «Ан. Кар.») женится — и какъ тревожна его исповѣдь; какой діалогъ (по поучительности) между священникомъ и философомъ; какое обаятельное лицо священника и сколько сѣдины въ его простомъ недоумѣніи-вопросѣ кающемуся:

— «Безъ вѣры въ Бога, какъ же вы будете воспитывать дѣтей?»

Въ послѣдующихъ главахъ романа приведены отрывки изъ чина вѣнчанія; Долли и Левинъ—слушаютъ и умиляются. У Толстого была кроткая полоса въ отношеніяхъ къ церкви, онъ брелъ—нѣкоторое время, и очевидно издавна (см. его «Юность» и тамъ тоже радостное исповѣданіе кн. Нехлюдова) до очень позднихъ лѣтъ — какъ безмолвная овца въ церковномъ наученіи; но что-то случилось, чего мы не знаемъ: вѣдь мы не знаемъ начатыхъ и не конченныхъ его работъ, не слушали его бесѣдъ съ людьми, не сливались съ его зоркимъ и пытливымъ глазомъ, когда онъ наблюдалъ то и это. Удивительно много можетъ значить лицо человѣка въ образованіи нашихъ убѣжденій; можно стать не только истовымъ православнымъ, но и фанатичнымъ, даже до пролитія крови, увидавъ (и подсмотрѣвъ) свѣтъ душевный въ приходскомъ священникѣ. Я собственно вѣрую именно только этому священнику и въ этого священника; но мнѣ такъ хорошо въ этой вѣрѣ, около его свѣтлой и живой души, что я говорю: «и умру со всѣмъ тѣмъ, и за все то, что есть въ этомъ священникѣ и за что стоитъ этотъ священникъ». Эта, казалось бы, странная вѣра — есть въ сущности очень живая и глубокая: мы доходимъ до Бога черезъ человѣка; за человѣкомъ, понуривъ голову свою, во всей знаменитости своей бредемъ—за смиреніемъ и красотой человѣческой. «Вмѣстѣ» идемъ къ Богу—такъ выходитъ; и, можетъ быть, сущность церкви основывается не на догматической солидарности, но на этомъ какъ бы чтеніи лика Божія, отраженнаго въ лицѣ человѣческомъ, «въ братѣ моемъ», «чистѣйшемъ, нежели я». Толстой могъ быть такъ несчастенъ, что около себя, или какъ и гдѣнибудь, онъ усмотрѣлъ неблагообразіе человѣческое, именно «пастырское»—что-нибудь притворное, или непоправимо-равнодушное: и догматическая солидарность съ церковью рухнула, не найдя почвы въ солидарности человѣческой. Да вѣдь и въ самомъ дѣлѣ церковь—не summa regulorum, а море лицъ и совѣстей; онъ былъ оттолкнутъ отъ лица и потерялъ связь съ церковью. Повторяемъ, это не такъ мелко, не такъ глупо, и обернувшись на исторію

своихъ убѣжденій, твердѣйшіе изъ насъ быть можетъ найдутъ, что это есть собственно исторія человѣческихъ привязанностей, привязанностей къ человѣку, къ лицамъ, и уже за ними—къ концепціямъ философскимъ и религіознымъ. Да и хорошо это: иначе человѣку пришлось бы вѣдь только читать «догматы» и «критику», и исторіи—превратиться въ «кабинетъ для чтенія». Очень скучно.

Мы мотивовъ Толстого не знаемъ; во всякомъ случаѣ къ исторической Россіи, даже къ «православной» Россіи авторъ «Войны и Мира» пережилъ такую нѣжнѣйшую дѣтски-чистую и упорную (въ 60-е годы!) привязанность, до зарожденія какой въ себѣ милліоны изъ насъ не доросли. Онъ любилъ ее сѣрою любовью солдата, «казака» на Кавказѣ, обыкновеннаго русскаго крѣпостнаго мужика. Вѣдь отъ старосты Дрона до двухъ братьевъ, офицера и прапорщика, которые спрашиваютъ другъ у друга о «родительскихъ» деньгахъ (т.-е. у меньшаго старшій—не потерялъ ли, не растерялъ ли, не растратилъ ли онъ денегъ, въ «Севастоп. разсказахъ») передъ тѣмъ какъ на завтра умереть за отечество,—все это было понятно Толстому, т.-е. все это прошло страданіемъ и любовью черезъ его сердце. Вотъ почему за «нигилизмъ» (теперешнихъ дней) очень трудно судить Толстого: не знаемъ мы всего, не о всемъ догадываемся, даже просто многаго не видѣли, «не побывавъ въ его кожѣ». Мы можемъ негодовать—это наше право, какъ православныхъ, какъ русскихъ; мы можемъ говорить самыя рѣзкія вещи по его адресу, но съ осторожною памятью: «можетъ быть все это—ужасная ошибка». Во всякомъ случаѣ, въ укладѣ русскаго бытія, какъ оно есть сейчасъ, мы—дробь, частица, съ частичнымъ же и дробнымъ пониманіемъ, а онъ болѣе насъ всѣхъ приближается къ цѣлому и къ цѣлостному же постиженію вещей. Притомъ онъ такъ много далъ Россіи, что, видя даже положительно злое, или безумное, что сталъ бы творить этотъ «старый Лиръ», мы можемъ—изъ деликатности, изъ благодарности, даже просто изъ осторожности—только произнести съ Іовомъ: «да будетъ благословенно имя Господне; Ты—далъ, Ты и взялъ», т.-е. въ дарахъ Толстого есть столько печати Божіей, печати «даровъ Духа святого»—что, пріявъ благое отъ нихъ, мы можемъ и должны перенести около этого благого и вредное.

Въ позднихъ своихъ писаніяхъ онъ впалъ въ бѣдные и скудные опыты новыхъ построеній. Нельзя не отмѣтить, что тогда какъ въ «Войнѣ и Мирѣ», въ «Аннѣ Карениной», въ «Севастопольскихъ разсказахъ» онъ—можетъ быть незамѣтно для себя—являлся религіознѣйшимъ писателемъ, заставивъ всѣхъ самымъ способомъ изображенія почувствовать въ жизни что-то трансцендентно-неясное, высокое, могущественное и праведное,—его катехизическія опыты послѣднихъ лѣтъ—это сгущенное богословіе—бѣдны собственно религіознымъ элементомъ, сухо раціональны

этичны, и иногда даже просто діэтичны, т.-е. сводятъ религію къ правиламъ опрятнаго и жалостливаго поведенія. Гдѣ же тутъ Богъ — какъ въ битвахъ при Аустерлицѣ и Бородинѣ? Судьба— какъ въ неравенствѣ доль Наташи и Сони («Война и Миръ»)? Вмѣшательство иного міра въ наши дѣйствія — какъ сны-предчувствія Вронскаго и Анны? или Немезида, которая тяготѣетъ надъ Карениной? И въ самомъ авторѣ—гдѣ преклоненіе передъ неисповѣдимымъ? Все съужено: и вмѣсто міра, таинственнаго и пугающаго, міра огромнаго—мы вступаемъ въ келью-кабинетъ крайне понятнаго устройства; гдѣ намъ показываютъ узоры новыхъ умственныхъ комбинацій, опять крайне понятныхъ, т.-е. существенно не религіозныхъ.

Еще хуже, нежели «догматическая» сторона его книжекъ, ихъ моральная сторона: это вѣчное «воскресеніе»—купца-ли на «Никитѣ», «Никиты» ли — подъ купцомъ, и вѣроятное «воскресеніе» Нехлюдова въ начавшемся въ «Нивѣ» «Воскресеніи». Столько воскресшихъ», а все такъ плохо въ сей «юдоли скорби и грѣха» и плохо, повидимому, на душѣ и у самого автора. Не живыя это воскресенія; не простыя воскресенія. Авторъ, не замѣчая самъ того, пишетъ примѣры на піэтическую тему: холодныя, педагогическія, почти нѣмецкаго сложенія (не отъ этого-ли такая *понятность* и популярность Толстого на Западѣ?)—послѣ которыхъ у читателя руки сложились-бы крестомъ на груди и глаза поднялись къ небу. Не поднимаются. И «міръ любодѣйный и жестоковыйный» сильнѣе и какъ-то *правдивѣе* этихъ ему укоровъ и его подталкиваній. Да, въ «грѣхѣ» и «срадѣ» міръ силенъ и какъ-то *правъ*. In re и «грѣхъ» и «покаяніе» сплетаются у него въ могучее кровавое вервіе, до котораго куда-же всѣмъ этимъ типографическимъ увѣщаніямъ... И вотъ мы невольно вспоминаемъ кроваво-грѣшную и *дѣйственную* Библію: какое отсутствіе піэтизма! Какъ дерзокъ отвѣтъ Каина Богу, но Богъ побѣдилъ. Какія преступленія, что за чудовищность въ нихъ; но книга побѣдила, изумительнымъ свѣтомъ она прорѣзала и разсѣяла человѣческую ложь и *лживость*, почти главнаго и могущественнѣйшаго человѣческаго врага, и человѣчество воскликнуло: «вотъ — святая книга!», «вотъ — святая правда о насъ и Богѣ». Піэтизмъ—начало лжи въ самой вѣрѣ; это—ложь, проникшая въ самое запретное для нея мѣсто: въ молитву. Человѣкъ молится—и чуть-чуть лжетъ; колѣна натрудились, да ужъ и голова ничего не думаетъ, но человѣкъ все еще не встаетъ съ колѣнъ: отчасти «для примѣра», но тоже и «по собственному долгу». Этотъ кончикъ уже холодной молитвы, думается, все портитъ передъ Богомъ; а на землѣ суммаціи такихъ кончиковъ породили необозримое зло лицемѣрствованія въ самомъ нѣжномъ и субъективномъ, въ самомъ необходимомъ для человѣка—въ сплетеніи его съ Богомъ.

Еще слабѣе собственно моральная, морализующая сторона его маленькихъ новыхъ книжекъ. Это—Шекспиръ, вдругъ поселившійся въ имѣніи Коробочки и начавшій продолжать ея хлопотливое устроеніе. Онъ ходитъ, какъ Коробочка; онъ говоритъ, какъ Коробочка. Коробочка такъ благочестива. «Приживальщикъ» въ «Кошмарѣ Ивана Ѳедоровича» («Бр. Карамазовы») говоритъ юному нигилисту, нѣсколько скучающему собою и какъ-бы въ pendant къ его скукѣ: «вѣковѣчная мечта моя—это воплотиться въ семипудовую купчиху и начать свѣчки ставить. Всю-бы надзвѣздную жизнь, и тамъ почести, чины (ибо вѣдь и у насъ есть *чины*) отдалъ за это», поясняетъ единственно реальный въ цѣлой всемірной литературѣ бѣсъ. Геній тяготитъ. Геній—бремя. Земная оболочка трещитъ и лопается, и бѣдный человѣкъ, которому случится быть Шекспиромъ или Толстымъ, хватается за голову, сжимаетъ сердце, бѣжитъ къ Коробочкѣ—подъ ея покровъ «простоты», «смиренія», «посредственности». Коробочка, никогда не воображавшая для себя такой исторической миссіи, завертываетъ сальный фартукъ, который она не успѣла перемѣнить послѣ посѣщенія Чичикова, и кутаетъ въ него пылающую голову. «Вотъ теперь мнѣ хорошо», говоритъ Толстой. «Я—смирился». Изъ-подъ фартука доносится: «смиритесь и вы», «упроститесь и вы». Просты. Смирны. Холодны. Мы—*ростущіе*, *доростающіе*, въ насъ и безъ того *мало силъ* и... до Коробочки-ли поэтому намъ? Мы ищемъ *гигантства* Толстого, какъ онъ—нашей *малости*.

«Мракъ и ночь, печаль и скорбь—во мнѣ и окрестъ меня; никакихъ путей, всѣ концы потеряны.

«Будемъ любить другъ-друга, это одно остается намъ, бѣднымъ...

«Все-таки это какой-нибудь свѣтъ, или по крайней мѣрѣ это—замѣна истиннаго свѣта. Это еще согрѣваетъ или можетъ согрѣть насъ на срокъ недолгой, намъ и понятной и непонятной жизни. За ея чертой—молчанье».

Таковъ смыслъ «Хозяина и работника» Толстого; да и его ли только? Не смыслъ ли это всей его дѣятельности еще отъ «Анны Карениной?» не эта ли нота звучитъ въ «Чѣмъ люди живы»—положительно; во «Власти тьмы», «Плодахъ просвѣщенія», «Смерти Ивана Ильича», «Крейцеровой сонатѣ»—отрицательно? «Чѣмъ люди живы—чѣмъ они не живы»: въ эти двѣ формулы укладывается смыслъ и его художественнаго творчества за послѣдніе годы, и его публицистики и философіи.

Великій умъ объятый еще болѣе великой тьмой; эта темь—темь нашей жизни: въ ней мы виновны—*я*, *онъ*, *десятый*, *сотый*... По-

истинѣ, каждое обвиненіе, какое мы хотѣли бы бросить въ Толстого, падаетъ обратно на наши головы. Вѣдь это мы—безвѣрны, лукавы, холодны... онъ также безвѣренъ, но уже не лукавъ, не холоденъ, не двоедушенъ, какъ мы. Оттаивающій полу-трупъ, полуживой человѣкъ, могущій проснуться и въ тотъ міръ и въ этотъ—вотъ имя нашего общества, опредѣленіе историческаго нашего момента...

«Будемъ любить другъ-друга»... Да, но при свѣтѣ этой любви будемъ искать истины вѣчной, откуда течетъ самая любовь.

Имя кн. Мещерскаго и его органъ «Гражданинъ» окружены въ нашей литературѣ зоною непреодолимаго предубѣжденія. Полемика, которая противъ него велась въ теченіе четверти вѣка всѣми почти органами печати, не исключая и консервативныхъ, къ составу которыхъ онъ принадлежитъ, всегда велась въ презрительно-насмѣшливомъ тонѣ и никогда въ тонѣ уважительномъ и страстномъ. Писатели, въ концѣ концовъ, великіе ловцы сердецъ человѣческихъ. Они могутъ, если какая-нибудь причина объединитъ ихъ, непоправимо погубить репутацію человѣка, ни на что опредѣленное не указывая, ничего опредѣленнаго не доказывая, ни въ чемъ опредѣленномъ даже не обвиняя: погубить просто способомъ шутить, манерой отношенія, манерой уклоненія отъ всякой полемики. Они окружаютъ избранную жертву поясомъ пренебреженія или нерасположенности, черезъ который никакой робкій, а иногда даже и очень мужественный человѣкъ, не рѣшится переступить. Что такое сдѣлалъ Булгаринъ? сжегъ-ли онъ новый храмъ Діаны Ефесской, какъ древній Геростратъ? Нѣтъ, но онъ сдѣлалъ хуже, или, точнѣе, съ нимъ сдѣлалось худшее: Бѣлинскій, постоянно называя его, никогда не называлъ иначе, какъ «самъ Ѳаддей Венедиктовичъ Булгаринъ», и Пушкинъ въ одной эпиграммѣ помѣстилъ стихъ:

иль на Булгарина наступишь,—

т. е. наступишь на *сочиненія* Булгарина, которыя, среди прочаго сора, валяются на полу книжныхъ лавокъ, если зайдешь, напр., къ Смирдину. И ничего больше, ничего еще, т. е. *опредѣленнаго*, *доказаннаго*, ставшаго *общеизвѣстнымъ*. И вотъ, таково значеніе этихъ краткихъ, но какъ-то *удавшихся* въ исторіи словъ, что хотя вы ничего фактическаго о Булгаринѣ не знаете, хотя вы знаете даже изъ писемъ Грибоѣдова, автора «Горя отъ ума», что Булгаринъ былъ ему почему-то интимнымъ другомъ, и онъ, посылая ему рукопись знаменитой своей комедіи, писалъ: «сохрани мое *Горе*»,—тѣмъ не менѣе всякій разъ, какъ вы слышите имя «Булгаринъ», вы неудержимо поправляете «Гречъ и Булгаринъ», согласно транскрипціи Бѣлинскаго, и отплевываетесь съ тѣмъ самымъ неистовствомъ, съ

какимъ рѣшительно все наше общество плевало на два эти имени три четверти вѣка.

Vox populi?.. судъ исторіи?.. или вѣковѣчное:

Ахъ, Боже мой! Что станетъ говорить
Княгиня Марья Алексѣвна?..

Въ подобное же положеніе не столько сталъ, сколько допустилъ себя поставить кн. Мещерскій. Его имя есть одно изъ самыхъ извѣстныхъ въ Россіи; но его журналъ-газета не только мало распространенъ и, въ точномъ содержаніи своемъ, мало извѣстенъ, но даже и вовсе неизвѣстенъ, за исключеніемъ рѣдкихъ «любителей». Даже болѣе: среди самыхъ этихъ «любителей» нѣтъ собственно никакой любви къ нему, энтузіазма, такъ что ни въ какомъ смыслѣ и ни въ какомъ случаѣ къ нему нельзя приложить изрѣченія о «горчичномъ зернѣ», которое ростетъ и когда-нибудь доростетъ до огромнаго вѣтвистаго дерева. Если вы наблюдательны, то вы замѣтите или, можетъ быть, уже неоднократно замѣчали, что въ томъ рѣдчайшемъ случаѣ, когда вашъ добрый знакомый, при случайной встрѣчѣ, раньше, чѣмъ замѣтить васъ, былъ погруженъ во внимательное чтеніе газеты кн. Мещерскаго.—онъ, увидя, что вы къ нему подходите, или торопливо кладетъ нумеръ въ карманъ, стараясь скрыть его заглавіе, или, если это заглавіе вами уже прочитано,—бросаетъ газету подъ ноги съ пренебрежительною гримасою.

Пачка номеровъ «Гражданина» случайно попала мнѣ въ руки; случайно я переступилъ *зону* окружающаго его предубѣжденія. И до того сильное волненіе овладѣло мною, и всѣ изложенныя мысли бурно хлынули въ голову, когда я увидѣлъ—просто какъ писатель—увидѣлъ и почувствовалъ, до чего ярко дарованіе никѣмъ и никогда нечитаемаго публициста, какъ значительна похороненная заживо въ немъ сила, сколько тонкости и остроты въ его *языкѣ* и *мысли*, и, главное, какая удивительная и привлекательная конкретность въ первомъ и второй. Впервые я испыталъ нѣчто вродѣ отвращенія къ философіи въ литературѣ, видя, какъ точное наблюденіе и яркая изобразительность въ сущности предваряютъ работу отвлеченнаго мышленія и, до извѣстной степени, дѣлаютъ ее вовсе не нужною.

Въ концѣ концовъ, мнѣ иногда думается, не бываетъ «дыма» безъ всякаго подъ нимъ «огня»; и Булгаринъ не потому только погребенъ, отпѣтъ и, такъ сказать, имѣетъ фатальный «осиновый колъ» въ своей могилѣ, что онъ былъ «Ѳаддей Венедиктовичъ Булгаринъ» и что на него «наступилъ» Пушкинъ, но и кромѣ того еще почему-нибудь, чего мы подлинно не знаемъ теперь. Печать, какъ бы при помощи увеличительныхъ зеркалъ, только до-нельзя, до невѣроятія, до неправдоподобія увеличиваетъ реальный, существующій «дымъ» или «дымокъ»; она раскрашиваетъ его во всѣ

цвѣта спектра; но, по простымъ законамъ физики и также психологіи, какой бы величины и какого бы цвѣта этотъ дымъ ни былъ, но онъ въ самомъ дѣлѣ *есть* и подъ нимъ въ самомъ дѣлѣ *есть* «огонь» или «огонекъ». Да простятъ мнѣ всѣ осужденные, всѣ, надъ кѣмъ сплетенъ печатью этотъ терновый вѣнецъ, если въ частичномъ признаніи ихъ вины мною выказана всетаки нѣкоторая жестокость. Никто до такой степени не былъ бы готовъ сорвать последнее съ нихъ обвиненіе, какъ пишущій эти строки, если бы подобное усиліе могло бы имъ принести какое-нибудь дѣйствительное облегченіе или дѣйствительную пользу.

Что кн. Мещерскій есть самый консервативный изъ существующихъ и существовавшихъ у насъ писателей—это составляетъ ясную и меньшую часть его criminis. Онъ «требуетъ розги», но вѣдь онъ никого же не сѣчетъ; и въ литературѣ, гдѣ — какъ, по крайней мѣрѣ, въ западной, — нѣкоторые недвусмысленно требуютъ *крови*, слишкомъ простительно такое пожеланіе, особенно если принять во вниманіе, до какой степени легко («не сѣки!») противоположное желаніе. Онъ есть «аристократъ»; и опять—онъ не есть организаторъ аристократіи, и печально-комическая сторона его сословныхъ тенденцій заключается въ томъ, что именно защищаемое имъ сословіе стоитъ стѣною противъ «Гражданича», рѣшительно не хочетъ ни читать его, ни выписывать, ни слышать объ его тенденціяхъ,—чѣмъ уже однимъ съ величайшею наглядностью показываетъ, до чего, въ самомъ дѣлѣ, неправъ князь-публицистъ, до чего въ нашей аристократіи отсутствуетъ гордое и замкнутое, даже просто своекорыстное «я». Очень-ли она добродѣтельна, или ея просто совсѣмъ нѣтъ,—я говорю о родовой нашей аристократіи,—во всякомъ случаѣ, страстная и гордая программа кн. Мещерскаго есть историко-политическій «пуфъ», безъ дыма и даже самаго легонькаго «огонька» подъ нимъ. Онъ, говорятъ, вліялъ на практическую политику, на проводимыя мѣры; но кто же изъ публицистовъ этого не хочетъ? и если мѣры были дурны, все-таки дурное лежитъ на отвѣтственности практическихъ лицъ и нисколько не на отвѣтственности публициста, который хотѣлъ и въ правѣ былъ хотѣть того, чего хотѣлъ.

Повторяемъ, не здѣсь лежитъ тяжесть его литературно-общественнаго criminis, и еслибы она здѣсь лежала, полемика противъ него имѣла бы тотъ уважительный и страстный характеръ, ту мучительно-долгую, мучительную до молчанія ненависть, какую имѣла вражда, напр., къ имени Каткова, съ нимъ полемика, о немъ молчаніе. Есть что-то еще, сверхъ его политической программы, совершенно неясное и между тѣмъ, очевидно, главное, о чемъ думая, мы замѣтили выше, что самое печальное въ судьбѣ этихъ, въ своемъ родѣ, morituri исторіи, заключается въ томъ, что ихъ губятъ не указывая, не доказывая и даже ясно ничего не называя, но по

какому-то молчаливому и почему-то всѣхъ объединяющему согласію. Прислушиваясь къ насмѣшкамъ, ничего почти въ нихъ не понимая,—по крайней мѣрѣ не имѣя знанія, чтобы ихъ отвергнуть, ни чтобы принять ихъ,—я въ умѣ своемъ невольно сравнивалъ судьбу нашего консервативнаго публициста съ судьбой знаменитаго — но только радикальнаго — агитатора Парнелля. Онъ *былъ;* но что-то случилось, о чемъ-то заговорили,—и вотъ его *нѣтъ* болѣе. Почему нѣтъ? даже *что* именно заговорили?—никто этого ясно не зналъ, никто настойчиво объ этомъ не спрашивалъ. Всѣ интересовались теченіемъ событій *послѣ* Парнелля, *черезъ* Парнелля прокатившихся; никто не остановился около тѣхъ замутившихся волнъ, куда онъ вошелъ — и это всѣ видѣли; но уже никто не видѣлъ, чтобы онъ вышелъ.

Слабый, какъ и всѣ, и я не читаю «Гражданина», по крайней мѣрѣ, не выписываю. Просто—я не люблю смерти; не люблю того мѣста рѣки или озера, гдѣ, по остроумному, хоть и жестокому выраженью простонародья, кто-то «испортилъ воду» (утопился). Почему? какъ «испортилъ»?—быть можетъ, это былъ глубоко несчастный и глубоко прекрасный человѣкъ—я не знаю;—и прохожу мимо, вхожу въ зелень парка или шумъ улицы, гдѣ есть движеніе, есть жизнь, которая и васъ самихъ ставитъ какъ-то далеко отъ мысли о смерти, которой, однако, вы, несомнѣнно, обречены.

Спящій въ гробѣ—мирно спи,
Жизнью пользуйся живущій...

— это въ своемъ родѣ столь же вѣчный стихъ, какъ и насмѣшливый стихъ Грибоѣдова, объясняющій судьбу многихъ несвоевременно-погибшихъ. Удивительно: пока человѣкъ живетъ, и если онъ подлинно живетъ, онъ не можетъ возбудить въ себѣ сочувствія къ умершему иначе, какъ нѣсколько теоретическаго, надуманнаго, воображаемаго.

Воспоминанія о Н. И. Костомаровѣ и А. Н. Майковѣ. Николая Барсукова. С.-Петербургъ. 1898 г.—Цѣна 40 коп.

Если есть видъ литературы, который всегда безгрѣшенъ и иногда святъ—то это палеографія. Что такое палеографія?—Собираніе старыхъ писемъ, никому (лично) ненужныхъ — все равно XII-го или XIX-го вѣка; за тысячу лѣтъ назадъ, или за 50 лѣтъ назадъ. Вы умерли; казалось—вы никому ненужны. И вотъ, когда вы забыты всѣмъ міромъ и, такъ сказать, испытываете пустыню небытія, около вашей могилы начинаетъ копаться какая-то любящая рука—разбираетъ надпись на могильной плитѣ, поправляетъ землю и иногда воткнетъ цвѣтокъ: вы вдругъ среди ледяного небытія согрѣваетесь человѣческою теплотою, и для васъ начинается еще вторая, удивительно интимная и милая жизнь. Грустно, что операціи этой

подвергаются только писатели; слѣдовало-бы каждому человѣку имѣть для себя подобнаго копуна. Что-то египетское, какая-то вѣчность; какая-то безполезная любовь, для коей нѣсть «ни болѣзнь, ни воздыханія»...

Вотъ почему всякую книжку г. Ник. Барсукова мы беремъ съ волненіемъ. Эта всюду увядшая любовь въ ея ненужныхъ, не утилитарныхъ цѣляхъ, свѣтится изъ каждой строки этого замѣчательнаго писателя, этого египтянина, вѣчно охорашивающаго чей-нибудь прахъ. Непремѣнно вы найдете археологію, палеографію; рѣдко онъ отъ себя и сейчасъ что-нибудь разсказываетъ: онъ благоговѣйно молчитъ и подаетъ вамъ лоскутокъ бумаги, какую-нибудь записочку, письмо, дневникъ съ полинявшими чернилами, гдѣ о великомъ или любимомъ человѣкѣ вы читаете нѣсколько строкъ. Все это онъ собралъ, сохранилъ о людяхъ, изъ коихъ

Иныхъ ужъ нѣтъ, а тѣ далече,
Какъ Сади нѣкогда сказалъ,

—и не представляя вовсе систематической біографіи (самый скверный и лживый родъ литературы), этотъ клокъ бумаги даетъ вамъ вдругъ почувствовать еще живую и теплую руку умершаго давно человѣка.

Въ 1862 г. авторъ написалъ записочку Костомарову, своему профессору, и получилъ обратно таковую-же, съ простымъ назначеніемъ адреса и дня знакомства. Конечно, обѣ записки сохранены — и мы ихъ читаемъ въ почтительныхъ выраженіяхъ еще незнакомыхъ людей. Въ этомъ-же 1862 году Костомаровъ задумалъ посѣтить Новгородъ, и съ нимъ вызвался поѣхать А. Н. Майковъ. Студента Барсукова они тоже взяли съ собою, предложивъ ему, шутя, быть «лѣтописцемъ» ихъ пути. И вотъ въ миніатюрѣ мы въ самомъ дѣлѣ имѣемъ крошечнаго Нестора, записывающаго маленькую Одиссею. Все миніатюрно, какъ маленькіе арапчики въ знаменитомъ маршѣ Черномора, въ «Русланѣ и Людмилѣ». Но какъ-же все живо, какъ тепло! Рѣчи, конечно, безъ государственной значительности, но Богъ съ ними—съ большими рѣчами о большихъ дѣлахъ; мы у себя дома, въ халатѣ, и въ халатахъ-же ходятъ около насъ парнассецъ-поэтъ и такъ волновавшійся историкъ. Одинъ забылъ высокій тонъ лиры, другой — хлопотливыя свои лекціи, и оба вдругъ погрузились въ міръ прошлаго, въ тысячелѣтнюю старину, да въ сѣдые сосновые лѣса, которыми заросла она. Осматриваютъ монастыри, разговариваютъ съ жителями; пытаются оживить въ нихъ память, но уже никто ничего не помнитъ. Около знаменитыхъ мѣстъ приведены припоминанія изъ лѣтописей. Вотъ они проѣзжаютъ Званку Державина; вотъ осматриваютъ портреты Фотія и богатства, оставленныя его другомъ, графинею Орловой; и сейчасъ около этого—какое-нибудь памятное изреченіе Грознаго, какая-

нибудь его шутка, издѣвательство, въ связи съ заштатною церковью, около которой путешественники разсматриваютъ могилы. Все незначительно по темѣ, но истинно живо и прекрасно по содержанію; и образованный читатель проведетъ съ истиннымъ удовольствіемъ 2—3 часа за чтеніемъ маленькой этой книжки.

Нѣкто, другъ и недругъ (бываютъ такія связи), настаивалъ передъ мною, чтобы я прочелъ второй томъ сочиненій Хомякова, «какъ-бы открывающій уму нашему шестую часть свѣта» духовнаго, какъ-бы дающій ему еще новый органъ ощущенія, «черезъ который вся дѣйствительность представляется въ иномъ и новомъ видѣ».

И я его прочелъ.

Раза два приходилось мнѣ испытывать это чувство какъ-бы открытія «новой части свѣта» — изъ книги. Первый разъ — это было уже очень давно — я узналъ это ощущеніе на студенческой скамьѣ. На одномъ изъ курсовъ профессора филологическаго факультета, какъ бы сговорившись, избрали предметомъ для чтенія VI пѣснь Иліады, рѣчь περὶ τοῦ στεφάνου—Демосѳена и текстъ «De Republica» Цицерона. И безпечность юности, и нѣсколько странный способъ понимать задачи толкованія самими профессорами, и наконецъ всегдашнее избѣганіе толпы людской, даже когда она состоитъ изъ товарищей, дѣлали то, что цѣлый кружокъ студентовъ, близко между собою связанныхъ, почти не посѣщалъ лекцій. И вотъ, когда настало время экзаменовъ, не болѣе какъ въ полторы недѣли, пришлось все, что слѣдовало-бы дѣлать въ теченіи года — сдѣлать въ эти немногіе дни. Трудъ былъ великъ; минута впереди—опасна. Но столько духовнаго свѣта соединено въ этихъ трехъ памятникахъ классическаго міра, что вотъ уже много лѣтъ прошло, а все еще нѣкоторые образы Демосѳена и несравненныя строки прощанія Гектора съ Андромахой — о которыхъ никакого понятія не даетъ переводъ — у меня остаются въ душѣ. И вотъ— послѣдній экзаменъ конченъ. Придя, изнеможенный, домой—я залегъ спать; но отъ нервнаго-ли возбужденія, отъ чего ли, не спалось. Я велѣлъ подать самоваръ, и въ ожиданіи его взялъ лѣниво съ пыльной полки книгу въ старомъ кожаномъ переплетѣ, давнымъ-давно для любопытства (посмотрю какъ-нибудь, нельзя-же не познакомиться) взятую у товарища, и до сихъ поръ, какъ драгоцѣнность, хранимую мною. Это была Библія временъ Александра I-го, мельчайшимъ, славянскимъ шрифтомъ напечатанная. Я былъ хотя и филологъ, и зналъ отличія литовскихъ флексій отъ славянскихъ, но читать по-славянски почти не умѣлъ. И задравъ ноги кверху, ткнувъ книгу книзу въ уголъ кушетки—открылъ и сталъ не столько читать, сколько «нукать» себя по страницѣ. Говорю — почти не понималъ. И вотъ въ одинъ вечеръ я почти выучился читать: по

крайней мѣрѣ къ ночи глаза уже бѣжали по страницѣ. Меня поразила совершенная *новизна духа*. И что-то до такой степени нужное, сейчасъ и всегда нужное, именно и спеціально мнѣ, но вѣроятно и всякому человѣку... Не умѣю выразить; сейчасъ — т. е. 20 лѣтъ спустя—я уже не имѣю формулировать раздѣльно чувства, расчленить свои впечатлѣнія.

Другимъ «вкушеніемъ новаго» были для меня сочиненія К. Леонтьева и именно его горькій и трудно одолимый пессимизмъ. Странно, что мы долго не читаемъ книгъ, которыя сыграютъ въ нашей жизни существенную роль, когда въ тоже время онѣ валяются подъ бокомъ. Я заказалъ себѣ купить Леонтьева въ Москвѣ; но когда мнѣ привезли два тома отвратительно-сѣроватаго изданія, почему-то уже обрѣзаннаго («читай, читай скорѣе: даже разрѣзать не надо»), и я тоже «ткнулся носомъ» туда-сюда, въ какой-то сбродъ передовыхъ статей — я скучливо сунулъ ихъ обратно на полку. И опять какой-то вечеръ, какая-то инфлуэнца, когда ничего серьезнаго дѣлать нельзя было — и я взялъ еще разъ томы, за которые заплачено было 6 рублей, и нужно-же было въ нихъ вычитать хоть на 6 копѣекъ. Я попалъ на «Византизмъ и славянство». Попалъ... и заразился; какъ теперь многіе (слышно) заражаются Ницше; какъ вообще существуетъ въ исторіи, въ исторіи культуры, эта духовная зараза и заражаемость.

Цѣлый циклъ моего развитія былъ подавленъ этимъ истинно благороднымъ, истинно великимъ умомъ; умомъ — *горькой правды*, не умѣю лучше выразить. Но это — безнадежная философія, безъ выходовъ, безъ просвѣта. Много лѣтъ спустя я понялъ, гдѣ ошибка Леонтьева. Онъ вовсе не былъ христіаниномъ. Даже не былъ іудеемъ. Это—заскорузлая старая баба XVII вѣка, во всеоружіи ума, остроумія, науки XIX-го вѣка, въ блистаніи эллинизма. Тотъ свѣтъ правды, *древнѣйшей* правды, *первой* правды, который поразилъ меня въ Библіи—ему вовсе чуждъ. Но здѣсь долго и трудно было-бы объяснять. Впечатлѣніе было огромное...

Я читалъ Хомякова съ мыслью: «вотъ—третья Америка». Увы. Просто я ничего не чувствовалъ. Перелистываю за страницей страницу, съ ожиданіемъ: «ну, гдѣ-же Америка?» Не могу здѣсь ни критиковать, ни разбираться, но констатирую простой фактъ абсолютной холодности. Все — прекрасно, все — шеколадъ, вкусно, но *не хлѣбъ*, но *не вода жаждущему!* Именно получается впечатлѣніе ненужности. И я остался холоденъ, какъ Пальмеръ, котораго вѣдь *ни въ чемъ* онъ не убѣдилъ (Пальмеръ, колебавшійся англиканецъ, перешелъ послѣ переписки съ Хомяковымъ въ католицизмъ).

Кто не помнитъ Пушкинскаго стиха:

Жрецы-ль у васъ метлу берутъ?

Стихъ былъ осмѣянъ; пронеслись десятилѣтія—и онъ живъ.

Почему-то сочиненія знаменитыхъ публицистовъ не требуются, не ищутся, т. е. они не составляютъ живой и нужной пищи живого общества. Сочиненія И. С. Аксакова изданы—и лежатъ неподвижно въ магазинахъ, въ то время какъ «Семейная хроника» его отца спрашивается сегодня, какъ спрашивалась и на другой годъ ея появленія; статьи М. Н. Каткова, собранныя въ «полное собраніе», такъ и не нашли себѣ покупателей, несмотря на всѣ усилія его учениковъ распространить его имя; у многихъ-ли, часто-ли вы видите полное собраніе сочиненій Ю. Ѳ. Самарина, когда въ каждой небольшой библіотекѣ вы находите стихотворенія Алексѣя Толстого?

Жрецы-ль у васъ метлу берутъ?

Общество не любитъ и не хочетъ публицистики. Оно хочетъ, чтобы литература оставалась поэзіей, чтобы она оставалась мудростью; въ худшемъ случаѣ—чтобы она оставалась настроеніемъ, безъ вмѣшательства въ частности и подробности текущихъ дѣлъ, не обращаясь въ «метлу», метущую ежедневный соръ. Публицистику оно допускаетъ, но какъ третьестепенное явленіе въ литературѣ; и, составляя себѣ небольшую коллекцію любимыхъ писателей, рѣшительно исключаетъ изъ нея публицистовъ, какъ бы ни было знаменито ихъ имя, даже какъ ни велика была бы ихъ историческая заслуга. Т.-е. общество оправдываетъ Пушкинскій стихъ и какъ бы говоритъ писателямъ: оставьте мнѣ «метлу», не хуже васъ я съумѣю вымести соръ изъ своей избы; останьтесь «жрецами», останьтесь ими по крайней мѣрѣ настолько, насколько хотите, чтобы хранилась о васъ память.

И еще вспоминается стихъ Пушкина:

...буду тѣмъ любезенъ я народу,
Что чувства добрыя я лирой пробуждалъ...

Публицистика, въ послѣднемъ анализѣ, и есть желчь, есть гнѣвъ; и вотъ еще причина, почему общество не помнитъ публицистики, не включаетъ ея въ элизій памяти своей. «Довлѣетъ дневи злоба его»—довольно «злобы» сегодняшняго «дня», чтобы еще отъ прежнихъ дней хранить ее, и, съ каждымъ днемъ накопляя, имѣть передъ собою, въ видѣ «литературы», наконецъ цѣлыя горы ея. Публицисты прошлаго забываются—и слава Богу: довольно публицистовъ этого волнующагося дня, и они довольно отравляютъ намъ аппетитъ къ обѣду. Нельзя, въ самомъ дѣлѣ, изъ-за литературы лишать себя утренняго свѣжаго дыханія, спокойнаго разговора по вечерней зарѣ, и, наконецъ,—право же это не преступленіе—вкуснаго обѣда среди семьи. Общество хочетъ немножко жить, кромѣ того, что оно читаетъ: нельзя жить въ отравленномъ воздухѣ, въ

воздухѣ вѣчнаго гнѣва и раздраженія,—и вотъ почему относительно всѣхъ публицистовъ вѣка минувшаго и нынѣшняго:

Sit vobis terra levis.

Но вѣдь есть же запомнившіеся публицисты, напр. Руссо? Руссо?.. Нѣтъ—это былъ моментъ психической жизни европейскаго общества; онъ не мелъ «метлою», или, точнѣе, онъ смелъ своей метлою цѣлое общество, цѣлую фазу его развитія, но потому что въ исторически развивающемся обществѣ онъ явился какъ переломъ сознанія, какъ кризисъ характера и настроенія. Руссо—это минута жизни въ европейской цивилизаціи; ея моментъ — а не лицо только, не человѣкъ, не писатель; и вотъ единственная причина, почему въ немъ запомнились *писатель*, *человѣкъ* и *лицо*. Но какъ основательно забыты Гольбахъ, Ла-Метри; даже какъ забытъ Вольтеръ: возможно-ли представить теперь человѣка, съ волненіемъ читающаго который-нибудь изъ 95 томовъ «Oeuvres complets» его?

Sit iis terra levis.

Благочестивый составитель нашей первой Лѣтописи записалъ, что когда св. Андрей Первозванный пришелъ на сѣверъ Чернаго моря и водрузилъ въ предѣлахъ нынѣшней Россіи крестъ—конечно, осьмиконечный,—онъ нашелъ уже здѣсь любимый народный обычай: баню. Именно лѣтописецъ записалъ, что нѣцые человѣки, натопивъ до невозможности огромную кирпичную печь и наплескавъ туда воды, входятъ въ облака горячаго пара, и долго, и больно хлещутъ себя вѣникомъ. Съ тѣхъ поръ «много воды утекло», но баня стоитъ; князья воинствовали, Москва ихъ смирила; Москва померкла,—но баня все стоитъ; вся Россія преобразована, но баня не преобразована. Баню очень старались «выкурить»: Лжедимитрій I игнорировалъ ее; «отечественные» писатели смѣялись надъ нею, указывали на заграницу, что «вотъ заграницей...» Но баня устояла; мало того—она пошла сама заграницу, потребовала экспертизы докторовъ, и теперь, заручившись всѣми патентами, менѣе чѣмъ когда-нибудь думаетъ уступать натиску цивилизаціи.

Баня глубоко народна; я хочу сказать—русскаго народа нельзя представить себѣ безъ бани, какъ и въ банѣ собственно нельзя представить никого, кромѣ русскаго человѣка, т. е. въ надлежащемъ видѣ и съ надлежащимъ колоритомъ дѣйствій. Если вы хотите кого-нибудь сдѣлать себѣ пріятелемъ, и колеблетесь, то спросите его, любитъ-ли онъ баню: если *да*—можете смѣло протянуть ему руку и позвать его въ семью вашу. Это—человѣкъ comme il faut.

Обычай бани есть гораздо болѣе замѣчательное историческое явленіе, нежели англійская конституція. Во-первыхъ, баня архаичнѣе, т. е. съ точки зрѣнія самихъ англичанъ—почтеннѣе: она

болѣе нежели конституція историческое comme il faut; во-вторыхъ, она демократичнѣе, т. е. болѣе отвѣчаетъ духу новыхъ и особенно ожидаемыхъ временъ. Идея равенства удивительно въ ней выдержана. Наконецъ, англійская конституція для самыхъ первыхъ мыслителей Европы имѣетъ спорныя въ себѣ стороны; бани никакихъ такихъ сторонъ не имѣетъ. Но самое главное: въ то время, какъ конституція доставляетъ удовлетвореніе нѣсколькимъ сотнямъ тысячъ и много-много нѣсколькимъ милліонамъ англичанъ, т. е. включая сюда всѣхъ избирателей, — баня доставляетъ наслажденіе положительно каждому русскому, всей сплошной массѣ населенія. Наконецъ, она повторяется черезъ каждыя двѣ недѣли, тогда какъ наслажденіе парламентскихъ выборовъ, проходящее живительной «баней» по народу, получается несравненно рѣже. Мы уже не говоримъ о томъ, что выборы — суета, грязь, нечистота, во всякомъ случаѣ тревога и безпокойство для всѣхъ участвующихъ; баня для всѣхъ же—чистота и успокоеніе.

Баня имѣетъ свои таинства: это—«легкій паръ». Кто не парится, тотъ собственно не бываетъ въ банѣ, т. е. не бываетъ въ ней активно, а лишь презрѣнно «моется», какъ это можетъ сдѣлать всякій у себя въ кухнѣ, какъ это съумѣетъ всякій чужестранецъ.

«Съ легкимъ паромъ»,—эту фразу неизмѣнно произноситъ каждый входящій въ баню, ни къ кому не обращаясь и всѣхъ привѣтствуя. Баня уже самою мыслью своею располагаетъ къ благожелательству—и это есть одна изъ самыхъ тонкихъ ея чертъ. Она проста и безобидна; она есть чистота на первой и самой необходимой ея ступени—физической; она—потокъ общенія и какого-то прекраснаго мира; она, наконецъ, представляетъ собою періодическое возбужденіе, поднятіе силъ, необходимое всякому, кто серьезно трудится.

Памяти усопшихъ.

1. О. И. Каблицъ (Юзовъ).

4-го октября 1893 г. умеръ *Осипъ Ивановичъ Каблицъ*, болѣе извѣстный подъ псевдонимомъ *I. Юзова*, авторъ книгъ: *Русскіе диссиденты*, *Староверы и духовные христіане* (Спб., 1881 г.), и *Основы народничества* (второе изданіе въ 1893 году). Покойный занималъ въ нашей литературѣ очень опредѣленное и крупное положеніе: онъ явился основателемъ и главою цѣлой партіи общественнаго и литературнаго движенія, отдѣлившагося отъ радикальнаго лагеря по своимъ стремленіямъ, еще слитаго съ нимъ по созерцанію, и, какъ въ томъ, такъ и въ этомъ, частью слитаго и частью раздѣленнаго со славянофильствомъ. *Народничество*—любимый терминъ покойнаго, было символомъ любовнаго и внимательнаго отношенія къ народу, прислушиванія не къ одной только нуждѣ его (радикальное направленіе), но и къ его думамъ, чувствамъ, всему нравственному и умственному строю, безъ какого-либо признанія за собою права насильственно измѣнять его, но и безъ чувства обязанности быть съ нимъ безусловно слитымъ—что часто не можетъ быть сдѣлано искренно.

Достаточно было хотя нѣсколько знать покойнаго, или раскрыть и прочесть нѣсколько страницъ изъ его книги, чтобы почувствовать въ собесѣдникѣ или авторѣ прежде и ярче всего золотое сердце. Признаемся, выслушивая иногда его умныя и сложныя соображенія, или ссылки на авторитеты, еще недавно такъ значущіе и теперь такъ поблекшіе (какъ Спенсеръ и др.), мы никогда не могли быть такъ внимательны къ нимъ, какъ этого желалъ бы покойный: сквозь всѣ эти разсужденія и ссылки мы видѣли нѣчто гораздо болѣе свѣтлое и прочное, чѣмъ они,—*совѣсть*, которая никогда и ни съ кѣмъ его не допустила бы до насилія. Отсутствіе притѣсненія,

въ какой бы формѣ оно ни совершалось, отъ кого бы ни исходило, ради какихъ бы цѣлей ни начиналось, было краеугольнымъ камнемъ всего его міросозерцанія, всякой бесѣды, каждой страницы его писаній; и, съ тѣмъ вмѣстѣ, онъ вовсе не былъ либераломъ. И въ самомъ дѣлѣ, либерализмъ въ наше время есть только синонимъ безразличія, умственнаго и нравственнаго безсилія; кто уже не можетъ чему-нибудь повѣрить, не имѣетъ силы твердо высказать и защитить какое-нибудь положеніе, кто не любитъ болѣе, не исповѣдуетъ, не ищетъ новаго, не помнитъ стараго—тотъ все еще достаточенъ, чтобы быть либераломъ. Онъ «свободенъ»—отъ чего? Отъ всего, что дѣлаетъ человѣка сильнымъ и достойнымъ, нужнымъ въ исторіи; отъ этого либерализмъ въ наше время такъ часто сливается съ узкимъ, замкнутымъ въ себя эгоизмомъ — и едва-ли не съ нимъ однимъ сливается прочно, «безъ разрыва и перегиба», какъ сказалъ бы геометръ. Невозможно представить себѣ ничего болѣе противоположнаго этому, какъ то, что представлялъ собою покойный: сухощавый, съ порывистыми движеніями, онъ казался вѣчно возбужденнымъ, горѣлъ сочувствіемъ или негодованіемъ и, кажется, не было утвержденія, которое бы онъ спокойно принялъ, не было отрицанія, которое бы онъ равнодушно подтвердилъ. Личное начало, живой, индивидуальный умъ, все различающій, изъ всего выбирающій, всегда неугомонный—ярко свѣтились въ немъ.

Смотря на него, выслушивая его, сколько разъ приходилось думать: вотъ типичный выразитель выздоравливающаго нашего общества, которое еще недавно такъ трудно и тяжко болѣло. Но воспреобладавшія теченія своей души онъ съумѣлъ сообщить и очень широкимъ слоямъ своихъ читателей, и это принадлежитъ его таланту и трудолюбію и составляетъ крупную его заслугу предъ обществомъ и исторіею.

Осипъ Ивановичъ Каблицъ родился 30-го іюня 1848 года, въ селѣ Требетовѣ, Поневѣжскаго уѣзда, Ковенской губерніи, и былъ сыномъ отставнаго поручика; крещенъ былъ «по опасности» въ 1850 г. въ римско-католическую вѣру, но десяти лѣтъ, въ 1858 г., перешелъ въ евангелическо-лютеранскую. Образованіе получилъ въ Кіевской второй гимназіи и въ Кіевскомъ университетѣ, откуда, не окончивъ курса, принужденъ былъ выйти, по горячности и пылкости своего характера. Затѣмъ, онъ принималъ участіе въ разныхъ кружкахъ 70-хъ годовъ, и, одно время, задумавъ изучить, сравнительно съ русскимъ, бытъ американскаго рабочаго, безъ всякихъ средствъ и преодолѣвая всѣ затрудненія, пробрался въ Соединенные Штаты. Какъ это и бываетъ нерѣдко съ нашими, отвѣдавшими «заграницы», время ознакомленія съ нею было для него временемъ возврата къ родному: какъ онъ самъ сообщалъ мнѣ однажды, только тамъ онъ понялъ, до какой степени внѣшней свободы еще недостаточно, чтобы человѣкъ не былъ притѣсненъ, уни-

женъ, оскорбленъ въ своемъ достоинствѣ, какъ и мягкость нравственнаго народнаго характера сберегаетъ человѣка отъ всего этого болѣе, чѣмъ вліяніе учрежденій. Никогда не забуду, съ какою отрадой я слушалъ, зная въ немъ лютеранина и человѣка «свободныхъ идей», когда о народѣ нашемъ онъ говорилъ, какъ о самомъ свѣтломъ, терпимомъ къ другому, нетребовательномъ для себя, среди котораго, поэтому, живется легче, чѣмъ среди всякаго, какого бы то ни было, другого. Между прочимъ, мы говорили объ общинѣ, которой онъ былъ горячимъ сторонникомъ; я ему указывалъ, что эта форма владѣнія и труда находится въ гармоніи съ духомъ нашего Православія и не можетъ быть понята безъ связи съ нимъ въ своей особенной устойчивости у насъ только [1]). Но здѣсь начинались между нами разногласія...

---

[1]) Мы хотимъ сказать, что есть нѣкоторая связь, гармонія между формами труда и владѣнія у всякаго народа и его культурными чертами въ иныхъ ничего общаго съ трудомъ и владѣніемъ не имѣющихъ сторонахъ; что въ томъ общемъ узлѣ, который мы называемъ «духомъ народнымъ», коренится не только его антипатія къ извѣстнымъ формамъ управленія, къ тому или иному церковному строю, но и къ тому или иному способу производить работу, относиться къ собственности. Въ частности, общинное или мірское владѣніе землею, какъ и артельное начало въ трудѣ, находятся въ незамѣчаемой обыкновенно гармоніи съ православіемъ—этимъ строемъ церкви *соборнымъ*, то-есть въ иной и высшей сферѣ также *общиннымъ*, *религіозно-«мірскимъ»* («міръ» мы беремъ здѣсь въ смыслѣ «цѣлаго», будетъ-ли то церковь, государство, село, толпа людей). Можно думать, что это соборное начало изъ церкви проникло и въ духъ народа нашего, отразившись въ немъ какъ стремленіе къ внутреннему согласію частей, къ устраненію какого-либо антагонизма въ нихъ, ихъ сильнѣйшему единству, скрѣпленію; община, естественно и ранѣе возникшая, попавъ подъ этотъ особый душевный складъ, нашла въ немъ укрѣпленіе, защиту, благопріятный моментъ для дальнѣйшаго развитія; какъ ранѣе же и естественно возникнувъ, она въ формахъ церковнаго строя и—еще глубже—въ складѣ народнаго духа нашла на Западѣ отрицательное условіе, въ силу котораго и погибла. И въ самомъ дѣлѣ, слишкомъ понятно, что германскому индивидуализму, въ сферѣ труда, гораздо болѣе отвѣчаетъ одиночно стоящая ферма, не стѣсняемая личная иниціатива, что все и установилось у этихъ народовъ; какъ позднѣе, подъ вліяніемъ тѣхъ же стремленій, они выработали и церковь, гдѣ каждый молится у себя и по своему, мало думая о сліяніи, о единствѣ съ другими. Напротивъ, патронатъ — обширное личное землевладѣніе съ міромъ подчиненныхъ себѣ другихъ владѣній, въ высшей степени отвѣчаетъ складкѣ романскаго духа, который и въ развитіи церковныхъ формъ пришелъ къ созданію строгаго и насильственнаго единства, соединенію *подъ* собою, но не въ *себѣ*, многихъ; что крупное землевладѣніе развито болѣе всего въ Англіи—это не противорѣчитъ сказанному: и тамъ возникло оно въ католическую пору, и даже подъ особенными благословеніями римской церкви (норманское завоеваніе). Такимъ образомъ *ферма*, *патронатъ*, *община* суть нормы землевладѣнія въ разныхъ европейскихъ странахъ, соотвѣтствующія тремъ разнымъ видамъ церковнаго строя у нихъ и восходящія, какъ къ первому источнику своему, къ особенностямъ ихъ психическаго сложенія. Въ будущемъ каждой изъ этихъ нормъ, вѣроятно, предстоитъ очищаться отъ всякихъ элементовъ другой, возводиться къ совершенству и строгости своего типа; однако, это развитіе можетъ не иначе получить себѣ мѣсто, какъ въ гармонической связи съ разви-

Вернувшись изъ Америки, онъ былъ нѣкоторое время наборщикомъ въ одной изъ петербургскихъ типографій, и этому, быть можетъ, слѣдуетъ приписать слабость его зрѣнія, на которую онъ иногда жаловался; позднѣе, онъ опредѣлился на государственную службу, началъ писать въ разныхъ періодическихъ изданіяхъ, сперва подъ всевдонимомъ *Юзова*, и позднѣе подъ собственнымъ именемъ *I. Каблица*. Отдѣльныя статьи мало-по-малу закруглялись, заканчивались въ развитіи своего содержанія; такъ выросли сборники, цѣлыя книги, которыя мы назвали выше. По мѣрѣ того, какъ его умственное развитіе подвигалось впередъ, онъ отдѣлялся отъ одного теченія нашей жизни и приближался къ другому, всегда оставаясь впрочемъ самостоятельнымъ. Но все это мы отмѣтили уже выше и не считаемъ нужнымъ повторять. Можно сказать, каждый шагъ его движенія въ литературѣ оспаривался, подвергался насмѣшкѣ или осужденію: его не привѣтствовали тѣ, къ кому онъ шелъ; злобно провожали тѣ, отъ кого онъ отходилъ; онъ былъ одинокъ и однако остался вѣренъ правдѣ, которую такъ прекрасно, такъ упорно искалъ всю жизнь.

Насколько мы можемъ судить, въ его идеяхъ не было чего-либо новаго и оригинальнаго; тамъ или здѣсь, его мысли можно было найти ранѣе; но онъ самъ, но его нравственный образъ, столь жизненный, свѣжій, незапятнанный, вотъ что останавливало невольно вниманіе въ эпоху столь тусклую, столь блѣдную нравственной энергіей, какъ наша. Повторяемъ, невозможно было провести нѣсколько времени въ его обществѣ, чтобы не почувствовать къ нему совершенно особаго уваженія. И въ самомъ дѣлѣ, подумаемъ даже объ этихъ внѣшнихъ фактахъ, но столь много говорящихъ о внутреннемъ содержаніи: чего искалъ онъ, проходя по проселочнымъ дорогамъ цѣлыя губерніи, ночуя въ деревняхъ (подъ видомъ странника), всюду присматриваясь къ жизни темныхъ, забытыхъ людьми

тіемъ по тому же типу и остальныхъ сторонъ жизни. Въ частности, у насъ судьбы общины неотдѣлимо связаны съ судьбою церкви; съ нею она будетъ укрѣпляться, не иначе какъ съ нею и ослабѣетъ или падетъ. Разница въ народномъ и нашемъ воззрѣніи на общину заключается въ томъ, что мы ждемъ отъ нея плодовъ въ будущемъ, народъ же видитъ въ ней удовлетвореніе теперь; мы ищемъ только матеріальныхъ выгодъ, народъ же просто выражаетъ въ ней свой нравственный строй. Любопытно, что наиболѣе прочная и развитая община встрѣчается у старовѣровъ нашихъ, т. е. у людей, у которыхъ кромѣ церковной и нѣтъ почти другой жизни, которые пренебрегли мірскимъ, здѣшнимъ, ради вѣрности духовному, какъ они его понимаютъ. «Міръ», какъ форма труда и жизни, неотдѣлимъ отъ отреченія отъ міра, отъ нѣкотораго пренебреженія къ нему, въ смыслѣ свѣтскаго, выгоднаго, земнаго; ибо что каждый нѣчто изъ своего теряетъ въ немъ — это ясно для всякаго мужика, какъ и для экономиста, для крупнаго собственника; только разница въ томъ, что послѣдніе не мирятся съ этою потерей, будучи на ней одной сосредоточены, первый же мирится ради единства, сліянности себя съ «міромъ», для «души».

и не забытыхъ только Богомъ, селеній? Чего нужно было ему за океаномъ? *Себѣ*-ли искалъ онъ чего? Итакъ, если всю душу свою онъ положилъ для ближняго, какъ дорогъ онъ долженъ быть этому ближнему, какъ близокъ былъ къ нему Богъ.

Будучи всегда очень скроменъ и не искателенъ, покойный довольствовался скромнымъ занятіемъ въ одномъ изъ нашихъ департаментовъ, далеко не отвѣчавшимъ его умственнымъ силамъ и обширной ознакомленности со всѣми почти практически-важными вопросами нашей государственной жизни. Товарищи относились къ нему съ высокимъ уваженіемъ и горячею любовью; для многихъ изъ нихъ бесѣда съ нимъ доставляла и нужное утѣшеніе, и живую помощь, — всякій находилъ у него, чего искалъ, если искалъ добраго. Миръ и покой душѣ твоей, неутомимый труженикъ, дорогой товарищъ, «въ селеніяхъ праведныхъ, идѣ же нѣсть болѣзнь, печаль и воздыханіе, но жизнь безконечная»... какъ, можетъ быть, ты не ожидалъ; но Божія правда—не человѣческій судъ, и сквозь несвязный, поверхностный лепетъ твоего языка, который одинъ могъ быть понятенъ людямъ, Богъ видѣлъ чистыя движенія твоего сердца, смыслъ и источникъ которыхъ для тебя былъ теменъ, для нихъ — незнакомъ, и одинъ во всякомъ человѣкѣ истинно цѣненъ.

1893 г.

---

2. Ю. Н. Говоруха-Отрокъ.

(† 27 іюля 1896 г.).

Тѣсенъ въ литературѣ нашей кругъ людей, остающихся еще вѣрными завѣтамъ, смыслу и духу земли русской. Противъ широко раскинувшихся рядовъ противниковъ эта кучка гонимыхъ, эта партія литературныхъ гёзовъ едва имѣетъ нѣсколько разрозненныхъ именъ. Грустна судьба ихъ. Безъ личнаго счастья, безъ какого-либо привѣта, въ нуждѣ и часто униженіи, задыхаясь среди безжалостной клеветы, они отстаиваютъ предметы своего культа съ очень слабою надеждой на ихъ сохраненіе и только съ вѣрой, что эти предметы суть лучшее, драгоцѣннѣйшее изъ всего дѣйствительнаго. Угрюмо проходитъ ихъ жизнь; они почти не перекидываются словомъ другъ съ другомъ, едва имѣютъ возможность не терять изъ виду одинъ другого. И когда выбываетъ товарищъ — едва имѣютъ время оглянуться на него и сказать торопливо: *вѣчная память*.

Такъ свѣжа еще утрата незабвеннаго Н. Н. Страхова—и вотъ потерянъ Юрій Николаевичъ Говоруха-Отрокъ. Да, нѣтъ въ нашей партіи ликованія, огней; противники могутъ веселиться—все угрюмо и печально у насъ.

Они не были связаны дружбой—за недосугомъ; лишь проѣзжая черезъ Москву, Страховъ пользовался нѣсколькими днями остановки и почти постоянно проводилъ ихъ у Говорухи-Отрока. Онъ высоко цѣнилъ умъ покойнаго и его образованіе. Когда однажды пишущему эти строки случилось говорить о печальномъ состояніи текущей литературы, онъ съ живостью указалъ на Юрія Николаевича и назвалъ его критическую дѣятельность «свѣтлымъ явленіемъ нашей литературы за послѣдніе годы». Онъ находилъ въ немъ существеннѣйшую черту критика: любовь къ литературѣ въ ея *собственныхъ* задачахъ и оцѣнку каждаго порознь литературнаго произведенія съ точки зрѣнія *правильности* способовъ, въ немъ употребленныхъ для осуществленія такой задачи. «Всегда онъ умѣетъ схватить», продолжалъ еще маститый критикъ, «главную мысль обсуждаемой статьи и подвергаетъ ее суду основательному и точному». Особенно онъ цѣнилъ разборъ, имъ сдѣланный, литературной дѣятельности Тургенева; менѣе удачнымъ ему представлялся критическій очеркъ произведеній Вл. Короленко, и онъ тогда-же писалъ ему о своемъ неудовлетворительномъ впечатлѣніи; онъ не имѣлъ уже случая прочесть истинно превосходное раскрытіе, имъ сдѣланное, музы Некрасова (въ весеннихъ нумерахъ *Московскихъ Вѣдомостей* за 1896 годъ). Однако, завѣтныя его темы остались невыполненными; необходимость писать еженедѣльно, крайнее утомленіе силъ къ мѣсяцамъ лѣтняго отдыха — все это годъ за годомъ отодвигало выполненіе долго лелѣяннаго имъ плана: написать полный и обширный разборъ «Гамлета», любимѣйшаго его произведенія въ европейской литературѣ [1]).

Какъ ни странно будетъ сказать, этотъ приземистый, черноволосый, типично *русскій* человѣкъ—былъ самъ Гамлетъ; точнѣе—та трансформація этого вѣковѣчнаго и универсальнаго типа, которая для русской дѣйствительности была оттѣнена и обрисована такими вѣрными и тонкими штрихами Тургеневымъ. Говоруха-Отрокъ обильно пережилъ глубочайшія сомнѣнія; онъ былъ благороднѣйшая и *тонкая* натура, тонкая именно въ ощущеніяхъ истиннаго и ложнаго въ человѣкѣ, достойнаго въ немъ или только грубой поддѣлки подъ достойное. Печальная полузадумчивость никогда почти не оставляла его; и вы чувствовали, какъ бы ни мало времени пробыли съ нимъ, что между предметомъ текущаго разговора и главнымъ устремленіемъ его мысли есть непереступаемая черта; что есть эта черта между предметами всѣхъ его видимыхъ заботъ и центромъ его души; что литература, писаніе, не только не есть для него ремесло, но и не есть даже самое священное; что онъ охотно от-

---

[1]) Редакція «Московскихъ Вѣдомостей», вѣроятно, выполнила бы невысказанное желаніе многихъ любителей литературы, если-бы дала сборникъ лучшихъ его критикъ. Въ послѣднемъ случаѣ, думается, едва-ли есть нужда сохранять его некрасивый и безцвѣтный псевдонимъ-*отчество* (Николаевъ).

дался бы погруженію въ себя, простому *теченію* своихъ мыслей— о предметахъ-ли, вопросахъ-ли, но во всякомъ случаѣ о чемъ-то, что́ для него несравненно цѣннѣе самой литературы и что́ онъ задѣваетъ въ ней не иначе, какъ побочно, но такъ, что вы чувствуете, что при этомъ побочна для него именно литература. Онъ былъ реалистъ въ томъ благородномъ смыслѣ, что словесное искусство освѣщалось для него нѣкоторымъ высшимъ свѣтомъ, идущимъ отъ реальнаго; и онъ былъ мистикъ, потому что это реальное хотя и могло бы быть названо «жизнью», однако не имѣло ничего общаго съ «дѣлами и днями», бѣгущими въ ней, съ частностями, хлопотами,—что это была скорѣе *мысль* жизни, нежели ея фактическое содержаніе. Все освѣщалось въ полѣ его зрѣнія глубокимъ, неяснымъ, нѣсколько *матовымъ* свѣтомъ; въ этомъ свѣтѣ онъ созерцалъ и любилъ жизнь, любилъ ее, какъ носительницу этого свѣта— т. е. *не самостоятельно;* литературу любилъ онъ только какъ третье. И вотъ отчего самый взглядъ его на литературу былъ глубокъ и чистъ, никогда не былъ тревоженъ, вотъ отчего онъ никогда не сталъ публицистомъ въ критикѣ, имѣя всѣ внѣшнія и техническія средства къ этому.

Отсюда же нѣкоторая небрежность въ немъ, какъ бы невнимательность къ писаніямъ своимъ, въ которыхъ далеко не выразилось богатство его силъ и тонкость натуры; случайность избираемыхъ темъ; не избѣганіе поводовъ, вызывающихъ на слово, но его вовсе не требующихъ, и однако же, ко всѣмъ этимъ поводамъ не нервное, не нетерпѣливое отношеніе—какъ бы чуждое полнаго напряженія силъ. При всякой темѣ онъ не терялъ сокровища своихъ размышленій; и ни въ одной не высказалъ его прямо. Это какъ бы равенство для него *всякихъ* темъ, отсутствіе вотъ въ *эту* минуту потребности объ *этомъ* именно сказать—ослабляло его силы какъ пишущаго, сообщало нѣкоторую идейную вялость порознь взятымъ его трудамъ. Есть именно *разсѣянность* въ его писаніяхъ— та разсѣянность, которая бываетъ у говорящаго, когда онъ не занятъ очень лицомъ, которому говоритъ, и вопросомъ, который предложенъ ему этимъ лицомъ. Съ тѣмъ вмѣстѣ, предметомъ фиксировавшимъ его вниманіе едва ли была мысль, *теоретическій* вопросъ—и здѣсь разграничивающая черта между нимъ и Страховымъ: Страховъ также рѣдко былъ *возбужденъ* въ своихъ писаніяхъ, но онъ ровнымъ и спокойнымъ языкомъ высказалъ цѣлый обширный организмъ мысли, и побужденіемъ къ писанію для него было именно, членъ за членомъ, высвободить изъ себя этотъ организмъ—пожалуй въ какомъ угодно порядкѣ, но *весь*. Разсѣянность Говорухи-Отрока была скорѣе всего разсѣянность чувства; онъ былъ фиксированъ на нѣкоторой мысли сердца, не развивающейся, не нудящей браться за перо. Скорѣе онъ отрывался отъ нея, чтобы взяться за перо и начать говорить о предметахъ не слиш-

комъ интересныхъ, но среди которыхъ, нѣтъ-нѣтъ, и вдругъ мелькнетъ нѣчто, что поддается освѣщенію этого постояннаго чувства, что можно осмыслить имъ или сознать въ немъ.

По мелькающимъ тамъ и здѣсь словамъ, по оживленности, которая вдругъ овладѣваетъ тутъ или въ иномъ мѣстѣ его рѣчью, можно даже конкретнѣе отгадать это чувство: это—нѣкоторое ощущеніе вѣчности, въ противоположность временному. Если бы усопшаго спросить, который изъ аттрибутовъ Божіихъ, обычно исчисляемыхъ, ему представляется особенно понятнымъ и необходимымъ—онъ навѣрно не назвалъ бы ни разума, ни благости, ни святости и особенно могущества: онъ навѣрное назвалъ бы *вѣчность* и, можетъ быть, назвалъ бы еще *милосердіе*. Вотъ два угла, подъ которыми онъ особенно хотѣлъ созерцать міръ; точнѣе, безъ которыхъ міръ ему не былъ бы нуженъ. Нельзя забыть здѣсь *второго* фельетона изъ двухъ, посвященныхъ имъ Антону Рубинштейну (кажется, по поводу выхода его книжки о музыкѣ и музыкантахъ); нельзя не припомнить глубокой любви, съ которою онъ остановился, и потомъ еще все возвращался, къ прекрасному и трогательному разсказу Вл. Короленко «Въ дурномъ обществѣ»; да и множество другихъ подробностей въ его описаніяхъ. Эту-то вѣчность онъ особенно любилъ, на ней фиксировалъ свой взглядъ; этого-то милосердія онъ особенно хотѣлъ, безъ него не понималъ жизни, отвергалъ людей: отсюда, какъ уже послѣдующее, его невниманіе почти къ политическимъ тревогамъ своихъ дней, его гуманизмъ, демократизмъ его ощущеній и симпатій.

И, наконецъ, отсюда его *индивидуализмъ*—эта еще Гамлетовская черта. Онъ вовсе не имѣлъ «общественныхъ» чувствъ; кажется, въ юности онъ принялъ участіе въ нѣкоторомъ массовомъ движеніи; кажется для интересовъ и успѣха этого движенія онъ пожертвовалъ, гдѣ-то на югѣ Россіи, родовымъ имѣніемъ своимъ (онъ былъ дворянинъ),—но это ясно лежало внѣ основныхъ чертъ его характера. Въ его писаніяхъ общество, его судьбы, тревога о его будущемъ не занимаютъ никакого мѣста; вѣроятно, смѣна царствованія въ 1894 году и возможная перемѣна «политики» не вызвала никакого въ немъ вопроса, ни недоумѣнія, ни страха. Онъ былъ весь погруженъ въ то единственное, что въ исторіи, въ народѣ можно было созерцать подъ угломъ вѣчности—въ человѣка. Черта человѣческаго характера, выведенная въ томъ или иномъ литературномъ произведеніи, черта характера, не скрытая въ себѣ писателемъ—его занимали болѣе, чѣмъ всякій новый законъ или предполагаемая важная мѣра. Вопросъ о гибели парохода *Русалка*, т. е. техническій и административный, не могъ бы его занять; иное дѣло, еслибъ у погибшаго на *Русалкѣ* моряка нашлась записная карманная книжка—онъ съ интересомъ раскрылъ-бы ее. Человѣкъ, его лицо, его сердце, и никогда «человѣчество» 60-хъ годовъ,—его за-

нимали. И въ этомъ онъ представляетъ собою замѣтное и цѣнное звено перехода тѣхъ лѣтъ въ нѣчто новое и противоположное. Счастливо и благодатно сухія тревоги политики оставили его; счастливо и благодатно взоръ его упалъ на то вѣчное, въ потокѣ чего эти тревоги проходятъ, какъ дни и ночи землевращенія въ теченіи около-солнечномъ.

Онъ, нѣтъ-нѣтъ, и все возвращался къ *Гамлету*; помню, онъ любилъ цитировать изъ него части этого монолога:

Окончить жизнь—уснуть,
Не болѣе. И знать, что этотъ сонъ
Окончитъ грусть и тысячи ударовъ—
Удѣлъ живыхъ... Такой конецъ достоинъ
Желаній жаркихъ! Умереть... уснуть...
Но если сонъ видѣнья посѣтятъ?
Что за мечты на смертный сонъ слетятъ,
Когда стряхнемъ мы суету земную?
Вотъ что дальнѣйшій заграждаетъ путь!
Вотъ отчего бѣда такъ долговѣчна!
Кто снесъ-бы бичъ и посмѣянье вѣка,
Безсилье правъ, тирановъ притѣсненье,
Обиды гордаго, забытую любовь,
Презрѣнныхъ душъ презрѣніе къ заслугамъ,
Когда-бы могъ насъ подарить покоемъ
Одинъ ударъ? Кто несъ-бы бремя жизни?
Кто гнулся-бы подъ тяжестью трудовъ?
Да, только страхъ чего-то послѣ смерти:
Страна безвѣстная, откуда путникъ
Не возвращался къ намъ—смущаетъ волю:
И мы скорѣй снесемъ земное горе,
Чѣмъ убѣжимъ къ безвѣстности за гробомъ.

Вотъ удивительное сплетеніе земного съ небеснымъ; вотъ взглядъ сюда, на землю, брошенный подъ угломъ *не раскрытыхъ*, но *ощущаемыхъ* небесныхъ тайнъ.

Пишущій строки эти видѣлъ покойнаго не болѣе 3—4 разъ, и также при случайномъ проѣздѣ черезъ Москву. Помнятся обширныя двѣ комнаты, съ неуклюжими книжными полками, закрывавшими большую часть стѣнъ: бездна книгъ, и изъ нихъ особенно выдѣлялись громадные фоліанты отцовъ Церкви, въ кожаныхъ переплетахъ, съ бѣлыми серебряными надписями на корешкахъ и краснымъ обрѣзомъ; Тургеневъ, кажется, былъ его любимецъ и стоялъ въ прекрасномъ шагреневомъ переплетѣ. За исключеніемъ богатства полокъ, все было пустынно въ комнатахъ; помню скудный обѣдъ, неизмѣнную рюмку водки передъ щами, которая при оживленномъ разговорѣ удваивалась, даже утраивалась; деревянныя ложки, всегда мнѣ напоминавшія дѣтство и археологію; была какая-то прекрасная, умная запустѣлость, нѣчто печальное и задумчивое въ квартирѣ и хозяинѣ: «старый буршъ, старый 40-лѣтній studiosus», думалось, глядя на него,—«сколько ты бурь пережилъ,

отъ шумныхъ сходокъ 70-хъ годовъ и до этихъ отцовъ Церкви?» Онъ весь ушелъ въ себя; помню его восклицаніе: «да, я ничего не любилъ читать позднѣе XVII вѣка—нахожу, что чѣмъ позже, тѣмъ люди начинаютъ скучнѣе, *вялѣе* писать: живость и правда только въ старыхъ книгахъ». Однажды, идя по улицѣ, я смѣясь сказалъ ему: «что если представить апостола Павла вставшимъ среди живыхъ, и вотъ онъ входитъ, со своимъ словомъ... въ Литературно-Артистическій кружокъ, въ Петербургѣ...» Говоруха-Отрокъ расхохотался: «конечно, конечно, ничего не вышло-бы; не произвелъ-бы рѣшительно никакого впечатлѣнія». Человѣкъ *здѣсь* умеръ; въ значительной степени въ новой цивилизаціи человѣкъ *умеръ*. Вотъ источникъ того, что звали или могли-бы въ покойномъ назвать «консерватизмомъ». Нѣкоторая глубокая мизантропія лежала въ основѣ этого—т. е. то странное, въ высокихъ лишь душахъ соединимое, чувство почти обоготворенія чоловѣка въ идеяхъ, въ представленіяхъ, въ нѣкоторыхъ *запомненныхъ* образахъ и—глубокаго негодованія къ нему-же, насколько онъ мечется въ глаза: плодъ недостаточнаго углубленія въ отцовъ Церкви, недостаточнаго укрѣпленія въ богопознаніи, которое отмываетъ отъ человѣка эту желчь идеализма и даетъ силу ему, умѣнье любить «всяческая во всемъ». До этого возросли *избранные*—отецъ Амвросій-Оптинскій, Ѳеофанъ Тамбовскій-затворникъ, Іоаннъ Кронштадтскій, Климентъ Зедергольмъ—счастливцы, труженики, обрадованные за правильный трудъ.

Прекрасно и благородно вполнѣ было сліяніе усопшаго съ Православіемъ—этимъ «путемъ и жизнью», «идѣ-же нѣсть ни печаль, ни воздыханіе, но жизнь безконечная». Православіе есть вѣчная религія, въ противоположность временнымъ—католицизму и протестантству: вѣчная, ибо она не раздражаетъ, какъ тѣ, но удовлетворяетъ душу человѣческую и всѣ мѣры ея исканія, всѣ степени ея тоски. Религія совершенной простоты и совершенной мудрости. Покойный теоретическимъ умомъ не былъ, конечно, въ достаточной мѣрѣ погруженъ въ ея наученіе; и также онъ иногда трудился, писалъ, не справляясь съ отцами Церкви. Но, думается, какъ и многіе уже теперь, онъ дѣлалъ все это какъ-бы *условно*—т. е. при молчаливомъ согласіи отмести все въ своихъ мнѣніяхъ и осудить все въ своихъ поступкахъ, чему одобренія не произнесла-бы Церковь. Этотъ духовный строй, напоминающій канунъ иноческаго пострига, когда все еще отдается сегодня міру съ тѣмъ, чтобы завтра отъ этого всего отказаться, т. е. уже *сегодня* съ нѣкоторою *условностью*,—есть строй лучшихъ, нѣжнѣйшихъ душъ нашего времени, такъ чуждыхъ специфическаго самоощущенія 60-хъ годовъ: личной автономіи, самонадѣянности, гордости.

Въ жизни покойнаго былъ случай, очевидно повліявшій на его сліяніе съ Церковью во всѣхъ ея частностяхъ и подробностяхъ,

со всею ея *полнотой*; нижеслѣдующія строки навѣрное будутъ въ печати прочтены лицомъ, разсказывавшимъ мнѣ его,—итакъ, довѣріе можетъ быть дано этимъ строкамъ. Въ юности Юріемъ Ник. былъ пережитъ романъ—съ печальнымъ исходомъ: любовь *ея* не была раздѣлана *имъ*, и она умерла, съ глубокою вѣрой въ Бога, но насильственно. Въ любви есть столько *само*-опредѣленія, ея пробужденіе и угасаніе такъ мало зависятъ отъ нашей воли, что лишь никогда не любившій могъ-бы осудить покойнаго за то, что возбужденное имъ чувство онъ оставилъ нераздѣленнымъ. Но—и здѣсь сказывается поворотъ духа отъ самонадѣянныхъ 40—60-хъ годовъ къ совсѣмъ новому настроенію — то, что прошло-бы у человѣка прежней структуры, какъ горделивое воспоминаніе (типъ Печорина,—кое-гдѣ, въ слабыхъ чертахъ, повторенный и у Тургенева), въ памяти Юрія Николаевича легло какъ воспоминаніе мучительное, можетъ быть—какъ незабываемый укоръ; во всякомъ случаѣ—какъ тревога, жалость. Эта часть факта была передана покойнымъ разсказывавшему мнѣ лицу независимо отъ слѣдующей: всѣмъ знавшимъ покойнаго извѣстно было, что какое то женское имя, но не имя матери или сестры, имъ подается постоянно въ Церковь къ поминанью «за упокой». «Одна женщина—разсказывалъ Говоруха-Отрокъ—нерѣдко видѣлась мнѣ во снѣ, всегда печальная и одѣтая въ черное; разъ моя дальняя родственница отправилась на богомолье, и я, давъ ей записочку, попросилъ ее отслужить панихиду объ этой покойницѣ у мощей мѣстнаго угодника. Прошло не меньше двухъ недѣль, и снова она привидѣлась мнѣ во снѣ, но, къ удивленію, одѣтая въ бѣлое, только съ черною каймой на платьѣ, и безъ печали въ лицѣ. Прошло еще нѣсколько времени, и снова я встрѣчаю свою родственницу: съ первыхъ же словъ она стала извиняться передо мною, говоря, что по болѣзни не попала тогда-же въ монастырь и только черезъ двѣ недѣли могла исполнить мою просьбу. Изумленный, я сталъ разспрашивать подробнѣе о числѣ и днѣ недѣли, и она назвала день, когда мнѣ приснился удивившій меня сонъ». Кто слѣдилъ за статьями покойнаго, можетъ припомнить, что въ нихъ не разъ и не два упоминалось «о мощахъ св. угодниковъ, къ которымъ спѣшитъ народъ русскій и несетъ туда свои скорби», о воспитательномъ значеніи для народа монастырей и паломничествъ. Въ свѣтѣ приведеннаго разсказа это становится ясно: покойный писалъ объ *испытанномъ*.

1896 г.

З. Н. Страховъ.

(† 24 января 1896 г.).

I.

Покойный Страховъ всю жизнь ожидалъ этихъ *залоговъ*—залоговъ дѣйствительности того, о чемъ философы и поэты смутно гадаютъ, а Церковь твердо молится на землѣ. Логически и психически онъ былъ подготовленъ къ нимъ; но не было залоговъ, и онъ умеръ съ вѣрой менѣе ясною, чѣмъ Говоруха-Отрокъ.

Помню, ранѣе напечатанія статьи своей *По поводу одной тревоги гр. Л. Н. Толстого*, я передавалъ ему доказательства безсмертія души, тамъ развитыя. Онъ слушалъ меня нетерпѣливо и, когда я кончилъ, сказалъ: «душа безсмертна не отъ того, какъ вы говорите, что она есть одинъ изъ принциповъ бытія и что принципы не разрушаемы, но потому, что это твердо обѣщано намъ св. Писаніемъ». Я былъ изумленъ (потому что подозрѣвалъ въ немъ скептика) и сказалъ—что, уже не помню. «Да, да, обѣщано и Ветхимъ завѣтомъ и Евангеліемъ»—онъ привелъ 1—2 текста на память—«и этого совершенно достаточно». Онъ относился съ величайшимъ неудовольствіемъ, когда богословы (профессора духовныхъ академій), между прочимъ въ *Вѣрѣ и Разумѣ*, пускались въ физическія, астрономическія и физіологическія изслѣдованія, чтобы подтвердить тотъ или иной свой тезисъ: «они не уважаютъ»—говорилъ онъ—«своего предмета; имъ не кажется достойнымъ заниматься религіею, и вотъ они берутся за чуждыя имъ области физическихъ и естественныхъ наукъ». Онъ не любилъ смѣшенія областей знанія; но область религіозную онъ признавалъ не только этически, но и трансцендентно. Уже идя за его гробомъ, я разговорился о религіозныхъ мнѣніяхъ покойнаго съ г-жею Алексѣевой, переводившею на нѣмецкій языкъ его книгу *Міръ какъ цѣлое*. «Что покойный (сказала она мнѣ) твердо былъ убѣжденъ въ безсмертіи души — это я знаю изъ слѣдующаго. Однажды я спросила его, не знаетъ-ли онъ книги, гдѣ я могла-бы прочесть объ Элевзинскихъ таинствахъ. Онъ далъ мнѣ изъ своей библіотеки; я заинтересовалась ею и, помню, въ разговорѣ, передавая — въ составѣ таинствъ—о вкушеніи посвященными ячменныхъ зеренъ въ связи съ идеями о безсмертіи души, сказала: «это, безъ сомнѣнія, было у нихъ аллегорически, какъ и въ причастіи мы аллегорически принимаемъ тѣло и кровь Христову». «Какъ вы говорите: «аллегорически»—воскликнулъ онъ, «нѣтъ: это—есть, это—въ самомъ дѣлѣ», — безъ поясненій, что «въ самомъ дѣлѣ»; но по связи разговора было ясно, что онъ высказалъ полноту вѣры въ таинство

причащенія, какъ оно исповѣдывается Церковью. Въ одномъ изъ писемъ ко мнѣ, изъ-за границы, онъ, передавая содержаніе проповѣди православнаго священика, между прочимъ, писалъ: «всѣмъ, кажется, она понравилась, а мнѣ было досадно, потому что онъ говорилъ ересь. Онъ говорилъ о двухъ заповѣдяхъ Евангельскихъ — любви къ ближнему и любви къ Богу, и указывалъ, что первая особенно важна. Но вѣдь это не такъ: въ Евангеліи сказано, что именно къ Богу любовь есть первая заповѣдь, а любовь къ человѣку—вторая, и, конечно, это правильно». Я упомянулъ о его нелюбви къ богословамъ, пускающимся въ физику; но вотъ, не однажды онъ съ восхищеніемъ заговаривалъ со мной объ Іоаннѣ Кронштадтскомъ и всегда прибавлялъ при этомъ: «и не удивительно-ли, что такой человѣкъ явился на самомъ крайнемъ пунктѣ нашего соприкосновенія съ Европой — даже не въ Петербургѣ, а въ Кронштадтѣ» (кажется, онъ связывалъ эту радость свою со славянофильскими своими чаяніями). — Однажды, года 3 назадъ, произнеся это—онъ прибавилъ: «Но вотъ чего вы, Вас. Вас., не знаете: Іоаннъ Кронштадтскій вовсе не единственное у насъ лицо: есть нѣсколько такихъ-же; то-есть они дѣлаютъ совершенно то же, что онъ,—и только не пользуются этою славой, не имѣютъ такой извѣстности». Я боялся разрушить это твердое слово, услышать ограниченія, поправки, и поэтому не спросилъ именъ и мѣстностей. Да и зачѣмъ это? Зачѣмъ заглядывать въ имена, мѣстности, годы? Не этотъ-ли скептицизмъ, это рвеніе Ѳомы во все «вложить палецъ», подсѣкъ и яркость вѣры у Страхова и лишилъ его, безъ сомнѣнія, величайшаго счастья, за которое онъ отдалъ-бы и свою неоцѣненную библіотеку, и множество своихъ знаній... Его отношеніе къ религіи, какъ я уже сказалъ, было полно, но не ярко, не напряженно; форма вѣры была цѣлостна, не разрушена, но была блѣдность въ ней, какъ блѣдны бываютъ полныя черты въ слабо проступившемъ негативѣ. Взамѣнъ этого, было нѣчто другое въ этомъ чувствѣ, и на вѣсахъ Божіихъ не сосчитано, есть-ли это меньшее: постоянное *памятованіе* религіи. Въ какую-бы минуту вы ни спугнули мысль его, эта спугнутая мысль отбѣгала именно отъ религіи, чтобы обратиться — конечно, на минуту и не съ настоящимъ интересомъ—къ предметамъ конкретнымъ, къ вопросамъ знанія, философіи, къ бѣгущимъ интересамъ политики. Невозможно представить себѣ, чтобы покойный просто *присутствовалъ* [1]) тамъ, допустивъ себя *видѣть*, *слышать* шутливое отношеніе къ религіи; но вотъ вы заговаривали *положительно*—и какое-то безсиліе сказывалось въ немъ. Онъ именно отрицалъ отрицанія, и ненавидѣлъ

[1]) Однажды, въ одну изъ «Средъ», одинъ изъ гостей, неуважительно отозвался о Пушкинѣ и, не замѣчая впечатлѣнія или надѣясь, что онъ «гость», впалъ въ дальнѣйшую иронію. Сперва возражавшій, Страховъ черезъ нѣсколько минутъ предложилъ ему просто *замолчать*—что и было исполнено.

ихъ, презиралъ; но его невозможно было ввести въ утвержденія: онъ поднималъ палецъ и требовалъ указать «рану», куда бы могъ вложить его и ощущать. Разъ, въ обычную у него «Среду», среди довольно большого общества писателей, гр. А. А. Голенищевъ-Кутузовъ передавалъ содержаніе имъ прочтенной—кажется, въ рукописи — брошюры, гдѣ были собраны медицинскія удостовѣренія объ исцѣленіяхъ въ Лурдѣ: «опущенная въ источникъ дѣвушка, страдавшая костоѣдой ноги, по вынутіи изъ воды, оказалась исцѣленною...» Страховъ вспылилъ: «Какъ исцѣленною? что-же именно сдѣлалось у нея съ раной?» Добрый и прекрасный поэтъ растерялся: при чтеніи рукописи, онъ не обратилъ на это вниманія, или въ самой рукописи не было ничего. Страховъ продолжалъ: «пишутъ Богъ знаетъ что и какъ: она исцѣлѣла, было страданіе кости; что-же, возстановилась-ли цѣлость кости? или рана зарубцевалась? Можетъ быть, она только снаружи затянулась кожицей, или нога только перестала чувствовать боль: я не могу вѣрить тому, чего не знаю, и вы не можете мнѣ даже описать факта». Онъ равнымъ образомъ прямо негодовалъ на неясность сообщеній проф. Доробца объ исцѣленіи отъ сиккоза: «пишетъ *стоялъ* (въ храмѣ Спасителя) *и ничего особеннаго не чувствовалъ*; ну, а не особенное? вѣдь *что-нибудь* онъ чувствовалъ-же, думалъ о чемъ-нибудь?» Но въ самой ревности негодованія я замѣчалъ именно психическую и логическую готовность Страхова принять чудо: никогда надъ разсказомъ я у него не видѣлъ ни улыбки, ни шутки, ни даже простого невниманія: именно всегда какой-то порывъ, мысль чутко слушающая, и палецъ, уже готовый вложиться въ «рану»; но не было раны, не открывались точныя, научныя формы знаменія, не было латинскаго названія исцѣлѣвшаго мускула, и онъ, не отвергая, переставалъ слушать. Былъ-ли правъ онъ? былъ-ли онъ неправъ?—трудно судить. Нельзя, не слѣдуетъ, не должно ожидать, чтобы исцѣленный въ томъ свѣтломъ сіяніи души, благодарной къ Богу, какое переживаетъ, требовалъ скорѣе перо, бумаги, вынималъ циферблатъ часовъ и точно записывалъ фактъ; такъ, но и правъ невѣрующій, не зная, *чему* въ точныхъ формахъ онъ долженъ вѣрить. Однако, исцѣленный и не приглашаетъ никого вѣрить: онъ выражаетъ просто сіяніе души своей; и въ людяхъ такъ много благородства, такъ много интимнаго пониманія другъ друга, что, взглянувъ на это сіяніе, и безъ словъ они ощущаютъ его причину и вѣрятъ, почти удерживая, гоня доказательства. Тутъ если и есть доказательство, то психологическое: доказательство именно въ благородствѣ, въ относительной чистотѣ души человѣческой; самъ Страховъ разъ зло смѣялся надъ Писемскимъ, когда онъ въ рядъ «русскихъ лгуновъ», наконецъ, увлекшись, помѣстилъ и Шекспировскаго Ромео: но если люди всегда и только лгутъ, лгутъ одинаково въ словахъ, въ интонаціяхъ голоса, въ

томъ, что мы назвали «сіяніемъ души», — почему, наконецъ, не лгалъ и Ромео передъ Джульеттой, говоря о любви? Но есть красота, пробуждающая истинную любовь; есть истинныя сердца, чувствующія любовь; есть правда въ людяхъ, отъ того только есть и поэзія; и, наконецъ, есть чудеса, есть религія.

Кстати, чудо Страховъ опредѣлялъ какъ «нарушеніе какого-нибудь физическаго закона», временную и мѣстную отмѣну его дѣйствія; я запомнилъ это опредѣленіе и, забывъ слово «законъ», сказалъ однажды кому-то при немъ: «чудо есть нарушеніе которой-нибудь изъ логическихъ и физическихъ аксіомъ»; Страховъ съ живостью подтвердилъ: «вотъ-вотъ».

Здѣсь я долженъ сказать, что Страховъ вовсе не отвергалъ, что *весь* міръ есть нѣкоторымъ образомъ чудо, а *не* чудесное есть рѣдкое въ немъ исключеніе. Раздраженный его требованіями «раны», въ которую можно было бы вложить «персты», я всталъ однажды и, пройдясь по комнатѣ, сказалъ: «*вотъ*—чудо (то-есть, что я *иду*), ибо это вопреки всѣмъ аксіомамъ механики: 1) что движущее—внѣ движимаго; 2) что движимое пассивно по отношенію къ двигателю; 3) что оно не останавливается до встрѣчи съ препятствіемъ или иначе какъ отъ сопротивленія среды, и пр.». Онъ въ высшей степени принялъ это; продолжая, я сказалъ ему: «и такъ, весь живой міръ есть чудо, и также—вселенная, объяснить происхожденіе которой мы механически не умѣемъ; даже самое притяженіе тѣлъ (Ньютоновское)—развѣ это механика? то-есть, развѣ это не факты, нарушающіе принципы механики, мѣстно и временно исключающіе ея законы? но вотъ, изъ этихъ чудесныхъ фактовъ слѣдствіе уже течетъ механически: и разъ *чудно* тѣла стягиваются, а центробѣжная сила планетъ равна и противоположна по направленію этой стягивающей силѣ—планеты естественно, *механически*, удерживаются въ своихъ орбитахъ». Эта точка зрѣнія была въ высшей степени ему понятна; но она была слишкомъ обща, и перейти отъ нея къ Богородицѣ, мощамъ св. угодниковъ, чудесамъ исцѣленія не было возможности. Это давало основу для спиритуалистическаго только созерцанія міра, но не для церковнаго; Страховъ же, я видѣлъ, хотѣлъ церковнаго чуда; да, конечно, оно только и нужно. Спиритуализмъ—это пустыня; Церковь—это отчій домъ. Оба суть нѣкоторое «мѣсто»; но одного намъ не нужно, мы въ немъ погибаемъ; во-второмъ же—«жизнь безконечная».

То *постоянное памятованіе религіи*, о которомъ я сказалъ, что оно было у Страхова, было именно памятованіе, *склоненное ухомъ къ церковному*. Нельзя сказать, что онъ не допустилъ-бы въ своемъ присутствіи кощунства надъ «спиритуализмомъ»: механическія и вообще совершенно матеріалистическія воззрѣнія онъ оспаривалъ въ длинныхъ бесѣдахъ, безъ тѣни какого-либо негодованія къ оспариваемому. Онъ именно не допускалъ кощунства тамъ, гдѣ въ спи-

ритуалистическомъ начинало чувствоваться *лицо:* онъ этого лица не видѣлъ, не различалъ; не называлъ его имени; но вотъ вы подходили, чтобы его оскорбить, какъ пустоту нѣкоторую, какъ мертвый идолъ людского воображенія,—и онъ съ гнѣвомъ и презрѣніемъ васъ отталкивалъ. Его «перстъ» былъ не вложенъ; онъ не дотянулся до осязаемой раны; но значитъ было же твердое у него чувство, что лѣвѣе или правѣе, ближе или дальше въ этой темнотѣ, ему предстоящей, есть живая «рана», есть *тѣло*, присутствуетъ *лицо*. Можно сказать, онъ ненавидѣлъ гораздо сильнѣе, чѣмъ всякія матеріалистическія воззрѣнія, такъ называемыя «влеченія» къ религіи, исходившія изъ эстетическихъ или этическихъ иллюзій: былъ цѣлый рядъ «религіозныхъ» писателей (и поэтовъ), которыхъ онъ прямо не выносилъ за этотъ мотивъ ихъ религіозности; т. е. не читалъ ихъ, не видѣлъ, отвергалъ; не хотѣлъ, чтобы вы ихъ знали. Помню, едва я переѣхалъ въ Петербургъ, изъ ближайшаго сосѣдства къ Татеву, онъ сталъ меня внимательно разспрашивать о тамошнемъ труженикѣ, извѣстномъ Рачинскомъ; почти боязливо онъ спросилъ меня: «не есть ли его отношеніе къ религіи *эстетическое* только? не любитъ-ли онъ только *красоту* въ ней, любитъ-ли онъ ее какъ *истину*? Въ немъ столько *вкуса*—не говорю уже о писаніяхъ—но въ выборѣ предметовъ интереса, предметовъ чтенія, занятія (съ учениками)...» Разумѣется, я не могъ отвѣтить на такой вопросъ, касавшійся интимныхъ тайнъ души, но указалъ, что отношеніе къ религіи Рачинскаго такъ строго, почти сурово, что ни у него, ни даже въ его присутствіи у другого нельзя было бы спрашивать о подобномъ, т. е. спрашивать какъ бы съ сомнѣніемъ, съ собственнымъ скепсисомъ.

При этомъ тускломъ созерцаніи Божества, Его неясномъ ощущеніи, онъ сдѣлалъ все, чѣмъ могъ восполнить недостающее: выправилъ строго свою жизнь по стезямъ Его заповѣдей, не писанныхъ, но запечатлѣнныхъ въ разумѣ человѣческомъ. Вполнѣ можно назвать религіозною всю жизнь Страхова; сосредоточенная мысль была положена имъ въ основу ея; въ цѣломъ весь его прижизненный трудъ можно назвать «служеніемъ». Печать особливости, глубокаго въ себѣ уединенія, глубокаго и *постояннаго* внутренняго служенія чему-то, нѣкоторому Богу, никогда не называемому, скрытому отъ взглядовъ людей, чувствовалась въ немъ тотчасъ послѣ первыхъ словъ бесѣды, при входѣ въ его комнаты, при взглядѣ на ихъ убранство: «келья», «монастырь» и во всякомъ случаѣ мѣсто, гдѣ даже нельзя вспомнить веселья, шума, какъ и ничего безстыднаго—таково было впечатлѣніе, которымъ онѣ встрѣчали васъ и васъ провожали. Замѣчательно, что бесѣда его всегда *очищала* и *просвѣтляла*, какъ и всегда *успокаивала;* я не помню за три года частыхъ собесѣдованій, чтобы вопросъ когда-нибудь коснулся фривольнаго, чтобы шутка была безстыдна, даже нескромна, равно—чтобы въ разговорѣ сказалась за-

висть, недоброжелательство, излишество въ презрѣніи. И все это при отсутствіи какой-либо напряженности, преднамѣренности, при полной несвязанности рѣчей. Просто низкое или гадкое *естественно* не вилось около него; *здѣсь*—этому не было мѣста; корысти, угодничества здѣсь нельзя было бы высказать, оно ни къ чему бы не прилипло, ни на чемъ бы не зацѣпилось и, какъ не нужное, вылетѣло бы въ дверь вонъ. Есть собесѣдованія, знакомства, связи, которыя понижаютъ, будятъ дурное въ васъ, даютъ ему ростъ; не создаютъ въ васъ *новаго* дурного, но манятъ распуститься то, что всегда въ васъ было, и вы въ себѣ это осуждали. При общеніи со Страховымъ это дурное какъ бы *отсыхало*; не находя себѣ пищи—оно позабывалось. И, нѣтъ сомнѣнія, долгое и постоянное общеніе съ нимъ могло бы поправить порочнаго человѣка, или человѣка *склоннаго* къ пороку; какъ съ другимъ общеніе иногда губитъ его.

Здѣсь я долженъ сказать объ его отношеніи къ гр. Л. Толстому, которое часто неправильно понималось. Онъ его дѣятельность разсматривалъ въ исторической перспективѣ, т. е. какъ бы *издали* и въ *цѣломъ*, вовсе онъ не сливался съ его «ученіемъ», даже просто—онъ отвергалъ его, или почти отвергалъ; во всякомъ случаѣ не придавалъ ему значенія. Но *смыслъ* его ученія, но *направленіе*, въ которомъ пошелъ Толстой—его восхищало, вызывало въ немъ величайшій восторгъ, прямо энтузіазмъ. Вотъ—*путь* (т. е. для писателей), какъ бы говорилъ онъ: путь къ исканію правды, путь—къ Богу; не эти тропинки, по которымъ бредетъ Толстой, но это направленіе, въ которомъ онъ двинулся (да едва-ли, не *такъ* себя понимаетъ и самъ Толстой? См. его *послѣсловіе* къ *Крейцеровой Сонатѣ*). Какъ-то при немъ заговорили о «непротивленіи злу»:—«да, это очень неясная, очень спорная вещь въ его ученіи», проговорилъ Страховъ; видно было, что онъ даже не давалъ себѣ труда вдумываться въ нее; «когда пріѣхалъ изъ Кіева (едва-ли не г. Витте), его спрашиваютъ: *ну, что тамъ новаго?* онъ отвѣтилъ: *да что? развѣ то, что всѣ нигилисты подѣлались толстовцами*; онъ сказалъ это небрежно: очевидно, онъ не слѣдилъ за фактомъ, фактъ билъ въ глаза—и развѣ этотъ результатъ не поразителенъ, не благотворенъ? Сухой, черствый, жестокосердый нигилизмъ перевести къ мягкости, серьезности, религіозности Толстого». Еще разъ онъ сказалъ мнѣ: «никто и не останавливается на ученіи Толстого; его посѣщаютъ, бесѣдуютъ съ нимъ, размышляютъ; и потомъ вы видите—ѣдутъ въ Оптину пустынь; множество примѣровъ». Другой разъ, послѣ одного разсказаннаго у него эпизода, онъ проговорилъ съ задумчивостью и грустью: «да, это печальная для Льва Николаевича сторона дѣла, что его писанія всецѣло овладѣваютъ какъ-то слабыми головами». Вообще *детали* въ ученіи Толстого его не занимали; его доктрина въ составѣ своихъ *членовъ*, для него почти не существовала; но Толстой, какъ человѣкъ и писатель, какъ мы-

слитель — былъ для него великъ и прекрасенъ; онъ не находилъ словъ, чтобы выразить къ нему почтительность и любовь. Какъ-то однажды Страховъ очень спорилъ объ одномъ писателѣ, уже умершемъ,—очень порицалъ его: «онъ (этотъ писатель) точно лишенъ былъ обонянія *чистаго* и *нечистаго;* въ немъ вовсе нѣтъ ощущенія этихъ вещей; съ великимъ талантомъ, чудеснымъ языкомъ онъ говоритъ о прекраснѣйшихъ вещахъ. и вотъ начинаетъ говорить о величайшихъ мерзостяхъ безъ всякаго чувства. что это уже другое... (онъ на минуту остановился и поднялъ глаза на собесѣдниковъ): вотъ Толстой—въ немъ удивительно это чувство чистоты; какое бы у него сочиненіе вы ни взяли, вы увидите, что чистое и нечистое никогда не смѣшивается въ его глазахъ, что онъ постоянно видитъ самъ и даетъ вамъ чувствовать разграничивающую ихъ черту». Я передаю не очень точно и поэтому очень слабо мысль Страхова; но онъ сказалъ это такимъ особеннымъ тономъ, что нельзя было не почувствовать, что *здѣсь* именно центръ его привязанности къ Толстому; что послѣ долгаго пытанія, долгаго всматриванія, онъ увидѣлъ въ немъ человѣка, къ груди котораго можно прилечь и не замараться, не обжечься, не «погубить душу». Онъ почувствовалъ къ нему *довѣріе*, и, конечно, это выше терминовъ «геніальность» и всякой литературной гари и нечистоты, какою—едва-ли *чувствуя* этого писателя глубоко—люди окружаютъ его имя.

«Вотъ, Господи, сколько было силъ — я подошелъ къ Тебѣ: возьми же и донеси меня силой Твоею черезъ остатокъ пути, гдѣ ноги мои не нащупываютъ почвы и руки тщетно протягиваются въ темноту»,—такъ, въ послѣднемъ синтезѣ, можно опредѣлить Страхова, эту правдивѣйшую и смиреннѣйшую душу, смиренную въ очень богатыхъ (кто могъ его *понимать*) дарахъ. Его жизнь и его нравственный образъ вполнѣ удивительны; я уже не хочу говорить, что они особенно удивительны въ нашемъ вѣкѣ. Долго будетъ это всѣми отвергаться, но когда-нибудь будетъ признано: что въ немъ, въ совершенно простыхъ чертахъ, среди насъ жилъ феноменъ, придавшій лучшее и благороднѣйшее выраженіе всему лику нашего времени. Какъ незамѣтенъ, повидимому, онъ. не ярокъ, безшуменъ: Страховъ умеръ — что̀-же случилось? о чемъ писать? о чемъ даже сожалѣть?.. Да, его могила закрылась: чистѣйшее сердце не *блюдетъ* насъ; осторожнѣйшая мысль уже не *слѣдитъ* за нами; рука добрая, дрожащая, рука безконечно благородная, рука никогда не нуждавшаяся въ благодарности, даже въ простомъ рукопожатіи— уже не поддержитъ насъ въ паденіи. Страховъ умеръ — о чемъ *писать*? Да, но *плакать* можно, и, быть можетъ, слѣдуетъ: литература въ немъ потеряла пѣстуна своего; наша недозрѣлая, младенческая мысль потеряла въ немъ драгоцѣннѣйшую няню, какъ-то естественно выросшую, само-собою поднявшуюся съ почвы среди цвѣтовъ, деревъ, «пшеницы и плевелъ» нашей словес-

ности. Это Богъ во благовременіи ее послалъ, послалъ въ самую тревожную, опасную минуту нашего роста... Личная, индивидуальная жизнь Страхова была глубока и сложна; мы не имѣемъ почти слѣдовъ этой жизни въ его словахъ; мы имѣемъ въ нихъ только *плодъ*, только *выводъ* глубокой мудрости и великой старости [1]).

II.

Необходимо, для характеристики покойнаго указать его отношеніе къ идеямъ вѣры и свободы. При жизни, когда онъ отказывался печатно объ этомъ со мною полемизировать, я говорилъ, что это нужно для *дѣла*, для сохраненія важныхъ чертъ его *личности*, и, по крайней мѣрѣ, по его смерти нужно будетъ указать на это. Трудно сказать, на какой сторонѣ здѣсь истина. Иногда думается, что весь источникъ спора заключается въ избраніи точекъ зрѣнія, *откуда* смотришь на религію, моментовъ *въ ней самой*, въ которыхъ *ее* разсматриваешь. Страховъ смотрѣлъ на религію исключительно подчиненно: истина дана и ее нужно принять—принятіе можетъ быть только *свободно*; онъ вовсе не смотрѣлъ на религію изъ ея центра, изъ *зерна* растущей и *покоряющей* себѣ истины, силы, значенія. Религія in werden—это не приходило ему на умъ, религія in sein — это одно онъ зналъ; и вотъ отчего активныя, дѣятельныя, даже разрушительныя, иногда грозныя манифестаціи религіозныхъ чувствъ въ исторіи были чужды и непонятны ему, были глубоко враждебны и антипатичны въ самой идеѣ; понятна была только мирная культура усвоенія. Съ какимъ-то недоумѣніемъ, тоской, наконецъ съ негодованіемъ и истиннымъ неуваженіемъ онъ выслушивалъ мысль о возможномъ насиліи въ сферѣ религіозныхъ чувствъ; нельзя передать той красоты духовной, того ума и благородства, съ которымъ онъ указывалъ, что никогда и ни для какого случая Спаситель не разрѣшалъ насилія, что весь духъ Евангелія есть духъ убѣжденія и никогда принужденія. Повидимому, тутъ было недоразумѣніе: принудить *вѣрить*, *слиться* со мною въ вѣрѣ—никого нельзя; усвоеніе вѣры, какъ актъ чисто субъективный, внутренній, сердечный—eo ipso можетъ совершиться только усиліями вѣрующаго, т.-е. только свободно. Но вѣрующіе не только не могутъ, но и не должны выносить присутствія отрицаній своей вѣры около себя: итакъ, не при-

[1]) Однажды, въ шутливомъ разговорѣ, онъ сказалъ: «я люблю *три* вещи: логику, хорошій слогъ и добродѣтель»; разсмѣявшись и попрекая его за такой порядокъ любимыхъ предметовъ, я сказалъ: «а вотъ, я разскажу это въ вашемъ некрологѣ». Онъ съ живостью обернулся ко мнѣ и сказалъ: «когда я умру—скажите обо мнѣ: *онъ былъ трезвый среди пьяныхъ*». Ясно, что *такъ* опредѣлялъ онъ себя мысленно среди современниковъ.

нужденіе къ вѣрѣ, но актъ сбрасыванія съ себя, физическій и территоріальный, всякаго легкомыслія въ вѣрѣ и ея искаженія — есть то, правоту и необходимость чего я всегда чувствовалъ. Это я говорилъ ему, т. е. въ формѣ отрицательной, не какъ принципъ *in*trare compelle, но—*ex*trare compelle. «Какъ сбрасывать? да если я *не могу* вѣрить, чистосердечно, искренно...» Въ смущеніи, я ничего не говорилъ... «Такъ рожномъ меня?» и онъ сдѣлалъ жестъ.— «Для чего вамъ жить среди вѣрующихъ, уѣзжайте въ Германію», сказалъ я. Всѣ наши разговоры объ этомъ текли какъ-то быстро и неясно; была какая-то несговариваемость, что-то непостижимое въ идеяхъ каждаго для другого. Не держали-ли мы факты различные въ умѣ: онъ упоминалъ о духоборцахъ на Кавказѣ, куда-то сосланныхъ около этого времени; о толстовцѣ, у котораго отняли («взяли въ опеку») сына; я же держалъ въ памяти (изъ *Дневника писателя* Достоевскаго) фактъ, когда жена, ежедневно избиваемая, чуть не полѣномъ, самодовольнымъ мужемъ, просила защиты у «міра», и «міръ» отвѣтилъ («промямлилъ» — пишетъ Достоевскій) уклончиво-индифферентно: «живите согласнѣе»; она удавилась черезъ нѣсколько дней, кажется, на глазахъ 5-ти-лѣтней дочери; и еще держалъ я въ памяти бездну любви истерзанной, оплеванной. «Вы не только темно и запутанно, скверным синтаксисомъ, написали эти статьи: это—ваше дѣло; но вы совершили ими дурной поступокъ въ литературѣ, — и это уже мое дѣло». И опять тутъ была нить, которая убѣждала меня въ истинѣ моихъ мыслей. «это — *мое* дѣло, говоритъ онъ о *дурной* мысли; эта дурная мысль есть худой *поступокъ*, коего-бы онъ въ себѣ не допустилъ, и, будь редакторомъ, не допустилъ-бы его на страницахъ своего журнала; но, Боже, чего-же я хочу иного, какъ чтобы жизнь, исторія также хорошо редактировалась, чтобы одна страница въ ней не говорила одного, и другая — противоположнаго». Не безъ боли я смотрѣлъ на выраженіе его лица, такъ убѣждающаго, съ которымъ такъ хотѣлось-бы согласиться,—и нельзя было; однажды, забывшись, онъ просто сталъ кричать на меня, чего съ нимъ никогда не было, и потомъ, спохватившись, проговорилъ: «ну, Богъ съ вами, — пейте чай». Мнѣ же казалось, что въ этой такъ непостижимой для него мысли скрытъ истинный λόγος исторіи; тайна управленія ею. «Евангеліе кротко»... — Но, Боже, родъ «лукавый и прелюбодѣйный» не обратилъ-ли самую его кротость въ риторику для себя и прикрылъ ею жестокосердіе? Евангеліе разрушаютъ, и едва вы подняли руку, чтобы защитить его — васъ спрашиваютъ: «развѣ это по Евангелію? Спаситель повелѣлъ Петру—*вложи мечъ въ ножны*...» И повсюду, во всѣхъ ея линіяхъ, жизнь наша облеклась въ христіанскую терминологію, при исчезновеніи духа христіанства, и, двигаясь по мотивамъ, ничего общаго съ христіанствомъ не имѣющимъ,—въ неправдѣ своей, въ жестоковыйности пытается опереть

себя на Евангеліе, по крайней мѣрѣ защитить свое бытіе имъ, — и обыкновенно успѣваетъ въ этомъ. «Хладѣющая любовь», которою грозилъ Спаситель «послѣднимъ днямъ», — ея дни настали, и вотъ она произноситъ термины: «любовь», «милосердіе», «прощеніе», ничего этого *около сердца* не имѣя. Вотъ откуда жажда «опаляющей святыни», актовъ насильственныхъ въ предѣлахъ самой вѣры: изъ жажды нарушить всемірно наставшую условность языка, пробудить людей къ реализму и истинѣ; ибо это законъ природы человѣческой, что, когда тѣлу очень жестко, уста теряютъ искусство лгать. Не отъ этого-ли всѣ бѣдные, нуждающіеся, всѣ, кому *трудна* жизнь, всѣ истинно гонимые и мучимые въ исторіи были просты и правдивы; жили грубымъ реализмомъ, въ которомъ спасеніе; не отъ этого-ли проповѣдь Спасителя понесена была къ нимъ, и они ее услышали, когда фарисеи и книжные люди, жившіе въ *условной лжи* «закона», т.-е въ законѣ истинномъ, но прикрытомъ условною ихъ ложью, остались къ словамъ Спасителя глухи? Настала нѣкоторая всемірная глухота къ истинѣ и въ наши дни; и нѣтъ средствъ преодолѣть ее иначе, какъ *жгущей* истиной — истиной, которая *кусала*-бы ухо и *рвала* человѣка къ вниманію...

Вотъ почему, — конечно, въ идеѣ только, — статьею *Свобода и вѣра* я рѣшился нарушить этотъ всеобщій риторическій миръ: миръ, который ложенъ; миръ, подъ прикрытіемъ котораго живетъ всякая неправда; миръ, который не отъ Христа, но въ которомъ создается царство противу Него. Въ этой и послѣдующихъ статьяхъ, «такъ дурно синтаксически написанныхъ», данъ полный очеркъ мотивовъ къ нарушенію мира; именно въ интонаціяхъ, съ которыми и связана запутанность, лежитъ потенціально взрывъ чувствъ—тѣхъ именно, какія могутъ и должны взломать ледъ всеобщей условности.

Но повторяю, такъ много красоты въ отверженіи этихъ идей, все-таки по существу жестокихъ; такъ много красоты въ Евангеліи *все*прощенія, и всякое отраженіе ея на каждомъ человѣческомъ лицѣ такъ прекрасно, что, не убѣждаемый нисколько доводами, смотря лишь на прекрасное лицо Страхова, я поддавался и предпочиталъ молчать, видя его гнѣвъ. «Никогда, никогда Православная Церковь этому не учила: въ вашихъ мысляхъ есть существенно католическій характеръ...» Это была наиболѣе смущавшая меня сторона дѣла; но не «католическій характеръ», слѣдовало бы сказать, а «характеръ *послѣдовательности*, который есть также и въ католичествѣ». Вся наша (русская) исторія — особенно въ эти два вѣка, и чѣмъ далѣе, тѣмъ хуже — носитъ характеръ хаотичности; все въ ней «обильно», «широко»—и все «не устроено»; мы какъ бы живемъ афоризмами, не пытаясь связать ихъ въ систему, и даже не замѣчая, что всѣ наши афоризмы противорѣчатъ другъ другу; такъ-что *мы* собственно, наше духовное *я*—не опредѣлимы,

не уловимы для мысли, и вотъ почему не развиваемся. «Существенно католическій?» — нѣтъ, но нравственно-*послѣдовательный*, *и такъ* во *внѣшнихъ* чертахъ, безъ измѣненія внутренняго *я*, пожалуй, и католическій. Такъ же мощно, прекрасно, такъ же вѣковѣчно, какъ католицизмъ — и даже по внутреннимъ задаткамъ несравненно вѣковѣчнѣе—поднимется Православіе, доселѣ захудалое — жемчужина, тонущая въ навозѣ нашей дѣйствительности. Никогда *внутри* себя оно не станетъ нетерпимо: кротость, милосердіе, чистый Евангельскій духъ — все то, что удивительнымъ образомъ въ немъ единственно на землѣ сохранено (это признавалъ и даже указывалъ мнѣ Страховъ), — тѣмъ прочнѣе сохранится въ немъ, чѣмъ тверже, *нетерпимѣе* оно отвергнетъ всѣ внѣшнія на себя посягательства—католичества-ли, протестантства-ли, или еще болѣе опасныя посягательства новаго ложнаго «просвѣщенія».

Нѣкоторая духовная гордость, гордость обладанія истиной—это все, эта вся тѣнь упрека, какая могла бы быть высказана новымъ пожеланіямъ, съ какими я обратился къ Церкви, — сколько смѣлъ это сдѣлать; и ничего болѣе, ничего еще, ибо смиренно я не коснулся ея содержанія, ни слова объ ея ученіи не высказалъ, поставивъ только «рожонъ» около ея внѣшнихъ притворовъ. Какъ великая самоутверждающаяся истина, она отрицаетъ всѣ свои отрицанія; она удаляетъ ихъ за горизонтъ своего видѣнія: это, пожалуй, нетерпимость—и *католическая* черта; но болѣе—черта *послѣдовательности*, которой въ свое время слѣдовалъ и католицизмъ и ею устроился. Это — вѣчная логика; и нельзя же Православію отказаться отъ употребленія силлогизма потому только, что онъ былъ открытъ «языческимъ философомъ». Но внутри этой черты, по *сю* сторону крѣпко запертыхъ дверей — что̀ мѣшаетъ Православію сохранить весь свѣтъ и радость, и теплоту своего наученія, своихъ молитвъ? зачѣмъ ему сумракъ католицизма, тоскливость протестантскихъ сектъ? это — не отъ Бога, потому только уже, что это — не радость. Снова и снова повторяемъ: только въ Сиріи, только въ Греціи, только въ Балканскихъ земляхъ и на широкихъ равнинахъ Россіи сохранена еще тайна молитвы; это—сокровище, уже всюду утерянное. Нѣтъ болѣе *умныхъ* молитвъ нигдѣ: храмъ потухъ повсюду въ западныхъ, протестантскихъ и католическихъ странахъ; тамъ есть догматы, богословіе, церковная археологія; есть залы музыкальныхъ собраній, морализированье съ церковныхъ каѳедръ, и нѣтъ ничего подобнаго живому, горящему молитвой, храму Православнаго Востока. Дать его залить новой цивилизаціи (какъ онъ уже заливается въ «лаическихъ» земляхъ южныхъ славянъ), изъ почтенія бо́льшаго передъ формулами французскаго просвѣщенія, чѣмъ передъ завѣтами Евангелія; не помѣшать «свободно» оспорить эти молитвы, поглумиться надъ ними (развѣ уже Щедринъ со своими «же за ны» и «же можаху» не простиралъ на это дерзости?),—

совершить это нашъ вѣкъ, наше время, наше поколѣніе, можетъ быть, хотѣли бы... Но вѣдь этого многоголоваго Louis XV съ его aprés nous le deluge — не выроешь потомъ изъ могилы; и пусть можно будетъ развѣять его кости: это уже не поправитъ преступленія. Итакъ, лучше преступленію не совершиться, т.-е. его не допустить, хотя бы по нуждѣ, насильственно.

И почему, почему въ «жесткомъ для тѣла» не допустить нѣкоторый коррелативъ грѣха? наша природа уже испорчена—признаемъ это смиренно и свой грѣхъ обречемъ жертвѣ. Дѣйствительно: слабость вѣры, блужданія ума, самый атеизмъ уже сталъ какъ бы природой нѣкоторыхъ людей; но для чего въ этой природѣ человѣку гордо замыкаться? Не лучше-ли, уединившись отъ нея умственно и все-таки не будучи въ силахъ ее сбросить съ себя, — отдать ее, какъ нѣчто чужое, постороннее себѣ, на судъ и присужденіе. Здѣсь все-таки есть нѣкоторый просвѣтъ къ свободѣ, нѣкоторая дверь убѣганія отъ зла, его отрицанія. Я не вѣрю, я совершенно не могу повѣрить, и вотъ—я отрицаюсь себя, становлюсь индифферентенъ къ своему *я*, и соучаствую самъ всему, что́ съ нимъ производятъ. Изгибъ духовный, имѣющій точку опоры для себя въ таинствѣ покаянія... Это даже для невѣрующаго, какъ бы совершенно обреченнаго, лишеннаго всякихъ духовныхъ силъ, есть средство не выйти изъ стада Христова...

И много еще аналогичныхъ доводовъ я развивалъ передъ Страховымъ; болѣе сбивчиво, чѣмъ здѣсь. Онъ настаивалъ, что это выходитъ изъ предѣловъ литературы: «литература есть существенно сфера духовнаго воздѣйствія, и по этому самому о матерьяльномъ воздѣйствіи, о физическомъ принужденіи она не можетъ даже поднимать вопроса: это всегда для нея чуждо, всегда ей враждебно въ силу самой природы ея». Въ другой разъ онъ говорилъ: «вы можете это проводить гдѣ-нибудь въ коммиссіи, но не на страницахъ журналовъ; усиливайтесь измѣнить законодательство—это ваше дѣло, никто этого права у васъ не отнимаетъ. Но, оставаясь писателемъ, т.-е. владѣя сами только духовными средствами и подчиняясь лишь духовнымъ же воздѣйствіямъ,—заговаривать о насиліи вы не въ правѣ, не отрекаясь отъ себя, не измѣняя своему призванію, избранной вами сферѣ труда». Какъ бы въ отвѣтъ на это, предупреждая самый вопросъ, въ статьѣ «*Что противъ принципа творческой свободы нашлись возразить защитники свободы хаотической?*— я развилъ образъ исторической жизни, понимаемой какъ состязаніе каѳедръ, гдѣ люди произносятъ другъ передъ другомъ рѣчи, нагромождая горы словъ. «*Но кто же начнетъ дѣйствіе?*» спросилъ я тамъ; и отвѣтилъ: «*тотъ—кто, имѣя болѣе вѣры, чѣмъ всѣ говорящіе, первый надъ ними произведетъ насиліе, создастъ фактъ; и въ отвѣтъ вызоветъ насиліе же, новый фактъ*»... Вообще, нѣчто *несговоримое* было между мною и Страховымъ; у него была

линія законченныхъ соображеній, куда мои доводы не проникали, не могли быть вставлены; мнѣ же казалось все такъ аксіоматично въ линіи моихъ мыслей, что хотя я его слушалъ и съ болью смотрѣлъ на его лицо,—но вмѣстѣ какъ бы и не слышалъ, но только любовался просвѣтами—противоположной своей—вѣры, которая въ немъ сказывалась. Еще онъ говорилъ, помню: «вы славянофилъ или, по крайней мѣрѣ, поднялись съ почвы славянофильской; вы приносите, поэтому, неизмѣримый вредъ школѣ, ибо ваши мнѣнія могутъ быть поставлены ей на счетъ: между тѣмъ славянофильство всегда было терпимо, никогда оно силы не проповѣдывало». Но онъ не замѣчалъ, что это была школа существеннымъ образомъ словесная; школа замѣчательныхъ теорій, изъ которыхъ никакъ не *умѣлъ* родиться фактъ. Жизнь именно есть вереница фактовъ, и eo ipso понужденій; понуждали Апостолы, понуждали святые; понуждалъ Спаситель «выйти торгующихъ изъ храма»; понуждали соборы міръ, и на самыхъ соборахъ Отцы Церкви понуждали отступить іересіарховъ. Слово есть бичъ духовный такъ же, какъ и питающая манна; бичъ тѣлесный поднимается, когда безуміе или порокъ не внимаетъ никакому слову. Зачѣмъ *это* или *то* возводить въ правило вѣчное? Не данъ-ли человѣку разумъ и совѣсть, чтобы различать, когда и что́ нужно? Нуженъ и мечъ въ исторіи, нужно и слово; прекраснѣе слово, но необходимъ бываетъ и мечъ. Не будемъ бояться въ себѣ лицемѣрія, при спрятанномъ мечѣ; будемъ бояться глухоты сердца при гремящихъ «словесахъ любви». Будемъ правдивы, будемъ грубы, будемъ просты...

III.

Прекрасна вполнѣ была кончина Страхова,—прекрасна по обилію въ немъ терпѣнія и свѣтлаго духа. Въ Великомъ посту 1895 г., на третьей или четвертой недѣлѣ, садясь однажды у меня за обѣдъ, онъ остановился на минуту и спросилъ: «вы замѣчаете—я худѣю?» Онъ былъ широкъ въ кости, и поэтому особой худобы въ немъ не было замѣтно, кромѣ обычной старческой у *не* тучныхъ людей. Впрочемъ, какъ будто нѣкоторая худоба въ лицѣ была все-таки. Онъ въ это время лѣчился, то переставая, то возобновляя—отъ чего-то за ухомъ, или въ ухѣ, или около уха, и носилъ, но только иногда, черную узкую повязку вокругъ всей головы, придававшую ему старческій видъ; но *болей* не было, и, какъ онъ, такъ и никто не обращалъ вниманія на это ничему не мѣшавшее, недомоганіе. Видя его въ 1889 году, я уже тогда видалъ его—при выходѣ изъ дома—съ этою характерною повязкой.—«Маленькая есть язвочка на языкѣ—и не проходитъ», сказалъ онъ мнѣ въ этотъ же постъ, вѣроятно на вопросъ о здоровьи; «и опухаютъ околоушныя железы. Рюльманъ (лѣчившій его докторъ) говоритъ—вставьте зубы, а то

мы напрасно съ вами возимся; а мнѣ не хочется». Онъ годъ назадъ ѣздилъ лѣтомъ на воды въ Эмсъ, и вернулся бодрымъ и веселымъ: повязочки не было; «катарральное состояніе слизистыхъ оболочекъ носа и горла» — пояснялъ онъ тогда, и кажется этому или почти этому приписывалъ теперешнія какія-то неопредѣленныя болячки. Очень скучалъ онъ однимъ—безсиліемъ писать: «стыдно жить, ничего не работая», писалъ онъ мнѣ какъ-то. Онъ не зналъ лучшей функціи, какую выполнялъ: *присутствія* свѣтлаго и добраго, на коего работающіе могли бы оглядываться въ своемъ трудѣ. Уже весной, какъ-то зайдя къ нему и не заставъ его дома, я машинально прошелъ, дожидаясь огня, въ его спальню-кабинетъ: листки узкой бѣлой бумаги, цѣлою пачечкой, лежали исписанными на письменномъ столѣ—обыкновенномъ ломберномъ раскрытомъ столѣ, который ему служилъ вмѣсто письменнаго. На немъ стояла (кабинетная) карточка гр. Л. Н. Толстого, снятая въ блузѣ, съ засунутыми за поясъ руками, и лежало 5 — 6 книгъ; въ 3-хъ шагахъ отъ стола, наискось, стояла кровать, съ бѣднымъ шерстянымъ одѣяломъ, надъ изголовьемъ висѣла большая гравюра Божіей Матери Рафаэля— della Sedia; у ногъ—гравюра съ знаменитыми надгробными изваяніями аллегорическихъ *Дня и Ночи* — Микель Анжело. Далѣе, отъ потолка до полу, у всѣхъ трехъ стѣнъ стояли полки съ книгами: тутъ особенно была замѣчательна полка съ классиками-математиками и натуралистами. Въ первыхъ и въ улучшенныхъ позднѣйшихъ изданіяхъ стояли Ньютонъ и его ближайшіе предшественники и продолжатели. Съ благоговѣніемъ, бывало, я разсматривалъ editio princeps, на сѣроватой бумагѣ, въ малую четверку листа «Philosophiae naturalis principia mathematica». Далѣе, стояли тутъ Линней и другіе основатели живой органологіи. На другомъ столѣ, близъ оконъ, обращенныя корешками къ верху, лежали новыя книги, по естественнымъ же наукамъ; здѣсь, въ его спальнѣ, жилъ новый міръ: не было humaniora. Онъ объяснилъ мнѣ, придя, относительно листочковъ, что работаетъ надъ статьей *О естественной системѣ* или *Идеѣ естественной системы* [1]); онъ сталъ спрашивать о заглавіи, и, правда, всѣ были какъ-то неудобны въ словесномъ или

[1]) Рукопись статьи этой находится или у наслѣдника Страхова, или у г. Б. В. Никольскаго, автора обширныхъ посмертныхъ статей о покойномъ. *Ее необходимо издать*, ибо ея мѣсто въ *организмѣ* работъ Страхова очень важно, и нѣтъ никакой важности, что она выполнена лишь на-половину или на-четверть. Въ Страховѣ, какъ *писателѣ*, нѣтъ *пустыхъ* страницъ, и каждое его предложеніе, включая въ себѣ опредѣленную мысль, есть уже пріобрѣтеніе для ума размышляющаго. Кстати, послѣднія 5 – 6 лѣтъ онъ очень занятъ былъ, въ мысляхъ своихъ и, быть можетъ, на бумагѣ, темой статьи—*О мѣрѣ, числѣ и времени*. Редакція журнала *Вопросы философіи и психологіи*, уже такъ много сдѣлавшая для поддержанія у насъ философскихъ изученій, оказала бы историческую услугу русской образованности, если бы *теперь*, пока еще *не поздно*, приняла мѣры къ розысканію и напечатанію философскихъ начатковъ усопшаго,—плановъ, обрывковъ и т. п.

логическомъ отношеніи, удобныя же не выражали мысль статьи. «Съ восторгомъ читаю Декандоля»—онъ развелъ руками и что-то безсильное выразилось въ его фигурѣ, какъ всегда при восхищеніи,—«вотъ книга, вотъ какъ нужно писать. Какое обиліе мысли, что за точность выводовъ»... Онъ не досказалъ, но ясно было, до какой степени слабы (въ его глазахъ и почти навѣрное—въ дѣйствительности) были новѣйшія пусто-писанія сравнительно съ полу-забытымъ этимъ классикомъ. Но онъ любилъ и новыя превосходныя сочиненія: какъ-то однажды я засталъ его за чтеніемъ только-что появившейся французской книги объ *общественныхъ* (или *колоніально* живущихъ?) животныхъ, какъ кораллы и другіе: «вотъ, переучиваться приходится на седьмомъ десяткѣ лѣтъ», сказалъ онъ мнѣ на вопросъ о книгѣ. Вообще ничего *стариковскаго*, или враждебнаго къ *новому*, въ его умственныхъ симпатіяхъ и вкусахъ не было. Онъ, напр., терпѣть не могъ волюминозныя изданія XVIII вѣка классическихъ писателей: «отвратительнѣйшая редакція—весь текстъ перевранъ», и онъ или продавалъ букинистамъ, или дарилъ пріятелю классика въ пергаментѣ, когда появлялось лучшее изданіе въ Берлинѣ. Такъ, въ трудахъ, проходили его дни, и первый разъ въ Троицинъ день этого года я узналъ истину о его болѣзни...

Сѣвъ въ кресло—онъ пришелъ ко мнѣ за часъ до обѣда—онъ оживленно заговорилъ: «а меня, Вас. Вас., собирались рѣзать... — Да! да!.. Рюльманъ говоритъ: никакого толку изъ нашего лѣченія не будетъ, пока вы зубовъ не поправите; вставьте зубы, и болячка сама собой пройдетъ; иначе языкъ постоянно раздражается острыми остатками корешковъ. Ахъ, думаю, напасть,—ну, что́ дѣлать; это было въ пятницу, въ субботу отправляюсь къ зубному врачу, говорю: нужно мнѣ вставить зубы. Онъ посмотрѣлъ: нужно вамъ будетъ сдѣлать челюсть. И сталъ снимать мѣрку, форму десенъ; я ему говорю—мнѣ больно. Онъ снялъ—массу или шаблонъ измѣрительный—и посмотрѣлъ внимательнѣе зубы.—«Я вамъ не могу вставлять зубовъ: у васъ тутъ ранки, и вамъ нужно отправиться къ хирургу и залѣчить ихъ предварительно». Въ понедѣльникъ у насъ засѣданіе комитета (Ученаго комитета Министерства Народнаго Просвѣщенія, въ которомъ онъ служилъ); во вторникъ отправляюсь къ Склифасовскому; рекомендуюсь ему: но онъ меня помнитъ, оказывается, по Одесской гимназіи, гдѣ онъ учился, когда я былъ тамъ учителемъ. Обласкалъ меня, какъ только можетъ ученикъ обласкать стараго, случайно встрѣченнаго учителя. Я разсказываю ему, въ чемъ дѣло, и заключеніе зубного врача. Онъ усадилъ меня и сталъ изслѣдовать. «Вамъ нужно приготовиться къ мысли, что нужно сдѣлать операцію; я вамъ ее сдѣлаю, и это вамъ ничего не будетъ стоить»... До того хорошъ, и деликатенъ, и внимателенъ.—Что́ такое, думаю; нужно еще съ кѣмъ-нибудь посовѣтоваться. Есть у меня въ Медико-хирургической Академіи хорошій и давнишній

знакомый, профессоръ патологической анатоміи — Ник. Алекс. Батуевъ: иду къ нему, разсказываю все и прошу совѣта, какъ поступить. Онъ тоже посмотрѣлъ и говоритъ: «Отправляйтесь къ Мультановскому—операторъ при Николаевскомъ военномъ госпиталѣ и свѣтило въ хирургическомъ петербургскомъ мірѣ—и что онъ вамъ скажетъ, то и нужно будетъ сдѣлать». Пропускаю среду и иду на другой день къ Мультановскому: «мы операцію успѣемъ сдѣлать, если необходимо, но я вамъ дамъ полосканье и вы аккуратно его употребляйте, а черезъ два дня я у васъ буду»...

Третье присутствовавшее при этомъ лицо говорило потомъ, что съ первыхъ словъ разсказа я смотрѣлъ на него съ ужасомъ: въ самомъ дѣлѣ, съ первыхъ же словъ зубного врача я понялъ, что это былъ ракъ... Отъ старыхъ и опытныхъ людей мнѣ приходилось слышать, что у умирающихъ Богъ какъ бы отнимаетъ разумъ, наводитъ затемнѣніе на нихъ, вслѣдствіе котораго они не видятъ то, что ясно какъ день для остальныхъ. Язвочка на языкѣ, не поддающаяся лѣченію; оказывается — такія же и въ деснахъ, около зубовъ, уже не вызываемыя раздраженіемъ о нихъ; худоба, замѣченная самимъ ранѣе; и — «мысль приготовиться къ операціи». Бѣдный и милый другъ—«приготовиться къ смерти», слѣдовало бы сказать... «Что же вы не сказали объ этомъ намъ въ среду, когда мы были у васъ?» И вотъ, никогда, никогда я не забуду его отвѣта, прошедшаго до глубины души, и въ которомъ вдругъ обнажилась и просіяла его прекрасная, смиренная и добрая душа: «зачѣмъ же бы я сталъ огорчать моихъ друзей?» Невозможно забыть тона, какимъ это было сказано: истинно праведная душа, которой заноза въ пальцѣ ближняго больнѣе, чѣмъ отсѣченіе своей руки; осторожно, безшумно, никого даже не заставивъ встать, онъ хотѣлъ уйти изъ міра, къ своему Богу, оставивъ людей такъ же бесѣдующими, не замѣчающими его отсутствія, какъ бы онъ на минуту только вышелъ, и вотъ они ждутъ, но онъ уже не вернется... Въ среду онъ не былъ ни смущенъ, ни разстроенъ; не былъ говорливъ, но и не былъ задумчивъ; также тихо шутилъ и подавалъ обычный свой чай.

Скоро—черезъ день или два—передано мнѣ было извѣстіе, что болѣзнь—дѣйствительно *ракъ*, чрезвычайно уже запущенный, и операція будетъ произведена г. Мультановскимъ, въ Николаевскомъ госпиталѣ, гдѣ больному отводится свободная (за выводомъ собственныхъ больныхъ въ лѣтніе бараки) комната въ офицерскомъ отдѣленіи. Сказанъ былъ и день операціи, кажется—суббота. Во всякомъ случаѣ, именно наканунѣ вечеромъ, я пошелъ провести съ нимъ вечеръ.—«А, отлично, отлично», встрѣтилъ онъ меня, не вставая съ креселъ и не выпуская изъ рукъ какую-то книгу: «будемъ пить чай»; и, сдѣлавъ торопливо распоряженіе — «до чего, до чего вы были неправы, нападая на Гоголя: я перечитываю вотъ, по просьбѣ Майкова — его просилъ Марксъ сдѣлать выборъ статей для попу-

лярнаго дешеваго изданія — и изумляюсь; изумляюсь этой неистощимой силѣ творчества, этой вѣрности взгляда, этому чудному языку. Вы говорите — *Мертвыя души*; да помилуйте, онѣ до сихъ поръ живыя, оглянитесь только, только *умѣйте* смотрѣть...» Онъ назвалъ знаменитаго нашего политика-дипломата, уже умершаго: «...Это былъ»—онъ развелъ руками — «въ огромнѣйшихъ размѣрахъ, въ грандіозныхъ, массивныхъ чертахъ, но—*только* Хлестаковъ; Хлестаковъ — и ничего болѣе, съ тѣми индивидуальными черточками, какія уже умѣлъ подмѣтить въ этомъ типѣ Гоголь...» И мы весело заговорили, заговорили какъ никогда оживленно; рѣчь какъ-то коснулась Толстого, и поспѣшно вставъ и выйдя въ другую комнату, онъ вынесъ томъ его послѣдняго дорогого изданія, гдѣ, открывъ *Декабристовъ*, — прочелъ мнѣ изъ нихъ нѣкоторые отрывки. Я и раньше читалъ этотъ неоконченный отрывокъ, въ какомъ-то литературномъ *Сборникѣ*, гдѣ онъ впервые появился, но ничего особеннаго въ немъ тогда не замѣтилъ. Въ превосходномъ выразительномъ чтеніи Страхова я вдругъ увидѣлъ въ немъ бездну для себя новаго — бездну значительнаго, и, что меня заняло — значительнаго для самого Толстого. Я слушалъ чтеніе съ восхищеніемъ къ художественному мастерству рассказа и съ живѣйшимъ любопытствомъ относительно написавшаго разсказъ; но я также чувствовалъ съ горестью, что, въ силу дурного чтенія, въ силу *неумѣнья* читать, мы знаемъ, поняли и оцѣнили только малую долю тѣхъ сокровищъ ума и дивнаго художества, какія таятся въ нашихъ классикахъ; мнѣ показалось, что отъ этого мы гораздо менѣе развиты и образованы, чѣмъ могли бы, чѣмъ уже имѣемъ средствъ... И, переносясь далѣе мыслью, я думалъ съ досадой о школѣ, гдѣ ничему, чему слѣдуетъ, не выучиваютъ; думалъ съ презрѣніемъ о «литературныхъ вечерахъ», гдѣ не читаютъ просто и задушевно, а *ломаются* передъ публикой литераторы... А чтеніе все продолжалось.

Часы летѣли и около 12 я хотѣлъ подняться. Во все время, какъ мы говорили, я не забывалъ объ операціи. Но таково жестокосердіе человѣческое, что когда ему не было больно завтрашняго дня, и мнѣ не было его больно. Я не очень смѣялся, но былъ истинно увлеченъ бесѣдой, и увлекающимъ былъ *онъ*: мысли возбужденныя чтеніемъ, какъ-то текли по своему закону, когда тутъ же, гдѣ-то въ сторонѣ, но не уходя, стояла мысль объ операціи. Уже было за-полночь. «Ну, хорошо, Николай Николаевичъ, но что же Мультановскій и какъ ваше полосканіе?..» — «Мультановскій былъ сегодня утромъ и сказалъ, что нужно сдѣлать операцію...» Не перемѣняя тона и какъ бы *его* продолжая — «ну, что же, Николай Николаевичъ», сказалъ я, «нужно это сдѣлать, уже какъ *онъ* сказалъ...» — «О, да, да! Я нисколько, нисколько...» Онъ затруднился словомъ: «да куда вы спѣшите: конки уже перестали ходить, и вамъ все равно придется взять извощика». Я сидѣлъ у него еще часа

полтора, и спокойный ушелъ отъ спокойнаго, съ какимъ-то далеко стоящимъ ужасомъ въ душѣ...

Передъ операціей, на другой день, онъ сидѣлъ—это было уже въ больницѣ, куда его взяли утромъ — за чаемъ и началъ письмо къ гр. Л. Н. Толстому, безъ сомнѣнія съ извѣстіемъ о болѣзни. Вообще чрезвычайна была любовь его къ этому человѣку; къ Данилевскому Николаю Яковлевичу онъ былъ привязанъ какъ къ типично собравшему въ себѣ свѣтлыя народныя черты: ясный умъ и твердый, открытый характеръ; къ Аполлону Григорьеву — какъ къ иниціатору правильныхъ пріемовъ въ любимѣйшемъ его дѣлѣ, критикѣ; къ Толстому привязанность его была болѣе глубокая и мистическая: онъ любилъ его, какъ олицетвореніе лучшихъ и глубочайшихъ стремленій души человѣческой, какъ особливый нервъ въ огромномъ тѣлѣ человѣчества, въ коемъ мы остальные составляемъ менѣе понимающія и значущія части; онъ любилъ его именно въ его неясности, неоконченности... Любилъ въ немъ темную бездну, дна которой никто не видѣлъ, изъ глубинъ которой еще поднимется множество сокровищъ; и, нѣтъ сомнѣнія, лучшаго друга Толстой никогда не терялъ.—Письмо не было еще окончено, когда вшли доктора и сказали, что все уже готово въ операціонной залѣ. «Я сейчасъ, сейчасъ...»—сказалъ онъ, отодвигая письмо, и, запахивая больничный халатъ, пошелъ... Операція — подъ хлороформомъ— длилась почти два часа; за дверями ожидало его нѣсколько друзей и знакомыхъ, изъ послѣднихъ одинъ мнѣ передалъ эти подробности. Дверь отворилась, и смертельно блѣднаго и недвижимаго его пронесли на носилкахъ. Не выдержалъ и горько заплакалъ, среди присутствующихъ, любимѣйшій изъ друзей покойнаго, Иванъ Павловичъ З., директоръ одной изъ петербургскихъ прогимназій, старый-престарый... Отрѣзана была половина языка и вырѣзаны были ранки въ деснахъ и железы около ушей, подъ нижнею челюстью. Это давало 6—8 мѣсяцевъ жизни и, главное—кончину безъ тѣхъ ужасныхъ мученій, какими осложняется ракъ полости рта въ случаѣ, если операція отсутствовала.

Я увидѣлъ его только на четвертый день, занятый все это время у себя больнымъ; со страхомъ, полу-живого я ожидалъ его встрѣтить и, робко отворивъ дверь, подходилъ къ постели съ неяснымъ силуэтомъ лежащаго на ней человѣка... Розовый, свѣжій, вполнѣ прекрасный, съ веселымъ выраженіемъ глазъ—онъ пожалъ мнѣ руку, и, указавъ на ротъ, далъ знакъ, что не можетъ говорить «Запрещено говорить до снятія швовъ», пояснила мнѣ сестра милосердія, дальняя его родственница, за нимъ ухаживавшая, Наталья Ивановна—да будетъ благословенно ея имя. Лицомъ и рукой онъ сдѣлалъ ей какой-то знакъ: «велитъ вамъ разсказывать, какъ производили операцію», пояснила она, и повела разсказъ, при живомъ его вниманіи и остановкахъ, когда она должна была поправиться

или вспомнить подробность. Хлороформъ не все время дѣйствовалъ, былъ перерывъ, онъ очнулся и закричалъ—«не давите мнѣ ноги»; а на ногахъ сидѣлъ солдатъ-служитель; крови было потеряно мало, вслѣдствіе искусства оператора; долго продолжалась операція вслѣдствіе обилія кровеносныхъ сосудовъ въ языкѣ, требовавшихъ перевязки.

И потомъ я его часто посѣщалъ, иногда вечеромъ — надолго, иногда утромъ, на краткій часъ передъ службой. Мы пили безконечный чай и безконечно «говорили». Гдѣ тетрадочка, гдѣ онъ *писалъ*—карандашемъ, подкладывая дощечку, употреблявшуюся имъ при корректурахъ, — свои вопросы и на которой отвѣчалъ? Такъ хотѣлось мнѣ сберечь ее на память, и я просилъ, но вѣрно онъ отдалъ другому болѣе близкому человѣку. Въ первое же посѣщеніе онъ написалъ мнѣ: «Мультановскій сказалъ: въ васъ нѣтъ теперь никакой болѣзни, — только швы снять»; и еще: «*онъ* сказалъ — отличнѣйшее сердце и отличнѣйшіе нервы». Его постоянно посѣщали, и тутъ сказалось, какъ много и многіе любили этого добраго человѣка; почти постоянно приходили письма, между прочимъ, отъ Толстого и его семьи, гдѣ онъ былъ такъ любимъ. Ни тѣни унынія я въ немъ не видѣлъ; ни тѣни сожалѣнія о происшедшемъ, о потерѣ языка, о томъ, что вотъ онъ—въ больницѣ, что въ такіе годы ему пришлось перенести такой трудъ... Не успѣлъ я сѣсть, или едва задумывался, какъ онъ уже писалъ: «да разсказывайте же...» Я рѣшительно не зналъ, о чемъ разсказывать: такъ все было обыкновенно, кромѣ *его* самого, его *близящейся* смерти. Но онъ этимъ не интересовался; онъ интересовался суетой, міромъ, людьми, литературой. Около него, на столѣ, лежало 4—5 послѣднихъ книжекъ журналовъ; онъ отмѣтилъ въ библіографическомъ указателѣ г. Колубовскаго (въ *Вопросахъ философіи и психологіи*) нѣсколько строкъ подъ рубрикой «Н. Н. Страховъ» и написалъ мнѣ: «кажется, эта статья моя была содержательна—и только (те-есть такъ мало строкъ въ указателѣ),—ну, что это». Въ немъ была прекрасная черта открытости, и онъ не скрывалъ, не *затаивалъ*, какъ огорчаетъ его молчаніе или радуетъ похвала. Занятый, позднѣе нѣсколько, статьей о Толстомъ, и желая провѣрить свое впечатлѣніе, я спросилъ его о Василіѣ Андреевичѣ (въ *Хозяинѣ и работникѣ*), что онъ думаетъ объ этомъ типѣ, кажется ли онъ ему дурнымъ, достойнымъ осужденія; живо взявъ тетрадку, онъ написалъ мнѣ: «отличнѣйшій человѣкъ — *горячій*», и подчеркнулъ «горячій». Въ самомъ дѣлѣ — это *главная* черта «хозяина», т.-е. по всей *основѣ* своего характера онъ прекрасный человѣкъ, только нѣсколько запутавшійся «въ дѣлахъ»; Толстой это *почуялъ* художественно, создавая типъ, а рефлективно, осудивъ его, *ошибся*. *До* операціи, я помню, Страховъ былъ ужасно возмущенъ статьей о *Хозяинѣ и работникѣ* въ *Вѣстникѣ Европы*: рецензентъ находилъ паскуд-

ство въ изображенной тамъ жизни и объяснялъ ее отсутствіемъ школъ въ окрестностяхъ. Паскуденъ былъ и работникъ, пьяница и грубіанъ («жену билъ» или собирался бить), а въ хозяинѣ, «эксплуататорѣ и кулакѣ», критикъ уже и подобія человѣческаго не находилъ. Страховъ былъ очень взволнованъ; «да успокойтесь—это все отъ природы глупые пишутъ», сказалъ я; онъ съ недоумѣніемъ на меня посмотрѣлъ. «Критикъ чувствуетъ въ себѣ, что все, чему онъ обязанъ — это школѣ: природа ему ничего не дала; и вотъ естественно у него возникаетъ идея, что если нѣтъ школы — eo ipso окружающая жизнь паскудна, и именно отъ ея отсутствія». Но статья, въ высшей степени оскорбительная, неблагородная какая-то, низкая по своему тону, глубоко втайнѣ возмутила и меня, и никогда я не написалъ бы Толстому нѣсколько грубыхъ упрековъ за «хозяина», если бы предварительно бѣдному, умершему на работникѣ, Василію Андреичу не надавалъ заушеній безсердечный, тупой, глубоко неразвитой и необразованный рецензентъ академическаго и великосвѣтскаго журнала.

Но свѣтлые дни прошли; на лѣто, почти тотчасъ по выходѣ изъ больницы, Страховъ поѣхалъ сперва въ Ясную Поляну; потомъ къ семьѣ Данилевскаго, въ Мшатку, на южномъ берегу Крыма; и на обратномъ пути поѣхалъ и погостилъ въ Бѣлгородѣ, своей родинѣ, и въ Кіевѣ—у родныхъ. Никогда и никому онъ не называлъ своей болѣзни, но едва ли онъ не зналъ ея существо: такъ похоже было на прощанье это посѣщеніе всѣхъ ему дорогихъ по воспоминанію и по живой дружбѣ мѣстъ. Замѣчательно: придя къ нему на домъ, въ началѣ лѣта, еще до отъѣзда—я его не нашелъ веселымъ. Былъ одинъ огромный недостатокъ въ его квартирѣ: недостатокъ яснаго, *бѣлаго*, дневнаго свѣта; войдя, я почувствовалъ, что это—огромный гробъ, полный книжныхъ сокровищъ. Впечатлѣніе усиливалось еще отсутствіемъ комнатныхъ цвѣтовъ, всякой зелени и вообще всего живого: хоть бы онъ канарейку завелъ. «Гробъ, гробъ ошибочно прожившаго человѣка, гробъ не понявшаго смыслъ жизни человѣка: гдѣ твоя ученость? для чего она? куда ты унесешь ее? о тебѣ и поплакать некому и некому тебѣ пожать руку на прощанье». Въ родѣ этого я говорилъ ему и раньше; онъ смѣясь бывало отвѣчалъ: «о женѣ безпокоиться нужно—книги не такъ притязательны и не требуютъ хлопотъ». Теоретическій интересъ сильно перевѣшивалъ въ немъ практическій, дѣйствіе живыхъ эмоцій. Взамѣнъ, онъ очень любилъ людей; любилъ толпу и въ ней имѣлъ друзей; любилъ воспоминанія и любилъ надежды—науки, политики, исторіи. *Настоящее*, ослабнувъ въ напряженіи своемъ, въ яркости свѣта—какъ бы разлилось на *прошедшее* и *будущее*, онъ не жилъ сосредоточенною *теперь* жизнью, и болѣе ярко горѣла передъ нимъ жизнь минувшая, какъ и готовая настать. Богу извѣстно, которое изъ этого лучше: мнѣ же всегда казалась грустною, а слѣдовательно

отъ юношескихъ дней, и пригласилъ вмѣстѣ пройти къ нему.—«Я не хочу одинъ идти къ нему—разговоръ его утомляетъ: мы будемъ говорить при немъ, но не съ нимъ». Мы пришли къ нему часовъ около 7—8 вечера. «Усталъ ужасно—ни часу сна; сердце однако лучше... гораздо лучше»—протянулъ онъ—«но вотъ силъ нѣтъ: это отъ безсонницы». Тревоги, къ *сейчасъ* относящейся, не было въ немъ, какъ въ среду; но выглядѣлъ онъ гораздо хуже: точно уходилъ куда-то, проваливался во что-то. Трудно было быть у него и съ нимъ, видѣть его, просто разговаривать при немъ.—«Читали?» спросилъ онъ, пододвигая книгу и показывая раскрытую страницу; это было—въ январской книжкѣ *Русскаго Вѣстника* или *Русскаго Обозрѣнія*—стихотвореніе гр. Голенищева-Кутузова, что-то о природѣ, но я хорошо не помнилъ. Онъ укоризненно покачалъ головой: «я *четыре* раза перечиталъ», и онъ сдѣлалъ движеніе головой, какъ всегда, когда не хотѣлъ говорить и нужно было выразить удивленіе или удовольствіе. Стихотвореніе, правда, было хорошо, и, главное, оно какъ-то шло, было *нужно* и *внятно* умирающему. Страховъ любилъ задумчивые и чистые оттѣнки музы этого поэта, котораго очень любилъ и какъ человѣка. Въ гостяхъ у него еще сидѣла дама, видимо имъ уважаемая. Мы говорили втроемъ, стараясь предупредить его вмѣшательство, но разговоръ былъ преднамѣренъ и напряженъ, тяжелъ. Что-то заговорили о службѣ и наградахъ—это былъ *январь*.

— «Вѣрно вотъ Николай Николаевичъ и не знаетъ, какіе есть у него ордена», сказалъ кто-то; я вспомнилъ невольно и разсказалъ, какъ въ ночь на 1-е января 1889 года ему принесли звѣзду: послѣ звонка и минутнаго разговора въ передней, входитъ его старая Матрена и подаетъ продолговатый ящичекъ. Онъ раскрываетъ и вдругъ заволновался: «ахъ, да зачѣмъ же это? Богъ знаетъ что такое; кто ихъ просилъ? Что же, нужно теперь будетъ ѣхать и благодарить?» Я взялъ ящичекъ—тамъ лежала звѣзда и лента. До того мнѣ страннымъ представилось его крикливое почти волненіе (въ провинціи «звѣзду» всегда «спрыскиваютъ» шампанскимъ), что я недоумѣвалъ тогда, и никогда потомъ этого не могъ понять. И теперь, передавая—въ затрудненномъ разговорѣ—гостямъ эту сцену, вѣрно я выразилъ то же недоумѣніе. «Да вѣдь за нее нужно было заплатить почти 200 руб., а мое жалованье 87 рублей съ копѣйками,—что же вы не понимаете?» воскликнулъ онъ, тоже недоумѣвая. Тутъ только—это было за три дня до смерти—я узналъ, до чего былъ бѣденъ этотъ человѣкъ, имѣвшій библіотеку, несомнѣнно стоившую нѣсколько тысячъ, даже десятковъ тысячъ рублей, ѣзжавшій за-границу и убѣдившій меня издать *Легенду объ Инквизиторѣ*, взявъ на себя расходы. Онъ всегда былъ безупречно чисто одѣтъ, но болѣе зоркій взглядъ другихъ замѣчалъ, что все это было ужасно ветхо, хотя и хорошо сбережено; какъ-то, мѣсяца за два, его спро-

сили, какъ онъ справляется съ бѣльемъ (т.-е. будучи безсемейнымъ): «все поношено,—но уже не хочется заводить, думаю, авось обойдется»; я напомнилъ объ этомъ, послѣ похоронъ, студенту Вальневу [1]), жившему съ Данилевскими во второй половинѣ его квартиры; онъ улыбнулся: «да, дѣйствительно—все такъ оказалось изношеннымъ и разваливалось въ рукахъ, что едва отыскалась перемѣна, въ которую можно было одѣть его» (послѣ смерти).

Въ понедѣльникъ, послѣ службы, я снова былъ у него: разница со вчерашнимъ днемъ была поразительная. Куда-то дѣвались прежнія черты Страхова, и то, что оставалось въ лицѣ, лишь *напоминало* его. Онъ сидѣлъ въ спальнѣ, на креслѣ; теперь уже минута напряженія его истощала: «не смотрите на меня—это меня утомляетъ»; голосъ его былъ глухой, слова не внятны въ буквахъ; онъ опирался локтями—однимъ о столъ, другимъ о ручку кресла; шея съ трудомъ поддерживала голову; уже недѣлю онъ сидѣлъ. Нужно было сказать утѣшеніе и не было никакого. Развлекать?.. Что-то гнало отсюда, гнало всякаго, какъ ненужнаго. Скоро пришелъ докторъ, и я вышелъ.—«Еще денька три, можетъ быть четыре, вамъ будетъ трудно, даже труднѣе будетъ минутами: но потомъ мы справимся...»—«Еще три дня», сказалъ онъ съ страданіемъ, когда мы остались вдвоемъ. На лѣстницѣ я нагналъ доктора — помнится, Павлова: «долго ли еще жить ему? вѣдь онъ постепенно задыхается; и откуда такая слабость?» Слабость была отъ сильныхъ возбуждающихъ средствъ, которыя возстановляли ритмъ сердца, но поглощали послѣднія жизненныя силы организма: какъ только сокращались дозы — силы были лучше, и въ то же время сердце начинало мучительно биться. Другаго соотношенія не было,—кромѣ еще призыва скорой смерти. И тутъ докторъ сказалъ памятныя слова: «самому страдающему больному предложите на выборъ—сейчасъ умереть безболѣзненно или жить еще нѣсколько, долго, съ такимъ же и даже съ большимъ страданіемъ; и всякій выберетъ жить—всякій человѣкъ». Вѣрно, есть своеобразная мудрость у медиковъ. Но развязка была ближе, чѣмъ онъ предполагалъ—не черезъ полторы недѣли. Во вторникъ уже Страхова не было: была груда дышащаго тѣла, и билось сознаніе. Онъ, все, однако, помнилъ—малѣйшія детали: сужу по невнятнымъ отвѣтамъ на мои растерянно-неумѣстныя слова. Жизнь его, и весь трудъ, весь кругъ извѣстныхъ ему людей, съ ихъ ошибками—не потеряли отчетливости въ его духовномъ зрѣніи. Только отъ всѣхъ отъ нихъ, не теряя мысли, онъ *самъ* уходилъ куда-то и почти уже ушелъ... Какъ отличительна, *нова* была его теперешняя слабость, сравнительно съ тою, въ какой его, въ обморокѣ, проносили изъ операціонной комнаты: тамъ

[1]) Собственно окончившему курсъ филологу; ему принадлежитъ прекрасное выраженіе о Страховѣ (устно мнѣ сказанное): «онъ былъ для меня вторымъ университетомъ».

была *жизнь* въ тѣлѣ, при безмолвіи и потерянномъ сознаніи,— здѣсь, при яркомъ освѣщающемъ сознаніи и рѣчи, уже почти отсутствовала жизнь... Есть, въ самомъ дѣлѣ, различіе между тѣлесною душой, мускульною жизненностью, одухотворенностью органовъ, и между нашимъ νοῦς — какъ это замѣтилъ уже Аристотель. Первая есть какъ бы мысль кого-то *объ* насъ, и намъ не принадлежитъ, отъ насъ отходитъ: тогда органы развязываются, тѣло гибнетъ; второй есть собственно наше *я*, во всемъ отвѣтственное, и въ гаснущемъ тѣлѣ, когда его жизнь уже только «мигаетъ» — оно полно, какъ и всегда.

Вечеромъ, въ этотъ же вторникъ, къ нему пришелъ Кусковъ и встрѣтился съ торопливо пришедшею дѣвушкой — родственницей, которая ухаживала за нимъ въ госпиталѣ. Она служила въ одной изъ общинъ Краснаго Креста и, позванная еще наканунѣ Страховымъ, была задержана дежурствомъ на цѣлые почти сутки. На этотъ разъ рѣшили его уложить: точно застывшая на немъ одежда, столько дней не снимаемая, наконецъ облегчила его. Долго за полночь сидѣлъ и читалъ надъ нимъ почти 40-лѣтній его другъ, и незамѣтно былъ выпущенъ въ дверь сидѣлкой. Незамѣтно же, гдѣ-то между полуночнымъ часомъ и утреннимъ, отошелъ и Страховъ... Все поздно было, что́ хотѣли около него сдѣлать, и опоздало все для его собственнаго, выраженнаго кивкомъ головы, желанія.

На другой день, въ среду 24-го, вернувшись послѣ панихиды по Достоевскомъ къ нему, я нашелъ странную свободу въ квартирѣ: никого не было, и двери были раскрыты; машинально я прошелъ въ спальню—и тамъ не было никого. На столѣ лежалъ какой-то огромный пакетъ, казенный, и машинально-же я заглянулъ въ него: тамъ были рукописи и едва-ли не книги.—«Да гдѣ Николай Николаевичъ?» громко спросилъ я. Вошла—очевидно, впрочемъ, не на зовъ—Наталья Ивановна и, не здороваясь, странно и угрюмо посмотрѣла на меня. «Гдѣ Страховъ?..» — «Какъ гдѣ?» еще сердитѣе она отвѣтила—«умеръ». И она указала на комнаты Данилевскихъ. Тамъ, на сдвинутыхъ столахъ, подъ коленкоромъ, лежало дорогое тѣло; читали псалтирь; около него стоялъ какой-то господинъ: я едва узналъ—это былъ, однако, несомнѣнно Ал. Ив. Георгіевскій, предсѣдатель ученаго комитета. Онъ ничего не зналъ о трудномъ положеніи Николая Николаевича; онъ привезъ ему, кажется жалованье, и тотъ огромный пакетъ съ рукописями, требовавшими разбора и одобренія. Мы немного поговорили объ усопшемъ и разошлись. Началось обычное теченіе вечернихъ и утреннихъ панихидъ...

IV.

Такъ умиралъ и умеръ этотъ человѣкъ—лучшій, какого я когда-либо зналъ. Многое можно было бы указать, чего недоставало

ему, что въ немъ отсутствовало, съ чѣмъ онъ не былъ рожденъ (именно—страстныхъ и порывистыхъ, творческихъ эмоцій); но то, что въ немъ было,—имъ было упорядочено до высшихъ формъ совершенства, доведено до высшей степени культуры, просвѣщенія, блага. Это былъ землевладѣлецъ, распахавшій свое поле съ заботливостью и умомъ, какого только могъ потребовать отъ него Пославшій его въ міръ. Вотъ почему эпитетъ *безупречности* не только можетъ быть данъ ему въ цѣломъ, но онъ навертывается на языкъ и при разсмотрѣніи каждаго шага его жизненнаго пути, каждаго имъ совершеннаго дѣла. Именно этою постоянною вдумчивостью въ то, что имъ дѣлается, дѣтскою чистотой души, которая едва останавливалась на границѣ [1]) наивности, огромнымъ умомъ, истинною мудростью сердца въ распознаваніи свѣтлаго и темнаго, нужнаго и безполезнаго, серьезнаго и пустого—онъ выдѣлялся на фонѣ людской толпы, онъ съ нею никогда не смѣшивался. Безъ страстныхъ, порывистыхъ движеній въ себѣ, никогда не составляя центра какого-нибудь шума, движенія, онъ былъ, тѣмъ не менѣе, неизмѣримо богатъ *индивидуальностью*, и богатство *индивидуальности* же лежитъ на его трудахъ. Но это была та индивидуальность, къ которой нужно присматриваться, умѣть ей *внимать*, ее *ловить*; чудно идутъ къ нему эти стихи Баратынскаго, обращенные къ своей музѣ:

Приманивать изысканнымъ уборомъ,
Игрою глазъ, блестящимъ разговоромъ,
Ни склонности у ней, ни дара нѣтъ;
Но пораженъ бываетъ мелькомъ свѣтъ
Ея лица *не общимъ* выраженьемъ,—
Ея рѣчей спокойной простотой...

Геній духовный почившаго критика былъ родственъ съ чертами музы прекраснаго поэта. Мы назвали выше его няней и пѣстуномъ младенческой нашей мысли; можно еще сказать, что онъ былъ Баратынскимъ нашей философіи. Есть какое-то несравненное изящество и благородство въ чертахъ ихъ обоихъ, въ трудахъ ихъ; и мы охотно отвращаемся отъ болѣе звонкихъ, но неустроенныхъ струнъ, чтобы сосредоточиться на этихъ—гдѣ насъ ничто не оскорбляетъ, не мучитъ, не раздражаетъ и не смущаетъ; гдѣ, наконецъ, насъ ничто не *обманываетъ*.

Его труды есть истинный thesaurus умственно и нравственно *должнаго*. Всѣ они, хоть это прямо и незамѣтно, обращены къ

---

[1]) Помнится мнѣ одно восклицаніе старика (ни фамиліи, ни имени не знаю), на какомъ-то обѣдѣ, когда въ тѣсномъ, отдѣлившемся кружкѣ лицъ кто-то упомянулъ о дружелюбіи и постоянномъ расположеніи Страхова къ высокопоставленному человѣку, не знаменитому своею честностью: «да у Николая Николаевича и *органа нѣтъ*, которымъ *обоняется* нечестное!». Выраженіе это—очень характерное и очень вѣрное.

юности: не академіи, не каѳедрѣ онъ говорилъ, хотя былъ и академикъ, и часто оспаривалъ каѳедру—но именно къ *развертывающимся*, *раскрывающимся* силамъ ума и дарамъ души; въ немъ юность потеряла наставника и руководителя, какого, можетъ быть, еще ей никогда не будетъ дано. Едва-ли не входило въ жизненные планы покойнаго именно созданіе въ себѣ идеальныхъ чертъ наставника; не отсюда-ли развитіе, какое онъ далъ въ себѣ критическимъ способностямъ, воспитаніе въ себѣ вкусовъ, такая осмотрительность въ полемикѣ, какъ бы заглядывающая въ будущность, и все возведеніе зданія жизни своей, куда не замѣшалось ничто нечистое, что̀ могло бы когда-нибудь оскорбить вкусъ или поколебать совѣсть? Входя въ рядъ томиковъ, имъ оставленныхъ—характеренъ самый форматъ ихъ, печать, раздѣленіе на главы, все разсчитанное на *неутомленіе* вниманія, — вы какъ бы входите въ прохладную сѣверную рощу, безъ колоссовъ южной растительности, колючихъ и перепутанныхъ, но гдѣ вы отдыхаете и можете научиться. Съ великою предусмотрительностью въ ней собраны образцы всѣхъ формъ растительнаго міра, и каждый экземпляръ обдуманно поставленъ: нѣтъ шага въ ней, какой бы вы ни сдѣлали, нѣтъ взгляда, куда бы вы его не бросили,—которые бы ни просвѣщали васъ, не образовывали. Все, какъ я упомянулъ, разсчитано здѣсь на неутомленіе: между тѣмъ нѣтъ писателя, который съ такимъ удовольствіемъ бы перечитывался во второй и третій разъ; и именно потому что во всякую точку здѣсь вкраплена мысль,—при третьемъ чтеніи вы открываете столько же свѣжаго для себя и любопытнаго, какъ и при первомъ, когда масса деталей его мысли отъ васъ ускользнула.

Но не побѣжитъ, или еще долго не побѣжитъ юность въ эти образовательные сады, для нея взрощенные; и гораздо скорѣе войдетъ туда и научится опытная старость. Мы, русскіе, не имѣемъ *оригинальной* и *живой*, не имѣемъ *самостоятельной* юности; мы имѣемъ только истощенную юность. Пряность продолжительной лести дала свой плодъ; уже ничто горькое не переносится ею, ничто трудное; и нѣтъ силъ въ ея мускулахъ для свободнаго и героическаго движенія. Робкою толпой она жмется еще и еще къ новой подачкѣ самолюбію своему. Но если вотъ человѣкъ «вся сладкая земли» для нея оставилъ, и какъ при жизни призрѣвалъ порознь разбросанныхъ въ ней овецъ, такъ призрѣлъ высскимъ умомъ своимъ и общія ея духовныя нужды и заботы: что̀ въ томъ?—она не откроетъ паломничества на его могилу; она даже не вспомнитъ, гдѣ эта могила; она не пойметъ ничего. И «хладною» толпой — какъ вчера, такъ завтра, и еще долгіе годы—побредетъ къ своимъ повседневнымъ утѣшителямъ. Такъ юный и дряхлый супругъ, оставляя цѣломудренную жену, бредетъ иногда и ищетъ въ навозѣ... я едва не сказалъ—Карѣева и Михайловскаго. Онъ бредетъ и ищетъ красавицу съ прыщами и въ нарывахъ.

V.

Волна суетности, волна жизни уже играла около гроба умершаго. Нужно было хоронить, и хорошо, и не было денегъ, или точнѣе—нельзя было ихъ получить. Бѣдный не расписался «20-го» въ требовательной вѣдомости, и жалованья нельзя было выдать; въ свою очередь «пособіе» должно было пройти черезъ контроль, и раньше трехъ дней его нельзя было получить; а трупъ разлагается иногда на второй. Рѣшили, что имя покойнаго въ литературѣ можетъ быть достаточнымъ для увѣренія въ монастырѣ, что деньги *будутъ* уплачены. Бездна литераторовъ толпилась въ комнатахъ; и былъ съ цѣпью судебный приставъ, явившійся описывать имущество; не забуду, какъ онъ спрашивалъ постоянно—«скажите, тутъ нѣтъ Суворина?» Очевидно, грозный владыка *Новаго Времени* подавлялъ воображеніе бѣднаго судебнаго чиновника. Какой-то литераторъ все хотѣлъ перевести «среды» къ себѣ и собиралъ обычныхъ гостей покойнаго, спрашивая: «такъ вы согласны?» Всѣ были согласны. Но вотъ наступило третье утро; всѣ хотѣли нести «голову» покойнаго, но она была одна, а рукъ гораздо больше. Безконечно далекъ былъ путь на кладбище. Но кладбище было прекрасно — далекій, уединенный женскій монастырь. И на самомъ кладбищѣ его могила была далека и уединенна. Какъ всегда чудно сплетается въ жизни прекрасное и смѣшное, сплелось оно и здѣсь: бѣдный Иванъ Павлычъ—тотъ Иванъ Павлычъ, который зарыдалъ, когда Страхова вынесли изъ операціонной комнаты, карабкаясь на холмъ мерзлаго песку, имѣлъ неразсудительность быть впереди важнаго сановника и почти писателя, также шедшаго «бросить горсть праха на дорогую могилу»; литераторъ, перетащившій къ себѣ «среды», быстро схватилъ его за горбъ шубы и во-время оттащилъ въ сторону. Но хоть и позже, свою горсть онъ также вѣрно бросилъ. Когда комья перестали стучать по крышкѣ гроба, полотна были отхвачены назадъ, и все нѣсколько успокоилось,—незамѣтно, не выдвигаясь и даже какъ-бы не обращаясь къ живымъ, заговорилъ объ усопшемъ стариннѣйшій, кажется, изъ присутствующихъ другъ его свою рѣчь. По *манерѣ* произнесенія—она не была вовсе рѣчью, но какъ бы размышленіемъ про себя, случайно выговорившимся вслухъ. И для понимающаго, поэтому, она была истинно прекрасна, не нарушая вовсе могильнаго покоя и смертнаго величія. Онъ говорилъ:

Самый очевидный способъ, которымъ жизнь заставляетъ существа, одаренныя свободною волей, идти къ цѣлямъ ея, заключается въ томъ наслажденіи, которое ощущается при исполненіи ея велѣній. Судя по тому наслажденію, съ которымъ соединено всякое творчество, надо думать, что творчество и составляетъ главную работу нашей жизни. Но «*не можетъ Сынъ творити о себѣ ничего-же, аще не еже видитъ Отца творяща*» (Іоаннъ, V, 19).

«Можетъ быть, оттого такъ и великъ восторгъ творчества, что въ минуты его человѣкъ видитъ Бога, и чѣмъ яснѣе мысль его сознаетъ ею видимое, тѣмъ необъятнѣе получается отъ этого наслажденіе. Вся жизнь нашего друга, котораго мы теперь хоронимъ, была почти непрерывнымъ рядомъ такихъ наслажденій. Онъ совершенно ясно выразилъ, въ чемъ состояло упоеніе его философствующей мысли, въ эпиграфѣ, который онъ поставилъ на заглавномъ листѣ одной изъ своихъ книгъ *(О вѣчныхъ истинахъ)*: «philosophari nihil aliud est, quam Deum amare,—философствовать не иное что есть, какъ любить Бога». И съ этою любовью ему было такъ хорошо среди 10.000 томовъ его библіотеки, что его друзья никогда не находили его тамъ въ пригнетенномъ состояніи: онъ всегда былъ ясенъ духомъ и всѣмъ доволенъ».

«Въ послѣдней выпущенной имъ книжкѣ, третьей книжки *Борьбы съ Западомъ*, онъ говоритъ въ предисловіи: «Въ какой-то старой нѣмецкой книгѣ я видѣлъ, что на заглавной страницѣ третьей части послѣ заглавія было напечатано: *третья, послѣдняя и лучшая часть*. Очень мнѣ хотѣлось-бы имѣть право сдѣлать такую-же надпись на этой третьей книжкѣ *«Борьбы»*: написать, что это послѣдняя и лучшая изъ трехъ. Что она *послѣдняя*—въ этомъ, кажется, мнѣ нельзя сомнѣваться, чувствуя, какъ убываютъ у меня силы и расположеніе писать. Что она *лучшая*—этому мнѣ хотѣлось-бы вѣрить; писатель, вѣдь, долженъ стараться идти впередъ по мѣрѣ того, какъ проводитъ годы и десятки лѣтъ въ чтеніи и размышленіи. Но одного старанія здѣсь мало, и объ успѣхахъ своихъ стараній мнѣ слѣдуетъ ожидать и просить суда читателей».

«Душа его, исполнившая ту волю жизни — чтобы *ничего не погубить изъ того, что ей дано жизнью* (Іоаннъ VI, 39) была освобождена отъ самаго ужаснаго изъ всѣхъ страховъ, отъ страха смерти. Онъ о смерти до послѣдней минуты не говорилъ. Она взяла его въ такое время, когда онъ самъ сознавалъ уже, что у него проходитъ расположеніе писать, значитъ—когда онъ сознавалъ самъ, что все было имъ сдѣлано и когда могъ сказать: «Нынѣ отпущаеши».

«Онъ исполнилъ свой долгъ и умеръ спокойно, вполнѣ удовлетворенный.

«Намъ остается пожелать самимъ себѣ подобной кончины».

Такъ говорилъ Платонъ Александровичъ Кусковъ, проводя и свои любимыя идеи, которыя можно было-бы назвать виталистическимъ пантеизмомъ,—крѣпышъ, поднявшійся съ почвы земли русской и образовавшій самостоятельно очень высокія созерцанія.

Едва произнесены были рѣчи — были сказаны еще двѣ — какъ уже кружки литераторовъ зашумѣли сборами на литературныя чтенія «памяти покойнаго», почти съ назначеніемъ темъ и распредѣленіемъ очередей чтенія. Могила была засыпана; и когда она очистилась, на нее робко поднялся молоденькій человѣчекъ — никому не знакомый—также, очевидно, хотѣвшій сказать что-то. Онъ долго придумывалъ; всѣ стояли поодаль. «Прости, дорогой... не осталось послѣ тебя у насъ еще такого писателя, только Левъ Николаевичъ Толстой и Владиміръ Сергѣевичъ Соловьевъ». Онъ постоялъ еще съ полминуты, но ничего больше не придумывалось, и онъ сошелъ. Бѣдный, онъ не былъ посвященъ въ подробности подраздѣленій литературы нашей, понималъ ее слишкомъ «вообще». Бурнымъ рокотомъ прошло неудовольствіе среди обдумывавшихъ «память» писателей, когда на «глубоко православной» могилѣ было упомянуто имя проблематичнаго христіанина и особенно имя ненавистнаго полемиста съ усопшимъ, тоже «схизматика» и почти язычника.

Человѣчекъ не замѣтилъ этого, къ счастью; и, по крайней мѣрѣ, навѣрное онъ никого не хотѣлъ оскорбить Было очень холодно, и всѣ извощики уже разобраны; сѣли въ вагонъ конки — и туда-же робко вошелъ послѣдній ораторъ. Худой, истощенный, почти несомнѣнно изъ актеровъ безъ мѣста (по характерно выбритымъ щекамъ), въ холодномъ пальто и лѣтней шляпѣ, онъ имѣлъ носъ самаго непріятнаго цвѣта. Робко выглядывалъ онъ, какъ мышка изъ клѣтки, на насъ, очевидно, знакомцевъ усопшаго, и слѣдовательно «писателей». Такъ онъ чуждъ былъ намъ. Конка остановилась передъ какимъ-то переулкомъ, на окраинѣ еще города. Вставъ и приподнявъ шляпу, онъ неувѣренно посмотрѣлъ на всѣхъ въ вагонѣ, очевидно прощаясь и, можетъ быть, извиняясь за невольное сообщество. Мы посмотрѣли на него. Онъ вышелъ и побрелъ по переулку, очевидно, до мѣста перваго возможнаго «поминовенія» покойнаго...

Между тѣмъ, онъ не былъ такъ абсолютно неправъ. Великое солнце гдѣ-то въ полуденныхъ странахъ передвинулось черезъ равноденственную линію; и въ высокихъ широтахъ, еще заносимыхъ вьюгами и снѣгомъ, осязаемо зашевелились обмершія растенія — токъ соковъ пошелъ вверхъ, корни выпустили новыя мочки, между тѣмъ какъ стужа сильнѣе чѣмъ въ декабрѣ. Неуловимы и таинственны пути и средства роста; различимъ только его источникъ. Тѣ имена, которыя назвалъ говорившій, что вызвало ропотъ негодованія, и самъ усопшій—они имѣютъ истинное и глубокое родство между собой болѣе значительное, чѣмъ раздѣлявшая ихъ рознь. Первые и ранѣе всѣхъ въ нашей обмершей, студеной странѣ, они поклонились истинному Богу; въ обществѣ, не хотѣвшемъ слышать святаго Его имени—они произнесли это имя громко. Чувство *теизма*, самое глубокое, самое живое чувство — не есть только риторика ихъ языка, средство политики; съ первыхъ трудовъ и до послѣднихъ, въ значительныхъ, какъ и само-малѣйшихъ, оно сказывается уже, *есть*,—какъ *есть* лѣто въ обратномъ движеніи растительныхъ соковъ. Богъ идетъ посѣтить насъ; *эти* первые увидѣли лучи Его; что въ томъ, что измученные, испуганные, они заговорили невнятно, розно, косноязычно: важное — въ ихъ *сердцѣ*, въ *жаждѣ* говорить; важное не въ словахъ ихъ и даже не въ нихъ самихъ, но въ томъ именно, что Богъ идетъ.

Что это не пусто и незначительно—можно видѣть изъ того, что каждый изъ нихъ отдалъ бы, и уже осязаемо отдалъ то, чего обыкновенно люди *ни за что* и *никогда* не отдаютъ. Какъ почти ненужную мишуру—одинъ отбросилъ всемірную свою славу, *мотивы* этой славы; другой — переходилъ изъ кружка въ кружокъ людей, изъ лагеря въ лагерь и почти изъ Церкви въ Церковь, взглядываясь всюду въ лица, на которыхъ онъ могъ распознать мятущее его чувство; третій какимъ-то далекимъ тяготѣніемъ, заставляетъ

его чувствовать въ каждой строкѣ своей и разошелся съ временемъ своимъ, съ вѣкомъ и поколѣніемъ, которые ничего не знали объ этомъ чувствѣ. Всѣ трое—потеряли вдругъ родину, потеряли—время, потеряли—людей. Не святое ли, не великое ли грядетъ, ради чего люди развязываютъ кровнѣйшіе узлы бытія своего; не живое-ли это, если питаетъ ихъ болѣе, нежели какъ можетъ напитать человѣка эпоха, люди, вся окружающая цивилизація?.. Не есть-ли это небесная и истинная родина человѣка, ради которой онъ такъ легко оставляетъ земную?

1896 г.

---

4. Ѳ. Э. Шперкъ.

7 октября 1897 г., въ два часа ночи, скончался въ Императорской санаторіи «Халила», въ Финляндіи, Ѳедоръ Эдуардовичъ Шперкъ, молодой писатель, литературная дѣятельность котораго едва началась и прервалась неожиданно. Ему принадлежитъ рядъ брошюръ-трактатовъ философскаго содержанія: «Система Спинозы» (Спб. 1894 года). «Философія индивидуальности» (Спб. 1895 г.), «О страхѣ смерти и принципѣ жизни» (Спб. 1895 г.), «Мысль и рефлексія» (Спб. 1895 г.), «Книга о духѣ моемъ» (Спб. 1896 г.), «Діалектика бытія» (Спб. 1897 г.), но вліяніе и значительность онъ пріобрѣлъ не этими серьезными, но трудно изложенными брошюрами-трактатами, а длиннымъ рядомъ очень коротенькихъ, но очень содержательныхъ критическихъ замѣтокъ, которыя подъ псевдонимами «Оръ» и «Апокрифъ» онъ печаталъ въ *Новомъ Времени*. И мышленіе, и жизнь, и наконецъ роковая развязка жизни этого человѣка—почти юноши еще—исполнены серьезности, красоты и глубокой печали. Куда онъ ни являлся—какъ писатель или какъ человѣкъ — онъ всюду вносилъ особую атмосферу своей индивидуальности, гдѣ вы не находили ничего заимствованнаго, перенятаго со стороны, и откуда всякій невольно заимствовалъ новыя мысли, новыя точки зрѣнія на предметы, новыя оцѣнки явленій литературныхъ или житейскихъ. Если принять во вниманіе его молодость—онъ умеръ, едва достигнувъ 26 лѣтъ, то необыкновенная серьезность его душевной настроенности, отсутствіе «общихъ мѣстъ» въ его понятіяхъ и взглядахъ становились поразительными и невольно возбуждали вопросъ: откуда и какими особенными путями развитія онъ пріобрѣлъ все это такъ рано? Можно надѣяться, что появится сборникъ его критическихъ статей, и тогда читатели увидятъ, до какой степени его взгляды на Пушкина, Лермонтова, Майкова и на множество текущихъ литературныхъ и научныхъ явленій—точны, вѣрны и захватываютъ самое существо писателя или художественнаго произведенія. Онъ былъ библіографъ по формѣ, по краткости своихъ замѣтокъ,—но кри-

тикъ, и истинный критикъ по ихъ содержательности и глубинѣ. Небольшой томикъ его взглядовъ войдетъ какъ цѣнное и обильное питаніе въ кругооборотъ нашей духовной, въ частности—умственной жизни. Однако, кто зналъ его, находилъ разгадку этого ранняго глубокомыслія въ подробностяхъ его воспитанія и судьбы. Какъ исключенъ былъ шаблонъ изъ его мышленія, такъ и въ теченіе его краткой и бурной жизни шаблонъ нигдѣ не замѣшался. Онъ очень рано развился, и развился внѣ правилъ, любя читать и читая безъ выбора, но по инстинкту, по серьезному складу ума—искалъ всегда читать серьезное. Такъ, кончивъ курсъ лютеранскаго училища въ Петербургѣ (онъ былъ лютеранинъ), онъ вступилъ въ университетъ съ зрѣлымъ умомъ и съ зрѣлыми требованіями—по требованію родителей, избравъ юридическій факультетъ. Невозможно было сдѣлать выбора менѣе удачнаго: формальныя науки этого факультета всего менѣе отвѣчали тѣмъ проблескамъ мистицизма, которые онъ принесъ съ собою на университетскую скамью, и тѣмъ эстетическимъ вкусамъ, какими онъ жилъ, по его сознанію, едва ли не съ 11—12 лѣтъ. Но причина оставленія имъ университета (изъ котораго онъ вышелъ, вступилъ обратно, по просьбѣ родныхъ и послѣ трудныхъ хлопотъ, и всетаки, опять не кончивъ, вышелъ изъ него) заключалась не въ этомъ только: «въ свою живую душу я не могъ вбирать мертваго содержанія читаемыхъ тамъ лекцій», — такъ однажды онъ формулировалъ, въ частной бесѣдѣ, мотивъ своего выхода. Что же это было за «мертвое содержаніе»? Конечно, не матеріалъ науки, который новъ и поэтому уже всегда интересенъ,—но, такъ сказать, схематизмъ профессорскаго мышленія, который обволакивалъ этотъ матеріалъ и пытался освѣтить его, въ дѣйствительности загрязняя и опошляя. Это была схема шаблоновъ, «общихъ мѣстъ», «ходячихъ взглядовъ». Именно три года университетскихъ лекцій, какъ онъ объяснялъ, сдѣлались источникомъ его жгучей нерасположенности ко всему «либеральному»—къ «либеральному» не какъ къ доброму или злому, истинному или ложному, но какъ къ «общественному», «общепонятному», въ чемъ нечего искать, гдѣ нѣтъ предмета для разгадки, для пытливости, гдѣ ничто не держитъ вашу душу, не занимаетъ вниманія вашего, не питаетъ васъ. Безспорно позднѣе и съ большею опытностью онъ уравновѣсился бы въ своихъ взглядахъ, но ко времени выхода изъ университета онъ привязался ко всему бытовому, народному, что было не изъ книги и не смотрѣло въ книгу. Отсюда склоненіе его къ славянофильству; необыкновенно высокая оцѣнка, которую онъ придавалъ русскому народу, высокое и также поражавшее тонкостью пониманіе православія (мѣсяца за полтора до смерти онъ принялъ православіе). Была въ немъ одна черта, напоминавшая Фауста — типъ, который, однако, усиленно не любилъ онъ: это

переходъ отъ теоретизма къ практицизму, сперва умственный только, но закончившійся и реальными исканіями. Всегда среди книгъ, всегда въ мысляхъ о книгахъ, онъ, однако, въ нихъ искалъ только жизненнаго, любя въ нихъ протестъ противъ книги,— цѣнилъ въ нихъ любовь и вниманіе къ непосредственному, простому, реальному. Онъ не любилъ и Фауста, какъ воплощеніе книги, какъ, до извѣстной степени, генія книги,—не замѣчая, можетъ быть, какъ не замѣчаютъ и тысячи людей, что конечно, горечь въ себѣ и собою составляетъ сущность «фаустовскаго»: Фаустъ безъ самоотрицанія, Фаустъ не отвергающій себя — есть уже Вагнеръ. Во всякомъ случаѣ, бросивъ университетъ, и притомъ съ процессомъ «отрясенія праха отъ ногъ», онъ очутился на свободѣ, но и среди всеобщаго отчужденія, ставшаго кругомъ него стѣной, среди молчаливаго «не нужно», которое онъ встрѣтилъ въ попыткахъ работать, писать (къ несчастью, онъ очень долго не могъ найти для себя формы, которую позднѣе превосходно развилъ), такъ какъ первоначально онъ гордо отказывался отъ мысли «служить», и слѣдовательно, по правдоподобному подозрѣнію, «подслуживаться». У него были наслѣдственныя три тысячи (онъ былъ сынъ доктора Шперка, покойнаго директора института экспериментальной медицины), которыя не дали ему пасть сейчасъ же, задушеннымъ нуждой, какъ это случилось бы въ подобномъ положеніи непремѣнно со всякимъ; но годъ за годомъ шелъ, деньги таяли, и нигдѣ никакого просвѣта, ничего обѣщающаго. Я помню его въ эти годы смятенной борьбы—почти мальчика, у котораго, однако, могъ научиться мужъ и старецъ, все еще въ студенческомъ, совершенно заношенномъ мундирѣ, всегда съ пытливымъ взглядомъ, вѣчно съ гадающимъ умомъ, жемчугомъ на устахъ, и разсказывающаго, какъ еще и снова ему не удалось тамъ-то пристроиться. Это были годы медленнаго наступающаго отчаянія. Трудность увеличивалась тѣмъ, что онъ беззавѣтно привязался къ одной дѣвушкѣ, и соотвѣтственно высокимъ и строгимъ своимъ взглядамъ на бракъ, какъ и на чистоту вообще плотской жизни, тотчасъ же сталъ мужемъ, и затѣмъ годъ за годомъ—отцомъ одного, двухъ и, наконецъ, трехъ дѣтей. Ничего нельзя было сдѣлать съ своеобразіемъ и причудливостью его языка (литературнаго), который не умѣлъ найти себѣ— не говорю «шаблона»—но просто понятной, допустимой въ литературѣ формы. Однѣ и тѣ же мысли, которыя васъ очаровывали въ устной бесѣдѣ,—будучи положены имъ на бумагу, становились не только мертвымъ, но и непонятнымъ наборомъ словъ, не распутываемымъ составомъ предложеній; и, между тѣмъ, въ другихъ писателяхъ онъ былъ высокимъ и тонкимъ цѣнителемъ именно формы, манеръ и оттѣнковъ литературнаго письма. Мнѣ, въ силу указаннаго недостатка, онъ казался потеряннымъ для литературы, или точнѣе—казался не найденнымъ, не открытымъ и не открываемымъ

для нея, при всемъ богатствѣ своихъ мыслей. Встрѣча съ двумя людьми, многоопытными въ формѣ, поправила этотъ вывихъ его природы; сперва покойный Н. Н. Страховъ, привязавшійся къ Шперку, какъ только узналъ его, сдѣлалъ попытки какъ-то и чему-то научить его; но, за скоро наступившею его смертью, главный трудъ и заботы въ этомъ отношеніи принялъ на себя г. Буренинъ, къ которому, безплодно сотрудничая до тѣхъ поръ въ *Гражданинѣ*, *Школьномъ Обозрѣніи*, *Новомъ Словѣ* и др., онъ однажды отнесъ какую-то критическую статью. Это было, какъ мнѣ извѣстно, важнѣйшимъ моментомъ его внѣшней судьбы, моментомъ вызрѣванія къ выраженію: ибо *чему* выразиться—это давно и обильно въ немъ созрѣло. Какъ и всякаго, къ кому онъ приближался, онъ привязалъ къ себѣ стараго и опытнаго критика, и заставилъ его захотѣть работать надъ созданіемъ у него формы. Чисто редакціонные методы выправки и указаній какъ-то дали ему, наконецъ, понять ли что-то, научиться-ли чему-то: я никогда этого не могъ постигнуть; но, неутомимо внимательный и самъ въ работѣ надъ собою, при такихъ-то недостававшихъ ему указаніяхъ, Шперкъ вдругъ и поразительно сталъ пріобрѣтать форму, болѣе и болѣе отчетливую, а наконецъ даже выразительную и сильную. Былъ спасенъ человѣкъ, и былъ найденъ, пріобрѣтенъ, открытъ многообильный умъ для литературы: отсюда чрезвычайная привязанность его къ двумъ названнымъ писателямъ, пѣстунамъ его языка—привязанность, которой многіе удивлялись и, не зная перваго и главнаго ея источника, не довѣряли ей. Теперь оставалось для него сдѣлать еще одинъ шагъ—найти форму, найти способъ не для афористическаго, но для длительнаго, сложнаго, богатаго пѣснями и полу-пѣснями выраженія своихъ мыслей: ему нуженъ былъ колоритъ живыхъ, т. е. непремѣнно разнообразныхъ цвѣтовъ, взамѣнъ краткаго, пусть даже сильно падающаго, слова—и огромный писатель—ибо огромность въ содержаніи была уже обезпечена—обогатилъ бы нашу литературу. Но когда, играя и уже почти счастливый, онъ поднимался вверхъ и вверхъ—смерть подкралась и скосила его.

Въ характерѣ, всей манерѣ, и наконецъ судьбѣ этого не раскрывшагося еще для жизни юноши было много особеннаго и исключительнаго. Понятіе «жалостливаго», «трагическаго» вполнѣ примѣнимо къ его смерти. Пишущему эти строки приходилось встрѣчать людей иногда знаменитыхъ, иногда очень привлекательныхъ — и, однако, никто изъ нихъ не возбуждалъ къ себѣ столько умственнаго любопытства и тайнаго сочувствія. Если обдумать, вся жизнь его и, наконецъ, преждевременная смерть исполнена героическаго—въ лучшемъ, серьезномъ, не мишурномъ значеніи этого слова: она вся была порывомъ къ свободѣ и борьбой за умственную, обще-духовную независимость. «Какъ печально мнѣ, что во мнѣ ужасно много ненависти»,—сказалъ онъ мнѣ однажды въ Халилѣ, т. е. уже

больной, умирающій. Со стороны онъ былъ лучше виденъ, и этимъ именемъ онъ называлъ тѣ бурныя, гнѣвливыя чувства, съ которыми поднялся на все, что задерживало, или ему казалось, что задерживаетъ этотъ его порывъ къ свободѣ. Невозможно передавать здѣсь подробности его убѣжденій и также жизненныхъ обстоятельствъ, но мнѣ извѣстно было, что эти бурливыя въ немъ чувства всѣ поднялись для защиты простого и естественнаго, съ тѣмъ вмѣстѣ — лучшаго, правдивѣйшаго въ жизни. Но все это сообщало лишь объективный интересъ его личности и судьбѣ, тогда какъ главное въ немъ было субъективная сторона. Больной и тяготясь посѣщеніями даже старыхъ друзей, Страховъ — ранѣе не расположенный къ нему за нѣкоторыя писанія—послѣ двухъ-трехъ свиданій уже искалъ новыхъ. «Былъ Шперкъ, просидѣлъ три часа — и не утомилъ меня», — помню я его замѣчаніе, кажется, даже не безъ удивленія сказанное. Особенность бесѣды съ нимъ заключалась въ томъ, что она служила какъ-бы продолженіемъ, только дальнѣйшимъ движеніемъ субъективной вашей жизни, что не чувствовалось вовсе никакой внѣшней преграды, которая задерживала бы непониманіемъ или неправильнымъ отношеніемъ вашу мысль, какъ и обратно вы чувствовали себя не защищеннымъ, не закрытымъ отъ его мысли или слова. Едва завязывался разговоръ, какъ матеріальныя и всегда задерживающія условія бытія нашего—матеріальныя не въ вещественномъ только смыслѣ, но и въ духовномъ, какъ выгода, фальшь, притворство, всякая дѣланность,—куда то пропадали, и открывалось чисто умственное или нравственное общеніе. Иногда, и особенно во враждебныя минуты, мнѣ представлялось это высшею досягаемою формой вкрадчивости, т.-е. вкрадчивостью, естественно текущею изъ природы вещей: ибо, не будучи преднамѣренною, она все равно открывала вашу душу постороннему человѣку — чужой человѣкъ какъ бы имѣлъ ключъ даже отъ того, что вы не хотѣли бы никому показать, и безъ того, чтобы вы передали ему этотъ ключъ. Въ немногія свѣтлыя для него минуты, и можетъ быть оставшіяся незамѣченными для другихъ, я видѣлъ его въ степеняхъ такой душевной прозрачности, которая — я не ставлю необдуманно этого слова — пробуждала мысль, или воспоминаніе, или наконецъ понятіе о святости: это были минуты абсолютнаго пробужденнаго въ васъ довѣрія, можетъ быть абсолютнаго уваженія къ человѣку — когда между вами и страннымъ юношей, съ заросшими волосами и въ неопрятной одеждѣ, не было никакой границы, вы чувствовали себя въ немъ и его въ себѣ. Я передаю это и записываю, потому что большая странность этого всегда меня поражала, и еще никогда и ни съ кѣмъ этого отношенія я не зналъ. «Хитрый византіецъ» — иногда смѣясь и недовѣрчиво формулировалъ я себѣ: «такъ-то вотъ въ Византіи, читаемъ мы въ

исторіи, и овладѣвали какіе-то безвѣстно-темные люди государями».

Какъ неустанная дѣятельность, исключеніе всякой лѣности были въ его характерѣ, такъ неутомленность и неутомимость были въ его умѣ: онъ вѣчно чего-то искалъ умомъ, васъ спрашивалъ или отвѣчалъ на вѣрно угаданную вашу мысль. Онъ былъ всегда и ко всему окружающему настороженъ; никакой разсѣянности, какъ и ничего наивнаго, въ сужденіяхъ у него не было. И, вмѣстѣ, самъ онъ беззавѣтно привязывался ко всему наивному: эта смѣсь огромнаго ума, вѣчно все судящаго, съ порывомъ — даже до героизма, до готовности страдать,—къ простому и беззащитному, кажется, и была причиной его обаятельности, огромнаго пробуждаемаго имъ довѣрія. Никакою мишурой или кажущеюся «знаменитостью» его нельзя было обмануть: онъ зорко ее выглядывалъ, злобно кидался на нее, — и въ то же время вы видѣли (или позднѣе узнавали), что онъ влекся и привязывался до неотступнаго любованія къ чему-нибудь самому малозначительному съ виду — ни въ чемъ неошибающимся взглядомъ и аналитическимъ умомъ онъ открывалъ внутреннее золото. То, что внѣшнія объективныя оцѣнки не существовали для него; то, что за свою субъективную оцѣнку онъ готовъ былъ къ борьбѣ; и, наконецъ, что въ самой борьбѣ онъ былъ такъ силенъ — это-то и привязывало къ нему, а вдали пробуждало и большія обѣщанія. Его вступленіе въ литературу обѣщало прекрасную борьбу противъ того, что мы назвали «общими мѣстами» — противъ «общихъ мѣстъ» въ понятіяхъ, въ отношеніяхъ, въ оцѣнкахъ. Но все обѣщанное имъ — намъ не суждено было получить.

Было опредѣлено въ санаторіи, что первые зачатки чахотки уже положены были у него года три назадъ; сырая несносная квартира въ зиму 1896 — 1897 года и простуда около Пасхи 1897 года перевели обыкновенную и неопасную форму этой болѣзни въ скоротечную; все встрепенулось около него для помощи, но уже помощь была не нужна. Нетерпѣливый, боящійся физической боли,—съ невѣроятнымъ терпѣніемъ онъ провелъ пять мѣсяцевъ, не отдѣляясь отъ одра; нѣжно любящая жена, кинувъ троихъ дѣтей въ полверстѣ отъ санаторіи на попеченіе крестьянки-няни, поселилась, съ особаго разрѣшенія начальства, въ самой санаторіи, около умирающаго. Годы испытанія и отчужденія, какіе перенесъ онъ, сдѣлали его пугливымъ къ людямъ, недовѣрчивымъ къ жизни; по крайней мѣрѣ, я наблюдалъ, какъ, лежа въ номерѣ, или выносимый на воздухъ, онъ требовалъ или искалъ, чтобы жена не отходила отъ него. Много было исключительнаго и трогательнаго въ перипетіяхъ кратковременной и бурно развившейся привязанности ихъ; и, какъ сравнивалъ я его съ Фаустомъ, и было дѣйствительное здѣсь, серьезно выраженное сходство, — такъ при-

ходилось сравнивать и въ краткотечномъ романѣ съ Ромео и Джульеттой: и снова въ простыхъ, почти грубыхъ чертахъ, здѣсь прошло не только сходство, но и повтореніе жалостливой исторіи, такъ ярко нарисованной Шекспиромъ. Жизнь въ миніатюрныхъ и будничныхъ чертахъ не бѣднѣе, въ сущности, и вовсе не хуже самаго высокаго художества. Какъ и всегда у умирающихъ, у него не было сознанія приближающейся кончины: смерть подходитъ къ человѣку не съ лица, хватаетъ его не за голову, но какъ-то странно и страшно точно ущемляетъ сзади—и онъ никогда ея не видитъ, какъ бы ясна она ни была. Полонъ былъ онъ надеждъ, и самъ угасалъ, а онѣ не гасли. «Ну, вотъ, милочка, выздоровлю—напишу большой фельетонъ и куплю тебѣ кофту», — какъ-то сказалъ онъ разъ женѣ, тронутый неустанностью и подробностью ея ухаживанья. Всѣ знали сущность драмы, кромѣ главнаго въ ней актера; и отчаяніе всей людной собравшейся около него семьи было тѣмъ глубже, чѣмъ безмолвнѣе. Послѣднія недѣли были особенно трудны, когда туберкулы стали проникать въ чувствительнѣйшія внутреннія полости; напрасно впрыскивали большія дозы морфія. Метаясь, странно чѣмъ онъ былъ озабоченъ: «пожалуйста, любите меня: если я чѣмъ нибудь когда-нибудь обидѣлъ кого, простите мнѣ ради великихъ моихъ теперь страданій». Такъ самая малая нравственная боль, какъ возможной непримиренности съ собою, — преодолѣвала сильнѣйшую физическую. Дня за два до смерти онъ вторично захотѣлъ причаститься; переходъ въ православіе, давно имъ рѣшенный, сперва откладывался въ надеждѣ торжественно совершить его по выздоровленіи; но «выздоровленіе» тянулось, оттягивалось, и онъ не захотѣлъ медлить.—Взволнованный, сидя въ кровати, съ пылающею отъ лихорадки кожей, которая одна обтягивала его остовъ, сказалъ онъ, ожидая священника, памятныя слова: «Протестантизмъ тѣмъ бѣденъ, что не содержитъ въ себѣ тайны; онъ преднамѣренно отталкиваетъ отъ себя мистическое, тогда какъ въ мистическомъ лежитъ сущность религіи, безъ него вовсе нѣтъ религіи». Какъ это оригинально: въ тысячѣ критическихъ воззрѣній на протестантизмъ именно эта точка зрѣнія отсутствуетъ, и, между тѣмъ, ясно, что въ ней лежитъ центръ дѣла. И здѣсь, какъ всегда онъ дѣлалъ и въ литературѣ, — онъ взялъ главу гордости, сторону горделиваго возвеличенія, и показалъ въ простыхъ словахъ ея пустоту. Дѣйствительно, апостольская «простота» культа, какъ и «раціональность» построенія внутри отвѣчаютъ прекраснымъ чертамъ нашей скромности и строгимъ требованіямъ науки; но мы имѣемъ здѣсь дѣло не съ наукой, какъ и не съ художественною стороной нашихъ вкусовъ: передъ нами религія, т.-е. не наше и не отъ насъ, и гдѣ все—тайна, исходитъ изъ тайны и оканчивается тайной. И задачи построенія, какъ и всѣ средства внѣшняго выраженія, здѣсь должны быть иныя.

1897 г.

---

5. Я. П. Полонскій.

† 18 октября 1898 г.

Смерть каждаго очень значительнаго человѣка пробуждаетъ вопросъ, что́ мы потеряли въ немъ? — и побуждаетъ искать точнѣйшаго опредѣленія его личности. Едва вѣсть о смерти Полонскаго облетѣла Петербургъ, какъ прежде всего и ярче всего около его имени заволновалась *любовь*: не сожалѣли руководителя общества, камень его устоевъ, обширный умъ,—сожалѣли *красоту* общества и именно его нравственную красоту.

Блаженъ незлобивый поэтъ...

— съ этимъ впечатлѣніемъ невольно многіе оставляли поэта послѣдніе годы или встрѣчали его. Въ личности Полонскаго, какъ и въ его поэзіи. было совершенное отсутствіе раздраженія, садняшаго гнѣва, длительнаго негодованія — того негодованія, которое убивало бы или даже причиняло боль, хотя негодованіе, гнѣвъ— все это, на-ряду съ противоположными чувствами, волновало его какъ человѣка и пробѣгаетъ въ его поэзіи. Но эти отрицательныя чувства никогда не были имъ относимы къ лицу человѣка, къ поступку человѣка, а всегда—къ положенію вещей, къ теченію идей, къ чему-нибудь общему, а не частному. И это — не въ силу его отвлеченности, но въ силу того, что онъ былъ слишкомъ замкнутъ въ поэтическомъ мірѣ, а поэзія хотя и мыслитъ «образами», но всегда образами чрезвычайно общаго значенія, и волнуется чувствами чрезвычайно общаго колорита. Дрязгъ улицы, подробностей минуты онъ не отгонялъ отъ себя, не считалъ ихъ унизительными для поэтическаго своего уединенія; но поэтъ—и на этотъ разъ истинный поэтъ—онъ не могъ и не умѣлъ внимать перипетіямъ этихъ дрязгъ. Онъ отдавался восторгу или горести о загрязненномъ человѣкѣ, безъ интереса къ имени и лицу, или съ очень слабымъ интересомъ къ нему. О разсѣянности Полонскаго ходили почти анекдоты, т.-е. о невниманіи его къ подробностямъ, къ непосредственному впечатлѣнію текущей минуты, о постоянномъ погруженіи его въ вѣчные образы и общія же, вѣчныя впечатлѣнія, идущія отъ панорамы исторіи и природы. Очень живымъ и конкретнымъ для него былъ не случай, происходящій передъ глазами, а случайное сцѣпленіе въ субъектѣ этого случая образовъ, фигуръ, положеній: тогда онъ хваталъ перо и записывалъ какъ-бы видѣніе. Получалось живѣйшее и конкретнѣйшее стихотвореніе, однако срисовывающее не фактъ, а моментъ внутренней жизни поэта—расположеніе или изобрѣтеніе его души.

Но что-же мы потеряли съ нимъ? Въ Майковѣ мы потеряли часть нашего образованія, и каждый порознь терялъ въ немъ учи-

теля, болѣе его образованнаго и умнаго, но которому онъ внималъ нѣсколько холодно. Параллель между Полонскимъ и Майковымъ напрашивается на умъ вслѣдствіе ихъ чрезвычайной противоположности: Майковъ любилъ и умѣлъ писать стихотворенія въ «антологическомъ родѣ»; всю его поэзію можно сравнить съ красивой древней колоннадой; но вотъ около одной изъ колоннъ стоитъ и задумалась дѣвушка, въ живой красотѣ своей, въ тепломъ дыханіи—это и есть Полонскій. Его поэзія не имѣетъ величавыхъ темъ, какъ «Три смерти», «Два міра»; не движется по рубрикамъ: «Изъ гностиковъ», «Изъ древнихъ», «На родинѣ», почти съ географической и хронологической правильностью и полнотой. Ничего подобнаго: все — бѣгуче, все — случайно, но все неизмѣримо намъ ближе и интимнѣе... И пусть менѣе просвѣщаетъ насъ исторически и географически, но на сей день и въ семъ мѣстѣ необыкновенно насъ согрѣваетъ.

Итакъ, не часть образованія мы теряли въ немъ, но часть нашей души какъ бы оторвалась съ нимъ въ горняя; кусочка нашего сердца нѣтъ болѣе у насъ—въ смыслѣ-ли воспоминанія, дорогого и потеряннаго, или надежды, ласкавшей и обманувшей. Мы замѣтили о теплотѣ и живости его; сдвинемъ тѣснѣе опредѣленіе: онъ былъ, можетъ быть, самый интимный поэтъ вообще за нашъ вѣкъ, а слѣдовательно, и за все время существованія нашей литературы. Этимъ только можно объяснить, почему, не будучи простонароднымъ, онъ проникъ (кажется, одинъ) въ простонародье; есть у него такія пѣсенки, что каждому хочется ее запѣть, при «подходящемъ» случаѣ, и пѣсенка запѣвается — художникомъ, поэтомъ, чиновникомъ, простолюдиномъ; а запѣваясь, какъ нужное что-то—запоминается. И это—сейчасъ; а можно вѣрить—безъ понужденія, безъ педагогическаго подсказыванія, онъ, хоть небольшой частичкой своихъ произведеній, войдетъ въ живой пѣсенный кругооборотъ народа.

Это объясняется громаднымъ его поэтическимъ даромъ. Нѣтъ мощи у него; нѣтъ остроты: онъ никогда васъ не ослѣпитъ, и рѣдко «захватитъ», увлечетъ до самозабвенія. Есть нѣчто болѣе цѣнное и вѣчное въ немъ. Онъ не спеціальностями поэтическаго дара, но полною натурою своею и общимъ складомъ поэтическихъ способностей есть поэтъ въ древнемъ смыслѣ, одновременно классическомъ и всемірномъ: пѣніе было сущностью его души, и пѣніе — въ гармоніи съ дѣйствительностью. Въ природѣ есть вообще пѣвческое начало — поетъ лѣсъ, поетъ майское утро, своеобразно поетъ хмурый осенній день: вотъ это-то стихійно-пѣвческое было въ высокой степени присуще Полонскому—и онъ спѣлъ бы, лишь не записавъ, всѣ свои пѣсни и на необитаемомъ островѣ, какъ тамъ пропѣваетъ положенныя ему мелодіи сосновый боръ. Но, конечно, высшій въ природѣ пѣвецъ есть и останется человѣкъ; его

мелодіи суть часто (по сложности) поющіе міры. У Полонскаго есть такой поющій міръ: это — несравненная его сказка «Кузнечикъ-музыкантъ».

Удивительное въ этой поэмѣ-шалости, что въ ней творецъ подымается до безсознательности именно поющей природы, ея чистоты, ея спокойствія, но осложняетъ ее узоромъ человѣческаго вымысла и сознательныхъ человѣческихъ мотивовъ (побужденій, мыслей аллегорическихъ). Сказка эта по непосредственности и красотѣ, быть можетъ, есть лучшее по части поэзіи за полъ вѣка въ Россіи — и вообще можетъ выдержать сравненіе съ первоклассными произведеніями человѣческаго духа; ея ни въ какомъ случаѣ не могъ-бы постыдиться Гете. Между прочимъ, въ ней есть универсальная понимаемость: самый образованный человѣкъ забудется за ея несравненною красотой, и почти съ тѣмъ-же ощущеніемъ побѣжитъ по ея строкамъ нисколько не понимающій ея аллегоріи простолюдинъ, или почти простолюдинъ (случалось наблюдать): скульптурность и живопись вымысла, какъ равно неподражаемая прелесть стиха, увлечетъ его.

Почти современникъ Пушкина интимный другъ Тургенева — Полонскій послѣдніе годы какъ-бы жилъ среди тѣней этихъ сошедшихъ въ преисподнюю пѣсно пѣвцевъ. Можно думать, что ихъ, умершихъ, онъ ощущалъ живѣе и интимнѣе, чѣмъ—впрочемъ, нисколько ему не холодную—дѣйствительность; въ манерѣ его словъ было что-то прорывающееся: какъ бы на секунду вырываясь изъ почившаго сообщества, онъ произносилъ свой глаголъ—вотъ этимъ гостямъ въ своемъ кабинетѣ или за чайнымъ столомъ. Было чрезвычайно привлекательно его слушать, и многія слова хотѣлось записать. Чувство почти непрерывнаго удивленія было, по крайней мѣрѣ у пишущаго эти строки, при этихъ вырывающихся рѣченіяхъ 78-лѣтняго старца, который былъ чрезвычайно ветхъ, физически—совершенно изнеможенъ. Не забуду, съ какими подробностями, какъ умѣло и проницательно онъ вдругъ—по какому-то случайному поводу — заговорилъ, какъ слѣдовало бы организовать простонародную школу: была прекрасная критика и прекрасный планъ у человѣка, повидимому, никогда не думавшаго о народномъ образованіи. У него были, именно, панорамы въ душѣ; изъ нравственно чистой, изъ безспорно умной души, онѣ выходили въ общемъ правильными, безъ предварительныхъ исканій. Въ другой разъ зашла рѣчь о (филантропической) самопомощи въ Россіи; конечно, ея нѣтъ или мало, но всѣ поверхностно волновались минутной темой говора. Вдругъ изъ-за повязокъ, пледа и костыля услышалось раздраженное, прямо негодующее: «до чего я ненавижу Россію» (или: «ничего я такъ не ненавижу какъ Россію»). Невозможно представить степень изумленія при этихъ словахъ отъ поэта, любовь коего къ Россіи всѣмъ была извѣстна; и кто-то замѣтилъ объ

этомъ, объ этой странности услышать это отъ Полонскаго. «Ну, конечно, я отдалъ бы за нее жизнь» (или: «пролилъ бы за нее кровь, не задумавшись»). Всѣ знаютъ «odi et amo»—и это надоѣло; но вторая часть словъ Полонскаго не вытекала съ необходимостью изъ первой, и онъ не ждалъ ни вопроса, ни поправокъ и уже задремывалъ въ пледѣ; замѣчаніе разбудило орла—и какой клекотъ послышался; хоть бы въ «Слово о полку Игоревѣ»! И опять задремалъ. Оба восклицанія, которыя нужно было выслушать, чтобы оцѣнить ихъ силу,—въ своемъ нажимѣ и красотѣ выразили настоящія и кровныя состоянія его души Съ такими дѣтьми Россіи бы вѣчно жить, т.-е. начало смерти не коснулось бы ея, если бы всегда она могла надѣяться имѣть такихъ дѣтей.

1898 г.

88

THE BORROWER WILL BE CHARGED AN OVERDUE FEE IF THIS BOOK IS NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED BELOW. NON-RECEIPT OF OVERDUE NOTICES DOES NOT EXEMPT THE BORROWER FROM OVERDUE FEES.

CANCELLED

CANCELLED
JUL 24 1989
SEP 9 1989
3129629